

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1968

1



1968

# Н(О)ВЫИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 1

Январь, 1968 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФЕДОР АБРАМОВ — Две зимы и три лета, роман	3
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Новые стихи	68
Ю. ТРИФОНОВ — Два рассказа	74
ДЕБОРА ВААРАНДИ — Из книги «Хлеб прибрежных равнин», стихи. Перевела с эстонского Анна Ахматова	89
ГЮНТЕР КУНЕРТ — Из книги «Незванный гость», стихи. Перевел с немецкого В. Куприянов	94
А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — «Культурная революция» с близкого расстояния (Записки очевидца)	97
В. ШВЕРУБОВИЧ — Люди театра (Из воспоминаний)	121

### ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВОЛКОВ, Г. ЛИСИЧКИН — Способность привлекать людей	164
---	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

И. КОН — Размышления об американской интеллигенции	173
В. БЕРКОВ — Исландия — без гейзеров, очерк	198

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. БУРТИН — О частушках	211
-------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	239
К. Рудницкий. Пьесы и сценарии Александра Володина.— И. Травкина. Естественность прозы.— А. Наркевич. Поэзия науки — Ник. Смирнов. Книга о Бунине.— Л. Зонина. Особые приметы.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ССР»

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	256
<b>Ю. Тихомиров.</b> Общество, управление, наука.— <b>Г. Водолазов.</b> Эстетическое наследие Грамши.— <b>В. Ермаков.</b> Уроки истории — <b>А. Некрич.</b> Англия: между прошлым и будущим.— <b>Наталья Соколова.</b> Загадки сфинкса будут разгаданы.— <b>Ф. Светов.</b> Глазами «футуролога».	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — П. П. Елизаров. Марк Елизаров и семья Ульяновых.— История международных отношений и внешней политики СССР. 1917—1967 гг — О. Б. Мокиевский. Нусантара — Н. Эйдельман. Ищу предка.— Рут Фёрст. 117 дней.— История советского общества в воспоминаниях современников.— Н. Задорнов. Желтое, зеленое, голубое...— Ливиу Дамиан. Корни.— Виктор Некрасов. Путешествия в разных измерениях.— В. К. Кюхельбекер. Избранные произведения.— И. Рахтанов. Пестрая книга — Л. Малюгин. Насмешливое мое счастье.— Аугусто Роа Бастос. Сын человеческий.— З. Орджоникидзе. Путь большевика.— Олег Ласунский. Книжный знак	274
<b>ОТ РЕДАКЦИИ</b>	283
<b>ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА</b>	285
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

---

ФЕДОР АБРАМОВ

★

## ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА

*Роман*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

— Па-ро-ход! Па-ро-ход идет!

С пекашинской горы косиками — широкими проезжими спусками, узенькими, вертлявыми тропками покатались люди.

За разлившуюся озерину попадали кто как мог: кто на лодке, кто на ребячем плотике, а кто посмелее — подол в зубы — и вброд. В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек, черные чирята, еще не успевшие передохнуть после тяжкого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей.

Так бывает каждую весну — к первому пароходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому что и весна-то на Пинеге начинается с прихода пароходов, с той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастет белыми штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой-морянкой да душистыми ящиками с чаем и сладостями.

В этом году никто не ждал даров из Архангельска — пинежские подзолы да супеси вот уже который год подкармливают отошавший город. Мало было надежд и на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, когда только что кончилась война? Но давно, давно не видал пекашинский берег такого многолюдья. Ребятишки, девки, бабы, старики — все, кто мог, выбежали к реке.

Пароход из-за мыса не показывался долго. Костерик, наскоро сложенный из не просохшего еще хвороста, не разгорался, и люди, чтобы согреться, жались друг к другу.

Наконец у того берега, под красной отвесной щелью, леденисто сверкнул белый нос.

— «Кúра», «Кúра!» — закричали с насмешкой ребята, явно разочарованные тем, что вместо двинского богатыря-красавца к ним бредет маленький местный тихоход, который был построен пинежскими купцами Володиными еще в начале века.

Пароход с трудом подавался вперед, густо разбрасывая летучие искры по реке. Быстрым течением его откидывало к тому берегу, пенястая волна задирала нос. И уныло-уныло выглядели грязные, свинцового цвета бока, все еще по-военному размалеванные в черные полосы.



Но голоса своего «Курьер» за войну не потерял. Пронзительно, молодо закричал он, подходя к берегу. Будто весенний гром прокатился над головами людей. И как тут было удержаться от слезы! В войну помогал, можно сказать, жить помогал «Курьер» вот этим самым своим гудком. Бывало, в самые черные дни как заорет, как раскатит свои зыки да рыки под деревней — сразу посветлеет вокруг.

Варвара Иняхина с молодыми бабенками, едва приткнулся пароход к берегу, вцепилась в старика капитана, единственного мужчину на пароходе:

— Чего мужиков-то не везешь? Разве не было тебе наказа?

— Смотри, в другой раз порожняком придешь — самого оставим.

— Ха-ха-ха! А чего с ним делать-то?

Тут кто-то крикнул:

— А вон-то, вон-то! Еще один пароход!

Пароход этот — плот с сеном — плыл сверху. Круто, как щепку, вертело его на излучине повыше деревни, и два человека, навалившись на гребь — длинную жердь с лопастью, вделанную в крестовину, — отчаянно выгребали к пекашинскому берегу.

— Да ведь это никак наши, — сказала Варвара. — Кабыть, Мишка с Егоршей.

— Его, его — Мишкина шапка. Вишь, как лиса красная.

— Это они с Ручьев, из лесу едут.

Бабы заволновались. Пристать к пекашинскому берегу в половодье можно только в одном месте — у глиняного отлогого спуска, там, где сейчас стоял «Курьер».

— Отваливай! — разноголосо закричали они капитану. — Не видишь разве — люди к нам попадают.

— Отваливай, отваливай! Поимей совесть.

И капитан, чертыхаясь, уступил — отдал команду сниматься.

Плот с сеном впритык, под самым боком прошел у разворачивающегося парохода.

## 2

Пряслинский дом с реки не виден — амбар да подклет<sup>1</sup> с разросшейся черемухой спереди, — и Михаил увидел свой дом, когда уже поднялся с возом в гору.

Изба была новая, с пестрыми стенами.

Клали избу прошлой осенью, перед самым его отъездом в лес. Клали второпях, из старья — новых бревен хватило только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца: один угол увело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу. А в общем, тепло в стенах держалось, и Пряслины, намерзнуввшись в старой развалюхе, нахвалиться не могли новой избой.

Засмотревшись на красный флажок, вывешенный на углу избы, Михаил и не заметил, как лошадь поравнялась с окошками.

— Тпру-у-у! — закричал он и кинулся догонять воз.

Но еще раньше, чем он подоспел к лошади, ее перехватила мать.

— Вернулся! А мы ждем-ждем — все заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном, — дак уж я рада.

Приподняв кверху худое, обветренное лицо, Анна старалась заглянуть сыну в глаза, но взгляд Михаила скользил поверх ее головы. И она, виновато посмотрев на разобранную изгородь спереди заулка, сказала:

— На той неделе это. Навоз возили.

— А с задворков подъехать не могли? Там через воротца хоть на тройке скачи.

<sup>1</sup> Бревенчатая надстройка над погребом.

— Да уж так получилось. Не додумали.

— Все вы не додумали. Кабы сами огороду запирали, небось додумали. А это что? — закричал Михаил, кивая на свалку за крыльцом. — Руки отпадут на поле выплеснуть?

Несколько смягчился Михаил, когда телега с сеном подошла ко двору. Даже остановился на какое-то время, словно прислушиваясь к тому, что делается там, у Звездони, за ржаными, почерневшими за зиму снопами, которыми для тепла были заставлены ворота двора.

Но Звездоня не догадалась подать голос хозяину, и за нее ответила Анна:

— Скоро. Все ладно, скоро опять с молоком будем. Две недели осталось.

— Не ошибаешься?

— Да нет. И сама и Степан Андреянович высчитывал. Так по срокам.

Сено и солому на поветь до прошлой осени Пряслины подымали по взвозу — бревенчатому настилу, — а осенью, когда Михаил был уже в лесу, взвоз обвалился, и корм с тех пор носили на руках.

Однако Михаил сейчас нашел другой выход — откидал от задней стены двора кряжи и телегу поставил так, что сено можно было перекидать вилами прямо с телеги на поветь.

Анна, пока он распутывал веревки на возу, докладывала о семейных делах: Лизка с Татьяной на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой...

— То-то, я гляжу, нету их у реки, — сказал Михаил. — Все ребята у реки, а наших нету.

— Просились. Слезно молили: хотим к пароходу. Да я говорю: «Что вы? Где у вас совесть-то? Чем будете Мишу-то своего встречать?» Беда, тебя ждут. Только Миша один и на уме. Глаз из окошка не вынимают. Похвали их. Уж такие оба заботы — мы с Лизкой нынче ни дров, ни воды не знаем. Все они.

— Переползли в третий класс?

— Переползут. Августа Михайловна тут как-то встретилась: опасенья, говорит, не имею.

— А тот разбойник?

Анна отвела глаза в сторону.

Михаил снял с воза берестяную корзину с брякнувшим чайником, спросил недобрым голосом:

— Опять чего-нибудь натворил?

— Натворил. К учительнице в печь залез, кашу из крынки выгреб. — Анна вздохнула. — Не хотела я тебя расстраивать. Да что — не скроешь.

— Ладно, иди, открывай поветь, — сказал Михаил.

Сдвинув к переносью брови, он тяжелым взглядом обводил задворки деревни. С какой радостью он плыл сегодня домой! Война кончилась. Праздник небывалый. А тут не успел еще ступить на порог избы — старая веревочка закрутилась.

Федька — его давно уже не звали Федюшкой — был наказаньем всей семьи. Ворюга, повадки волчьи. А началось все с пустяков — с коческа капусты, с репки, с горстки зерна, которые он начал припрятывать от семьи. Потом дальше — больше: в чужой рот полез. В прошлом году у Степана Андреяновича восемь килограммов ячменной муки украл. Весь, до грамма, паек, выданный на страду. Люди, понятно, взбудоражились — кто? какой казнью казнить вора? А в это время рыжий дьяволенок спокойно каждое утро, как на работу, отправлялся в пустой овечий хлев на задворках, садился на чурак — специально для

удобства принес — и запускал руку в мешок. Так сидящим у мешка на чураке и накрыла его Лизка...

И в кого он такой выродок? — снова, в который раз задавал себе вопрос Михаил.

Мать открыла ворота на повети, подала ему вилы. Вдвоем они быстро разгрузили телегу. Потом Анна спустилась к нему с граблями и начала старательно загребать сенную труху.

— Брось,— сказал Михаил.— Незавидное сено. Осенцак<sup>1</sup>.

— Что ты, я вся рада. Без корма живем. Будет у людей зависти.

— Нашли чему завидовать. Мы с Егоршей помучились с этим сенцом — будь оно неладно. Осенью собирали черт-те где. А сейчас на себе через болота таскали — ну-ко, попробуй.— Михаил посмотрел вокруг, хмуро поджал губы: — Когда надо, наших ребят никогда нету.

— Ты насчет лошади? — Анна живо и предупредительно закивала.— Не беспокойся. Иди в избу. Я отведу.— И вдруг, взглянув в сторону колодцев, всплеснула руками: — Да ведь там, кажись, они, разини? Вот как расселись — ничего не видят.

За первым колодцем на белой жердяной изгороди возле болота и в самом деле торчали две серенькие фигурки, очень похожие издали на огородные чучела.

— Чего ворон-то считаете? — закричала Анна и замахала рукой.— Не видите, кто приехал?

— Давай-давай! — закричал Михаил, подзадоривая затрусивших по дороге братьев.— А ну — который быстрее?

Петька и Гришка подбежали запыхавшиеся, худющие, бледные, как трава, выросшая в подполье. Даже бег не выдавил краски на худосочных лицах, хотя глазенки их, устремленные на старшего брата, сияли неподдельной радостью.

Они все еще были разительно похожи друг на друга, так похожи, что даже на двор, как шутили в семье, бегали в одно и то же время. Дома их, конечно, не путали, а вот соседские ребяташки для удобства окрестили их по-своему. Года два назад Гришка рассадил верхнюю губу, напорвшись на гвоздь, и с тех пор Михаилу не раз приходилось слышать: «Эй ты, половинка щербатая!» По шраму отличала их друг от друга и учительница Августа Михайловна.

— Молодцы у меня,— сказал Михаил и поощряюще потрепал того и другого по плечу.— Перескочили, значит, в третий?

Похвала старшего брата доставила близнецам величайшее удовольствие. Они застенчиво переглянулись друг с другом, посмотрели на мать.

— Чего принесли? Угощайте своего Мишу.

Петька и Гришка с готовностью протянули берестяные коробки — в них на вершок вперемешку с мусором рдела мелкая мокрая клюква.

Михаил взял по ягодине из каждой коробки, морщась, скользнул взглядом по тонким босым ножонкам, по мокрому низу штанов.

— Больше не бродите. Ну ее к лешему! Вот погодите — война кончилась, в сапогах скоро ходить будем. А сейчас на конюшню. Быстро!

Петька и Гришка — не надо говорить два раза — живо вскарабкались на телегу, сели рядышком в передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше удалялась телега, тем все больше казалось, что едет один человек.

А может, вот то, что они так жмутся друг к другу, и помогло им выжить в это время? — подумал Михаил.

Он поднес руку ко рту:

— Возвращайтесь скорей! Чай будем пить. С хлебом! С настоящим! — добавил он громко.

<sup>1</sup> Сено, поставленное осенью.

Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетенную из бересты корзину, к которой сверху были привязаны продымленный чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, затем расстегнул ремень с железной натопорней и большим охотничьим ножом в кожаных залощенных ножнах, снял старую, побелевшую от дождей и снега и не в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку-ушанку из рыжей мохнатой собачины, вышел из-под полатей, разогнулся.

Вот он и дома...

Не много ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда — по неделям преешь на дальних сенокосах,— потом снова лес. И так из года в год.

Пол был вымыт — приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые — нечем оклеить, газету с трудом на курево раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат: «Все для фронта, все для Победы!»

Михаил прошел в задоски<sup>1</sup>, заглянул в девочешник — так называли маленький закуток с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол для сестер. Но он настоял на своем. Нехорошо спать Лизке в общей свалке с ребятами. Девка. Надо вперед немного заглядывать.

В девочешнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся: все это Лизка соорудила без него. Полтора месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было.

И еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. Живут Пряслины!

Анна, все время не сводившая глаз с сына, облегченно вздохнула: ну, слава богу, хоть избой остался доволен.

— Самовар ставить или баню затоплять? — спросила она.

— Погоди маленько. Дай в себя прийти.

Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги — на правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые, с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо.

— Холодно на реке-то,— сказал он, свертывая сигарку.

— Как не холодно. Я навоз с утра возила — до костей пробирает.

— Пахать еще не собираются?

— Готовятся. Ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз поминала: где у нас мужика-то главного нету?

Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше. Затягиваясь, скосил на мать карий улыбающийся глаз.

— Ну как тут у вас победы праздновали? Шумно было?

— Было. Всего было. И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается...— Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой.— У правленья улица народу не подымала. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на триста рублей подписалась.

— Я тоже маханул,— сказал Михаил.— На полторы тысячи.

<sup>1</sup> Часть избы спереди печи, отгороженная дощатой заборкой.



— Ну вот. И Лизка, глупая, пятьдесят рублей выкинула. Ей-то бы уж совсем незачем. Не много зарабатывает. Галстук красный вывесили на дом, и ладно...

— Пушай,— миролюбиво сказал Михаил.— Такой день...

— Да ведь деньги-то не щепя — на улице не валяются. А тут на днях налог принесли.

— Налог? — Михаил озадаченно посмотрел на мать. До сих пор налоги обходили их стороной.

— На тебя выписан.

Михаил затянулся, шумно выпустил дым.

— Не забыли. Мне когда восемнадцать-то? Через две недели?

— То-то и оно. Я уж говорила Анфисе Петровне. «По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет».

Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони при- тушенный окурочек, остатки махорки ссыпал в железную баночку.

— Ничего. Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр, на лесопункт, думаю проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кой-какой паек на иждивенцев положат. Опять же мануфактура...

Тут на крыльце часто-часто затопали ноги, дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лизка, а в следующую секунду она уже обни- мала брата за шею.

— Мне как сказали, что у вас хозяин приехал, так я лечу — ничего не вижу. Танюха сзади: «Лизка, Лизка, стой!..» Ладно, думаю, не кошелек с деньгами — не потеряешься.

Вдруг Лизка нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней.

— Где девка-то? Бессовестные! Ребенка бросили. А ну марш за ней!

Вот за эту распорядительность да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери — на Лизке держится семья, когда его нет дома.

Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, при- встав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая, льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном... В остальном ничегошеньки-то для своих пятнадцати лет. Как болотная сосенка-заморыш...

И, словно угадав его мысли, Лизка живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо присыпанное желтыми веснушками у зеленых глаз, слег- ка порозовело.

— Что? Как кошей страшный, да? — спросила она прямо.— Лад- но, не всем, как Раечка Федора Капитоновича. Кому-то и мощой надо быть.

И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру.

— Мама, ты чего не шьешь, не порешь? — начала, не мешкая, рас- поряжаться Лизка.— Самовар будем греть или баню затоплять?

А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую, в три ручья заливающуюся слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята.

Михаил услышал, как она нашептывала Татьянке на ухо:

— Подойди. Скажи: «Здравствуй, Миша. С приездом». Да за шей- ку его.

Татьянка заупрямилась, и Лизка моментально рассердилась:

— Ну еще, волосатка! Никогда больше не возьму на телятник. Си- ди дома.

— А вот посмотрим, что она сейчас запоет...— Михаил подтащил к себе корзину.

Рот у Татьянки сразу встал на свое место, а Петька и Гришка — те просто выросли на глазах.

Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лизке.

— Это тебе, сестра.

— Мне? — Лизка часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок.

Михаил отвернулся, начал шарить банку с махрой.

— Ну дак не реви, не взамуж отдают,— сказала мать, сама не в силах удержать слезы.— Чего надо сказать-то, глупая?

Лизка, крепко, обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье.

— Ну, ну, успокойся, сестра,— пробормотал Михаил.

— А мне? — требовательно топнула ногой Татьяна, готовая вот-вот снова разреветься.

— Хватит и тебе. И мать, может, чего для себя выкроит. Восемь метров.

Вслед за тем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве, с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой.

— Ну-ко, сестра, примерь.

— И это мне? — еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались — и двойнята, и мать, и даже сам Михаил.

Тут же, не сходя с места, Лизка села на пол и начала стаскивать с ног старые — заплатка на заплате — сапожонки.

— Ты хоть бы обнову-то не гвоздила,— сказала мать и взяла у нее с коленей ситец.

— Ботинки-то, наверно, великоваты, — предупредил Михаил.— Не было других. Три пары на весь колхоз дали.

— Ладно, из большого не выпадет. Чем-чем, а лапами бог не обидел.

В избе заметно посветлело, когда Лизка, неуверенно, с осторожностью ступая, раза три от порога до передней лавки прошла в новых, поблескивающих ботинках.

Не были забыты и ребята. Для них Михаил — Егорша уступил ему свои промтоварные талоны — привез синей байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку — целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, — тут они взволновались не на шутку и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола.

Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька.

— Он уж знает, когда прийти. Как зверь, еду чует...— заговорила было Лизка и осеклась, взглянув на старшего брата.

Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу.

— Ну, что скажешь? Где был?

Федька стоял, не шевелясь, с опущенной головой. На нем была та же рвань, что на остальных, и кормили его не по-особому, но веснушчатые щеки у него были завидно красны, а босые, уже потрескавшиеся ноги выкованы будто по заказу — крепкие, толстые, и пальцы подогнуты, пол когтят.

— Что скажешь, говорю? Ну? — снова, чеканя каждую букву, спросил Михаил.

— Отвечай! Кому говорят? Где был? — опять не выдержала Лизка.

И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, леденистые, и вдруг эти ледышки вспыхнули: хлеб увидели.

Вот и потолкуй с этим скотом, — вздохнул про себя Михаил, — когда у него брюхо наперед головы думает. Да и не хотелось ему портить праздник — не часто-то он у них бывает. И он, к великой радости матери и двойнят, которые болезненно, до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой.

У ребят дыхание перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства.

Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука — ни единой крошки не упало на стол.

Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам — век бы только и делал это, — затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки.

Танюшке — пайка, Петьке — пайка, Гришке — пайка, Федьке...

Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе.

Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась:

— Ты хоть бы понемножку. Они хоть сколько смелют.

— Ладно. — Пайка со стуком легла перед Федькой. — Пусть запомнят победу. — Михаил поднял глаза к отцовской карточке. — Это мне начальник лесопункта Кузьма Кузьмич подбросил буханку. Уже перед самым отъездом. «На, говорит, помяните отца. Вместях раньше работали».

Мать и Лизка прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьяна и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.

Слово «отец» им ничего не говорило.

#### 4

После чая Михаил разобрался с бритьем (он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы), мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лизка побежала к Ставровым.

Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну, чуть ли не с весны сорок второго года. Они держали на паях корову, обща заготавливали сено, дрова, выручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины, но и Степан Андреевич не оставался в накладе. Анна и Лизка обстирывали и обмывали его с внуком, держали в чистоте их избу, и хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали.

Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло словянное солнышко, и далеко, на пекашинских озимях, кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, — отменила про себя Лизка.

Она бойко вышагивала по унылой, твердой, как камень, дороге — ни одной еще травинки не было на лужайках — и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось ей, будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь, и по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребята: «Ма-а-ма-а, умираю...» Какое это счастье, что у них такой брат!

Степан Андреянович затоплял печь. Красные отсветы играли на его бородатом лице. Наверно, что-нибудь для Егорши варить собирается, догадалась Лизка.

— А, невеста пришла,— сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги крест-накрест, в зубах самокрутка.

Лизка хмыкнула:

— Невеста без места, жених без штанов.

— А вот и в штанах,— рассмеялся Егорша.

— Хватит тебе зубанить-то,— одернул его Степан Андреянович.

Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменял:

— Ну, что Мишка делает?

— Что делает! Он без Мишки-то часу прожить не может. Не ты — без дела не лежит. Я пришла сказать,— обратилась Лизка к Степану Андреяновичу,— баню-то не топите. Мы топим.

Она цепким, бабьим глазом обвела избу.

— Ну-ко, я хоть маленько приберу у вас.

— Брось, Лизавета,— сказал Степан Андреянович.— Сами с руками.

Но Лизка уже смачивала под рукомойником веник. Затем, подметая пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол.

— У тебя есть чего?

Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати.

— Вон мой чемодан. Доверяю.

В задосках загремела кочерга.

— Мог бы и сам достать. Рановато барина-то из себя показывать.

Егорша нехотя спустился с печи — босиком, в белой нательной, давно не стиранной рубаше с расстегнутым воротом и выпущенным подолом,— зевнул, потягиваясь.

— Лежать-то тоже надо умеючи.— И подмигнул Лизке: — Одна баба лежала-лежала — ногу отлежала. На инвалидность перевели.

Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смала Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчушку. Бывало, взрослые начнут зубанить — жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы — мягкие, трепаные, как ворох ячменной соломы. Но за три года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого — сам первый похабник стал. Глаз синий в шелку, голову набок, и лучше с ним не связывайся — кого угодно в краску вгонит.

К деду Егорша переехал в сорок втором году, после того как мать задавило деревом на лесозаготовках. Степан Андреянович завел было разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее в Пекашине все и в глаза и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил: к отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда.

— Со мной, брат, не шути,— говорил он, довольный своей выдумкой.— У меня, как у барона, двойная фамилия.

Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшом воды из ушата, напился.

— По последней науке, говорят, ведро воды заменяет сто грамм.

— Чудо горохово! Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял.

— Так, так его,— поддержал Лизку Степан Андреянович.

Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лизку свой синий глаз с подмигом:



— На, стирай лучше. Когда-нибудь из сухаря выведу<sup>1</sup>.

— Больно-то мне надо!

— Ну, ну, не зарекайся. В клуб-то нынче ходят?

Степан Андреянович, сливая в чугунок воду, покачал головой:

— У нашего Егора одно на уме — клуб.

— А чего! Война кончилась — законное дело. Кто теперь играет? Раечка?

— Она когда в балалайку побренчит, — сказала Лизка и вдруг рассердилась: — Да ты думаешь, у нас тут только плясы и на уме?

Егорша опять зевнул.

— Я не про тебя. Я про девок.

Слыхала, слыхала она от этого злыдня кое-что и похлестче — за словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреяновичем, хлопнула дверью.

## 5

Дома шла стрижка — обычное дело в день приезда старшего брата. Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой.

Федьке приходилось туго: ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснушчатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул.

— Что Егорша делает? — спросил Михаил.

Лизка всплеснула руками:

— Да вы что — сговорились? Тот: «Что Мишка делает?» Этот: «Что Егорша делает?»

Она взяла под порогом веник, запахла в кучу ребячьих волосы.

— Ты ничего не слышал?

— Нет. А что?

— Старовер приехал.

— Какой старовер?

— Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит, у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До Лиственничного бора на «Курьере» шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, покуда паром дрова возьмет.

За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина. Конечно, с согласия правления колхоза.

— Сиди! — зло потрянул Михаил заворочавшегося Федьку.

Наскоро оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу.

На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было.

Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае и обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем.

<sup>1</sup> «Вывести из сухаря» — значит пригласить девушку на домашней вечеринке или в клубе танцевать

Да, но бабам-то рот не заткнешь,— подумал Михаил.— Начнут теперь вздыхать да охать. Вот, скажут, какие нынче люди пошли. Подошел Евсеюшко к своему домику, а там не то что избы — бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе. Каждому прохожему видно.

Михаил сплеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно, на все пуговицы, застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея.

У Марфы Репишной Пряслины каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, морозили тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Оконьшки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша — золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь: будто из зимы в лето попадаешь.

На этот раз травяной запах заглашала смола: Евсей щепал лучину.

Ловко, красиво сбегал с полена тонкий розовато-белый ремень. Как живой: чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь. А когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу: а ну-ко, скажи, друг-приятель, на что ты пригоден (знакомая Михаилу привычка). и бросил отдельно, в сторону от растопки,— надо полагать, для дела.

Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он его себе, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека, раз столько в лагерях отбухал, а тут — держите ноги: пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики, в рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины, и голова тоже медная, в скобку острижена, подрубом.

Потом, правда, Михаил разглядел: старик. И рука правая в трясушке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно — впечатление засмолевшего, забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось.

— Чей это молодец-то будет? — спросил Евсей у Марфы.

Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков недоставало, а после смерти мужа она и совсем ослабла головой.

Михаил назвал себя.

— Ивана Пряслина сын! — воскликнул Евсей. Он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой.— Господи, Ивана Гавриловича сын... Михайло Иванович — так, кабыть? Вот как, вот как время-то идет, робятушки! Давно ли Иван Гаврилович сам молодецвал, а тут такой сын. В отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом посветлей был.— Евсей опять, поохав, повздыхав, сел на лавку.— А меня-то помнишь? — спросил он, и вдруг в мокрых шелках его вспыхнули любопытные, по-ребячьи лукавые огоньки.

Михаил отрицательно покачал головой.

Огоньки потухли.

— Где помнить. А я вот тебя запомнил. Бывало, все к моим ребятам бегал. Вот такой махонькой.— Евсей показал рукой.

Михаилу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот, живших когда-то неподалеку от них на задворках. Старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего — это он хорошо помнит — было прозвище Тяпа. Ребятишки бедному Тяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухваты, ноги, не давали житья. И Михаил тоже гравил его:

— Тяпа, Тяпа, не упади!..

А Тяпа не отвечал. Тяпа, казалось, не замечал этих обидных выкриков. И все катился да катился себе мимо, как колобок. И, как колобок, улыбался своей светлой, кроткой улыбкой.

— Нету, ни которого нету в живых. Оба убиты — и Гаврило и Алексей,— вздохнул Евсей.— И у тебя родитель, сказывают, остался там?

— Остался.

— О господи, господи! Сколько народушку побито. Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая?

— Шестеро, кроме меня.

— Ох, Михайлушко, Михайлушко! Ну дак тебе досталось. Взвалила война на твои плечи ношу...

Михаил встал.

— Я насчет бревен зашел сказать. Это я увез их с твоей избы.

Евсей отмахнулся:

— Что ты, бог с тобой, Иванович. Не ты начал рушить мое строенье, не ты кончил. Сеструха <sup>1</sup> Марфа Павловна пригрела меня, и слава богу.

— В общем, так,— сказал Михаил.— Мне чужого не надо. Нарублю и отдам

— Нету чужих, Михайлушко. Все люди родня. А мы с тобой еще родники по крови. Не слыхал? Так, так. Спроси у старых людей. Старые-то люди помнят. Мой-то отец да мать твоего отца — бабушка тебе — троюродными братом да сестрой доводились. Отец у тебя помнил. Бывало, выпьет, дядей назовет. Ничего, шибкой был, а худого слова не скажу. Обходительный со мной был...

В избу вошла запыхавшаяся Лизка.

— Вот где он! Я по всей деревне ищу, а он как не знает, что баня поспела.

— Сестра тебе? — спросил Евсей.— Как звать-то?

— Лизаветой,— сказала Лизка и хмуро, почти враждебно посмотрела на Евсея.

— Так, так,— ласковой улыбкой ответил ей Евсей.— Лизавета Ивановна, значит. Характером-то, кабыть, в бабуку Матрену Прокопьевну. Счастливая будешь.

Михаил с каким-то смутным и непонятно-тревожным чувством вышел на улицу.

## Глава вторая

### 1

Эх, жар-суховей, пар — береза на спине!

В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукоток стоит за колодцами, у болота (там банный ряд): трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке и бух-бух в снежный сугроб или в озерину.

И в войну не забывали баню. в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, и твоя оборона от всех болезней и хворостей?

Пряслинская баня была приметна не сама по себе — какие же особые приметы у черной бани? Она была приметна кустами — двумя черемшинами и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцев.

Летом — что и говорить — приятный дух от черемшинок, но если бы эти кусты не были посажены отцом, Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят — вот что такое эти кусты. Особенно чере-

<sup>1</sup> Двоюродная сестра.

муха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее, а раз пацан возле бани — не бывать стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке пряслинской бани вечно торчит веник.

— Алё? — подал голос Михаил, входя в сенцы. — Есть жар?

— Есть, наверно. Мне с этим жаром-паром не на луну лететь, — замысловато ответил из бани Егорша.

В бане из-за веника в оконце было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напоминал березовый кряжик. Михаил против него был мужик. Кожей смуглый — в материн род, а всем остальным — и костью и силой — в отца.

Горбясь под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки — хорошо накалена! — и зашуршал березовым веником.

Егорша панически приподнялся на полку:

— Ты что — опять будешь устраивать Африку?

— Да надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо правое ломит — надуло, наверно, на реке.

— Ну, тут наши пути-дороги расходятся, — сказал Егорша.

— А ты знаешь, кого я сейчас видел?

— Кого? — спросил Егорша, слезая с полка.

— Попа!

— Какой это к хрену поп! Дурак старый — вот кто.

— Да ты знаешь, о ком я?

— Знаю, — невозмутимо ответил Егорша.

Оказывается, Егорша еще раньше его, Михаила, видел Евсея Мошкина, ибо по дороге домой от реки он завернул в правление — узнать, как и что тут делается, в Пекашине, — и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом.

— Почему с так называемым? — запальчиво возразил Михаил. — Я еще ребенком был, помню, его попом называли.

— По глупости.

— А за что же тогда его пятнадцать лет катали в лагерях, ежели он не поп?

— Потому что осел на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: брось, говорят, Евсей, всю эту музыку. Не мути народ. Новую жизнь строим и все прочее... А он, пень упрямый, свое. Ну и гуляй до лагерей. А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?

— Хм... — сказал недоверчиво Михаил. — А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил.

— Чего знаю? Это что его в лагеря-то закатали из-за своей дурости? Да уж знаю... — Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: — Нет, это не поп. Такой же Ванек пекашинский, как все прочие. Только мозга еще больше набекрень. Нет, вот я был в прошлом году в Архангельске — это вот да, поп. Идет по улице, сарафан черный до пят — рясой называется. Я еще сперва подумал: баба. Нет, говорят, поп...

Михаил, приспособивая к короткому полку свои длинные ноги, попросил:

— Плесни маленько.

Каменка загрохотала, как пушка. Сухой, каленый жар придавил Егоршу к полу.

— Между прочим, — заговорил он немного погодя снизу, — религия эта много денег на войну собирала...

— Подбрось еще ковшик! — оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот этим поучающим тоном.

— Ну, ты и зверь! Скоро, как мой дедко, в рукавицах хвостаться будешь.

— Давай-давай.



— Да мне-то что — жалко? Вода еще не по карточкам. — Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь, в сторону. — Господи, благовослови...

Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям.

— Ну тебя к лешему! Я еще не грешник, чтобы в таком аду жариться. Пошел на водные процедуры. Идешь?

— Говорю, у меня простуда.

Михаил повернулся на бок, прошелся веником по спине, потом, упершись ногами в каленые потолочины, еще раз похлестал колени (с осени сорок второго года, с той самой поры, как он пошел в лес, поскрипывает у него в коленях) и наконец, совершенно обессиленный, выпустил из рук обтрепавшийся веник.

С улицы донесся женский визг, хохот — не иначе как Егорша на кого-то напоролся нагишом, — затем немного погодя за стеной у болота раздался всплеск воды — Егорша нырнул в озерину.

Михаил поспешно слез с полка, кинул жару.

— Ух, ух! — с суматошным криком ворвался в баню Егорша. — Вот теперь и нам подавай градусов.

Щелкая зубами, он с ходу вскочил на полок, замолотил ногами.

— Веник дать?

— Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю.

— Ты чего это там разорялся? — спросил Михаил, устраиваясь для мытья на чурачок против оконца.

Егорша захохотал.

— Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ах, ох! Да... Вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться.

— Че-го-о?

— Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошади: у каждой свой норов.

— Дурак! Она насколько тебя старше? Мы сосунки против ей.

— Ты баб не знаешь, — спокойно возразил Егорша. — А они, которые в годах, любят молоденьких. Уж я-то знаю.

— Скажи какой знаток!

— Ладно. Ты про аппетит слыхал?

Михаил улыбнулся: сейчас Егорша расскажет какую-нибудь пакость — на всякий случай у него анекдот да притча.

— Так было дело. — Егорша поворачивается к нему лицом. — Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ей и то и се, всяких там продуктов-пряников в лавке закупит — до войны дело было, — полный стол наставит. Ешь, жена, чего хочешь. Не ест. Как кобыла худая морду от сена воротит. Ну, что ты будешь делать! Вот так-то раз поутру, часов в восемь, угощает муж жену. И опять то же самое: опять не хочу, опять аппетита нету. А мужику за дровами ехать надо, лошадь в упряжке под окошком стоит. «Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди, подожди. Должен появиться аппетит». Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала: сидит у стола, ждет, когда появится аппетит. А гут откуда ни возьмись — солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват, с царской службы домой пробирается. Жена, ну, эта самая Авдотья, увидала — «слышь-ко, говорит, тебя, говорит, не Аппетитом зовут?». А солдату все едино — как ни назови. «Аппетитом». — «Да, я же, говорит, который день тебя жду. Заходи скорее... Ну, после полудня возвращается муж с дровами. Рад-радехонек! На столе ни крошки, и жена веселая. «Что, говорит, был у тебя аппетит?» — «Был, говорит. Поезжай скорее по сено. Он на ночь обещался прий-

ти»...— Под смех Михаила Егорша закончил: — Видишь, когда еще баба аппетитом маялась. До войны. При живом муже. Соображаешь теперь?

— Сукин ты сын! — сказал Михаил. — И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем.

— А что?

— Как что? Война кончилась, а дальше?

— Тю, нашел о чем горевать. Не беспокойся. Там, наверху, большие мужики газеты читают...

— Да я не про то. Как ты не понимаешь! Вот, к примеру, ты. Я бы на твоём месте учиться мотанул, честное слово.

— Мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено.

— Болван! У меня сколько на шее? А у тебя один дедко, да и с того еще ты тянешь...

Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил:

— У меня задача покамест такая — добыть серп с молотом. А дальше поглядим, что и как.

— Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло.

— И сейчас не тянет.

— Дак чего же?

— Мне надо такой серп и молот, — сказал Егорша, потягиваясь, — у которых крылышки. Чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел.

— А, ты вот о чем, — догадался Михаил. — Про паспорт. Не знаю. Сосны да ели и без паспорта нас признают.

— С колхозным леском покончено, — сказал Егорша.

— Это кто тебя отпустит?

В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра, потом Лизкин голос:

— Есть ли жар-то?

Егорша живо приподнялся на полку, заорал:

— Лизка! Потри спину!

— Я те потру. Батогом суковатым. Подойдет?

Когда в сенцах все заглохло, Михаил рьяно, исподлобья поглядел на Егоршу, коротко бросил:

— Ты говори, да знай с кем.

— Ну еще, нельзя и пошутить.

Лизка снова вернулась в сенцы.

— Я из-за этого зубана забыла, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся. В субботу вымоешься.

— Ну вот, — сказал Михаил и невесело усмехнулся. — Не успел одну грязь смыть — другая ждет.

— Да, — сказал Егорша, — колхозная жистянка известна: из одного хомута да в другой. Нет, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят. Баран и тот, понимаешь, башкой иногда крутит, а мы что... Царь природы...

## 2

Приход председателя на дом да еще в день приезда из лесу ничего доброго не сулил — Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело: либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо — семенами у соседа разжились — мотай срочно за семенами... Одним словом, выручай, Михаил. И потому он мрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну, сидевшую на передней лавке с Татьянкой на коленях.

Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его. Анфиса Петровна послала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо (только что, с сегодняшним пароходом), и та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью — на складе работает.

— Я думаю, такой случай упускать нельзя,— заключила Анфиса и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него.

Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой: конечно, нельзя. И масло и мазь позарез нужны колхозу. Ведь за эти годы чем-чем только они не смазывали свои немудреные машины! И дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет воню.

— Поезжай,— говорила Анфиса Петровна.— Заодно и город посмотришь. Я вот до сорока годов дождала — ни разу не бывала.

Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать — дел дома куча. А главное — с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела и это — выписала двенадцать кило жита<sup>1</sup>. Фуфайка страшная, стыдно на люди показаться, как говорит мать? Пожалуйста. И этой беде можно помочь. Найдется фуфайка, заверила Анфиса Петровна, и даже костюм Григорьев можно попримерить.

Михаил решил — раздумывать некогда, «Курьер» приходит сверху рано утром.

— Мати, затопляй печь! Лизка, неси мешок!

На колхозный склад он влетел разгоряченным жеребцом — только что не заржал: глаза горят, грудь как мехи кузнечные, и сила такая — все сворочу!

— Из какого мешка? Говори!

Варвара указала на дальний угол.

Михаил затопал — половицы завизжали. Мешок — немалый — поднял играючи, пропер к весам без передышки.

Варвара ахнула:

— Ну, какой ты мужичина стал!

— Растем! — отшутился он. — И ты девкой стала.

— Да, верно что девкой. Опять замуж можно выходить. — И расмеялась невесело.

А вообще-то молодец баба! Терентия убили в прошлом году, а кто слышал от нее стон? Правда, женки вписали ей это в строку: сердца нет. А может, она назло всем чертям так делает? Слезу пускать да реветь — это каждый умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается.

Рот у Варвары красивый, белозубый, смехом налит — нету такого другого рта в Пекашине. И, глядя на ее моложавое, высветленное вечерним солнцем лицо, Михаил вдруг вспомнил давешние слова Егорши. Придумает же, сукин сын!

— Ты чего это развеселился? — спросила Варвара и снизу, от весов, посмотрела на него.

— Да так...

— Знаю, знаю, что у тебя на уме. Я еще тогда — помнишь, в поле ты Дунярку высматривал? — сказала себе: быть моей племяннице за Мишкой! Ух и погуляем на свадьбе!

— Иди ты к черту!

Он ткнул карандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном. Варвара, довольнехонька, засмеялась (первое это удовольствие для

<sup>1</sup> Житом на Севере называют ячмень.

нее — вогнать человека в краску), а когда он был уже на улице, окликнула. Подошла, роясь в брезентовой сумке, — начальство, завскладом!

— Ты вот что мне. Чулки городские да подвязки на резинке привези.

Михаил ошалело попятился назад.

— Ну-ну, — совала Варвара деньги со смехом, — привыкай. А сам не можешь, Дунярку или Онисью попроси. Там, на рынке, говорят, всякой всячины.

Пришлось принять деньги — дьявол с ней, пускай наряжается.

## 3

Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил задворками либо подгорьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь — каждый раз с боем и она сама, и ребята попадают в избу, а у третьей и того срочнее дело — потолок «заходил» над столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка — наводит разруху на деревне — кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили — пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы.

И то же самое сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу да подумал, не лучше ли повернуть обратно, на задворки, — стоп: Окуля Зубатка. Выстала с топором на самом углу — расклинь топорщице.

— Давай в другой раз. Я в город еду.

Окуля что-то забормотала себе под нос — насчет совести, насчет того, что она ведь незадаром просит.

И тут Михаил понял, на что намекает Окуля. На то, что он ее должник. В прошлом году травяного настоя брал от скрипа в коленях.

Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой сквалыжине всякой работы переделал — и избу перекрывал, и две весны участок пахал, — а тут про какой-то травяной настой вспомнила!

Но дьявол с тобой — давай сюда топор.

Вот так и пошло. У Окули топор, у Дуни Савкиной крыша — еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу.

— Нет-нет, не могу сейчас! — замахал он руками еще издали. И — мимо.

А Петр Житов не Дуня Савкина — мимо не проскочишь. Петр Житов кого угодно по стойке «смирно» поставит. Ежели не горлом, то своим протезом. Криком кричит у него донельзя разношенный протез.

— Мишка, это правда, что ты в город едешь? Дак вот, мальчик, поручение. — И далее Петр Житов усадил его на крыльцо и начал обстоятельно втолковывать, где и как разыскать в городе протезную фабрику. Срок носки протеза у него вышел еще год назад — и почему никакого внимания к инвалиду Отечественной войны? Неужели он, Петр Житов, не заслужил железной ноги?

Еще хотела заарканить его Раечка Клевакина. Раечка выбежала с маслозавода:

— Эй, приворачивай! Машина сломалась!

Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размололась — старый, одного года рождения с колхозом сепаратор, — но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала.

В прошлом году завозились на пожне бабы и девки, штук пятнадцать навалились на него сразу — где тут справишься? И вот чтобы хоть как-то выйти из положения (позор — бабы выкупали!), Михаил уже



в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом: «Эх, уж ежели тонуть, то тонуть только с Раечкой!»

И, наверно, понравилось Раечке их совместное купанье — с той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза, даже с Лизкой завела дружбу, чтобы заходить к ним домой.

Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая — зимой в самый лютый мороз в одном платье выбегает с маслозавода дрова колоты. И не жадная — даром что дочь Федора Капитоновича.

Но только ему-то, Михаилу, на кой она ляд сдалась. Разве он променяет когда-нибудь Дунярку на Раечку? Да хоть тысячу Раечек выставь сразу, все равно не получится одной Дунярки.

С Дуняркой они виделись за эти годы раза три, не больше. И то на лету, мимоходом. Потому что Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он по неделям безвыездно жил на дальних сенокосах или трубил опять на сплаве, далеко, далеко, за десятки и сотни километров спускаясь с багром вниз по Пинеге.

Но была у Михаила одна вещица, которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой, — платок, маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками. Этот платочек Дунярка стыдливо сунула ему на поле в сорок втором году, накануне своего отъезда в техникум, и с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. А как-то раз он забыл его дома в кармане верхней рубахи, которую бросил в стирку. И вот поскакал домой обратно. С сенокоса. За пятнадцать верст. Ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире. Ни чужие, ни свои, домашние. И даже Егорша, хоть он и первый друг.

## 4

Лизка — молодчага, не сидела сложа руки. Пока он ходил за жито, она заново подтопила печь, и зерно сразу же высыпали на противни, поставили в печь на просушку.

Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сени: в каком состоянии мельница?

Жернова он поставил у себя в прошлом году — надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было, все больше по догадке, на ощупь делал, из стариков тоже никто толково не мог подсказать (Архип Иняхин, знаток по этой части, умер год назад), и мельница получилась так себе — постоянно что-нибудь ломалось. Да и мельников развелось слишком много, весь верхний конец крутил Михайловы жернова, а ведь известно: у каждого мельника своя рука, свой нор — вот и поломки.

Нынешняя поломка, к счастью, оказалась небольшой — соскочил железный обруч с верхнего жернова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жернов и обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья — крепь, как известно, ненадежная: **чуть** дерево усохло — и заходил обруч, а то и вовсе слетел с жернова.

— Светите лучше, — сказал Михаил, передавая лучину двойнятам.

Березовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч.

Оставалось еще два дела: похлопотать насчет одежки (может, и в самом деле подойдет костюм мужа Анфисы Петровны) и заскочить к Лобановым.

Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче, кажется, зуб вырвать, чем зайти к Лобановым. У кого по нынешним временам нет покойника в доме, а у Лобановых целых три. И все свежие. Все сорок пятого года. И еще один сын пропал без вести — тот, у которого жена в городе.

Было поздно, солнце уже зашло, и у Лобановых ложились спать. На полу, как страдой в сенной избушке, некуда поставить ногу, вповалку ребятишки и бабы, и Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хомутом сидел старик.

— В город еду. Чего невестке накажешь?

Трофим то ли не расслышал, то ли на уши легли похоронки, часто замигал — раньше у него тоже миганья не было.

— В город, говорит, еду, — громко прокричала ему на ухо Михеевна. — Спрашивает, чего Онисье накажешь.

— Ах, в город... — Трофим опять захлопал глазами. — Скажи, чтобы с места не сбивалась. Вот мой наказ. Пушай не выдумывает: домой хочу. — Старик помолчал, кивнул на пол. — Сам видишь...

Выйдя от Лобановых, Михаил свернул сигарку и, высекая искру, по давнишней привычке посмотрел на запад, в ту сторону, где был Архангельск.

Густо горел закат, темное, иссиня-чугунное облако плавилось в его багровом пожарище. А над облаком, над самой вершиной его, нежным, неземным светом лучилась первая звездочка.

Михаил загадал: если облако не задавит звездочку, покамест он идет до дому, — значит, в городе его ждет счастье.

Дома мололи — каменный грохот сотрясал приземистую избу, поветь, двор. Щели в воротах на крыльце были красные от лучины, и вкусно, как на мельнице, пахло теплым, размолотым зерном.

Михаил поглядел на запад. Звездочка была на месте. Чистой серебряной каплей переливалась она над рваной кромкой чугунного облака.

### Глава третья

#### 1

Долго, два с лишним года, холодала кузница у болота. С тех самых пор, как взяли на войну Николашу Семьи́на. Разве только налетами, когда уж очень припирало, хозяйничал в ней Мишка Пряслин. А вот теперь кузница нараспашку — издалека, с передней улицы видно пламя. И кузнец — залюбуешься: Илья Нетесов. По-солдатски, сплеча бьет молотом.

А в остальном — что изменилось в остальном? В Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян, по-прежнему дохла скотина от бескормицы и по-прежнему, завидев на дороге почтальоншу Улю, мертвели бабы: война кончилась, а похоронные еще приходили.

Сев из-за холодов начали поздно, как раз в то время, когда из малых речек выпустили лес. Из района полетели телеграммы, звонки — все, как раньше:

— Минина, Минина... Людей давай... Минина, Минина... Мать тебя так...

Анфиса огрызалась, на брань отвечала бранью (научилась за эти годы лаяться с районщиками), а потом за плуг сама встала, на все — и на звонки, и на телеграммы — махнула рукой. И так было до тех пор, пока в Пекашино не нагрянул сам.

Сам — это первый секретарь райкома Подрезов, сменивший Новожилова осенью сорок второго года. У Новожилова рука была мягкая, из-за нездоровья по району ездил мало, а этот — где заминка, там и он. И его не проведешь. Тутощний. На деревянной каше вырос. Пинегу выбродил с багром в руках чуть ли не от вершины до устья и людей знал

наперечет. За это Подрезова любили и уважали, но и боялись тоже. Уж как боялись! Уж если Подрезов возьмет кого в работу — щепка летит.

Анфиса вбежала в правление — на ногах пуд грязи, вся в пыли, черная, как холера: не до переодевания, когда сам вызывает.

Подрезов был не один — с Таборским, начальником райсплавконторы, и Анфиса сразу решила: насчет сплава приехали.

Ошиблась.

Подрезов заговорил с себе.

— Пашем помаленьку, — сказала Анфиса.

— А почему не побольшеньку? — Тут черная хромовая кожанка, известная в районе и старому и малому, закрипела, и Подрезов поднял на Анфису свои холодные, зимние глаза.

— Побольшеньку-то, Евдоким Поликарпович, будем, когда фронтовиков дождемся. Тогда развернемся.

Подрезов не принял ее нечистую, занскивающую улыбку. Лицо его, крупное, скуластое, будто вытесанное из красного плитняка, оставалось неподвижным.

— А как у тебя с глазами, Минина?

Анфиса, бледнея, посмотрела на Таборского (тот все еще красными, озябшими руками обнимал печку): о чем он? с какой стороны ждать ей нагоняя?

— Как, говорю, насчет зрения? За версту еще видишь?

Вот тут Анфиса сразу поняла, куда гнет секретарь: Худой берег в версте от Пекашина, и там на днях обсох лес.

Она начала оправдываться: не колхоза это, дескать, вина. Сплавщики виноваты. Они бона ставили.

— Ты, Анфиса Петровна, с больной головы на здоровую не вали. Знаем твою политику.

Подрезов, не глядя на Таборского, махнул рукой: не лезь, когда не спрашивают. И опять его вопрос Анфису сбил с толку:

— Почему не вижу тут Мошкина? — Подрезов поднял со стола список колхозников — трепаный-перетрепанный серый лист, так как каждый районщик, приезжая в колхоз, начинал свое дело с изучения этого списка.

— Это вы про Евсея?

— Про него самого.

— А он не колхозник.

— А бревна катать только колхозникам разрешается? Или ты его для старух бережешь? Смотри, Минина, не вздумай скит староверский развести.

Подрезов вырвал из блокнота листок бумаги, записал карандашом: Мошкин Е. Т.

— Еще кого даешь?

Тут в контору вошли Илья Нетесов и Михаил Пряслин — и кончилась стужа: Подрезова будто подменили.

Встал, тому руку, другому — сразу обе протянул, затем выставил на стол большую банку с самосадам (сам не курил, но табак с собой возил), и глаза — лазурь июльская. Умеет, умеет людей брать с ходу. Кого битьем, кого лаской гнет.

— Ну, как обживаешься, солдат? — обратился Подрезов к Илье.

— Спасибо, товарищ секретарь. Не обижаюсь.

— Мешок цел еще. в котором принес Победу?

Илья смутился, дотронулся рукой до жидких соломенных усов — большой мужицкой рукой, уже успевшей зачернеть в кузнице, — одернул солдатскую гимнастерку с медалями и орденами. А вообще-то Илья мало походил на того лихого война-победителя, каким рисуют его на

плакатах. Лицо широкое, мягкое, туловище в наклон — не распрямила война. Топор да пила (а кто больше его в Пекашине помял лесу?) оказались сильнее. Но что правда, то правда: Илья Нетесов был первый солдат, который вернулся в район вскоре после победы. Об этом даже в районной газете писалось.

— По существу твой солдатский мешок надо бы в музее хранить, — продолжал Подрезов. — Да у нас такового покуда нету. Да, нету. А неплохо бы заиметь. У Пинеги есть кое-какая история, и немалая... — Подрезов расправил плечи, снова сел за стол. — Так-так. Значит, армия претензий к нам не имеет. Ну, а у нас к армии претензия. Председатель на тебя в обиде. — Тут Подрезов и на Анфису покосился игриво. — Нетесов, говорит, значения сплава не понимает.

— Нет, отчего же...

— А ты, Пряслин?

Михаил усмехнулся: какой дурак будет отказываться от хлебной работы?

— Так что же это получается, Минина, а? Колхозники, выходит, сознательнее председателя. Так?

Это была нечестная игра, с подножкой. Но Анфиса смолчала. Теперь-то она понимала, зачем были вызваны Илья и Михаил. Чтобы проучить ее. Руками народа, как говорили в таких случаях.

Когда Илья и Михаил вышли из конторы, Подрезов сказал:

— Ну вот что, Минина. Поиграли и хватит. Теперь, надеюсь, ясно, что к чему.

Он взял карандаш и начал выстукивать по столу — жест, за которым следовал или новый нагоняй, или окончательное решение.

— К вечеру всех выгнать к реке.

Анфиса побледнела.

— А как же сев?

— А ежели лес обсохнет, тогда что? Раненько демобилизовалась...

Все — разговор окончен. Раз Подрезов начал грохотать тяжелой артиллерией (демобилизация, антигосударственная практика, саботаж, близорукость — смысл этих слов хорошо был известен Анфисе) — зажми рот, не возражай. Правда, эти страшные слова полетят в нее и в том случае, если она завалит сев, но сейчас не время доказывать свою правоту. Сейчас ей оставалось одно — попытаться извлечь из сложившихся обстоятельств хотя бы маленькую пользу для своих колхозников. И она издали стала закидывать удочку:

— Холод в воде-то бродить. У людей обуви нету.

— Вот это уже дело говоришь, — сказал Подрезов. — Но обуви не будет. Нету. Будем обогревать изнутри. Сплавконтора, слышишь?

Таборский вытянулся.

— Сколько у тебя в наличии сучка?

— Не знаю, Евдоким Поликарпович... Может, литра полтора-два и наберется.

— Пять, — сказал Подрезов.

— Евдоким Поликарпович... — взмолился Таборский.

— Пять — и ни грамма меньше. Да смотри, не вздумай жулить — воды подливать. Я еще кое-что понимаю в этом деле. — Подрезов насмешливо блеснул светлыми глазами.

— И хлеба бы подкинуть надо, — продолжала цыганить Анфиса.

— Грамм пятьсот на нос подкинь. Нет, шестьсот, — поправился Подрезов.

— С хлебом не выйдет, Евдоким Поликарпович...

— Я, по-моему, ясно сказал. Шестьсот грамм на человека. — Подрезов встал. — Растяпа! Тебя люди выручают, а ты еще торгуешься...

## 2

— Идут! — крикнул Егорша и стремительно, как на лыжах, скатился с глиняного увала.

— Идут! Сам Подрезов впереди.

Сплавщики — пять парней Егоршиного возраста — быстро распинали костерик, у которого отдыхали, и, похватав багры, побежали к реке: Подрезов любит рабочее рвенне.

Вскоре на гребне увала, там, где стоял в дозоре Егорша, появилась хорошо знакомая плотная фигура в черной кожанке.

— Видишь, что ты натворила своей бабской прижимистостью, — сказал Подрезов Анфисе, указывая на курью. — А подбросила бы вовремя человек шесть, не было бы этой заварухи. Так?

Подрезов был прав. Вся курья под Худым берегом была сплошь забита лесом. Место это всегда считалось гибельным для сплава. Пинега, как лук, натянутая под Пекашином, сначала бьет своим течением в красную, почти отвесную щелью на той стороне, затем, оттолкнувшись от нее, с удвоенной силой обрушивается на низкий пекашинский берег за деревней. Поэтому курью каждый раз отгораживают от реки длинным бревенчатым боном. Поставили сплавщики бон и в этом году, но напор леса, выпущенного одновременно из нескольких речек, оказался так велик, что бон не выдержал — треснул, и бревна, как стадо баранов, хлынули в курью.

Анфиса привыкла к авралам за эти годы. И не предстоящая работа пугала ее. Но время? Сколько времени они пробьются с этой курьей? Хорошо, если суток двое-трое, тогда еще можно как-нибудь вытянуть сев. А ну как неделю придется топтаться на берегу?

Людей ждать не пришлось. Пайка хлеба подняла на ноги всю деревню. Даже учителя прибежали. Даже Петр Житов на своем скрипучем протезе прихрамал. И Анфиса подумала: «Ах, если бы такая приманка была и на севе». Но, конечно, она понимала: не в одной пайке дело. Подрезов, Подрезов с народом!

Видала она первого секретаря в работе. И в лесу с топором видела, и на сенокосе, и на сплаве — сколько раз с ним сталкивалась! А вот как умеет подать себя — каждый раз смотришь на него заново.

Подрезов не стал пороть горячку. Не закричал: «Эй вы, такие-рассяки! Давай, живо!» Наоборот — дал людям передохнуть, отогреться у костров, которые по его приказу запалили по всему берегу. И уже одни эти костры сразу приободрили людей: любо, весело работать, когда огонь под боком.

Но главный-то свой козырь Подрезов бросил позднее, когда вдруг начал снимать кожанку.

— Сам, сам будет! — восторженно зашептали вокруг.

К Подрезову тотчас же со всех сторон протянули багры: выбирай, какой по душе.

И начался выбор.

И опять-таки, ежели говорить всерьез, что тут особенного — выбрать инструмент, которым будешь работать? А у Подрезова это целая картина.

Первый багор, протянутый каким-то подростком, он забраковал, вернее, сломал: навалился всем телом на шест, и тот хрупнул.

От багра Михаила Пряслина Подрезов отказался сам: тяжеловат.

— Где мне с таким управиться! Ростом не вышел.

Сказано это было, конечно, специально для того, чтобы отличить парня.

Выбрал для себя Подрезов багор Егорши («Вот этот мне подой-

дет»), и Егорша чуть не заулюлюкал от радости: не каждый день услышишь такие слова от первого секретаря.

В общем, трудно сказать, как все это вышло, а только за каких-нибудь двадцать—тридцать минут Подрезов так накалил молодняк, что тот готов был ради него и в огонь и в воду. Да если правду говорить, то не только молодняк захватил подрезовский азарт. Он захватил и Анфису. А главное, ей тоже хотелось, чтобы Подрезов похвалил и ее.

## 3

Курью очистили от леса к концу следующего дня — ровно на сутки раньше, чем заметил Подрезов,— и это была такая радость, что бабы, несмотря на усталость (больше суток не спали), домой побежали ходко и говорливо.

В воздухе заметно потеплело, пахло забродившей землей, горелым навозом. Пряслинские ребята несли первую рыбу от реки — вязанку серебрястых ельцов. Но удивительнее всего были первые цветы. Много их, золотистых звездочек мать-и-мачехи, загорелось за нынешний день на взгорках, на межах, на закрайках полей, и девки и бабы помоложе на ходу срывали их, подносили к носу, а Груня Яковлева, с часу на час поджидавшая мужа-фронтовика, стала собирать из цветов букетик.

— Надо, бабы,— говорила она, улыбаясь и как бы оправдываясь.— Ведь он там Европы всякие освобождал — привык к цветам.

— А ты, Минина, чего отстаешь? — спросил Подрезов.

Когда Подрезов интересовался твоими домашними делами — верный признак того, что он доволен тобой. И Анфисе бы радоваться надо, а она быстро-быстро нагнулась, чтобы скрыть свою внезапную бледность, и только тогда глухо ответила:

— Он не скоро еще приедет...

В день Победы Анфиса получила две поздравительные телеграммы. И обе телеграммы кончались словами: «скоро увидимся». Первая телеграмма была от мужа, а вторая от Лукашина. И вот когда она поняла, что попала в круговерть...

Если бы она написала мужу еще в войну: так и так, мол, встретила человека, хватит, намытарилась мы с тобой,—ей бы не в чем было упрекнуть себя. Все по-честному. Не она первая расходится с мужем, не она последняя. Но как раз вот этого-то она и не сделала. Не хватило духу. Пожалела. Рассудила по-бабьи: пускай спокойно воюет. Потом разберемся...

И вот подходит время — надо разбираться...

Нет, не встречи с мужем она боялась. Не Григорию корить ее за измену. И даже если бы не вернулся к ней Лукашин, она знала: к старой жизни возврата нет. Но бабы, бабы... Что скажут ей бабы, с которыми она прошла через все муки войны? Поймут ли ее?

Нет, не поймут. «А, скажут, вот какая ты сука оказалась. Мы волосы на себе рвали, глаза все проплакали из-за того, что мужики наши не вернулись. А у тебя какое горе? Как от мужика родного отделаться? Да?»

## Глава четвертая

## 1

— В ресторане «Арктика» был? Попил пивка из толстой кружки? Не был? В ресторане-то? Да как же ты сумел обойти? Там ведь очередь — ой-ой-ой! — на километр. Мы еще едва в цирк не опоздали — целый упряг выстояли. Че-го-о? Ты и в цирке не был? И эту самую бабу

на львах не видел? Да ты что, едрена вошь! Н-да, съездил, называется, в город, подзаправился культуркой... Ну, уж футбол-то, я думаю, в глаза залез. Я в прошлом годе, даром что в натуре до этого не видел, сразу понял, с чем едят-кушают. Мужики, этакие лбы, в трусах напоказ бегают, публика орет, в ладоши хлопает: давай, давай! Со мной Кузьма Кузьмич был, начальник лесопункта,— глаза на лоб. «Егорша, говорит, да как же это? У нас, говорит, бабы всю войну без выходных вкалывают, а тут среди бела дня чуть не всем городом за мячом гоняются». Пони-маешь, какая дикость? Чё-чё? Ты и футбол не видел? — Егорша даже привстал: так изумил его ответ Михаила.— Да что ты там вообще видел? За каким хреном тебя туда носило?

— За мазью! Сказано тебе.

— За ма-а-зью... Пенек пекашинский! Ты что же, банки с мазью все время караулил? Надо же! Первый раз в городе — да не осмотреть все как следует. Псих! Ей-богу, псих. И на рынок не заскочил. Трудно? Просил ведь: зайди, купи зажигалку с девахой. Денег дал, обрисовал все как надо. Ежели у самого сообразильник работает с перебойями, Дунярку бы подключил...— Егорша сердито подбросил в костер две белых смолистых щепины, проследил глазами за искрами, полетевшими к небу.

Ночь была тихая и светлая. Не успел отыграть закат, как начал румяниться восток. По Пинеге густо, россыпью шел лес. Лобастые бревна, как большие рыбины, с глухим стуком долбили заново поставленный бон. Бон поскрипывал, вода хлюпала в каменистом горле перемычки. А на той стороне в сосняке задорно чufыркал косач, посвистывали рябчики и звонко-звонко — через реку — зазывали друг друга в гости легкие на подъём зуйки.

— Н-да,— уже другим тоном сказал Егорша,— никогда не слышал, чтобы в июне косач да ряб паровали. А все из-за холодов. Не отгуляли вовремя, ну и нажимают... А вон-то, вон-то! Шантрапа-то! — вдруг оживился Егорша, указывая на реку.— Эй, далеко ли без хлеба?

Вода на середине реки, малиновая от зари, была утыкана белыми флажками — плыли трясогузки. Каждая на отдельном бревне. Длинный хвостик вытянут в струнку, грудка развернута по течению.

— Куда это они? В Архангельск? — усмехнулся Егорша.— Вот какая у них серьезность на воде! А на земле вертлявее птички нету.

Михаил проводил глазами трясогузок до поворота реки и опять усталился в огонь.

— Ты чего? Совсем очумел после города? Какая там тебя муха укусила?

— Отвяжись! Сколько можно. Талдычит одно и то же.

Егорша с силой ткнул палкой в костер, встал, взял багор и начал спускаться к бону, который им поручили охранять до утра.

Мокрые бревна скользили под его босыми ногами, покачивались, но он быстро растолкал прибившиеся к бону лесины. Затем напился, постоял-постоял, глядя на реку, и вдруг заорал во все горло:

— Эхэ-хэ-хэ-хэй!

Зычное эхо прокатилось по ночной Пинеге, выскочило на тот берег и побежало, аукая, по верхушкам сосняка.

— Ну, по-летнему заиграло эхо,— сказал Егорша, возвращаясь к огню.— Дождались и мы красных дней. Теперь не житье, а малина на сплаве будет. Просись к нам в бригаду.

Михаил вздохнул. Красные отблески золотили его карие задумчивые глаза.

— Чуешь, что говорю?

— Легко сказать...



— Чудило! Ты к самому Подрезову толкнись. Так и так: хочу на передовой участок. Лесной фронт. Комсомол... Да мало ли чего можно наворотить.

— А сев как?

— Ну ежели ты такой жук навозный, страдай за всех. Мое дело подсказать. Сообрази! Лес-то теперь знаешь как нужен? Газеты надо читать,— с насмешливой назидательностью добавил Егорша.— А меня, думаешь, сразу опустила Анфиса Петровна? Ого-го! Пришлось не один раз заходы делать.

— Ладно, попробую,— сказал Михаил.

С реки потянуло зябким туманом. Приближался восход.

Егорша стал устраивать возле костра лежанку. Положил несколько щепок на землю, на них набросал старых ивовых веток, в изголовье кинул подсохшие сапоги.

— Смотри не простудись,— сказал Михаил.

— Ничего. Есть кое-какая закалка.— Егорша широко зевнул.— А спирт-то у Подрезова — охо-хо! Я воды хватил, снова под парами.

Он лег на приготовленную постель, помолчал, глядя в светлое под-  
румяненное небо, и вдруг приподнялся на локоть.

— Слушай, а как ты в размышлении насчет Раечки Клевакиной...  
моей соседки?

— В каком размышлении?

— Как, говорю, насчет картошки дров поджарить? — Егорша коротко хохотнул.

— Болван! Еще чего придумаешь.

— Тогда, чур—Раечка за мной. Так и затвердим. Согласен? У меня, когда я ей вижу, температура делается. Ей-бо!

Гулко выстрелил угольком костер. Белый тонкий мундштучок папироски, которой напоследок разжился Егорша у Таборского, дымил в зеленой травке недалеко от его лица. Егорша быстро заснул. Лег на бок, зевнул и тотчас же заповсвистывал. Тонко, как ряб.

Михаил снял с себя фуфайку, прикрыл его голые ноги.

Егорша не пошевелился.

Тогда Михаил снова сел на свое место к огню, достал из грудного кармана берестяные корочки.

За три года корочки потрескались, залощились, дратва, которой они были прошиты по краям, побелела, залохматилась, а платочку — ни-ни, ничего не подеялось. Только немножко повытерся да посерел на сгибах.

## 2

Ему показалось, что Дунярка покраснела и как-то смущенно и даже растерянно переглянулась со своими подружками. Но в следующую секунду она уже стояла перед ним и с улыбкой протягивала руку:

— Здравствуй.

Пожатие было беглое, летучее, словно она это делала по необходимости. И вообще в этой высокой полногрудой девушке, одетой по-городскому, он с трудом узнавал прежнюю, тоненькую, как хворостинка, Дунярку. Все изменилось у нее за год: и одежда, и прическа, и даже рост. Впрочем, насчет роста скоро разъяснилось: она была в туфлях на высоком каблуке.

Дунярка была довольна впечатлением, которое произвела на него. Он понял это, на мгновение встретившись с ее карими глазами. И, может быть, вот только эти карие глаза, всегда такие самоуверенные и насмешливые, может быть, только они и остались от прежней Дунярки.

Она тряхнула косами — тоже новая привычка.

— Что же ты стоишь? Садись. Да сними, сними свой малахай. А я-то думаю: почему у нас, девчата, все еще холодно?

Девчата рассмеялись. Конечно, это была шутка, но Михаилу она не понравилась.

— Ну вот, он и обиделся. А мы всегда смеемся. Смех — это лучший витамин. Верно, девочки?

Девочки охотно закивали. И ему стало ясно: Дунярка и тут командует. Да и как ей не командовать, если подруги ее просто замухрыги по сравнению с ней!

— Чаю хочешь?

— Нет.

— Имей в виду: у нас пять раз не предлагают. Это тебе не деревня-матушка.

Подружки опять захихикали. И на этот раз рассмеялся и он. В конце концов чего на осадки дуть, когда все настроились на ведро?

Вытирая пот со лба — тепло было в общежитии, — он завел общий, для всех интересный, как ему казалось, разговор о том, что вот они скоро станут агрономами, поедут в деревню и — ой-ей-ей, какая работа их ждет: ведь ни в одном колхозе сейчас нет севооборотов; но Дунярка фыркнула: «Тоже мне агитатор-пропагандист!» — и разговор оборвался.

Он думал: во всем виноваты Дуняркины подруги. Это ради них, замухрыг, старается она. Чертов характер! Завсегда надо верховодить, чего бы это ни стоило. Но на улице не стало легче.

Они шли по проспекту Павлина Виноградова и молчали. Люди — нету спасенья от людей. Спереди, с боков, сзади. Солнце шпарит в глаза. И Дунярка губы закусила — будто удила у нее во рту.

Он заговорил первый:

— А ты настоящей горожачой стала. Смотри-ко, все на тебя заглядываются.

— Это на тебя, — не поднимая головы, сказала Дунярка.

— Почему на меня?

— А здесь любят, когда по улице ряженные ходят.

— Ты о моей шапке? — Михаил остановился. — Ну хочешь, я заброшу ее к чертовой бабушке?

— Не говори глупостей. Рассказывай лучше, как там мама, тетка?

Приноравливаясь к ее четкому, упругому шагу (красиво она шла, гвозди забивала, а не шла — недаром все мужики пялили на нее глаза), он стал рассказывать о матери, о Варваре, затем, чтобы доставить ей удовольствие, сказал:

— А ты, между прочим, шибко стала смахивать на свою тетку. Ей-богу!

Расчет его оказался безошибочным. Густой румянец расплылся по Дуняркиной круглой щеке.

— Ну уж и на тетку, — сказала она с неожиданной застенчивостью. — Тетка у нас красавица. Куда мне.

Он сразу воспрянул, снял с головы шапку.

— Догадался-таки, — улыбнулась Дунярка.

И он улыбнулся ей. Ну с чего он взял, что она стыдится его? Ведь вот же — зацепил ее самолюбие, и все вернулось к старому. И это не беда, ~~что~~ она постоянно задирает его. Не спи! Такие шикарные девахи лопухих не любят.

— Ты в цирке бывала? — спросил Михаил, окончательно решив взять инициативу в свои руки.

Дунярка насмешливо повела бровью.

— Тоже спросишь! В городе живу — да в цирке не бывала.

— Давай сходим в цирк?

— Цирка еще нету. Он у нас приезжий.

— Жалко. Ну, тогда вот что — пойдем в ресторан?

— Давай лучше в садик, — сказала Дунярка.

В садик? Да, они стояли у входа в березовый садик. И этот маленький садик, эта солнечная березовая благодать, так неожиданно сменившая шум и грохот большого города, рассеяла последние остатки того тягостного отчуждения, от которого ему было тяжело и неловко с самого начала их встречи. И Дунярка стала прежней, пекашинской. И, садясь на белую пустую скамейку в дальнем углу садика, она сказала:

— А правда, здесь хорошо?

— Ага, — ответил он и вдруг приглушенным голосом добавил: — А помнишь, мы тогда на клеверище у реки сидели? Похоже.

У нее удивленно выгнулась бровь, затем она сказала:

— Да, вот и мы с тобой выросли. Мне уж девятнадцать. Старая дева. — И рассмеялась.

— Ждут тебя, — сказал Михаил. — Анфиса Петровна зимой еще на собрание говорила: «Не тужите, говорит, бабы, — скоро свой агроном у нас будет».

Дунярка задумчиво скovyрнула носком туфли старый березовый лист, влипший в дорожку. Тонкий городской чулок заиграл на солнце.

— Да, вот что, — вспомнил он. — Тетка твоя чулки просила купить, и с этими... как их... с резинками. Как хошь, а выручай. Я в этом деле, сама знаешь...

Дунярка поджала ноги.

— Дурит тетка.

— А чего? Пускай наряжается. Она у нас любую девку еще заткнет за пояс.

— Чулки-то здесь не растут на березах.

— Ну уж ты не считай нас за нищих. Кое-что имеем. — Михаил хлопнул по оттопыренному карману штанов, затем откинулся на спинку скамейки, сказал, мечтательно скосив глаз: — Эх, жалко, что у тебя еще экзамены, а то бы вместе домой поехали.

— Не знаю...

В голосе Дунярки ему послышалась неуверенность. Работа будущая страшит?

— А чего знать-то? Агрономы! Зря тебя, что ли, учили?

Дунярка резко тряхнула косами. В черных зрочках ее белыми точками запрыгали березы.

— Ну, положим... меня учили? Училась-то я сама. Знаешь, как я жила? И нянькой была, и донором была, и полы мыла...

— А ты думаешь, у нас рай был?

— Чудак, — усмехнулась Дунярка. — Да я ничего не думаю. Пони-маешь... — Она покусала губы. — У меня тут один лейтенант знакомый есть... Замуж зовет... Как думаешь? Идти?

Он с первой минуты косился на маленькие граненые часики на металлической цепочке, которые красовались на ее смуглой полной руке повыше запястья, и все никак не мог понять: откуда? где взяла? А теперь наконец понял. И он сказал глухо:

— Иди...

Первыми упали в огонь берестяные корочки, потом платочек. Егорша, как истый лесоруб, моментально проснулся. Привстал, повел носом.

— Паленым пахнет — не горим?

— Нет, — сказал Михаил. — я это тряпку сжег.

— А, так, — сказал Егорша и снова лег.

— Егорша? А Егорша? — немного погодя позвал Михаил.

Егорша не откликнулся. Егорша спал. У него была поразительная, прямо-таки счастливая способность засыпать сразу.

## 3

Со сплавом, как и думал Михаил, ничего не вышло. Анфиса Петровна и слушать не захотела, когда он заикнулся об этом. Нет и нет.

— Почему нет? — заартачился было он. — Егоршу небось отпускаешь. Чем он лучше?

— То Егоршу, а то тебя. Без Егорши-то мы проживем, а без тебя... не знаю... Верно, верно говорю, Михаил... — И тут она еще сказала: — Потерпи маленько. Больше терпели. Всю войну вместе прошли — давай уж до фронтовиков дотянем.

И он сдался. Кто-то должен же ковыряться в земле. Ведь за время войны где только не распахали залежи да пустоши. А потом — надо правду говорить — выручала их Анфиса Петровна в войну, крепко выручала. Да если бы не она, Анфиса Петровна, им бы и избы новой не видать. Это она первая сказала: «Михаил, ставь избу». И на неделю согнала людей — всех, у кого хоть мало-мальски топор в руках держится.

Вот так и не удалось ему начать новую жизнь, о которой столько они говорили с Егоршей нынешней весной.

И он опять пахал, сеял, ставил изгороди.

За этой работой как-то незаметно наступило лето. Дружно, словно наверстывая упущенное время, полезла молодая трава. Распустился кустарник. И уже комар начал оттачивать свое жало на лошадях и пахарях.

По утрам его будили журавли. С повети, где он теперь спал с братьями, хорошо были слышны их позывные, когда на восходе солнца они летели с пекашинских озимей на заречные болота.

За неделю тяжелой работы Михаил высох и почернел, как грач. Он сжег Дуняркин платочек, железный обруч набил на сердце, но куда деваться от памяти?

Шагая за скрипучим, вихляющим плугом, переезжая с одного поля на другое, он постоянно наткался на места, напоминавшие о ней. То это был Попов ручей, где он вызволял заплаканную Дунярку с Партизаном, то Абрамкина навина — тут Дунярка стыдливо сунула ему вышитый платочек, то старое клеверище у реки, где они сидели на жердях в тот душмяный вечер...

Сколько же воды утекло с того вечера! Нет больше в живых Насти Гаврилиной — не вышла из больницы на своих ногах, под холстом привезли домой. Нет в живых Николаши Семьина, его первого учителя по кузнечному делу, да и клеверища, того розового пахучего поля, на котором впервые у него как-то незнакомо и тревожно забилось сердце, того клеверища тоже нет — он сам дважды запахивал его под рожь...

Как-то раз, возвращаясь из дальней навины, где его только что сменил за плугом Илья Нетесов, Михаил неожиданно для себя услышал песню:

Летят утки и два гуся,  
Кого люблю, не дождуся...

Кто же это поет? — подумал он. — Варвара? Только она да девчонки еще не разучились петь.

Нет, голос у Варвары другой — веселый, с колокольцами, — а этот был задумчивый и грустный, похожий на рыдание кукушки.

Михаил поднялся из березового перелеска на зеленый взгорок и

увидел Анисью Лобанову. Анисья боронила, сидя на брюхатой пегой кобыле. Дождя давно не было, и густая полоса пыли тянулась за бороной по полю.

Первой его мыслью было скрыться в кустах, но Анисья уже заметила его и замахала рукой.

Анисья и ее дети тяжелым камнем лежали на его совести. В тот вечер, когда они расстались с Дуняркой в садике, у него все перемешалось в голове, и о Трофимовых ли наказах ему было помнить? А на завтра было уже поздно. Назавтра Анисья, едва встали дети, объявила: «В деревню едем! К бабушке!» И такой тут поднялся переполох, так обрадовались ребяташки, что у него не хватило духу сказать правду. «Ну как хорошо, что ты приехал,— говорила Анисья.— В бога не верю, комсомолкой была. А тут сам бог тебя послал. Куда бы я с ними попала?» Так вот по его вине Анисья с детьми и тронулась в Пекашино.

Он передал ей наказ свекра уже на пароходе. «Я знаю, все знаю. Да я тоже до края дожила. От Тимофея вестей с первого дня войны нету. Квартиру у нас разбомбило — дети летом замерзают. Сам видел, в какой конуре живем. Пускай они, думаю, в деревне хоть на солнышке отогреются.— И пошутила: — Солнышко-то у вас ведь еще не по карточкам?» — «Ну правильно,— поддержал ее Михаил.— Живем же мы — не умерли».

Но все-таки он старался не попадаться на глаза Трофиму, потому что, как ни крути, а это по его вине свалилось на старика еще три голодных рта, да и Анисью по возможности обходил стороной.

Подъехав к нему, Анисья, не слезая с лошади, сняла с головы клетчатый платок, стряхнула с него пыль. Волосы у нее были гемные, с сильной проседью, а подстрижены коротко, как у школьницы. И платок она повязывала тоже необычно, вроде повойника, узлом на затылке. Все это шло от неизвестной ему комсомольской моды двадцатых годов, давно уже забытой и в городе и в деревне.

— Ну, как живем? — спросил Михаил.

— Хорошо живем.

— Хорошо? — Он внимательно посмотрел Анисье в лицо. Первый раз за эти годы он слышал, чтобы человек не жаловался на жизнь.

По ее просьбе он выломал ей рябиновую вицу, затем — уже сам — поднял борону, очистил зубья от лохматой дернины.

— И с дедком поладили?

— Поладили. Теперь с ребятами на повесть перебрались. Как на курорте живем.

Вот женка! — думал Михаил.— Сама держится и на других тоску не нагоняет. Кто-кто, а он-то знал, какой сейчас курорт у Трофима Лобанова.

— Слушай,— крикнул он ей вдогонку,— ты бы зашла к нам! Мати молока плеснет!

Анисья не обернулась. Облако пыли, поднятое бороной, накрыло ее вместе с лошастью. Но клетчатый платок ее, алый от вечернего солнца, долго еще был виден ему с тропинки. И он вдруг спросил себя: какого же дьявола ты раскис? Ведь вон как жизнь корежит людей, а ничего — зажали зубы.

Дома он с наслаждением умылся до пояса, переделался в чистую рубаху.

Лизка, ставя на стол ладку со свежими ельцами (Петька и Гришка редкий день возвращались от реки с пустыми руками), заметила:

— Ну, слава богу, и ты на человека стал похож. А то не знаешь, с какого бока к тебе и подойти.

— Да ну!

— Правда. И Раечка меня спрашивала.

Из чуланчика уже в который раз подавала голос Татьяна:

— Лиза, Лиза, скоро ли?

— Чего ей там надо? — спросил Михаил.

Лизка хитровато подмигнула:

— Подожди маленько. К нам гости приехали.

Что за ерунда? Какие еще гости?..

Минут пять в чуланчике шло совещание шепотом, потом шепот стих, и из задосок вышли две барышни в голубых платьях в белую горошину.

Михаил ахнул:

— Откуда у вас новые платья?

— Лизка сшила. Она все умеет. Да, Лиза?

Лизка порозовела от похвалы.

— Неужели не видел, как я по вечерам шила? Я и тебе сошью.

В праздник в новой рубашке будешь.

— В какой праздник?

— На вот, проснулся. Общее! Варвара-кладовщица да женки когда уж теребят председательницу: «Давай, говорят, нам праздник. Заработали за войну. Мы, говорят, как люди хотим жить».

— Вот как! Первый раз слышу.

— А завтра бабы корову будут загонять в силосную яму, да, Лиза? — выложила последнюю новость Татьяна, за что и была награждена легким подзатыльником: не плети, мол, чего не надо, не суй свой длинный нос в каждую щель.

— Что ведь, ему можно, — надулась Татьяна.

— Да, — сказал Михаил, — дело у вас поставлено. — И улыбнулся, дивясь хитрости и изобретательности пекашинских баб.

А впрочем, разве по другим деревням не то же самое делают? Скотину колхозную забивать нельзя — на это есть специальный закон. А вот ежели ту же скотину да подвести под несчастный случай, да составить акт — тогда претензий никаких.

Михаил дососал головку последнего ельца, вышел из-за стола.

— Егорша не заходил? Махры не оставил?

Лизка обиделась:

— Ты хоть бы посмотрел на нас. Зря, что ли, мы передевались? — Затем, кусая губы, спросила: — Ну как, покрасивше ли я в новом-то платье?

— А я? — выступила вперед Татьяна.

А может, так вот и надо жить, как Лизка? — думал Михаил, выходя на крыльцо. — Есть новое платье — и радуйся. Чего загадывать вперед?

Он прошел на дорогу перед своим домом. Не попадет ли на глаза какой-нибудь курильщик?

Никого вокруг не было. Илья Нетесов на поле, идти к Петру Житову далековко, а к Егорше еще дальше... Нет, — вздохнул он, — придется, видно, куренье отложить до прихода Егорши, а сейчас, пока есть свободная минутка, надо взяться за изгородь.

## Глава пятая

### 1

Сыновей своих Илья уже не застал дома. Ребята малые — одному шесть, другому пять, — разве хватит у них терпенья дожидаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина —

ума побольше — без отца не ушла. И задание его выполнила на «отлично». Хорошо, до блеска начистила боевые отцовские регалии.

Марья, как увидела его во всем этом великолепии, ахнула:

— Ну, какой ты, отец, у нас красивой! Я не знаю, как мне с тобой и идти.

Было тепло, солнечно на улице. Пахло распустившейся черемухой (много ее в Пекашине, весь косогор в белом цвету), и красиво, дружно зеленела молодая травка под горой на лугу.

До правления они шли вместе, рука об руку: он посередке, а Марья и дочка сбоку. А тут, у правления, пришлось расстаться, ибо Марья вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них.

— Вишь ведь машут,— заметила она.— Это не нам с Валентиной, солдату машут.

И верно, конец улицы, напротив зеленой ставровской лиственницы, лебедями, чайками бились белые бабьи платки.

Илье не приходило бывать на парадах, он не хаживал перед начальством в строю (в августе сорок первого их прямо с поезда бросили в бой), только раз на свой страх и риск он продубасил районные мостки в солдатской шинели. Три недели назад, когда ехал домой с войны. Продубасил потому, что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений, канцелярий выбегают («Привет победителю!»), ребягня гонится по сторонам, а ты что же — тяп-ляп? Открытым ртом мух ловить?

Ну он уж старался. Прямил, изо всех сил прямил свою уже немолдую, ломаную-переломаную спину, ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твердо и нет-нет да и поправлял украдкой усы, которые от нечего делать отпустил в госпитале.

И вот, вспомнив про свой этот первый и единственный парад в жизни, Илье не то чтобы начал пушить пыльную жаркую улицу или деревенеть лицом, а все-таки заглотнул в себя воздух, подтянул к хребтине пуп. И поначалу все шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша («Давай-давай, солдат, веселее!»), под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку. И серебро и бронза на его груди сверкали — вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосеевну, и все — черная ночь накрыла праздник.

В июле сорок первого года, когда он вместе с пекашинцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосеевна на этом же самом месте упрашивала его слезно: «Илья Максимович, ты два года наставлял да берег моего Саню в лесу, дак уж не оставь его, побереги его и там». И об этом же она просила-умоляла и других мужиков, и Саня, ее единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери, и все отсылал, отсылал ее домой, и в конце концов добился своего: пошла Федосеевна домой, обливаясь слезами...

Не уберег Илья Саню. В том же сорок первом году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом, так что нечего было и земле предать. А где остальные? Куда девался косяк молодых, здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда, от этого ставровского дома, проводжали тогда на войну?

Пока что из этого косяка или из этой пекашинской роты, как называл их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу — без изъянов, стопроцентным здоровяком, если не считать небольшой царапины на груди,— да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий, уполовиненный Петр Житов.



## 2

За три недели Илья уже успел присмотреться к бабам, но, может быть, только сегодня, в этот теплый и солнечный день, когда все они были принаряжены да принамыты, может быть, только сегодня он разглядел их по-настоящему.

Постарели, повयोсохли, бедные, беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война.

Две девушки, кажется Рая Клевакина и Лизка Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие, деревянные хлопки. Егорша оборвал игру. И он понял: от него ждут речь. Так, наверно, был задуман праздник.

— Папа, папа, скажи! — требовательно зашептала сбоку Валентина, крепко, изо всех сил сжимая отцовскую руку.

И Петр Житов, свирепо бурвая его своим взглядом от огороды, тоже давал понять, что, дескать, не боги горшки обжигают...

Вьручила Илью Варвара Иняхина. Варвара молодым, звонким голосом закричала с крыльца:

— К столу, к столу, женки!

И тут Егорша опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые, моментально перестроившись, всем скопом, всей своей пестрой и душной ордой кинулись в заулочок на голос Варвары.

Столбы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и все равно всем места не хватило.

— Эй, хозяин! Где ты? Открывай еще одно заседание в коридоре.

— Не кричите, — сказал Егорша. — Нету хозяина. С утра укатил в лес.

И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Лобанова с невестками нет, и Софрон Мудрый со своей женой не явился. А где Марфа Репишная? Где Анна Пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорогих покойников. Так с самого начала и пошел этот праздник попеременно с горючей слезой.

Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях.

— Ох, Марьюшка, Марьюшка! Ты-то дождалась своего, а мой-то не вернется... И на могилку не сходишь...

— Ондреюшко все мне писал: женка, береги себя, женка, береги себя... А сам себя не уберег...

— Ты хоть пожила со своим Ондреюшком, а я-то, бабы, я-то горюша горькая...

— Женки! Женки! — распорядилась Варвара. — Ешьте мясо. Досыта ешьте!

— Да как его исть-то? Где кусачки-то взять?

— А у меня-то... — Офимья негибающим пальцем закрючила рот, показала своей соседке желтые беззубые десны.

— Ничего! Кузнец теперь свой — новые скует...

Илья вслушивался в эти разноречивые голоса и выкрики, смотрел на расхажившихся женок, и перед ним, как наяву, развертывалась бабья война в Пекашине. Одна вспоминала, как она первая открыла хлебные плантации на болоте («Все за мной побежали»), другая дивилась тому, сколько она перепахала земли за эти годы («За день не обойти»), а многодетная подслеповатая Паладя, разоткровенничавшись, начала рассказывать, как она в прошлом году унесла снопы жита с колхозного поля.

На нее зашикали, замахали руками:

— Молчи, глупая! При председателе-то. Может, еще придется.

— Нет уж, не придется! — яростно взвизгнула Паладьа. — Не будет, не будет больше такого!

— Не зарекайся. Хвалилась одна ворона — что вышло?

— Что, что, женки? Чем вам не угодила председательница? — спросила Анфиса.

— Угодила! Угодила, Анфисьюшка. Я за то тебя и люблю, что сердцем понимала беду нашу.

— Анфиса! Анфиса Петровна! Родимушка ты наша! — закричали отовсюду бабы.

Анфису обнимали, целовали, кропили рассолом бабьих слез. И она сама плакала:

— Бабы, бабы вы мои золотые..

— Да пожалейте вы председателя-то! — взъерился вконец измученный Михаил Пряслин, через голову которого женки все еще лезли обниматься с Анфисой. — Замучите! Председатель-то один.

— Миша! Миша! Золотце ты мое! — вдруг всплеснула руками белобровая потная Устинья и крепко обняла его за шею. — Тебя-то, желанный, век не забуду. Помнишь, как мне косу наставлял?

— И мне!

— И мне!

— А меня-то как прошлой зимой в лесу выручил! Помнишь?

— Михаил! — поднялась Анфиса.

— Тише! Тише! Председатель хочет сказать.

Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки не прохлада — зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет сомлевшей черемухи, помахал перед разогретым лицом Анфисы. Белый цвет посыпался на стол.

— Вы вот тут, женки, сказали: ту Михаил выручил, другую выручил, третью... А мне что сказать? Меня Михаил кажинный день выручал. С сорок второго года выручал. Ну-ко, вспомните: кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз да в непогодь по сено, по дрова?.. — Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. — Я, бывало, весна подходит — чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу придет. Мужик в колхозе появится.

— Верно, верно, Петровна, — завздыхали бабы.

А на другой половине в голос заревела Лизка со своими ребятами.

— Не плачьте, не плачьте, — стали уговаривать их. — Ведь не ругают его, хвалят.

Анфиса смахнула с глаза слезу.

— Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого! А чем мне отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?

Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу:

— На-ко, выпей от меня. — И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню.

— И от меня! И от меня!

В стаканах и чашках забулькал разведенный сучок (все сохранили до праздника сто граммов спирта, заработанных на сплаве). На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь.

Кто-то, опять захлестнутый своим горем, заголосил:

— У Анны хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто...

— Хватит вам слезы-то точить. Песню! — заорал Петр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу.

Жена его высоким голосом затянула «Аленький цветочек», к ней присоединилось несколько дребезжащих, высохших за войну голосов, но дружного пения не получилось.

— Егорша! — взвилась Варвара. — Играй! Плясать хочу!

— Варка, Варка, бессовестная! Ты хоть бы Терентия-то вспомнила...

— Помню! Тереша меня за веселье любил.

Варвара, молодая, нарядная, в голубом шелковом платье, туго, по-девичьи затянутая черным лакированным ремешком со светлой пряжкой, выскочила на середку избы, топнула ногой.

Говорят, что я бедова.  
Почему бедовая?  
У меня четыре горя —  
Завсегда веселая.

— Ну, разошлась офицерова вдова.

— Да, не хухры-мухры! — Варвара вскинула руки на бедра, с вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. — Офицерова вдова!

Егорша дугой выгнул розовые мехи гармошки.

— Варка! Варка! Про любовь! — вдруг ожили женки.

На войну уехал дряля,  
Я осталась у моста.  
Пятый год пошел у вдовушки  
Великого поста.

— Охо-хо-хо! Врешь, Варка! Врешь!..

— Не вру, бабы! Песня не даст соврать.

Кто не знает — заявляю!  
Я не избалована.  
Всю германскую войну  
Ни разу не целована.

Варвара лихо, с дробью отплясывая, схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Марья обхватила мужа за шею:

— Не приставай! Липни к другому.

— Фу, и спрашивать тебя не стану. Наши мужья головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет! Поровну делить будем. Приказа потребуем.

— Горько-о-о! Горько-о-о!..

— Да вы с ума посходили! Нашли забаву при детях... — У Марьи полыхающей чернью зашлись глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперлась затылком в простенок.

— Горько-о-о! Горько-о-о!..

Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорузлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные, горделивые глаза дочери, и начал подниматься: нельзя не уважить народ.

— Нет, нет! — завопили бабы. — Машка пушай! Пушай она!

— Целуйся, дура упрямая! А не то я поцелую.

— Давай, давай! Мы хоть посмотрим, как это делается!..

Ничто не помогло — ни упрашивания, ни ругань. Марья скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле. Суровая, старовойской выделки была у Ильи женушка. Даже в сорок первом году, когда он уходил на войну, не поцеловала его при народе.

И бабы, так и не добившись своего, наконец оставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу.

## 3

Михаил, окруженный братьями и сестрами, стоял, качаясь, за углом боковой избы и тяжело водил растрепанной головой. Его рвало.  
— Натрескался, бесстыдник! Рубаху-то! Рубаху-то всю выгвоздал. Пойдем домой.

— Се-стра-а!

— Чего сестра?

— Се-стра-а! — Михаил топнул сапогом, рванулся к заулку, где шумно, под гармошку, веселились бабы, упал.

Татьянка с испугу заплакала, судорожно обхватила сестру ручонками.

— Бросьте вы его, ребята, — сказала Лизка двойнятам, которые с двух сторон кинулись на помощь брату. — Он девку-то у меня, лешак, всю перепугал. — Она обняла Татьянку, но тут же на нее прикрикнула: — Чего ревешь? Не убили!

Из-за угла избы выбежала с ведром воды Рая Клевакина. Жмурясь от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, взлохмаченного, с бессмысленно вытаращенными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо.

Михаил взревел, вскочил на ноги.

Раечка с визгом и смехом метнулась в сторону. Цинковое ведро опрокинулось. Михаил поддал его ногой, пошатываясь, побрел в заулочек.

Заулочек у Ставрова просторный, скотина в него не заходит — на крепкие запоры заперт с улицы, — и Степан Андреянович за лето два укуса снимал травы. Хорошая копна сена выходила. А в нынешнем году, похоже, травы не будет. Начисто, до черноты выбили лужок. Желтые головки одуванчиков, раздавленные сапогами и башмаками, догорали по всему заулочку. И Лизка, по-хозяйски прикинув последствия нынешней гульты, не смогла удержаться от слез.

— Сестра! Кто тебя обидел? Кто?

— Миша, Миша! — закричала Варвара от крыльца.

Шальное, пьяное веселье кружило у крыльца. Скакали бабы, размахивая пестрыми сарафанами, визжала гармошка, Петр Житов, красный от натуги, прихлопывал здоровой ногой.

Варвара подбежала к Михаилу, потащила его в круг.

— Мишка, Мишка! — заорал Петр Житов. — Дай ей жизни, сатане!

Женки мигом рассыпались по сторонам. Варвара привстала на носки, и — эх! — пошла работа. Ноги пляшут, руки пляшут, с Егорши ручьями пот, а она:

— Быстрее, быстрее, Егорша! Заморозишь!

— Мишка, Мишка, не подкачай! — кричали бабы.

Михаил топал ногами на одном месте, тяжело, старательно, будто месил глину, тряс мокрой, блестящей на солнце головой, потом вдруг пошатнулся и схватился за изгородь.

— Все. Готов мальчик, — с досадой подвел итог Петр Житов.

А Варвара захохотала:

— Ну, кому еще не надоело жить? Эх, вы! А еще зубы скалите...

Никому не осмеять  
Меня, вертоголовую.  
Ребята начали любить  
Двенадцатигодовую.

— Илюха! — с жаром воззвал Петр Житов к Нетесову. — Поддержи авторитет армии. Неужели такое допустим, чтобы баба верх взяла?

— У меня по этой части претензий нет, — сказал Илья.

— А у меня есть! — сказал Егорша. Он встал с табуретки, протянул гармонь Рае. — Раечка, поиграй за меня.

Затрещала изгородь у хлева.

Егорша живо подскочил к Михаилу, потянул его за рукав.

— Ну-ко, дядя, нечего с огородой воевать. Дедкино это строенье.

В толпе рассмеялись.

— Что? Надо мной смеяться? Надо мной? — Михаил яростно закричал зубами, отбросил в сторону Егоршу.

— Миша, Миша! — закричали в один голос женки. — Что ты? Оди-чал?

Федор Капитонович, спускаясь с крыльца, брезгливо бросил:

— Ну, теперь будет праздник.

— А, товарищ Клевакин! Наш северный Голованов! — Михаил изогнулся в поклоне.

Две-три бабы прыснули со смеху, но всех громче захохотал Петр Житов, потому что это он так окрестил Федора Капитоновича.

В сорок третьем году Федор Капитонович двадцать тысяч рублей внес в фонд обороны. О его патриотическом подвиге шумела вся область. Газеты его называли северным Головатым. Его возили в город, вызывали на каждое совещание в районе, и только пекашинцы посмеивались, когда на собраниях ставили им в пример Федора Капитоновича. Верно, внес Федор Капитонович деньги в фонд обороны, и деньги немалые. Да откуда они у него взялись? Почему у других их нету?

— Иди-иди, — сказал, нахмурившись, Федор Капитонович Михаилу. — Мал еще, сопляк, с людьми-то разговаривать.

— Я мал? Я сопляк? Нет, ты стой! Стой. Как деньги за само-сад драть, ты тогда не говоришь, что я сопляк!..

Михаила обступили бабы.

— Миша, Миша, — стала уговаривать его Варвара. — Разве так можно?

Она оттащила его в сторону.

— Варка, а ты мягкая... — сказал Михаил, обнимая ее.

Варвара рассмеялась.

— Молчи, не сказывай никому. Про это не говорят.

— А почему?

К ним подошла Лизка.

— Пойдем домой. Докуда еще будешь смешить людей?

— Домой? — Михаил топнул ногой. — Нет. Гулять будем. Егорша, где Егорша?

Егорши в заулке не было. Бабы расходились по домам.

Ворот новой рубашки у Михаила был распахнут сверху донизу. Одна пуговица висела на нитке. Лизка, вздыхая и качая головой, привстала на носки, оторвала эту пуговицу, и тут ей показалось, что еще одной пуговицы нет на вороте.

— Стой! — закричала она на брата, сразу вся расстроившись.

Но Михаил, подхваченный Варварой, уже двинулся вслед за бабами. Он ревуче запел:

Шел мальчишка бережком,  
Давно милой не видал..

Лизка оглянулась по сторонам, увидела Петьку и Гришку.

— Ребята, хорошенько все обыщите. За избой посмотрите. Он, лешак, кажись, пуговицу потерял.

Затем она сбегала в верхние избы, закрыла окошки.

Близнецы, присев на корточки, старательно оглядывали то место, где недавно топтался их брат. Сдвоенные голоса Варвары и Михаила доносились из-за дома с улицы.

— Ребята,— сказала Лизка.— Никуда не уходите. А придет Степан Андреевич, скажите, что я скоро прибегу. Уберу тут все.— И она побежала догонять брата.

## 4

Вставало утро. Познабливало. За Пинегой, над еловыми хребтами, разливалась заря — красные сполохи играли в рамах.

Варвара, слегка покачиваясь, шла пустынной улицей простоволодая — платок съехал на плечи — и злыми, тоскливыми глазами поглядывала на окна.

Господи, сколько ждали этого праздника, сколько разговоров было о нем в войну! Вот погодите, придет уже наш день — леса запоют от радости, реки потекут вспять... А пришел праздник — деревню едва не утопили в слезах...

Поравнявшись с домом Марфы Репишной, Варвара привстала на носки, яростно забарабанила в окошко

— Марфа! Марфушка! Принимай гостей!

В избе зашаркали босые ноги. Темные гневные глаза глянули сверху на нее:

— Бесстыдница! Орешь середь ночи. Бога-то не боишься.

— А, иди ты со своим богом. Я плясать хочу! — Варвара топнула ногой, взбила пыль на дороге.

Немо, безлюдно вокруг. Сухим, режущим блеском полыхают пустые окошки. И тоской, вдовьей тоской несет от них... Ну и пускай! Пускай несет. А она назло всем петь будет — хватит, наревелись за войну!

И Варвара, круто тряхнув головой, запела:

Во пиру была да во беседашке,  
Ох, я не мед пила да я не патоку.  
Я пила, млада, да красну водочку.  
Ох, красну водочку да все наливочку.  
Я пила, млада, да из полуведра...

Тявкнула гармошка в заулке у Василисы, а затем петухом оттуда выскочил Егорша. Волосы сваялись, лицо бледное, мягкое, к рубашке пристала солома — не иначе как спал где-то...

— Ну, крепко подгуляла! Значит, из полуведра?

— Да, вот так. Еще чего скажешь?

— Ты хоть бы меня угостила.

Варвара скептическим взглядом окинула его с ног до головы.

— Кабы был немножко покрепче, может, и угостила бы.

— А ты попробуй! — вкрадчивым голосом заговорил Егорша.

— Ладно, проваливай. Без тебя тошно.

Варвара стиснула концы белого платка, пошагала домой.

— Ты куда? — обернулась она, заслышав сзади себя шаги.

— Вот народ! — искренне возмущился Егорша.— Праздник сегодня, а у них все как похороны.

— А и верно, Егорша! Праздник. Давай вздерни свою тальяночку.

И возбуждали, растрясали-таки деревню. Бледные, заспанные лица завылгивали из окошек. Но что-то невесело, тоскливо было Варваре, когда она подходила к своему дому. И даже восход солнца, нежным алым светом затрепетавший на белых занавесках в окнах, на ее усталом, осунувшемся лице, даже восход солнца не обрадовал ее.

Она тяжело вздохнула и толкнула ногой калитку.

— Спасибо.

Егорша сунул ногу в притвор.

— Погоди! За спасибо-то и по радио не играют...

— Чего?

— Холодно, говорю. Погреться пусть...— Егорша зябко поежился и остальное досказал глазом.

— Ах ты щенок поганый! Глаза твои бесстыжие!

— Ну, нашлась стыдливая...

Калитка резко хлопнула. Белая нижняя юбка заплескалась над ступеньками крыльца.

Лицо у Егорши вытянулось. Жалко, черт побери! Не с того, видно, конца заход сделал. Но не в его характере было долго унывать: сегодня не выгорело, в другой раз выгорит.

Он развернул гармонь, голову набок — и пошел сыпать крепкими, забористыми припевками.

## Глава шестая

### 1

Где-то по городам, далеко-далеко за синими увалами лесов, шумно шагала лучезарная Победа — об этом изо дня в день трубили газеты. Уже и первые эшелоны с демобилизованными загрохотали по Руси. А пекашинцам — черт бы побрал их глухомань! — только и оставалось, что ждать. И ждали. Ждали, томительно высчитывая дни: когда же, когда же приедут родимые?

Девки и молодухи, вдруг вспомнив про свою молодость, весь июнь шуршали уцелевшими нарядами: выжаривали на солнце, выколачивали прутьями. Потом, уже перед самым сенокосом, принялись за избы. Мыли со щелоком, с дрсевой, скоблили потолки и стены, густо прокопченные военной лучиной.

Лизка Пряслина тоже не захотела отставать от других. И как ни отговаривала ее мать («Нам-то кого встречать, глупая?»), выгребла грязь из дому. Да мало того. Заручившись помощью Раи Клевакиной, взялась за боковую избу Ставровых: пускай и у них будет, как у людей.

Егорша, вернувшись вечером со сплава, застал дома потоп. Он пришел в ярость. Кто просил эту лахудру разводить сырость? Он катал весь день бревна, бродил в воде — имеет право хоть пожрать по-человечески?

На крик из чулана выскочила Раечка — мокрая, румяно-вишневая, с высоко подоткнутой юбкой. Но, увидав в дверях мужчину, пугливо метнулась назад.

Лизка насмешливо хмыкнула:

— Вот еще! Нашла кого стыдиться! — И недолго думая протянула Егорше пустые ведра. — Помогай лучше! Глазунов-то нам не надо.

— Это можно, — вдруг уступчиво сказал Егорша. — Раз пошла такая пьянка... Даешь Берлин!

На Раечку-соседку Егорша давно уже косил глаз. Сила девка! Упитанности довоенной, за тело не ущипнешь — будто кочан капустный скрипит под пальцем. А груди! Навылет, наповал бьет. И-эх! — думаешь: пушай у людей будет вечный мир, а мне хоть бы век из-под такого огня не выходить.

Разные ключи и отмычки подбирал Егорша к Раечке.

Сперва нажимал на гармонь. На лесозаготовках эта сваха действовала безотказно — к любому бабьему сердцу находила тропу. А с Раечкой не вышло. Поиграть, правда, поиграли, научилась Раечка разные тустепы да «поди-спать» выводить — все на чувствительное напирал Егорша, — а благодарности учителю никакой. Разве что по ходу дела, поправляя Раечкины пальцы, изредка срикошетишь куда надо.

Егорша решил: обстановка неподходяща. В избу к себе Раечку не затащишь, на маслозаводе постоянно вертятся люди, надо, видно, на

природу выходить. Листочки, кустики, то-се, тары-бары-растабары — растает.

В праздник он так и сделал. Выждал, покуда не разбрелись от них люди, выгреб на горки против своего дома и давай зазывать Раечку гармошкой.

И Раечка пришла, села рядом в молодую траву.

— Егорша, тебе тоже невесело?

— Ой, невесело, Раечка! Кабы не эта природность кругом, кажись, с тоски бы удавился.

— А я тоже люблю, когда все цветет. Особенно черемуху люблю. — И тут Раечка, как в кино, томно вздохнула и начала молотить полными ногами по траве возле черемшины, так что белый цвет посыпался.

И — один раз бывает смерть! — Егорша очертя голову кинулся на штурм.

С того дня Раечка перестала с ним разговаривать. Вечером на улице или в клубе встретишь — не подходи близко. Как говорится, вилы над переносьем. И вот сегодня, когда уж он подумывал, а не оставить ли вообще крест на всю эту канигель (чего-чего, а юбок теперь хватает), Раечка сама заявила к ним в дом.

## 2

Громыхая цинковыми ведрами, Егорша выбежал из заулка, накачал воды из колодца Федора Капитоновича и легко, будто поутру, побегал домой. В заулке столкнулся с Михаилом.

— А, трудяга! Здорово. Видал, как у меня дело поставлено? — Он брякнул дужками, опуская ведра с водой на лужок, кивнул на чулан, прислушиваясь к песне.

— Райка, что ли, поет? — спросил Михаил.

— Ага. Пойдем, я сейчас ее выкупаю — любо-дорого!

— Валяй, — вяло ответил Михаил.

— Тю, болван! Да ты что — все еще девок боишься?

Егорша схватил ведра, побежал, расплескивая воду. В заулке радугой занялся мокрый лужок, а вскоре и в избе пошла кутерьма: крик, визг, хохот.

Вышел оттуда Егорша, покачиваясь, насквозь мокрый, будто вынырнул из воды, но довольный.

— Досталось маленько, — сказал он, отряхиваясь и звонко шлепая себя по мокрой груди. — Ну да я тоже не остался в долгу. Целое ведро на Раечку вылил.

Они сели на бревно подле сарая с дровами, закурили.

— Когда на Синельгу? — заговорил Егорша. Он терпеть не мог всякую молчанку.

— Скоро.

— Чувак ты все-таки! Говорил — просись в кадру. Ну, ума нету — ишачь с бабами до белых мух.

Егорша повел прищуренным глазом в сторону воротец, остановился на столбе, затем, вытянув шею, цыкнул. Слюна точно попала в цель.

Внезапно сухой жар опалил щеки Михаила: в глубине заулка рядом с домом Федора Капитоновича, за которым был колхозный склад, показалась Варвара. Она шла по красной от вечернего солнца дорожке, и красиво, сполохами переливалось на ней голубое платье с белыми нашивками по подолу.

Егорша крикнул:

— Приворачивай на беседу!



Варвара поглядела в их сторону, щурясь от солнца, и, ничего не сказав — только белозубый рот блеснул в улыбке, — пошла дальше.

— Чего это она нонче притихла? — спросил Егорша. — И каждый день, как невеста, наряды меняет? Ах, хороши подставочки! — восхищенно цокнул он языком, обнимая глазами Варварины ноги. Помолчал и ткнул Михаила в бок. — Слушай: я все хочу у тебя спросить. Ты тогда, в праздник, не догадался?.. А?

Михаил тяжелым сапогом накрыл окурок.

— Неужели нет?

— Ерунду порешь.

— Ну, хрен с тобой! Секретничай. Мне-то все равно. У меня, кажись, на сто восемьдесят градусов жизнь поворачивается.

Михаил ни малейшего интереса не проявил к его сообщению.

— Да ты что, оглох? Я говорю: меня на курсы трактористов посылают. Понимаешь?

— Хорошо.

— Чего хорошо? — Егорша откинул голову, сбоку посмотрел на приятеля: чистый доходяга! — Ты, может, жрать хочешь, а? Есть у меня полбуханки. Получил сегодня.

— Нет.

— Знаешь что, — заговорил, вдруг оживляясь, Егорша. — Я сегодня подъязков под Белой видел. Такие дяди выворачиваются — как поросята. Давай закатимся на утренку.

Михаил покачал головой, встал.

— Тыфу, лопух! Попробуй свари с таким кашу.

На крыльцо с грязным ведром выскочила Раечка — босоногая, вся розовая в вечернем солнце. Глянула в их сторону и разом погасла.

Что за черт? Синие щелки Егорши подозрительно ощупали долговязую фигуру, выходящую из заулка на деревенскую дорогу. Неужто снюхались? И это называется друг! Втихаря, за спиной товарища? Ну, погоди, друг-приятель: не последний день живем. Авось и мы сумеем свинью подложить.

### 3

Белая ночь заглядывала на повесть через щели в крыше, в воротах, запертых на жердяной засов. А ребята еще не спали — шумно, тузя друг друга, возились у его ног. И гремели каменные жернова в сенцах, и, наконец, уж совсем черт-те что: кто-то посреди ночи — не то мать, не то Лизка — начал отметывать навоз у Звездони. Как раз в том месте во дворе, над которым была его постель.

Конечно, стоило ему слегка прочистить горло, и живо бы все стихло, но именно этого-то пустяка он и не мог сейчас сделать. Не мог, потому что ему казалось, что все это — и чересчур шумная и смелая возня младших братьев, и небывалое ночное усердие Лизки и матери, — все это неспроста, все это делается с одной-единственной целью: задержать его дома.

И он долго, не шевелясь, будто спеленатый, лежал на спине и напряженно, до боли в шейных позвонках всматривался в сгущающиеся сумерки над головой.

Первыми утихомирились ребята, затем смолкли жернова, затем обрвалась музыка внизу у коровы, и в доме наступила тишина.

Пора! Надо действовать.

Он приподнял голову и вдруг радостно вздрогнул, услышав легкий шелест сверху. Это березовые веники, их старые, прошлогодние листья начали дрожать и волноваться в предутреннем ознобе. Счастливый знак! Ибо так же было тогда, в то утро.

Тогда, в то утро, он проснулся — темень, голова раскалывается на части, и вдруг вот этот самый шелест над головой, все слышнее и слышнее, будто там, вверху, много-много слетелось невидимых птиц и дружно забило крыльями.

Потом он услышал голос Варвары, уговаривающей корову: «Ешь, ешь, моя красавица», — и корова отвечала откуда-то снизу довольным мычаньем, точь-в-точь как ихняя Звездоня, когда той задают корм с повети.

Но как он попал на поветь к Варваре?

Он помнил, как вчера вместе с бабами отплясывал у нее в избе, помнил, как его вдруг начало тошнить, и он, зажимая рот рукой, кинулся вон, но разрази его гром, ежели он помнит, как оказался на этой повети.

— Который час? — спросил он хриплым, не своим голосом и с трудом повернулся на голос Варвары.

— А, проснулся! — Белое пятно качнулось в темном углу слева, потом зашуршала солома, и Варвара подошла к нему, — ее глаза сверкнули в темноте.

— Ну и спать же ты, Мишка! Я из-за тебя, дьявола, всю ночь в избе промаялась.

— Кто тебе велел. Поветь-то большая, много места.

Варвара притворно вздохнула:

— Тебя щадила. Думаю, проснешься, а рядом баба — еще родимчик с перепугу хватит. Вставай! Кавалер... Весь праздник проспал. А еще за Дуняркой за нашей вздумал ухаживать. Девка не старуха, она не любит, когда возле нее спят.

Вот эта насмешка, как потом не раз думал Михаил, и решила все. Он вскочил на ноги — ах, так! я сплю? — и пошел на нее, широко раскинув руки в стороны.

Варвара, отступая, захохотала:

— Проснись! Расшиперил руки-то — не овцу имашь.

Он прыгнул вперед и, как клещами, сдвинул ее горячее, упругое тело.

Она охнула, вырвалась.

— Дурак, нашел, с кем играть. С ровней надо играть-то.

Потом она кричала: «Мишка, Мишка!» — умоляла, упрашивала: «Будет, будет тебе!» — а он уже ничего не мог поделать с собой...

Наконец, он зажал ее в угол — глаза в глаза, нос против носа, а когда она кинулась в сторону, он грубо, через колено бросил ее на охапку резко пахнувшей травы...

...Ворота не скрипнули — он загодя смазал проржавевшие петли.

Туман стоял страшный, такой туман, что не было видно ни земли, ни неба, и он бежал в этом тумане босиком, в одной рубахе, каким-то особым нюхом угадывал тропинку вдоль болота, верткую, капризную, то карабкающуюся по травянистой бровке у самой стены старого гумна, то опять круто ныряющую в мокрые кусты, в месиво разъезженной дороги.

У навеса над силосной ямой против молотилки он отдышался, прополоскал в росяной траве грязные ноги и быстро-быстро, уже пригибаясь и воровато оглядываясь по сторонам, поднялся по меже к Варварину амбару.

Три раза за эту неделю подходил он к этому амбару и три раза поворачивал назад. От стыда. От страха. Оттого, что не мог решиться перебежать маленькую картофельную грядку, отделяющую амбар от заулка.

Он-то, правда, думал: ему не придется этого делать. Варвара сама догадается, что он тут, у амбара, ждет, когда она раскроет для него

ворота на повети — зачем еще переться через крыльцо? Чтобы кто-нибудь увидел? Но Варвара не раскрывала ворот, и он уже начал сомневаться: а было ли все это? Была ли эта теплая и духовитая повесть? Была ли Варвара, ее насмешки над ним, а потом эти непонятные злые слезы? Он так и ушел от нее, оставив ее плачущей на охапке травы.

А может, это приснилось ему? Может, это один из тех радостных и стыдных снов, которые ему часто снились в последние годы?

Нынешним вечером он специально отправился к Егорше, который давно уже блудил с бабами: подсажи, посоветуй, как быть. И слава богу, все обошлось без Егоршиних советов: сама Варвара, неожиданно появившись на вечерней дороге, объяснила ему все своей улыбкой...

Он метнулся через картофельную грядку, с разбегу перемахнул изгородь, потом был заулок с дровяным сараем, со двором, бревенчатая стена которого еще дышала дневным теплом, деревянные мостки в клочьях тумана, крыльцо...

И тут, на крыльце, когда он взялся за холодное, железное кольцо, на него опять напал страх. Неужели ворота заперты? Неужели ему придется стучаться? Ночью, под самым боком у Лобановых?

Осторожно, стараясь унять внезапно заколотившую его дрожь, он повернул на себя кольцо, мягко нажал мокрым коленом на ворота. И вдруг ликующая радость до жара, до колокольного звона в ушах прожгла его: ворота были не заперты.

## Глава седьмая

### 1

— Ходит, ходит Мишка к Варваре.

— Не плети, чего не надо! И слушать не хочу.

— А чего мне плести-то?

— А то. У меня Ваню убили на двадцать третьем годе, а я его носила, Варуха-то уж в сарафанце бегала — всяко ей годков пять было. Дак ну-ко, подчитай, сколько теперь. Уж тридцать есть, не меньше.

— А хоть сорок — мне-то что. А я сама на днях видела, как Мишка к ней на повесть лез.

— На повесть? Что ты говоришь?

— Ей-богу, девка! Не вру. Я это вышла за травой середь ночи (Малёшка все мык да мык), на, господи, кто это, крадучись, как вор, от болота к Варухиному дому пробирается? А то он, Мишка. К дому сзади подобрался, глазами зырк-зырк да на угол. А та уж его ждет, двери растворила. Сама вся в белом...

— Вот еще страсти-то какие!.. Да ведь он на Синельге, Мишка-то. На пожне. Не святой дух, по воздуху не летает.

— А сивко-то-бурко на что?

— Дак это он на конике? Шесть верст туда да шесть обратно. Осподи!.. То-то та сука блудливая кажинный день выражается. Как на праздник.

— А праздник у ей и есть. Как не праздник! Парня такого зауздала...

Да, было чему дивиться! Еще все шагали в военной упряжке, еще голодали, работали на износ, еще нет-нет да и похоронные залетали в Пекашино, а тут двое, словно взбунтовавшиеся лошади, сломали оглобли и понеслись сломя голову...

И за этими пересудами, не умолкавшими все лето, в Пекашине как-то даже мало внимания обратили и на новую войну — с Японией.

Повздыхали, поплакали те, у кого еще было кого ждать, а остальные с языка не спускали Варвару и Мишку.

Анна Пряслина — такая уж материнская участь — узнала об этой беде последней. Она дожидала с бабами поле за болотом, когда вдруг Лукерья, посмеиваясь, сказала:

— Невестушку твою сегодня видела.

— Ну и как? Баска́ у меня невестушка? — тем же игривым тоном спросила Анна, потому что догадывалась, о ком говорит Лукерья: о Раечке Федора Капитоновича. Сохнет Раечка по Мишке. Это и она сама замечала, и бабы говорили ей.

Лукерья опять усмехнулась и ответила:

— Да уж чего-чего, а красоты твоей невестушке не занимать.

— А я, женки, нискоleshеньки не сужу Варвару, — заговорила Матрена. — Баба молодая, на хлебном месте, а где они, мужики-то?

У Анны почернело в глазах, резкая боль обожгла руку.

К ней кинулись женки, помогли перевязать порезанный серпом палец.

— Анюша, Анюша, да разве ты не знала?

О нет, она знала, давно знала, что что-то неладное творится с парнем. С той самой поры знала, когда он пьяный в обнимку с Варварой пошел в верхний конец деревни. Всю ноченьку тогда она не сомкнула глаз, и сердце у нее так тосковало, будто пожар подбирается к их дому. А там, на Синельге, куда она смотрела? Разве не просыпалась она по ночам да не прислушивалась к его шагам? Вот бы и остановить его тогда: опомнись, парень! А она радовалась, думала, что Мишка опять где-то тайком от людей подкашивает сено для Звездони...

Женки примолкли. Сухо потрескивала солома под серпами — каждая, раздевшись до рубахи, гнала свою полоску. И Анна гнала. Гнала, всеми силами сдерживая рвущийся из пересохшего горла крик.

Господи, твердила она про себя, за что ей еще такое наказание? Сколько ее еще будет дубасить жизнь? Разве мало того, что война отняла у нее Ивана? Страшно подумать, что она перенесла за эти годы. Люди воевали с врагом, с немцем, говорили: выстоять. А у нее один был враг, который ни минуты не давал ей передышки, — нужда. И она тоже выстояла. Сохранила ребят. И вырос Мишка — есть на кого опереться семье. А что, что теперь будет?

## 2

Шесть пар умоляющих глаз смотрели на него. Мать, Лизка, Петька и Гришка, Татьяна, Федька. Да, и Федька. Когда ветер против семьи, тут Федька не на особицу, тут он заодно со всеми.

Шесть пар глаз смотрели на него с крыльца, заклинали: вернись! не ходи!

Нет, не будет по-вашему! Довольно! И, выйдя из заулка, Михаил на виду у них повернул в верхний конец деревни. И по деревне пошел тоже не таясь, открыто, потому что не было больше смысла таиться от людей. Потому что вся деревня теперь знала про скандал, который разразился у них на улице.

Мать прибежала с поля, вся трясется, задыхается, слова сказать не может. «Мати, мати, что случилось?» — «А, рожа бесстыжая, что случилось? На это отец тебя растил? Да у него бы кости в земле перевернулись, кабы узнал». А тут, как на грех, на улице против их дома показались Варвара. С работы домой шла. Мать — на нее: «Сука... Тварь поганая... блудница!..» За матерью Лизка, ребята — волчиной стаей налетели на Варвару. Ну, он, конечно, не допустил до свалки. Схватил хворостину,

одного огрел, другого — привел в чувство. И вот после такого позорища мать и Лизка завели другую пластинку — слезами стали давить: «Миша, Миша, пожалей нас... Миша, Миша, что ты делаешь?»

А что он делает? Что? Может, он лишний кусок хлеба съел от них тайком? Может, за три года работы в лесу костюм завел себе? А мог бы. Висел в ларьке триковый костюм в белую полоску. А он не взял его, он о Лизке подумал, потому что тогда бы Лизка осталась без ботинок. Забыли про это? Не помните? А Егорша уехал на курсы трактористов — не мог бы он тоже? Из-за кого остался дома? Нет, погодите! Рано вам учить меня. Рано. И ты, мати, отцом не укоряй. Отец-то меня растил — это верно, а кто твою ораву растит?

Ах, как хорошо, не таясь, идти по деревне! Да, смотрите. К ней, к Варваре, идет Мишка. Ну и что? Эй, Василиса, чего отвернулась? Стыдно стало, святоша? А ты, Аграфена, чего глаза вылупила? Знаю, знаю твои повадки. Сейчас побежишь брэнчать от дома к дому. Ну и брэнчи на здоровье. Валяй!

Было еще довольно светло, ни одного огонька на деревне. А Варвара запалила лампу со стеклом. Как прожектор, из окна бьет. Правильно! Так и надо. И катитесь все к дьяволу!

Трофим Лобанов, тюкавший топором под навесом у своего дома, привстал, когда он подошел к Варвариной калитке, — тоже любопытно. А он ничего: хлопнул калиткой, топнул сапогами по мосткам — смотри, смотри, старый хрен! — и первый раз не ползком, не на четвереньках, а как мужчина, с рапрямленной спиной поднялся на крыльцо.

Но кто бы мог подумать, что Варвара не одна дома? А она таки действительно была не одна — с Анисьей Лобановой. И Михаил не то чтобы растерялся, а все-таки поежился, встретившись с той глазами. Вернее, почувствовал себя так, будто его нагишом выставили напоказ.

Он сказал:

— Шел мимо — давай, думаю, на огонек...

Варвара бегло и презрительно посмотрела на него и хмыкнула. А когда вышла Анисья, скорым шепотом спросила:

— Ты зачем пришел? — Она любила вот так его огорошить.

Михаил прошел к столу, хотел было убавить фитиль в лампе — к чему такой огонь? — но Варвара раздраженно шикнула:

— Не тронь! Хочу на тебя посмотреть.

Он пожал плечами.

— Ты у матери-то спросился, куда пошел?

— Давай, зачала...

— Я говорю, у матери-то спросился, куда пошел? Не слышал, что она кричала? Ах, бедненький, ах, ребеночек!.. Его, вишь, Варуха совратила... А посмотрела бы она, как этот ребеночек кости Варухе выворачивал!

Михаил смущенно хохотнул:

— А чего и упрячилась?

— Кто упрямился?

— Кто? Не я же.

— А кто не я-то?

— Ну кто... Ты...

— А у этого «ты» есть имя, нет? Кавалер! Все лето к бабе выходил, а спросить, как зовут, и не сказать.

Это верно, он избегал называть ее по имени. Варвара — как-то не то. Варя — тоже язык не поворачивается... Да разве и обязательно все это? Обходилась же она до сих пор без этих телячьих нежностей.

— Подумаешь, расписывалась! Слушай побольше матерь, она по своей дурости наскажет...

— Мне скоро проходу не будет. Все пальцем показывают. И не то что люди — кусты-то придивились.

— Чему придивились?

— А тому, что с тобой, молокососом, связалась.

— Опять ты про года! Года, между прочим, у деда Матюхи в Заозерье подходящие. Девяносто второй, говорят, пошел...

— Перестань! Самое теперь время хахоньки строить...

— Он ни черта не понимал. Чего ей надо? Из-за чего вся эта муть? Из-за сегодняшней перепалки с матерью? Из-за того, что бабы на каждом углу судачат?

Он три дня не был в этом доме, три дня не жил, а задыхался, как рыба, выброшенная на берег. И вот тут она, рядом, только руку протянуть, и он чует запах ее жаркого тела, видит ее губы...

Люди будто сговорились сегодня. Кто-то опять зашаркал ногами на крыльце.

В избу вошла Анфиса Петровна.

Вошла, посмотрела на Варвару, посмотрела на него — усмехнулась.

— Какие это у тебя дела здесь завелись, Михаил? Раньше по вечерам я тут тебя не видала.

— Какие? — Михаил понял, сразу понял, что Анфиса Петровна неспроста зашла к Варваре, что она все знает. И еще он понял, что он должен сейчас сделать что-то такое, чтобы раз и навсегда отбило у людей охоту вмешиваться в их дела.

Сумасшедшая мысль пришла ему в голову. Он глянул прямо в лицо Анфисе Петровне и не сказал, а выпалил:

— Мы жениться будем! Ясно? — И, не дав ей опомниться, крикнул: — А что — разрешенья у тебя спрашивать?

Анфиса Петровна не удивилась, не закатила глаза на лоб. Она, казалось, заранее знала, что он скажет. Но Варвара? Почему Варвара молчит? Еще на той неделе, выпуская его рано утром из своего дома, она говорила, жадно-припадая к нему: «Ох, Мишка, Мишка! Кабы моя воля, ни в жисть бы не отпустила тебя». Так в чем же дело? Давай возьмем волю.

Наконец, Анфиса Петровна разжала свои сухие, еще с сенокосной страды запекшиеся губы:

— Дак вот что я тебе скажу, жених. В лес ехать надо.

— Мне? В лес?

— Да.

— Вот как! А с месяц назад что ты говорила? «Михаил, бригадиром будешь...» Говорила?

— Говорила. А теперь вижу: слишком голова горячая. У пня остудить не мешает.

— Ты меня пнем не страшай! Я с четырнадцати лет у пня. А на этот раз на, выкуси! Не поеду!

— Поедешь. Своей волей не поедешь — по суду отправим.

— Меня по суду? Это меня-то? Дак вот как ты... «Михаил, чем тебя и отблагодарить... Михаил...» В пояс принародно кланялась... А сейчас в суд Михаила? Из-под нагана в лес?

Ненависть, слепая, безрассудная ненависть захлестнула его. Он шагнул к Анфисе Петровне, до хруста, до боли сжал пальцы в кулаки.

— Я-то знаю, с кем ты это придумала. Знаю. Мати прибежала, да? «Спаси, Анфиса Петровна...» Да? А я вот возьму да к такой матери и Анфису Петровну и мать... Всех!..

— Миша, Миша!..

— Нету больше Миши! Нету! — Михаил сапогом распахнул дверь, вылетел из избы.

Анфиса заговорила первой:

— Видишь, что ты натворила. Меня с парнем поссорила и семью с ума свела. Правильно он сказал: прибежала ко мне Анна...— Она перевела дух.— Мне говорили, сказывали, что Варуха с парнем связалась, ну, я не верила...

— А теперь веришь?

— Выбрось эту дурь из головы. Посмешила людей и хватит.

Варвара с легкостью кошки вскочила с кровати, сдернула с гвоздя у порога парусиновую сумку, протянула Анфисе.

— Что это?

— А вот то. Наслужилась я тебе. А теперь проваливай! — И, сухо блеснув глазами, указала на дверь.

Анфиса подержала в руках сумку. Осенью сорок второго года эту сумку, тогда еще добротную, почти новую, привезенную с войны Петром Житовым, вручила она Варваре. Вручила, можно сказать, жизнь пекашинских баб и детишек, потому что в сумке этой были ключи от колхозных амбаров и складов. И надо отдать должное Варваре: честно, по совести вела она хлебные дела все эти трудные годы. В сорок четвертом году, когда в Пекашине привелось есть мох, кто вместе со всеми давился палками? Варвара, колхозная кладовщица. И не для показа давилась, а потому, что не могла иначе — Анфиса хорошо узнала за это время Варварино сердце. Все пополам делили они друг с дружкой: и муки, и горе, и надежды. А бывало, заем, жито надо внести в фонд обороны, картошку — с кого в первую очередь взять? «Придется нам с тобой, Варвара, поднатужиться. У нас детей нету». И Варвара не хныкала: «Ладно, Анфиса, после войны жить будем».

— Ты не глупи, Варвара, — сказала Анфиса и, отложив сумку в стору, строго посмотрела на нее. — Тебе не семнадцать лет.

— Да и не сорок. И всю жизнь по твоей указке жить не собираюсь. Хватит — покомандовала в войну. А теперь не лезь, куда не просят.

— Нет, полезу! Ты только о себе думаешь, а у меня деревня...

Варвара шумно задышала. Раздутые ноздри у нее, попав в полосу света, стали алыми.

— Врешь! Врешь! — крикнула она и топнула ногой.

— Не кипятись, Варвара. Я никогда не вру.

— Врешь! Врешь! Это кому ты сказки-то сказываешь? Ха-ха-ха! Она о деревне думает, она святая, а я только о себе... А сказать тебе, когда ты о себе-то начала думать? Еще в войну, на втором году. Когда люди на фронте помирали.

— Чего ты мелешь... Опомнись...

— Не беспокойся. Я в своем уме. Ну-ко, кто из баб гонялся за мужиком до района? Кто? Может, я? Может, Грунька Яковлева?

Анфиса медленно опустила свою повинную голову. Три года никто не спрашивал с нее за те два-три часа бабьего счастья, что она вырвала у войны в ту ночь...

Был вечер, шумел дождь, и продрогший на ветру конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу, тянул ее домой. А она не двигалась. Она все стояла, смотрела за реку и все ждала чуда: вот-вот еще раз красными искрами осыплется сигарка на гом берегу и радостный голос донесется оттуда: «Анфиса, подожди! Я не уехал. Я не мог уехать...» Но чуда не случилось. Лукашин не подал голоса с той стороны. И в конце концов она пошла домой, вся мокрая, разбитая, ведя в поводу коня. Да только вышла от перевоза на луг да подумала, что, может, ни разу в жизни больше не увидит Ивана Дмитриевича, и — что поделалось с нею? — птицей взлетела на коня...

Не поднимая головы, Анфиса тихо сказала:

— То любовь, Варвара.

— Ах, любовь! Вот как! У тебя любовь, тебе можно. А у Варвары любви не может быть. Варвара собачонка. Снюхалась, перебесилась, и дальше. Так?

— Он мальчишка против тебя. Опомнись! Какая тут любовь!

— А где, где они, не мальчишки-то? Я виновата, что их на войне поубивали? Я?

По смуглым пылающим щекам Варвары текли слезы. И ее, как Мишку, трясло от бешенства, от ненависти. К ней, к Анфисе. За то, что она, Анфиса, встала между ними. И, внутренне вся содрогнувшись, Анфиса подумала: «Господи, да живите вы, как знаете. Что я, жандарм, поп вам какой?..»

А вслед за тем она готова была и вовсе оправдать Варвару. Ну, связалась с молодым парнем... Так что же? Она первая? Разве такого не было до войны? А ведь тогда — не теперь: полно было мужиков...

Но так Анфиса думала недолго, может, минуту, может, две, до тех пор, покуда на память ей не пришла Анна Пряслина, ее несчастные дети... В чем угодно можно упрекнуть ее, Анфису, все смертные грехи готова признать за собой, но только не черствость, но только не закаменелость. Нет. Тут она чиста. В войну, в самые черные дни старалась хоть немножко, хоть горсть зерна подбросить многодетным матерям — так разве она допустит сейчас, чтобы на ее глазах разорили пряслинскую семью?

И она сызнава, с еще большей силой навалилась на Варвару. Она стыдила ее, распекала, взывала к совести, опять напоминала о годах, о возрасте — в общем, била по самому больному месту, по Варваринной гордости.

И та, совсем ошалев, кричала, топала ногами:

— Вон, вон убирайся из моего дома! Вон!

— Нет, нет, Варвара,— упрямо твердила Анфиса.— Не уберусь. Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Дай! Слышишь? Дай!

## Глава восьмая

### 1

За войну какие муки не приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука.

Гнали стариков, рваных-перерванных работой, подростков снимали с ученья, девчушек соплеленых к ели ставили. А бабы, детные бабы,— что они вынесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой — ни по годам, ни по чему другому. Хоть околеет, хоть издохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть.

«Бабы, бабы, потерпите! Бабы, бабы, еще немного! — каждую осень, когда приходила пора выпроваживать их в лес, говорила Анфиса.— Будет, будет на нашей улице праздник. Не мной это сказано».

И вот он, праздник. Десять тысяч четырехста кубометров! Такого задания за всю войну не было.

— Евдоким Поликарпович,— слезно взмолилась Анфиса,— да что же это такое? Где я возьму столько народу? У нас со стариками да с калеками столько не будет, сколько вы в своей бумаге трудоспособных требуете.



— Что значит в своей бумаге? Это не моя бумага. Это государственный план. Понятно? А во-вторых, вот что, Минина, кончай с демобилизационными настроениями. Запомни: для кого война кончилась, а для нас, северян, только началась. Пол-России лежит в развалинах — каким лесом ее отстраивать? Опять тебя политграмоте учить?

Разговор этот был по телефону, а на другой день утром в Пекашино заявился уполномоченный райкома. И вот как в прошлые годы, начали они с уполномоченным перебирать колхозников по спискам. Перебирали-перебирали, так и эдак перебирали — и сверху донизу, и снизу доверху — девять человек выловили.

— Пиши повестки,— сказал уполномоченный.— Закон о трудовинности применим.

То, что у пятерых женок из девяти, попавших на карандаш уполномоченного, были малые ребята, об этом Анфиса уж не заикалась: дети не в расчет и раньше были. Но как же ей с хозяйством-то колхозным быть? Хлеб молотить надо? Надо. Сено возить с дальних пожен надо? Надо. А школу, а медпункт — можно их без дров оставить?

— Это уж твоя забота,— отрезал уполномоченный и сам стал выписывать повестки.

И, как в прошлые годы, в эти дни было много слез и ругани.

— В чем я в лес-то пойду? Ты погляди, на что валенки у меня похожи.

— У меня на войне мужик голову сложил — некому заступиться. Валяй, дави бедную.

— Ты еще в войну наш род невзлюбила. Девку четырнадцати лет в лес выписала — на всю жизнь калекой исделала. А теперь и мать загубить хочешь.

— Анфиса Петровна, да есть ли у тебя сердце-то? Я вся ломана-переломана. По ночам ревом реву...

Анфиса не оправдывалась, не спорила («Плачьте, кричите, бабы, пседом меня ешьте, ежели вам от этого легче станет»), но была неумолима. На субботу назначена радиоперекличка — какой ответ она будет держать перед Подрезовым?

Радиопереклички созывались в году часто. Заело с посевной — радиоперекличка. Худо идет подписка на заем — радиоперекличка. Не выполняется план по сдаче хлеба — так и знай, будет перекличка. В назначенный час приложат председатели колхозов и сельсоветов телефонную трубку к уху, раскатится подрезовский бас по всей линии и пойдет разнос направо и налево. Крепко, со смаком умеет разносить Подрезов. Подвернется мат под руку — и матом запустит. А ты сиди, да слушай, да за милость считай, что тебя на бюро райкома не вытащили. Потому что одно дело, когда в тебя щепя за тридцать верст летит, а другое дело, когда тебя наповал рубят.

Нынешняя радиоперекличка была назначена на семь часов вечера, и Анфиса побелела, когда, вбежав в контору и чиркнув спичкой, взглянула на часы: было двадцать минут восьмого. Задержалась она на скотном дворе из-за молодой коровенки, у которой был неправильный отел. Но разве скажешь об этом секретарю?

Зажигать лампу некогда, уши и в темноте слышат — Анфиса на ощупь подошла к телефону, взяла трубку.

Подрезов только еще входил в раж.

— Что? Что? — кричал он.— Двое мужчин? Когда?

— Думаю, ноября пятнадцатого—двадцатого.

По неторопкому, шепелявому голосу Анфиса признала в ответчике своего соседа — председателя колхоза «Октябрь».

— А почему не сейчас? — спросил Подрезов.

— Да их еще дома нету. Из армии едут.

Раздался дружный смех. Молодец Мерзлый! Посадил секретаря в лужу. Не все нашему брату шишки получать.

Подрезов тоже рассмеялся — всех покрыл своим басом, — а потом сказал:

— А я и не знал, что ты артист, Мерзлый. А ну-ка, возьми себе на заметку: двадцать пятого октября на бюро райкома. Посмотрим, посмотрим, какие у тебя артистические данные.

— Евдоким Поликарпович, да я, ей-богу, серьезно. Едут. Письма от обоих есть.

— И я серьезно. Записал? Ну вот, готовься к смотру.

Анфиса закусила губу: ее черед. Нет, Подрезов перемахнул сразу через пять колхозов. На Сидорова-старика навалился.

— Да, да, Сидоров у телефона. — Голосок писклявый, тоненький, еле слышно. Самый верхний колхоз у Сидорова.

— Сколько, спрашиваю, в лес за неделю вывел?

— Слушаю, слушаю, — опять по-козлиному заблеял Сидоров.

— Матюшин, — сказал после короткого молчания Подрезов. Это относилось к председателю ближайшего от Сидорова колхоза. — Съезди завтра к старому хрену. Скажи, чтобы на бюро ехал. Мы ему прочистим уши. Так и скажи.

— Хорошо, Евдоким Поликарпович, скажу.

Из отчетов председателей Анфиса поняла, что в других колхозах дело с выходом людей на лесозаготовки обстоит не лучше, чем у нее, а в некоторых колхозах даже хуже, и она уж было подумала: ну, кажется, сегодня отсидится за чужими спинами. Не отсиделась.

— Минина, — голос Подрезова приподнял ее с табуретки, — докладывай.

— Пятерых за эту неделю послала.

— Так. Значит, у тебя теперь в лесу сколько? Тридцать один? — Подрезов все знал и помнил, что касалось леса. Да, по правде сказать, и кто когда придавал значение северным колхозам? Лес, лес давай, а уж как ты там справишься с севом, с сенокосом и прочими делами — это твое дело.

— Да, тридцать один, — ответила Анфиса.

— А по плану?

— Сорок пять, — упавшим голосом сказала Анфиса.

— Ну и что же?

— Да где их взять-то, Евдоким Поликарпович?

— А ты поищи, поищи хорошенько. — Старый, излюбленный совет Подрезова.

— Да уж искала. И я искала. И ваш уполномоченный целую неделю искал.

— Нет, значит, людей?

— Нету.

Подрезов басовито рыкнул, прочистил горло.

— Возьми карандаш. Взяла? Пиши. Первое: Репишная Марфа Павловна. Есть такая?

— Евдоким Поликарпович, да как же ее посылать? У человека годы на исходе и грыжа в обоих пахах.

— А грыжу-то где она нажила? Не с попом ли?

На проводе прыснул смех.

— Кому это там весело? Тебе, Новиков? Потерпи маленько. Скоро уж твоя очередь.

Смех сразу погас.

— Записала, Минина?

Анфиса промолчала.

— Минина! Я кого спрашиваю? Или боишься, что молельня перестанет работать?

Второй раз предупреждал ее Подрезов насчет молельни. Да, поговаривают в деревне — ходят к Марфе Репишной старухи. И раз даже, проходя мимо ее дома вечером, она сама слышала какое-то пенье в избе.

А может, Марфа тут ни при чем? Когда она отличалась набожностью? Может, это Евсей Мошкин воду мутит?

## 2

— Пришла, Павловна... А я уж думал, замерзну, не дождусь...

— Не мог людей-то не срамить! Мало я с тобой натерпелась? Вставай!

Сено зашевелилось. Белый клубок пара вырвался оттуда, потом показалась обмотанная тряпьем голова.

— Не встать. Обессилел.

Тогда Марфа нагнулась к стогу, сграбастала мужа в охапку, посадила на санки, кинула ему в ноги его котомку.

Дорогу перемело начисто — двое суток без роздыха лютовала метель. Она брела от вешки к вешке, смутно черневшим на вечернем лугу, месила рыхлую замять, падала.

Так дотащилась до моста через Синельгу.

— Живой?

Митрий кланулся зубами.

Она сняла с себя полушубок, набросила на мужа.

— Что ты, Павловна... Сама-то замерзнешь.

— Помалкивай! И без твоих слов тошно.

Когда два-три часа назад ей сказали, что Митрий лежит у зарода на Марьиных лугах — отошал, идти не может, — Марфа готова была волосы рвать на себе. Господи! За что ей еще такое наказание? У всех мужья как мужья — на войне воюют, а ее ненаглядный даже для войны оказался негод — в трудовую армию, всю войну в тылу околачивается.

Но затем, одумавшись, она оделась, пошла на конюшню. Лошади свободной не было. Марфа сама впряглась в санки.

И вот тащилась она через луга, через лес — в одном сарафане, подол заледенел, грыжа разрывает паха — тащилась, сцепив зубы, и на все лады кляла свою судьбу.

В избу Митрий вполз сам — у нее не хватило сил внести его.

Отдышавшись, Марфа зажгла лучину. Митрий, привалившись к косяку дверей, все еще сидел на полу у порога.

— Что, так и будешь сидеть? Без няньки не можешь?

— Отошал я, Павловна. Дай прийти в себя.

— А здесь, думаешь, рай? Скоро болота не будет — весь мох приели.

Сапожонки у Митрия, разбитые, перевязанные светлой проволокой, оттаяли, подтекли лужами. Тяжелое зловоние распространилось по избе.

— Замучила дизентерия, — виновато сказал Митрий.

И не от жалости к мужу, нет, а по вековой привычке к чистоплотности Марфа затопила печь, согрела воды в чугунах, обмыла мужа в корыте.

Оказавшись в теплой постели, в чистом белье, Митрий расплакался, как малый ребенок:

— Ну вот, теперь и помирять можно. Думал, не дойду. Иной день репку съешь, иной день так. Где пустят ночевать, где в сарае приткнешься. Вошь, понос — людей стыдно...

Скоро Митрий забылся, а Марфа, награв еще воды, принялась за стирку. Ее тошнило от вони, от вшей, которые серым слоем всплывали на воде в корыте, и она думала об одном: не приведи бог, чтобы кто-нибудь зашел в избу.

Выстиранное белье она развесила на печи, ватник и ватные штаны оставила мочнуть до утра в щелоке, подтерла вехтем пол. Оставалось еще разобрать котомку.

Она села на пол — ноги больше не держали, — развязала мешок с лямками. И все, что было в нем, вывалила на пол. Тут было грязное, протертое до дыр вафельное полотенце, жестяной котелок — большая консервная банка с проволочной дужкой, пара старых рукавиц, шило с нитками, обмылок серого мыла, бутылка с керосином, обернутая в тряпку; и еще был грязный, растрепанный кочан капусты, зачем-то обвязанный шпагатинной.

Если бы не эта шпагатина, она бы просто выбросила кочан — коровы нету, кто будет жрать такой кочан? Но шпагатина пригодится, и она, положив кочан на колени, стала распутывать узлы, в душе своей последними словами понося мужа: дурак безмозглый! Совсем из ума вышел. Где это видано, чтобы веревку на кочан наматывали?

Она распутывала, распутывала шпагатину — ногтями, зубами разгрызала узлы, наконец распутала. Не кочан — сверток. Сперва старой газетой обернут, затем платом, старинным аглицким платом, который она носила еще в девках. Плат этот Марфа искала всю войну. Перерыла все коробья, корзины, лукошки, думала: потеряла или кто украл. А он, оказывается, вот где всю войну пролежал — в грязной паршивой котомке. И тут Марфа едва не задохнулась от гнева. На кой черт ему было уносить этот плат из дому? Ведь она так обносилась — голову в страду нечем прикрыть.

Зашипел сбоку в корытце с водой огарок. Марфа, не вставая, переменяла лучину в светце, развязала плат и просто обмерла: сладости... Розовые подушечки, слипшиеся, вывалянные в чаю, в сахарном песку, леденцы — красные, желтые, зеленые, сахар маленькими кусочками, чай в газетном кулечке и еще вдобавок к этому две белые сушки — давнишние, закатанные, крепкие, как камень.

Она и минуту и две смотрела на все это неподвижными, остекленевшими глазами, а потом вдруг схватила за голову и заревела громко, навзрыд.

Мужа своего Марфа не любила, сердце ее наглухо было закрыто для него, хотя она и честно несла крест, взваленный на нее отцом и братьями. Да и как она могла любить его? За что? Слабосильный, чуть не на голову ниже ее. Ни топор, ни пила в руках не держится. Ему даже бороды бог не дал. Волос рос клочьями — где есть, где нету. Как трава на болоте.

Но сейчас, в эти минуты, когда перед глазами у нее на коленях лежала куча сладостей, она как бы заново увидела своего мужа. Трудно, невысказанно даже вообразить, какой ценой собрал он это богатство. Не ел сам, откладывал по крохам из недели в неделю, из месяца в месяц, дорогой случайными репками пробавлялся — так ведь он говорил давеча, — а к сладостям не притронулся. И все для того, чтобы ублажить свою Павловну, которая за годы войны забыла, как и сладости-то пахнут. И бутылку керосина — в любой деревне можно было обменять на хлеб — тоже берег для Павловны, потому что знает: Павловна всю войну мается с лучиной.

А что он видел от своей Павловны?

«Павловна, Павловна, не беспокойся. Я подоил корову. Отдыхай». И ох же как она ненавидела его за эту корову! Во всей деревне не было

другого мужика, который бы копался в коровьих сиськах. «А мне, Павловна, люди не указ. Пушай смеются. Тебе бы полегче».

А ночами-то зимними — господи! Отхожее место за домом — с фонарем готов провожать Павловну.

И что из того, что он не вышел телом? Разве его вина? А она-то сама вышла? Высоченная, широкая, угловатая. Как медведица. И все это враки, что у нее был жених до Митрия. Не было. Никому она, кроме него, не нужна была.

Митрий от рева Марфы очнулся, заметался на койке.

— Павловна, Павловна, что с тобой?

А когда Марфа встала с полу, да подошла к нему, да села на койку, он опять завсхлипывал, как малый ребенок:

— Ты уж прости, Павловна. Заболел. Можно было и там помереть, да не вытерпел — так хотелось еще перед смертью тебя повидать...

Марфу душили слезы, и она редела белугой, а Митрий все говорил и говорил:

— Сколько же ты намучилась со мной, Павловна! Сколько стыда-то из-за меня приняла! И зачем же вот было тогда у реки встретиться? Помнишь, с солью я шел? Грешен перед тобой. Сам слабый — на силу твою позарился. Сгубил твою жизнь...

Митрий был в памяти до полудня, затем вдруг захрипел, потянулся к ней руками и помер.

Было это в конце марта сорок пятого года, в великий пост, а на пасху Митрий явился Марфе во сне.

Она лежала на печи. Вдруг дверь неслышно отворилась и в избу вошел Митрий — светлый, радостный, в новых сапогах. «Павловна, спишь?» — тихонько окликнул он ее. — «Нет, не сплю». — «Не бойся меня. Я не мертвый», — предупредил Митрий, так как знал, что Павловна боится покойников. Потом на цыпочках, как при жизни, подошел к ней. И глаза его — голубые, кроткие, а голос вроде другой — как листья прошелестел: «Ну как ты без меня живешь?» — «Я-то что. По-земному. Ты-то как?» — «Хорошо, Павловна, хорошо. У речки живу, со староверами».

Тут Марфа открыла глаза. В избе было утро. Весеннее солнышко заглядывало в передние окошки.

«Ну, слава богу, — подумала она, — хоть на том-то свете хорошо живет. Подал весть — не расстраивайся, Павловна». Но затем, припоминая слова Митрия, она задумалась: почему же он живет со староверами? Правда, отец и мать у него были староверы, но сам-то он какой же старовер? Всю жизнь ел с ней из одной посуды.

В тот же день, встретив старуху староверку, она спросила:

— Как на том свете заведено? Порознь или вместях живут староверы и мирские?

— Порознь. Как не порознь, — убежденно ответила старуха. — Хватит, на этом свете погрешили с табачниками.

И вот когда вскоре после этого в Пекашино вернулся Евсей Мошкин, доводившийся ей дальним родственником, Марфа решила: это знак свыше. Сам бог посылает ей Евсея.

Она перешла в старую веру.

### 3

С крыльца спустились две старушонки, сделали шага два-три навстречу ей и вдруг повернули назад, порысили на задворки.

Так, сказала себе Анфиса, Подрезов-то, видно, не зря предупреждает. А когда она вошла в избу, то сомнения ее и вовсе отпали. На божнице в переднем углу теплится красная лампадка, медные иконы

отсвечивают, стол сдвинут в сторону, на полу разостлана ржаная солома...

— Проходи, Петровна, садись,— смущенно сказал Евсей.

А Марфа — ни слова. Ждала, повернув к ней голову. Высокая, прямая, в черном платке, надетом по-старушечьи — клином. И глаза ее недобро сверкали в полумраке.

В избе крепко пахло подсыхающим деревом. Свежие доски и брусья белели на полатах, под потолком над печью. Все это были заготовки для ушатов, для кадешек, которыми Евсей снабжал не только пекашинцев, но и жителей соседних деревень. Подельывал он кое-что и для колхоза. Летом, например, он вставил новые рамы на скотном дворе, потом согласился сколотить три пары саней. Сани нужны были позарез, и Анфиса хотела было начать разговор издалека, с этих самых саней,— поторопись, мол, Тихонович,— но, встретившись с откровенно враждебным, выжидающим взглядом Марфы, она отбросила дипломатию:

— Лампада горит — праздник у вас?

— Праздник. Воскресенье завтра,— отрубил Марфа.

— И праздновать будете?

— Будем.

— Вдвоем или еще кто будет?

— Кто придет, тому и рады. Хоть ты приходи, и тебя не прогоним.

— Ну вот что, Евсей Тихонович,— сказала Анфиса.— Жить живи, а людей не смущай.

Марфа опять полоснула ее своими глазищами.

— Что, убивает кого Евсей-то? Помолиться нельзя?

— Да мы никого и не зовем,— сказал Евсей.— А ежели придет какая старушонка, как ее прогонишь.

— Я предупредила тебя, Евсей Тихонович, а остальное сам понимаю.

С Марфой говорить было бесполезно. Она, не дожидаясь конца их разговора, повернулась лицом к божнице, подняла руку, сложенную двуперстным крестом, бухнула на колени и напоказ, с вызовом начала молиться.

«Что же это делается-то?» — думала Анфиса, выходя на улицу. С лучшими помощниками своими она поругалась. С Мишкой, с Варварой, а теперь еще и с Марфой. Ох, как Марфа посмотрела на нее! Как будто она, Анфиса, ей первый враг... А Варвара? Век бы не подумала. За всю войну у нее не было человека ближе Варвары. «Анфиса, Анфиса моя! Сестры у меня нету, будь моей званой сестрой. И чтобы всегда нам вместе. До гробовой доски». И они обнимались, плакали, поцелуями скрепляли клятву. А теперь к этой званой сестрице близко не подходи — укусит.

Да, что-то менялось в жизни, какие-то новые пружины давали себя знать — она, Анфиса, это почувствовала,— а какие? Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу.

А может, она все это выдумывает? Может, лесная страда так придала ей?

Под ногами скрипит снег, белеют крыши под лунным небом, а под крышами темно. Только в двух-трех обмерзлых окошках чадит лучина. А где жизнь? Жизнь ушла из деревни в леса. Надолго. На всю зиму. До полый воды.

Так всегда на Севере, испокон веку. Нельзя северянину прожить без леса. Но ох и поломал же ты, лес, народушку! Редкая баба, которая

выстояла у пня несколько лет подряд, не проклинает тебя потом всю жизнь...

На повороте улицы из-за темного угла выскочила девчушка. Встала, руками перегородила дорогу.

— Анфиса, Анфиса Петровна! Где это вас носит? Я весь вечер ищу. К вам гости приехали.

Анфиса по голосу узнала Лизку Пряслину.

— Какие гости?

— А вот не скажу! Догадитесь! — И Лизка, блеснув глазами, расмеялась, скользнула мимо и уже сзади крикнула: — Дорогие!

Что за гости? Кто мог к ней приехать? Какой-нибудь командировочный? Районщики любят останавливаться у председателей колхозов — посытнее. А может... Сердце у Анфисы дрогнуло, горячая волна залила грудь. «Нет-нет, не может быть», — сказала она себе, учащая шаг. Последнюю весточку от Ивана Дмитриевича она получила вскоре после победы, из Германии, и с тех пор ни одного письма...

В окнах ее дома горел яркий свет, заулочок широко разгребен от снега. Кто бы это?

Григорий...

Она стояла под порогом, словно приросшая к полу, и во все глаза смотрела на подходившего к ней мужа.

— Ну, здравствуй, жена.

— Здравствуй, Григорий Матвеевич. С прибытием. — Анфиса протянула нахолодавшую руку, поклонилась.

— Да ты, Анфиса, разучилась, как и с мужиком обходятся, — сказал из-за стола Петр Житов.

— Разучилась, Петя. Верно.

Кроме Петра Житова, за столом сидели Федор Капитонович, Степан Андреянович — этих она разглядела, а дальше изба пошла кругом: на глазах у Григория она увидела слезы, и вдруг сама, припав к нему, громко, по-бабьи разрыдалась.

## Глава девятая

### 1

Ель напоследок попалась толстая, суковатая, и Михаил поплясал вокруг нее — снег стоптал до ягодника.

По привычке он присел было на теплый смолистый пень, чтобы отдышаться и перекурить, но затем вспомнил, что все уже из делянки ушли, кроме него и Ильи Нетесова, и встал.

— Эй, поехали! — подал он голос.

Илья не откликнулся.

Михаил повернул голову на треск сучьев сзади себя и увидел, как в темной чашобе Илья разжигает огонь.

— Ты что — для медведя стараешься? Думаешь, замерзнет ночью?

— Для себя, — ответил Илья. — Худо вижу.

— А для чего тебе хорошо-то видеть?

— Да хочу еще ель-другую свалить.

— Ну-ну, валяй, — только и мог сказать Михаил.

Видывал он на своем веку лесорубов. И сам не из последних: полторы нормы за день — это уж всегда. Но Илья Нетесов не в счет. Таких работяг, как Илья, больше нету. До двух с половиной норм выжимает. И еще бригадир. Вечером ложишься спать, а он еще за столом, с бумагами — дневной баланс по участку подбивает. А утром кто первый на ногах? Илья.

«Ему надо,— говорит Антипа Постников.— Партийный».

Партийный-то он партийный, думал Михаил. Это верно. Но ведь и партийный не из железа сделан. Брюхо-то у всех одинаково: ему заправку подай. А какая заправка у Ильи? Он, Михаил, и другие худо-бедно, а все какое-нибудь подкрепление из дому получают — то картошку, то молоко, а у Ильи коровы нету, Илья сам должен подбрасывать семье. Вот он и старается, чтобы хлебная пайка поувесистей была.

Голод мучил Михаила. Горбушку хлеба, которую он взял с собой, он съел еще днем: пальцы наловчились — до тех порковыряют за пазухой, пока там не останется ни крошки.

Выбравшись с делянки на твердую, хорошо укатанную дорогу, по которой возили лес, он околотил валенки от снега, сбил с ватных штанов куски наледи.

Мороз еще не набрал силы — с декабря начнет корезить и ломать все живое, — но дорога под ногами визжала уже по-морозному, а главное, радио стало слышно.

Радио играло на той стороне речки, на Сотюжском лесопункте. В теплую погоду его не слышно — три километра до лесопункта, — но как только начинают давить морозы, тут голос столицы докатывается и до них, колхозников.

Да, вот так и живем, думал Михаил, поскрипывая валенками по лесной дороге. Кто-то эту музыку, сидя в тепле, слушает. А кто-то под эту музыку пробежки вечерние делает. С топором, с пилой. А ведь, кажись, один лес заготавливаем. И мы, колхозники, и леспромхозовские рабочие. А жизнь разная. За три километра друг от друга, а разная. Там тебе, на лесопункте, и красный уголок, и столовка, и ларек — все, что надо. А у них, на Ручьях, ни черта. У них, на Ручьях, все наоборот. В прошлом году, когда на участок к ним приезжал сам Подрезов, он, Михаил, поставил этот вопрос: почему так? Почему одним все, а другим ничего? «А ты с колхоза требуй», — ответил Подрезов. — У тебя колхоз есть». А что с колхоза требуешь? Откуда возьмет колхоз?

Сзади зацокали копыта. Михаил обрадовался. До барака осталось тащиться еще добрый километр — вот он и подъедет. Возчики частенько выручают их, рубщиков.

Ехала Нюрка Яковлева. Остановилась, блеснула глазами из-под заиндевелого платка.

— Садись!

— Ладно, езжай.

— А чего ладно-то — не укушу, — шаловливо рассмеялась Нюрка.

— Замерз, говорю.

— Вдвоем-то, может, скорее согреемся, — быстрой скороговоркой сказала Нюрка и опять рассмеялась.

— Проваливай, говорю! — уже сердито сказал Михаил.

Нюрка была лютая на любовь. В прошлом году все они на Ручьях к весне начали пухнуть от голода, и у нее лицо отекло. Но даже в то время Нюрка по-прежнему каждую субботу бегала на лесопункт. Одна. По темному лесу. Потом Нюрка спуталась с Егоршей, а с этой осени — Егорши нету — стала липнуть к нему. Михаил как-то проснулся под утро — что такое? Кто у него под одеялом бегаёт? Мышь забралась? А то, оказывается, Нюрка — руками его ощупывает, шепчет на ухо: «Подвинься».

Ну, он подвинулся — сунул кулаком как следует. Не лезь. Будет он после Варвары на какую-то потаскуху глядеть. Правда, глядеть у Нюрки есть на что. Высокая, фигуристая и глаза — вода полая, любое дерево с корнем выворачивают. Недаром из-за нее все ребята и мужики на лесопункте передрались. Но, конечно, куда там Нюрке до Варвары.



С делянки донесся глухой шум падающей ели — Илья все еще мял лес. Небо вызвездило. Стало посветлее на дороге. Зеленой искрой сверкал снег на еловых лапах.

Михаил бежал, прислушиваясь к радио, и думал о Варваре. За полтора месяца ему только на один вечер удалось вырваться в деревню. А Варвары он так и не видел. Куда пропала? Он выстоял у нее на крыльце чуть ли не всю ночь и вернулся домой на рассвете злой, продрогший до костей. Мать, конечно, принялась за старое: «Мы думали, ты хоть за дровами съездишь. А ты опять к той ведьме». — «Ах, так! — взъярился Михаил. — Вам дрова надо? Дрова? Замерзли, бедные? Ну дак померзните еще!» — и укатил на Ручьи. Вот так он проучил своих. Дровами. Пускай попробуют, как из-под снега добывать. Может, хоть это чему-нибудь научит.

Варвара не выходила у него из головы. Он думал о ней в лесу, с ожесточением врубаясь в дерево, думал, отдыхая у костра. Варвара снилась ему по ночам. И в этих снах она не смеялась над ним, не подкусывала его, а была такая покорная и тихая и все спрашивала: «А за что ты меня любишь? Скажи»...

В морозном воздухе запахло жилым дымком, затем вскоре донеслось хлопанье замороженной двери. Михаил оглянулся — он поднимался уже на холм.

Ноги у него ожили. Он быстро перевалил за хребтину темного ельника, и вот он, барак, внизу у ручья, — с огнями, с теплом, с горячим ужином.

## 2

Михаил любил свой барак. Любил, как всякий лесоруб, который, набродившись в снегу за день, наконец-то попадал в тепло.

Когда осенью в сорок втором году они с Егоршей, оба пятнадцатилетние подростки, приехали на Ручьи, тут вообще никакого жилья не было. Даже охотничьей избушки поблизости не было. И вот задача: за полтора месяца поставить избу, да такую, чтобы целой бригаде жить можно. Анфиса Петровна тогда сказала: «Хощь умрите, а изба должна быть. Не я прошу — война просит».

И они поставили. Поставили впятером. Он, Михаил, Егорша, сестры Житовы — Клавдия и Манька — и старик Никифор.

Никифор каждую ночь по очереди выковыривал их из песчаной норы, в которой они, как звери, спали, зарывшись в сено: «Давай-давай, разомнись». И они разминались. Бегали до тех пор вокруг костра, пока паром не начинала дымиться промерзлая одежда.

Первые не выдержали сестры Житовы. Манька схватила воспаленные легкие еще тогда, когда сруб не подняли до окошек. А у Клавдии так густо высыпали чирьи по всему телу, что она не могла ни лежать, ни сидеть, и всю последнюю ночь, как на молитве, выстояла на коленях.

Потом очередь дошла и до Никифора — обгорел старик. Заснул и обгорел. Они-то, молодняк, хоть с грехом пополам, а все-таки по ночам спали, а Никифор сколько подремлет, сидя у костра, и за топор, потому что если он заснет, то кто же их будет вытаскивать из норы для разминки?

И вот какой был старик! Не о себе горевал, не о том, что у него до костей сожжена спина и жить ему осталось ровно неделя, а о крыше. «Ох, ребята, ребята, что я наделал, старый дурак. Как вы без меня поднимете стропила...»

Стропила они действительно не подняли. Лабазом покрыли избу. Не хватило у них умения, у пятнадцатилетних подростков, сделать двускатную крышу. Да и некогда было — Сталинград кричал с Волги...

Барак, как это всегда бывает по вечерам, курился дымом. Дым лез из трубы, высоким белым столбом вздымаясь к звездному небу, дым лез из обмерзлых окошек и дверных щелей.

У крыльца, похрустывая сеном, горбилась заиндевелая лошадь. Лошадь была в санях, и Михаил понял, что кто-то приехал из деревни. У него ворохнулась мысль: не Варвара ли? Не она ли легка на помине? Но когда он, скрипя промороженной дверью, переступил за порог, мысль эта так же быстро растаяла, как морозное облако, которое влетело с ним в барак.

Приезжим оказался Петр Житов. Петр Житов сидел у жарко топившейся печи — лицо с мороза красное, в зубах сигарка — и, судя по тому, как вокруг него сгрудились люди, выкладывал деревенские новости.

Дым в полстены стоял в бараке. Лампа на стене горела, как в тумане. Пригибаясь, Михаил поставил в угол к дверям «лучок», взял со стола свой котелок. Новости он еще успеет узнать — Петр Житов скорее всего заночует, — а пока не разморило в тепле, надо сходить за водой да навесить котелок: росказнями сыт не будешь.

Однако Петр Житов чем-то здорово ошарашил людей — все говорили разом: «Что ты, что ты! Не плети. Не может быть». Антипа Постников два дня не встает с нар, болеет, а тут приподнялся — бороденка кверху, глаза в потемках горят, как фонари.

Михаил подсел к нему с краю.

— Чего он там заливает?

— Чего? Председательница скурвилась. С мужиком своим разошлась.

— Анфиса Петровна? — Михаил заморгал оттаявшими ресницами и тоже вытянул шею.

Петр Житов говорил:

— Баба что замок с секретом — никогда не знаешь, что выкинет. Какой-то у ей в войну хахаль завелся. Тут, говорят, был. Из фронтовиков.

— Был. Помним.

— Ну я-то не знаю. Дак вот, родного муженька в отставку, а этого, значит, как его, ждет...

— Ну и ну! Вот уж от кого, от кого, а от Анфисы Петровны не ждали.

— Смотри-ко, что в тихом-то омуте водится.

— А Григорий-то? Воевал-воевал, а приехал домой...

Петр Житов ухмыльнулся:

— Да вы очень-то не убивайтесь об Григории. Ноне мужику по этой части безработица не грозит. Нашлись добрые люди — утешили.

— Кто же это?

— Кто-кто... Варвара Иняхина выручила...

Смехом залилась Нюрка Яковлева — это Михаил помнил. Помнил, как выбежал из барака, помнил, как вскочил на сани. А дальше все пошло колесом. Нет, запомнил еще Илью Нетесова, с которым столкнулся у росстани с делянки: «Михаил, куда? Что случилось?..»

В Пекашино он влетел еще при огнях. Мимо своего дома проскакал не глядя. И вот дом Варвары. Холодом блеснули оловянные окошки.

Он вбежал в заулоч, вбежал на крыльцо и стоп: замок в пробое. Тяжелый замок, обросший мохнатой изморозью. И тогда он увидел еще — крыльцо занесено снегом, дорожка в заулочке не расчищена. И он сел на крыльце в снег и заплакал.

Мороз потрескивал в поленнице под сараем, глухо стонали телефонные провода на дороге, а он все сидел на крыльце и чего-то ждал. Ждал и сам понимал при этом: ждать нечего.

## 3

Евсей спал чутко. Раза три, не больше брякнул Михаил промерзлым кольцом в ворота, а в снях уж шаги. Кто, зачем — не спросил. Зато Марфа, едва он переступил за порог, рыкнула с печи, треща лучиной:

— Кого еще середка ночи?

— Да лежи ты, лежи ты, господи. Человек с морозу — что за допросы?

Шаркая в темноте валенками, Евсей зажег керосинку, подошел к Михаилу, примостившемуся к теплой печи.

— Не обморозился?

— Не-е,— еле выговорил Михаил.

— Руки-то, руки-то чтобы в целости были.— Евсей стащил с его рук суконные рукавицы, сдвинул пальцы.— Чуешь?

— Все в порядке,— ответил Михаил и устало откинул голову назад.

Меньше всего он собирался сегодня искать пристанище у старовера. Но так уж получилось. Коня он отвел на конюшню — нечего и думать было ехать обратно, не покормив его, а самому где отогреться? Домой идти? Но он и представить себе не мог, как бы он встретился сейчас со своими. Кто, кто разбил ему жизнь? Кто разлучил его с Варварой? Разве не они — не мать с Лизкой? Вот так он и завалился к Евсею Мошкину.

Ах, думал он, закрывая глаза и все плотнее прижимаясь спиной к теплой печи, помолотят теперь языками — и в лесу и в деревне. Вот скажут, как его Варуха захомутала. Ночью, не евши, не пивши, поскакал... А Петр-то Житов будет разоряться... Петр Житов взыщет за коня, взыщет...

Его разбудил Евсей.

— Ну-ко, погрейся маленько. Я самовар согрел.

Михаил с жадностью набросился на холодную картошку, на ячменные сухари, потом выпил несколько стаканов горячего кипятка, заваренного сушеной черникой.

— Спасибо,— сказал он.— А я как знал, что у тебя подкормиться можно. Приехал домой, а у них все начисто подметено.

Евсей опустил голову, вздохнул.

— Ну, что у вас нового? — спросил Михаил. Он не сомневался, что Евсей, заговорив о деревенском житье-бытье, не обойдет стороной и Варвару.

А Евсей опять вздохнул и сказал:

— Шел бы ты, Миша, домой.

— А чего я там не видал? Я только что из дому. Дай, думаю, пройду по деревне.

— Нет, Михаил Иванович,— покачал головой Евсей,— ты не из дому. Ты из лесу.

Михаил сдвинул брови. Откуда ему известно?

За окошком стрелял мороз. Марфа заливалась тягучим храпом на печи.

— Ждут тебя там, Миша, ох как ждут...

— Пушай. Это им полезно.

— Вечор встречаю мать твою да сестрицу. Дрова везут. Измаялись, замерзли, бедные. А дровишечки... Ну как мутовки...

— Ладно,— сказал Михаил.— Слыхали.— Ему надоело петлять во круг да около, и он спросил напрямик:— Варвара с Григорием, говорят, ушла... Как это было?..

— Да что как было. Людям жизнь устраивать надо. Вот так и было.— Евсей помолчал, положил руку ему на колено.— Брось ты все это,

Миша, забудь. Кровь молодая — знаю. А как же ты своих-то так? Я когда услышал: Михаил домой из лесу не показывается, — господи! За что же, говорю, их еще наказываешь? Разве мало их война потрепала?

— Ну, и что тебе ответил бог? — ядовито спросил Михаил, но, когда взглянул на старика и увидел на глазах у него слезы, пожалел о своих словах. Евсей сердцем переживал их беду.

— Иди, иди, Миша, домой. Ох, уж как бы они обрадовались сейчас...

Да, обрадовались бы, подумал Михаил. Петька и Гришка, Татьяна... А если узнают назавтра, что он был в деревне и не зашел домой, — что тогда с ними будет?

— Иди, иди, Миша. Самому легче станет. Вот вспомнешь меня, старика...

Михаил, все еще не решив, как ему быть, поднялся с лавки.

## Глава десятая

### 1

20 декабря 1945 г.  
Ст. О—ская.

Здравствуй, друг сердечный, таракан запечный!

Сегодня решил написать письмо, так как от тебя все равно ни хрена не дождешься. Ну, ладно, посмотрим, что запоешь, когда увидишь меня на стальном карьке. Умные люди здесь говорят: копыта последние годы в лесу ишачат, так что скоро огласим наши северные леса могучими моторами. Лес — это золото, сам знаешь.

Насчет жратухи, то я тебе врать не стану, со столовских обедов шибко не разбежишься. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда ни придешь — пол-литра да закусь обеспечена. И между прочим, культурная, имеется патефон. А меня зовет Жорой, потому что это у нас, в деревне, Егор, а ежели по-культурному, то Георгий. Вот так и проходят молодые годы вдали от родины.

А как у тебя жистянка? Вставили вторые рамы в бараке? Ты бы, лопух, все-таки описал, как и что. Охота знать про свой белоснежный край.

На новый год думаю с одним корешом съездить в Архангельск. У кореша брат работает на пивном заводе, так что пивка поьем. А потом зайду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был, на Октябрьской. Вот, брат, как надо устраиваться! Квартирка из трех комнат, свекор — большая шишка, литерную карточку получает, ходят по коврам, и тут же, в коридоре, имеется кабинет задумчивости, туалетом называется. В общем, житуха у Дунярки на большой.

Дунярка встретила меня хорошо, то есть по-свойски. Имеется задел, то есть беременна. Все дивилась да охала, как это ты тетку Варвару обгулял. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шуры-муры скрываешь, а тут весь Архангельск знает. Ладно, я незлопамятный, но узелок завяжу.

Привет пинежским соснам и елям, а также всем товарищам лесорубам. Работайте, да так, чтобы родина сказала спасибо. Лес на сегодняшний день — это основа. И передай всем: Суханов-Ставров овладевает, и скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах.

С трактористским приветом

Г. Суханов-Ставров.

## 2

Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!!!

Здравствуй, дорогой брателко! С приветом к тебе сестра Лиза, а также вся наша орава.

Во первых строках сообщаю, что все мы живы и здоровы и того и тебе желаем. А Звездоня, Миша, в этом году рано на отдых просится. Мама то говорит, что это она за войну отпуск просит, ведь всю войну наскрозь доила. Так что на сметану покуда не надейся, не собрать. И те-перича покамест посылаем тебе картошки да соленых сыроег туес.

Петр Житов пьяный пришел, чего, говорит, Михаилу передать, а сам на ровном месте не стоит. Ладно, говорю, ты хоть себя-то доведи, а я сама напишу. Вот и села письмо писать.

Миша, дрова у нас покуда есть, а с нового года ждем тебя. Может, отпустят хоть на денек. Петька да Гриша, твои любеюшки, уж дни вы-считывают, скоро, говорят, к нам Миша приедет. Ждут тебя, как крас-ного солнышка. А на того беса рыжего выруби вицу здоровенную — на улице живет, ничего не учится. А у Татьяны, Миша, зуб выпал, на самом переду оконышко, дак нынче все за печь заглядывает, когда ей мышка новый зуб даст. Ладно, хоть меньше трещит.

Миша, писать такого больше не знаю. Мама все на молотилке уби-вается, а я, известно дело, с телятами. Каменку в байне Евсей перекарал, хорошо теперь — не горько, а денег не взял, молока, говорит, сколько плеснете.

Ну и все, до свиданья. Писала твоя сестра Лиза.

Миша, не хотела я тебе про это писать, да уж больно обидно. И ты не сердись на меня, я ведь это не со зла.

Тут Семеновна нам говорит, что на днях тебя видела в деревне ночью. А я говорю, не плети чего не надо. Чтобы наш Михаил, говорю, в деревне был да не зашел домой, этого, говорю, и быть не может. Тебе, говорю, со сна это привиделось, больно много спишь. Я и маме сказала, чтобы не плакала. Где это, говорю, видано, чтобы наш Михаил да домой не зашел.

Приехал бы ты поскорее сам да успокоил бы их всех, глупых. Я-то сама не верю, да разговоры-то такие слушать не дай бог.

Татьяна под ухом жужжит: передай от меня особый привет Мише. На, принимай особый.

Холодяк с пота не пей. И об нас не тужи. Войну выжили, а теперь уж что, не пропадем.

Говорят тут у вас, нет, а к нам приехал Першин Денис из армии, Петра Емельяновича сын. Ходит в хромовых сапогах, никакие морозы не берут, и в войну, говорят, самого Сталина караулил, а теперь не знают, куда и сядет. Может, в районе, а может, у нас, в деревне,— идет такой слух.

Поклон тебе от Степана Андреяновича. Нынче все болеет, нездоровится, война, видно, выходит. А тому бесстыднику напиши, где у него совесть-то. Дедко его ростил-ростил, а он и письма не хочет написать. Уехал на города и за сколько месяцев одно письмецо было. Разве это дело?

Ну и хватит. Вся вспотела. Топор легче в руках держать, чем этот карандаш. Да соскучилась, дай, думаю, все выговорю, и бумага приве-лась — Раечка вчерась целую тетрадку дала.

Любящая сестра Лиза.

## 3

*Не время почивать на лаврах*

...Декабрьский план лесозаготовок под угрозой срыва.

Особенно нетерпимое положение создалось в ряде колхозов области, там, где демобилизационные настроения захлестнули самих председателей колхозов.

Пора с этим кончать — решительно и бесповоротно!

Да, война кончилась. Нет больше военных фронтов на карте Родины, но лесной фронт остался. Вот чего нельзя забывать ни на минуту.

*(Из областной газеты)*

## Глава одиннадцатая

## 1

Много, не перечесть сколько раз ездила Анфиса в район — и весной, и летом, и в грязь, и в стужу, в любую погоду являлась на вызов, а возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором. И сегодняшняя поездка ей тоже не сулила ничего хорошего. Декабрьский план по лесозаготовкам выполнен на сорок пять процентов — а была на исходе последняя неделя декабря, хлеб обмолочен наполовину, с займом заколодило — весной, победы дождалась, старый и малый подписались. И ей бы сейчас не о себе думать — о делах. А дела на ум не шли...

Бежит, бежит заиндевелая лошадка знакомой дорогой, повизгивают полозья в зимней тишине, леса и луга меняются по сторонам, а на уме все то же: Лукашин да Григорий, Григорий да Лукашин, вся та немыслимая круговерть, которая началась с возвращения Григория.

Она знала: вот-вот должен нагрянуть Григорий. Еще в первые дни после победы извещал: приеду по первой демобилизации. И все-таки его приезд, как снег среди лета на голову.

Григория будто подменили на войне. Он весь как-то размяк, раздался вширь, у него даже волос поредел — она это сразу увидела, как только он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. И уж совсем была непривычна для нее слеза, блеснувшая на его глазах.

Вот тогда-то она и заголосила навзрыд — поняла, что наделала своей бабьей жалостью. И самое страшное во всем этом было то, что Григорий утешал ее и счастливыми, прямо-таки восторженными глазами смотрел на гостей: вот, мол, поглядите, люди добрые, как меня встречают. А потом, когда они остались вдвоем, он медленно обвел глазами избу и сказал: «Ну вот. Четыре года ждал я этой минуты». И тут уж она больше не выдержала — рубить так рубить: «Зря ты ждал, Григорий. Нам с тобой не жить».

Крики, проклятья, кулаки — да, все бы это было легче для нее. Так нет же! Григорий — это Григорий-то, который раньше одним взглядом вгонял ее в дрожь! — стал умолять ее одуматься, забыть, что было раньше. Еще до войны она предлагала взять ребенка в детдоме — вспомнил и это: «Давай возьмем для полноты жизни». А может, у нее за эти годы неустойка по женской части вышла, так ведь и это он понимает. Сам не без греха.

Три дня терзал ее своим великодушием Григорий, а на четвертый день уехал в район. Да не один, а с Варварой Иняхиной.

И Анфиса, когда узнала об этом, только что не перекрестилась от радости. Пускай, пускай будут счастливы! Видно, не зря принимались друг к другу еще до войны. Судьба... А сколько она слез тогда пролила!

И из-за чего? Из-за того, что бабы на каждом перекрестке судачат да языком чешут. Нет, нет, не из-за ревности она слезы проливала. К тому времени у нее и в помине не было любви к Григорию. А из-за гордости, из-за того, что бабы на тебя смотрят с обидной жалостью да подленьким любопытством: «Ну-ко, скажи, скажи нам, за что тебя свой мужик не жалует. Какой такой изъян в тебе есть?»

— Ох, бабы, бабы,— сказала Анфиса вслух,— кто вас разберет...

Эти слова она часто произносила в последнее время, потому что и в самом деле не понимала, почему от нее отвернулись бабы. Из-за Григория? Так вот же он, бедненький,— с молодой женой медовый месяц справляет. А ей чего завидовать? Она покамест на том же вдовьем положении, что и остальные.

Лошадь громко, с выхрапом прочистила заиндевелые ноздри и вдруг без всякого понукания затряслась мелкой рысцой.

Смеркалось. Высоким розовым столбом вздымался дым над районной пекарней.

При въезде в райцентр Анфису обогнал начальник сплавконторы Таборский. Привстал на санях, крикнул в лицо, обдавая винным перегаром:

— Здорово, молодка! Не на свадьбу? Слышал, слышал, что мужика замуж выдала.— И захохотал.

И вот, выезжая на главную улицу райцентра, Анфиса больше всего боялась встретиться с Григорием да Варварой.

Она не встретила ни Григория, ни Варвару.

В тот вечер на бюро райкома ее сняли с председателей.

## 2

Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание с Ручьев. Лошадь подогнали к делянке, так что они даже в барак не заходили. Прямо от пня да на бал. Весело! В брюхе волки воют, а ты обсуждай колхозные дела.

Да что обсуждать? Картина ясная, не сбrehали люди: новый председатель уже выставлен напоказ, за красным столом по правую руку от Подрезова сидит, а Анфиса Петровна, тоже, надо полагать, для наглядности, в тень задвинута, так что Михаил не сразу и разглядел ее на сцене:

Подрезов не стал метать громы и молнии — видно, отметал еще у себя на бюро. Сказал просто:

— Мы, райком, долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорах не изба. Пора и у вас, в Пешкине, подвести под войной черту.

И вот эти последние слова насчет того, что хватит, дескать, жить войной и по-военному, шибко пришлись по душе людям.

— Пора, пора... Дай-то бог...

— Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну сказать спасибо...— Это Илья Нетесов неуверенно подал голос от печки.

Михаил поморщился, как от зубной боли: ну, будет сейчас мокряди. Бабы откроют свои шлюзы — затопят собрание слезами.

Но, к его немалому удивлению, все молчали. Что такое? Подрезовской команды ждут? Или еще не раскачались?

Лицо у Анфисы сделалось белое-белое. Как снег. Да, это не шутка. Столько лет трубила-трубила, а на поверку оказалось, что у людей и доброго слова для тебя нет.

Кто-то сзади, кажись, Александра-скотница, Трофима Лобанова дочь, зашептала беспокойно:

— Скажи, скажи, Михаил. Разве трудно тебе?  
Сказать? А почему и не сказать? Можно сказать.  
Он сложил руки ковшом, крикнул басовито:

— Голосуй! Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться!

Да, вот так он сказал. Он не Егорша. Это у того слово и камнем летит, и соловьем поет, а тут получилось что надо. И ежели у какой бабы и было еще намерение повздыхать о прошлом, а заодно и Анфису Петровну добрым словом помянуть, то после его выкрика поворот на сто восемьдесят градусов. После его выкрика все потянулись глазами к новому председателю, потому что сообразили: с ним, с новым председателем, жить, из его рук кормиться.

А Михаил встал. Встал во весь рост и пошел на выход. Авось бабы сумеют проголосовать и без него. Зато Анфиса Петровна лишний раз увидит, кто ее срезал. Пускай посмотрит. Он не таится. Квиты! Ты мне насолила, жизнь разломала, и я не остался в долгу. Сполна рассчитался.

## 3

— Ну, ты выдал! Прямо под дыхало ей...— заговорил Петр Житов, спускаясь с крыльца.

Хлынувшие вслед за ним из клуба бабы едва не сбили его с ног. А когда выбрались на твердую, накатанную дорогу, дали волю своим языкам. Два черных говорливых ручья покатались от клуба.

— Вот оно когда, собрание-то, у них началось,— заметил Петр Житов.

К ним, попыхивая сигарками, подошли еще мужики: Иван Яковлев, Костя-атаман, Василий Иняхин.

Петр Житов в ознаменование наступления мужского царства в Пекашине предложил скинуться по тройку. Все предложение это приняли и без лишних разговоров двинулись к Марине Стрелехе, так сказать, на нейтральную территорию, где будут исключены всякие домашние помехи.

Михаил дошел с мужиками до правления и вдруг раздумал: завтра рано выезжать на Ручьи, а он еще и дома не был. Что там делается? В прошлый раз как ни упрасивал его Евсей Мошкин, он не мог заставить себя заглянуть домой. Походил-походил вокруг да около и поехал в район: будь что будет, пускай хоть под суд его отдадут, а он должен увидеть Варвару. Своими глазами. Ну, а после этой вылазки в район ему и вовсе не до семьи было.

Да и вообще, думал Михаил, подходя к своему дому, можно было бы и сегодня не заходить. Пускай на своей шкуре испытают, что это такое — дрова из-под снега добывать. Полезно! А то, когда за людей всё другие делают, хамеж у них развивается.

Войдя в заулоч со стороны задворок (врасплох хотелось нагряться), он все-таки заглянул в дровяник.

Дрова есть. Правда, мутовки. И сразу видно, кто добывал. Бабью работу по зарубу узнаешь — кряж со всех сторон изгрызан, будто и не топор в руках был. Может, только одна баба и умеет в Пекашине рубить по-мужицки — Анфиса Петровна...

А ну ее к дьяволу! — выругался про себя Михаил. — Кой черт на память лезет!

У крыльца он поскользнулся и едва не упал. Оказывается, у ребят почти впритык к крыльцу сделана ледяная горка.

— Чего смотрите? — заорал он, вламываясь в избу. Это относилось к матери и Лизке. — Те скоро с крыльца ездить будут. Через окошко влезать домой?



Тут, бешено вращая разъяренными глазами, он увидел на своей койке ребят (сколько раз говорено: не спать на моей койке!) и раскричался еще пуще.

Хлебного в доме не было ни крошки. Михаил помял холодной картошки с капустой (жорова не доила, самовар довели: труба протекает) и приказал, чтобы мать сняла с печи все валенки, какие там есть, а сам пошел в сени за ящичком, в котором хранился сапожный инструмент, потому что чертова семейка — ежели не положить как следует, все растащат.

Мать накидала на середку избы целую кучу рвани — из овчин, из старых ватников, из отцовского суконного пиджака, в общем, собака знает, почему вся эта заваль, раскисшая, вонючая, называется валенками.

Он повертел в руках один чувяк, повертел другой и пришел в ужас: ничего не сделать за ночь. Нечего даже и приниматься.

— А эта чего сидит? — заорал Михаил, наткнувшись глазами на Лизку, которая все еще, с той самой поры, как он вошел в избу, сидела на прилавке у печи, облокотившись одной рукой о подпечек. И в пальцах.— Может, не домой пришла — в гости?

— На собрании была,— ответила за Лизку мать.

— На собрании? В клубе? Вот-вот, тебя там только и не хватало. А еще, говорят, обутки нет. С чего же у вас обутка будет, коли вас в каждую дыру тянет! Ну что,— злорадно усмехнулся Михаил,— посмотрела, как на председателей решку наводят? Вот так! Не копай другим яму.

— Это Анфиса-то Петровна яму копала? Кому? Бессовестные! «Анфисьюшка... родимушка ты наша... желанная...» Давно ли еще о празднике причитали, а тут воды в рот набрали...— Лизка всхлинула.

Мать, вздохнув, сказала:

— Да уж Анфиса помогала людям. Куска лишнего не съела... Я помню, раз на пожню пришла — как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька и говорит: «Давай-ко, председательша, угости нас своими колобками». А председательша достала колобки — никто и не позарился: тот же мох да древесина.

— То-то и оно,— заговорила опять, давась слезами, Лизка.— А могла бы и на муке замешать. А тут увидели этого Першина — в рот готовы ему смотреть. А Анфисы Петровны кабыть и нету.

— Першин тут ни при чем,— отрезал Михаил.— А об Мининой райком сказал ясно.

— И никакая она нам не Минина. Кабы не Анфиса Петровна, может, и нас-то сейчас на свете не было. Вот.

— Я говорю, после райкома у нас не принято говорить. Дошло?

— Ну и что,— не унималась Лизка,— то райком, а то люди. Райком сказал, и вы бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все беды да напасти пережили...

Михаил с ехидством улыбнулся.

— Вот ты бы и сказала, раз такая смелая.

— И сказала бы! Да я думала, мужики сидят, с Ручьев нарочно вызваны — скажут, не потеряли еще совсем совести.

— Дура! Люди жить хотят. Мало настрадались? За что тут благодарить? Ни пожрать, ни обуть! — Михаил бросил разъяренный взгляд на кучу валенок.— Ну и ясно — обрадовались: новый председатель будет. Чула, что сказал Подрезов? «Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной». Поняла? — Он зло постучал кулаком по своему лбу.— Черту под войной. Ясно?

— Ну и что,— по-прежнему продолжала твердить свое Лизка,— не отвалился бы язык, ежели бы и сказали.

— Да пойми ты, чертова кукла! — заорал вне себя Михаил.— Надоело людям — понимаешь? Сколько она говорила в войну: вот война кончится — заживем, вот война кончится — заживем. А как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Дак, может, хоть теперь, с новым председателем, получше будет. Понятно тебе, о чем люди думают?

— Ну и что, она не виновата. Не она одна, все так думали.

Михаил трахнул валенком о пол (он таки взялся было за материн чувяк), заорал на всю избу:

— Гасите свет! Что еще за моду взяли — по ночам с огнем сидеть!

Свет погасили.

Мать сразу же убралась на печь, а Лизка, раздевшись, опять присела на прилавок и начала давить ему на психику, по-кошачьи сверля его из темноты своими зелеными глазами. Потом пустила в ход слезы — это уже лежа на печи. Вот, мол, словами не говорю — не придерешься, а все равно при своем осталась. Хоть убей, хоть на куски изруби, а буду Анфису Петровну защищать.

Над головой, скрипя полатницами, ворочались ребята — эти всегда просыпаются, когда он начинает окуривать их снизу.

А может, Лизка и права, подумал вдруг Михаил. Может, и надо было спасибо сказать. Ведь все-таки, ежели рассудить по совести, заслужила. А почему ей спасибо? — резко возразил он себе. А почему ему никто не сказал за войну спасибо? Мало вкальвал? Нет, все-таки Анфиса Петровна сказала. На празднике. Крепко сказала. Да и вообще всегда его отмечала — не скупилась на похвальное слово.

И тут Михаил вспомнил то, что все время отодвигал в сторону. Раз, когда Илья Нетесов подал голос насчет того, чтобы поблагодарить Анфису Петровну, ему показалось, что Анфиса Петровна кого-то ищет глазами в зале. Может, его искала? К нему взывала: скажи, Михаил!

Малиновый окурочок прочертил избяную темень и зашипел в тазу под рукомойником.

Нет, голубушка, мысленно сказал Михаил и стиснул зубы. Ошиблась. Не по тому адресу обратилась. Ты суд надо мной да над Варварой устроила, а я принародно в пояс тебе кланяться?

И опять эта мысль, которая должна была распалить в нем ненависть к Анфисе Петровне, неожиданно сменилась другой, прямо противоположной. А крепкий же она человек, подумал Михаил про Анфису. Весь вечер высидела. Как гвоздями прибита. Не дрогнула, не охнула...

Спать, спать, сказал он себе и круто повернулся на правый бок, к стене.

Лизка на печи все еще плакала.

*(Продолжение следует)*



---

---

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

## НОВЫЕ СТИХИ

### ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

Хочется исповедаться.  
Выговориться до дна.  
Может, к друзьям наведаться  
С бутылкой вина?

Вот, дескать, все, чем жил я,  
Несу на ваш суд,  
Не отвернитесь, милые,  
Весь я тут.  
Будто на медкомиссии  
Гол — не стыжусь,  
Только ладошка листиком,  
И не боюсь, что высмеют,  
Ни лешего не боюсь.

Хватит уже бояться мне,  
Душа нага,  
Только бы не нарваться ей  
С исповедью на врага.

Выговориться дочиста —  
Что на костер шагнуть.  
Лишь бы из одиночества  
Выбиться как-нибудь.

Может, еще и выстою  
И не сгорю в огне  
И, как на той комиссии,  
«Годеи!» —  
Запишут мне.

1965.

### МИЛОЕ МОЕ ГОРЕ

Вытянулась семья —  
Дочери и сыновья.  
Верилось:  
С ними

Стану сильнее я.  
Стал не сильнее я —  
Еще ранимей,  
Еще уязвимей.

Думалось:  
Что ни год —  
Мне будет легче,  
Доля моих забот  
Ляжет на их плечи.

Но годы идут, идут —  
Покоя не знаю:  
То в техникум,  
То в институт  
Сам поступаю.

Опять зачеты сдаю,  
Дрожу понемножку.  
Перелицовываю свою  
Ношеную одежду.

Историю с дней Петра  
Зубрю снова:  
История —  
Стара,  
Пособия —  
Новы.

Не труд — глагол проспрягать.  
Трудней и серьезней  
Заново перемогать  
Опасный возраст.

Я как в огне, на войне.  
А чем озабочен?  
Дочь влюблена,  
А мне  
Не спится ночи.

Что за дружки у сына? —  
Не было б худа.  
Письма пришли — откуда?  
Сразу три дневника —  
Только ль причуда?

Странно, что в век машин,  
Атомных бомбовозов  
Для них не решен ни один  
Из роковых вопросов.

Юноша, стиснув рот,  
Заново определяет:  
Ради чего живет?  
Из-за кого страдает?

Что такое любовь?  
Где обитает совесть?  
И все —  
Не в глаз, так в бровь,  
В самую душу то есть.

Дочери и сыновья —  
Милое мое горе,  
Вечная мука моя!  
Какое уж там подспорье...

За редкий часок без забот —  
Страшнее всех суеверий,  
Страшнее, чем эшафот,  
Вечно в душе живет —  
Вечно!  
Из года в год! —  
Страх потери.

Вдруг да опять война —  
Что будет с ними?  
С моими,  
С родными?  
Теперь у меня она  
Все отнимет.

1965—1967.

### ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СПИТ

Как славно,  
Как дивно  
В апрельском бору!  
Костер над обрывом,—  
Присядем к костру!  
Раздольно,  
Разливно,  
Заздравно,  
Зазывно.  
Мы как на пиру  
У весны на юру.

Размывно,  
Разымчиво —  
Вот она, ширь! —  
Не половинчато,  
Не вполдуши.

Напевно и мощно,  
Как чудо из чуд,  
И дню  
И ночью  
Птицы поют.

Под вечер морозиг,  
Звездится ледок,  
Ломается озимь  
По краю дорог.

До самой опушки  
Поля забеля,  
Снежной мерлушкой  
Обшилась земля.

А ночи,  
А ночи  
Средь елей и пихт!  
Хоть нет их короче  
Для тех,  
Кто не спит.  
Для тех, кто сидит  
У мокрых раки,т,  
За удочкой  
                                чуть различимой  
Следит.

Не то — косачей  
Ожидает на ток  
На взгорок  
Меж елок,  
На бугорок.

Ах, сколько ночей  
И я спать не мог!

Весенние ночи,  
Рассвет, словно дым,  
Их нету короче  
Для тех, кто любим.

1967.

## РАЗВОД

Их рассудил товарищеский суд.  
Для сослуживцев все давно понятно:  
Не получилось,  
Вместе не живут  
И ничего не воротить обратно...

Потом уже в районном нарсуде  
Пытали их любовно и пристрастно,  
Пытались примирить,  
Но все напрасно.  
И зубоскальства не было нигде,  
И волокиты никакой:  
Все ясно.

Но после беготни и суетни,  
Когда настало время оглянуться,  
Вдруг, ужаснувшись, поняли они,  
Что сами-то —  
И, может, лишь одни —  
В случившемся вовек не разберутся.

1966.

### ДУМАЛОСЬ ДА КАЗАЛОСЬ

Думалось, все навечно,  
Как воздух, вода, свет:  
Веры ее беспечной,  
Силы ее сердечной  
Хватит на сотню лет.

Вот прикажу —  
И явится.  
Ночь или день — не в счет,  
Из-под земли явится,  
С горем любым справится,  
Море переплывет.

Надо —  
Пройдет по пояс  
В звездном сухом снегу,  
Через тайгу  
На полюс,  
В льды  
Через не могу.

Будет дежурить,  
Коль надо,  
Месяц в ногах без сна,  
Только бы — рядом,  
Рядом,  
Радуюсь, что нужна.

Думалось  
Да казалось...  
Как ты меня подвела!  
Вдруг навсегда ушла —  
С властью не посчиталась,  
Что мне сама дала.

С горем не в силах справиться,  
В голос реву,  
Зову.  
Нет, ничего не поправится:  
Из-под земли не явится,  
Разве что не наяву.

Так и живу.  
Живу?

1967.

## ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

...Дописать или оборвать —  
Горе горькое догоревать?  
Сам с собой не всегда в ладу.  
По своей  
Иль чужой вине  
Так живу, как сквозь строй иду,  
Что ни день —  
Горю на огне.

Книга жизни —  
Только ль слова?  
Сколько лет я сижу над ней.  
Пожелтели страницы в ней,  
Как трава в сентябре,  
Как листва.  
Поседела моя голова.  
Но вдвойне дается трудней  
Заключительная глава.

1967.





---

---

Ю. ТРИФОНОВ

★

## ДВА РАССКАЗА

### *Самый маленький город*

**П**осле двух часов езды в Станке Димитров остановились на площади. Сыпался мелкий, вдруг исчезающий дождь, облачное от самой Софии небо кое-где разрывалось, в разрывах сверкала голубизна. Посреди площади стояла очередь крестьян, ожидавших автобус на Самоков. Мы зашли в сладкарницу, где было дымно, пахло кофе, за столиками сидели старики, очень много стариков, они ничего не ели, не пили, а просто курили, смотрели друг на друга и молчали.

Когда мы вошли, они стали смотреть на нас. Они смотрели на то, как мы снимаем плащи, садимся, как Пенчо закуривает, как Аля хмуро глядит в окно, как подходит официант и Пенчо заказывает три кофе «по-турски» и как потом мы с Пенчо оглядываемся кругом и видим всех этих стариков, глядящих на нас. Болгарские старики отличаются от русских тем, что любят собираться в кучу. Русские старики более нелюдимы и в то же время более болтливы. Они могут разговаривать сами с собой. В Болгарии же встречаются громадные сборища молчаливых стариков. Моя дочь Аля очень подошла бы к компании болгарских стариков. За весь сегодняшний день она сказала всего одну фразу. Утром в гостинице, когда мы ждали Пенчо, она спросила:

— Зачем мы сюда поехали?

Я сам не знал, зачем мы сюда поехали. Пенчо пригласил нас, и мы поехали. Надо было куда-то поехать. Алины каникулы начинались двадцать девятого, а мы вылетели двадцать седьмого. Пенчо встретил нас в аэропорту, на своем старом «рено», на том самом, на котором мы ездили когда-то к морю, а в другой раз возвращались с моря по южной дороге, сделав крюк, чтобы заехать на Шипку. Я думал, этого «рено» уже нет на свете. Он и тогда еле скрипел, а дорога от Пловдива до Софии, сто пятьдесят километров, запомнилась мне как ночной осенний кошмар: четыре раза садился задний левый баллон, Пенчо убегал куда-то в темноту, и мы его ждали по часу в машине, потом он возвращался, стучал ключами, клел, бубнил, чертыхался, просил нас то выйти из машины, то сесть, мы ползли со скоростью двадцать километров в час, каждую секунду страшась того, что снова что-то лопнет и мы остановимся. Это было четыре года назад, в октябре, мы возвращались с моря, где никто уже не купался, кроме нас и нескольких немцев, на пляжах было безлюдно, тяжелый лекарственный запах осеннего моря разносился ветром и долетал до шоссе, где изредка пробегали полупустые автобусы, а над шоссе, над виноградниками, на самой верхотуре горы дед Кириак скучал в своей халупе, курил трубку и слушал по радио Стамбул. Виноград он снял, люди разъехались, и дела его кончи-

лись. Иногда мы поднимались к нему по каменистой тропе, такой крутой, что приходилось идти согнувшись, и садились на маленькой площадочке перед халупой, где помещались скамейка и стол, и дед Кириак выносил брынзу на тарелке и бутылку мутного молодого вина. Подмигивая так, что одна сторона его беззубого, смуглого, крючконосого лица сжималась, дед Кириак жестом предлагал нам зайти в халупу и воспользоваться его деревянной кроватью, застеленной клетчатым грубошерстным покрывалом, одним из тех прекрасных родопских покрывал, которые не изнашиваются век. Мы говорили, что нам не нужно, спасибо, у нас есть отличная кровать в отеле, чья плоская крыша белеет вон там внизу, между шоссе и морем.

Дед Кириак согласно качал головой и бормотал:

— «Так» — говорят поляки, «ано» — говорят чехи, «гут» — говорят немцы, «добре» — говорим мы, болгары, «да» — говорят русские...

Он подчеркивал этим, что связи его безграничны, что ему ничего не стоит завести дела с немцами или поляками, лишь бы они платили деньги или давали вино, сигареты, что-нибудь. Но с тех, кто ему особенно нравился, как, например, тот длинный Януш и его черноволосая, похожая на туркиню девушка, он не требовал ничего. Халупа деда Кириака была известна на побережье. Но нам она была не нужна.

Мы сидели на скамейке, смотрели на море, на почти неподвижный, километрах в десяти от берега, смутно-голубой пароход, идущий в Констанцу, на мыс Калиакрия с его восковой зеленью. Дед Кириак рассказывал, как в детстве он нырял в море возле этого мыса, мечтая найти сокровища погибших здесь древнегреческих кораблей. Много людей приезжало сюда из Софии, некоторые даже из Вены и из Парижа, нанимали ныряльщиков и водолазов, это было до войны, но никто не нашел сокровищ. Деду Кириаку попалась один раз золотая монета, вот и все.

— И хорошо, что я не нашел сокровищ, — говорил дед Кириак. — Они бы сделали меня несчастным. Я уехал бы в другую страну, бросил бы свою Величку, заболел бы там и умер. А сейчас мне шестьдесят восемь лет, но я еще крепкий, веселый, меня любят толстые женщины, и я люблю толстых женщин и буду жить долго.

Однажды я встретил толстую рыжеволосую женщину: она спускалась по каменистой тропе. На ее пляжной сумке, наполненной виноградом, была надпись: «Gott mit uns». Ее толстые ноги ступали нетвердо, ее толстые руки, покрытые свежесвежим багровым загаром, делали плавательные движения, а ее глаза смотрели туманно. Раза два в месяц приезжала к деду Кириаку из Варны его жена Величка, рыхлая, отечная старуха, страдавшая астмой. Она с трудом, отдыхая подолгу, взбиралась по тропе к халупе и потом лежала час на кровати, успокаивая сердце. Она приезжала забрать деньги.

Дед Кириак любил Величку. Он целовал ее в губы, гладил ее обвисшие щеки и говорил: «Моя красавица македонка!»

В середине октября, когда приехал Пенчо с Марией, мы последний раз зашли к деду Кириаку выпить вина перед дорогой. Шел слабый дождь. Тропа, обычно в дождь непреодолимо скользкая, не успела даже намочнуть. Облачное небо стояло над морем, как пар. И мыс Калиакрия не был виден. Дед Кириак говорил, что накануне был у него дурной сон: будто держит двумя руками две громадные, высотой с человека, амфоры, они качаются, вырываются из рук и наконец одна падает и разбивается на мелкие кусочки, все вино проливается на землю, а другая хоть и падает, но остается цела, только часть вина выплескивается.

— Этот сон к смерти,— сказал дед Кириак.— Кто-то умрет из моих близких. Я думаю, это весть о смерти отца, ему девяносто два года, он живет в городе Мелник на греческой границе.

Тогда я впервые услышал о Мелнике, о самом маленьком городе Болгарии, становящемся все меньше и меньше, о городе, угасающем, как человек. Мне захотелось увидеть его: на Земле так мало угасающих городов. Большинство городов Земли предполагает жить вечно. Но тогда мы спешили в Софию, оттуда в Москву, где нас ждали дела, Алька, перемена квартиры, и я не знал, приеду ли я еще раз в Болгарию. был почти уверен в том, что не увижу Мелник, хотя в глубине души жила странная надежда, какая-то тень надежды на то, что когда-нибудь я увижу его.

Это было четыре года назад. И вот что случилось с тех пор: я остался один. Мария ушла от Пенчо к югославу и живет в Триесте. Дед Кириак умер. Я остался один со своей молчаливой Алей. И в Софии была зима. Я ехал по городу, не узнавая его. Ненужно торчали платаны и тополя — голые, ободранные зимой. Через три дня предстоял Новый год, и повсюду, на домах, в витринах магазинов, видны были буквы ЧНГ, обозначающие три слова — «честита нова-та година». Отель «Болгария» был пуст: иностранцы разъехались встречать рождество по домам. А мы с Алей приехали из дома сюда, в пустой отель.

— Что мы будем тут делать? — спросила Аля в первый же вечер, когда мы с Пенчо поужинали, он уехал, и мы остались одни. Аля сидела у стола и вырезала из болгарского журнала портреты киноартистов, а я лежал на диване и смотрел в окно.

— Не знаю, что мы будем делать,— сказал я.— Посмотрим. Что-нибудь придумаем. Можем поехать, например, в город Мелник. Очень интересный город. Его население неуклонно уменьшается.

— Ну и что? — спросила Аля.

От Станке Димитров, где старики смотрели на нас в сладкарнице, до Мелника оставалось не меньше ста двадцати километров. Дорога шла прямо на юг, снег исчезал, земля обнажалась, голубые прорехи в облаках становились все просторней, солнце по-летнему освещало луга, башни из брикетов светло-зеленого прессованного сена, ровные, убегающие до края холмов ряды фруктовых деревьев; вдруг все меркло, и вновь наступала зима, серая равнина, одетые по-зимнему люди стояли на каменных тротуарах деревни, женщины полоскали белье в луже, над которой дымился пар горячего источника, дорога поднималась, слева на горизонте вставали горы: то была Рила. Впереди нас все время шел черный «мерседес» с греческим номером, в заднее стекло был виден сидящий за рулем мужчина в белой рубашке, рядом с ним курчавый темноволосый мальчик, а может быть, это была маленькая женщина; мужчина иногда обнимал мальчика или маленькую женщину правой рукой за плечи, придвигал к себе, несколько километров они ехали обнявшись, и Пенчо сказал, что утром они будут в Афинах.

Автострада вошла в горы. Мы ехали теперь вдоль Струмы, она струилась в камнях, она стремилась на юг, к Эгейскому морю, которое болгары называют Белым, мы ехали то справа от Струмы, то слева, я почему-то не замечал, каким образом мы перескакивали с одного берега на другой, и каждый раз удивлялся: «Почему мы справа? Ведь только что были слева».

Когда-то — в незапамятные времена, шесть лет назад,— я ехал в Родобах, и меня, как мгновенным холодом, овеяло вдруг то ощущение счастья, которое тогда было со мной. Это было сложное и одновременно такое ясное, полное, вбиравшее в себя все остальные, но неосознаваемое

ощущение покоя, простое, как сон, и в нем были дорога, узнавание, мысли о деле, и ожидание встречи, и прохлада ущелья, и шум реки, и еще то, что за поворотом, за горами, за годами.

Снова было ущелье, другое ущелье, но такое же сумеречное, и шум реки. Но того ощущения не было. Как все, и это бывает у человека однажды. Проклятое, единственное однажды, о котором не догадываешься, когда оно есть, а потом оно возникает уже как воспоминание.

— И когда царь Самуил увидел своих воинов,— говорил Пенчо,— которых император Василий отпустил из плена, он упал на землю и умер от горя...

Я видел, как они брели долиною Струмы из византийского плена, цепляясь друг за друга, и те, кто падал, оставались лежать. Василий Второй, прозванный Болгаробойцем, ослепил все войско царя Самуила, разбитое при Беласице, пятнадцать тысяч болгар, оставив кривым каждого сотого.

Аля, дремавшая на заднем сиденье, вдруг проснулась и спросила:

— А зачем — кривым каждого сотого?

— Как же! Чтобы кривые могли видеть дорогу и вести остальных. Ты понимаешь? Один кривой шел впереди,— с воодушевлением заговаривал Пенчо,— а девяносто девять слепых, держа друг друга за руки, шли цепочкой за ним. Это было тысячу лет назад, осенью. Они шли через горы, леса, вдоль рек...

— И по этому ущелью тоже?

— По этому ущелью тоже. Они шли везде. Царь Самуил перенес столицу в Охрид. Это гораздо южнее. Сейчас там Югославия.

— Но как могли девяносто девять... Ведь это ужасно длинная цепочка! Как же они шли?

— Им было очень трудно,— сказал Пенчо.

Он напрягал память, стараясь вспомнить школьную историю. Ему казалось, что он должен развлекать нас.

— Я не понял, при чем тут Мелник,— сказал я.

— Как же! Я говорил, что Мелник был осажден этим Василием Болгаробойцем и долго не сдавался. И только благодаря коварству одного грека...

Камни вдоль Струмы лежали в тех же нагромождениях, что и при царе Самуиле. И еще раньше, до царя Самуила,— при фракийцах, при греках, римлянах, готах — все было здесь так же, как и сейчас, если не считать асфальтированного шоссе, построенного недавно. Из тысячелетнего котла, в котором кипели и мешались племена и народы, выплыл смуглый, курчавый, седой, голубоглазый, громадный Пенчо, который зачем-то вызвал нас из Москвы, зачем-то вез зимней дорогой в Мелник вместо того, чтобы сидеть сейчас в Русском клубе или у журналистов и пить ракию, закусывать салатом по-шопски, кусочком белого сыра, потом взять кофе, еще кофе и еще ракию и снова кофе, потому что все время подсаживаются новые люди, каждый что-то заказывает, приносит новые слухи, новый смех, огорчения, страхи, анекдоты, разговор не смолкает, после часу можно поехать в Венгерский, там открыто до двух, а оттуда в «Асторию», которая, разумеется, есть лишь пародия на настоящий бар, но там можно встретить забытых друзей, и снова кофе, еще раз кофе, потом на исходе ночи долго ковыряться со старой клячей, она не заводится, что-то в карбюраторе или вдруг сел баллон, левый задний, и придется оставить ее до утра там, где она стоит, и идти домой пешком. Прекрасно идти домой пешком на рассвете. От брусчатки идет запах травы и даже тянет росой. Мимо собора вниз и потом направо по темной, узкой улице, где нет ни одного фонаря и ни одно окно не горит.

- И все-таки они хотели жить? — спросила Аля.
- Как же! — сказал Пенчо. — Конечно, они хотели жить.
- Я бы не могла. Я бы бросилась в реку.

— Нет, — сказал Пенчо. — Человек может пережить все. Ты не понимаешь еще. Не дай бог тебе это понять когда-нибудь. — Аля не ответила. Пенчо помолчал. — Они дошли до своих домов, те, кто не умер по дороге, их встретили жены, и они родили детей. Они могли родить много детей, эти слепые. Какой-то слепой солдат был, может быть, мой предок. Если бы он упал духом от горя и бросился в реку, я бы не был на свете. Как же! — Снова помолчав, он сказал: — Та цепь, которой шли слепые царя Самуила, держась за руки, она не прервалась и дотянулась до нас, и мы держим их за руки, тех слепых болгар.

— А они держат нас, — сказал я.

— Они держат нас, как же! — сказал Пенчо и покачал головой, что у болгар означает не отрицание, а как раз наоборот — утверждение и согласие.

«Мерседес» с греческим номером исчез; мы свернули с автострады на восток. Мелник лежал в котловине, окруженный грязно-белыми скалами. Дома теснились по берегам обмелевшей речонки, которая была сейчас просто рвом, заваленным большими камнями. Пенчо медленно вел машину по вязкому берегу. Дома были старые, с прочными толстыми стенами и маленькими окнами, они карабкались по склону, нависали один над другим, их крыши напоминали лестницу.

Возле длинного здания, похожего на барак, с вывеской «Ресторант Мелнишна Лоза» Пенчо остановился. Здесь, наверное, был центр. На другой стороне речонки, куда вел деревянный, заляпанный грязью мост без перил, стояли два дома с какими-то вывесками, неразличимыми с нашей стороны. Мы вышли из машины. Было холодно.

В ресторане, имевшем продолговатый, с высоким потолком зал, за столами не сидело ни одного человека. Перед входом стояла железная печка-временка, в ней горели дрова, и два парня в черных свитерах, в грубых рабочих брюках сидели возле печки, сторбившись, как два старичка, и грелись. Они даже не посмотрели на нас. На стенах зала еще сохранились новогодние украшения: гирлянды из золотистой бумаги и разбросанные кое-где буквы ЧНГ. В углу стояла елка. Ее украшало множество маленьких бутылочек, среди которых было и несколько больших бутылок и даже две двухлитровые, оплетенные соломой бутылки из-под вина «мелник». Наверное, в новогоднюю ночь это бутылочное украшение казалось забавным, а сейчас, в пустом зале, выглядело глупо.

Аля сказала, что ее укачало и она немного постоит на воздухе. Она вышла, а мы с Пенчо сели за стол. В окно я видел, как Аля подошла к берегу, нагнулась, подняла с земли какую-то палочку и стала чертить на земле. Издали она была похожа на взрослую женщину.

— Я был здесь семнадцать лет назад, — сказал Пенчо. — Мы с Марией были тогда студентами.

Оглянувшись на дверь, он проговорил быстро:

— Знаешь, два года я ждал ее каждый день. Я не спал ночи и ждал, что она позвонит. Два года!

— Ты надеялся.

— Нет, не надеялся, а мучился. Это было страдание. Ты не понимаешь, как же! — Он продолжал вполголоса, потому что приближался официант. — Непереносимое страдание. Знать, что она где-то есть, но — не со мной...

— А знать, что нигде? И никогда?

— Ах нет! — Он махнул рукой. — Это другое! Это природа, мироздание, как же...

Официант, не понимая по-русски, слушал наш разговор и улыбался. Пенчо заказал три кебабчета и бутылку вина «мелник». Вошла Аля, и я по ее глазам понял, о чем она думала, ее лицо было бледно и ничего взрослого, такое маленькое, детское, бледное, гордое лицо, и мое сердце рванулось и сжалось, но я ничего не сказал. Следом за Алей вошел мужчина в брезентовой куртке, наброшенной на плечи, и присел к железной печке. Теперь там было трое. Они сидели молча.

— Им все ясно! — сказал Пенчо, подмигнув мне и Але. — О чем им говорить? — Затем, вспомнив, что он должен развлечь нас, он сказал: — Это лесорубы. Здесь все мужчины работают в горах лесорубами или на виноградниках. В Мелнике самый сладкий виноград в Болгарии. Сирийская лоза, ее вывезли из Сирии.

Мы съели кебабчета, выпили вино, потом Пенчо куда-то отошел, Аля перегнулась через стол и спросила шепотом:

— Папа, зачем мы сюда приехали?

— Как зачем? Мелник очень интересный исторический город. Его население неуклонно уменьшается...

Пенчо вернулся к столу вместе с официантом, который сказал, что директор школы Боржиков, сосед официанта, может рассказать кое-что об истории Мелника. Если нужно, он, официант, может за ним сбегать. Сейчас каникулы, и директор должен быть дома. Тут же, не снимая форменной куртки, официант выскочил на улицу и — я видел в окно — перемалнул мостик и побежал по крутой тропинке в гору.

Довольно скоро он вернулся так же бегом и, задыхаясь, сообщил, что директора нет дома, он гонит ракию. Если мы желаем, он может нас проводить к «казану».

Казан был каменным сарайчиком с трубой, из которой валил дым. Земля вокруг казана была топкая, в лужах, и лужи все увеличивались благодаря струйке воды, сочившейся из водопроводной трубы вниз, у цоколя. Прыгая с камня на камень, мы прошли ко входу. Там было полутемно, посреди в земле был очаг, где тлела гора угольев, справа стояло два чана, соединенных перегонными трубами. Сухой и жаркий от тлеющих угольев, насыщенный спиртовым запахом воздух сразу обнял нас и одурманил, мы остановились у двери. Четверо — учитель Боржиков, его взрослая дочь, сын-подросток и родственник Боржикова — быстро работали, едва поздоровавшись с нами. Сын-подросток бросал уголья, дочь заливала воду, Боржиков и его родственник поднимали большую тяжелую кадку, наполненную выжатой виноградной кожурой, так называемой «джибри» — из нее-то и получалась ракия, — и опрокидывали кадку в чан. Потом так же быстро накрывали чан крышкой и замазывали щель вокруг крышки глиной.

Слева на лавке сидели три старика. Они держали руки над очагом, шевелили черными пальцами, потирали ладони, и двое из них смотрели на работающих, а третий, совсем древний старик в круглой шапочке, был слеп: он вытягивал темное сморщенное лицо в сторону чана и нюхал воздух. Старики ждали ракию. Аля тихо подошла к ним и села на лавку, а мы продолжали стоять у двери.

Прошло не больше четверти часа, и учитель Боржиков дал старикам и нам по «голяме» — большой рюмке — прозрачайшей виноградной водки. Потом пошли к нему в дом. Снова пробовали ракию, ели сливовое варенье, и Боржиков рассказывал кое-что об истории Мелника. О винооторговцах, торговавших с арабами и с Испанией, о богوميлах и турках. Я не понял одного: почему население Мелника неуклонно уменьшается? Пенчо торопил нас: небо посерело, было похоже, что пойдет дождь или снег.

Боржиков почти бегом повел нас смотреть самые старые дома Мел-

ника. Пришлось забираться наверх по кручам, по каменистым разбитым ступеням. Жители этих верхних домов таскали воду снизу. Я увидел старика — того древнего, слепого, в круглой шапочке, — он карабкался по крутизне, медленный и задумчивый, как жук. Мы стояли наверху, ожидая, пока он подползет к нам. Ему было лет сто. Когда он приблизился, стало слышно, что он что-то напевает под нос. Все-таки он немного видел и остановился, подняв к нам лицо, которое нельзя было назвать человеческим: это было лицо природы, лицо мироздания.

Пенчо взял его под руку и заговорил по-болгарски. Старик жил еще выше, его дом врос в землю, как дерево. Пенчо повлек старика, они карабкались вдвоем минут десять.

Вернувшись к нам, Пенчо сказал:

— Старик немножко, как у вас говорят, таво... — Он покрутил пальцем у виска. — Это отец деда Кириака. Ты помнишь деда Кириака?

Я помнил.

— Он даже не знает, что деда Кириака нет в живых. Сказал, что сын в Варне, капитан большого парохода. И что у сына есть жена Величка, замечательная красавица македонка.

— Ему сказали про сына, — сказал Боржиков. — Но не верит, не хочет верить и — ничего!

Боржиков засмеялся и тоже покрутил пальцем у виска.

Снеговая туча спустилась низко, набухла, окунула в себя вершины гор, стало трудно дышать. Пенчо сказал, что если скоро не уедем, то застрянем где-нибудь в дороге: снегом завалит шоссе. Я взял Алину холодную руку. «Ты замерзла?»

Она покачала головой. «Хочешь подняться к этому старику? Поговорить с ним? Мы ходили к его сыну, и он угощал нас вином, брынзой. Мы очень любили ходить к его сыну в гости. Он был такой милый старик». Аля снова покачала головой, в ее лице мелькнула слабая гримаса, и она сказала: «Нет, не хочу».

Она взяла меня под руку, и мы стали спускаться вниз. Мы прошли берегом до площади, перешли мост без перил и остановились возле машины. Земля была уже белая от снега.

## *Голубиная гибель*

Однажды утром, уже одевшись, в шапке, Сергей Иванович подошел к окну, чтобы посмотреть, какова погода и надевать ли галоши, и увидел голубя. Голубь был похож на борца: могучая спина и крохотная головка. Он сидел на узеньком железном отливе и, склонив головку набок, косым, шпионским взглядом засматривал в комнату. День был сырой, всю ночь шел мокрый снег, окна запотели, и голубь не много смог увидеть через стекло.

Он увидел грязную вату между рамами, пролежавшую там ползими и успевшую почернеть от копоти; две пол-литровые стеклянные банки на подоконнике, одну с клюквой, другую с кислой капустой, и на одной банке он увидел блюдце, на котором лежал кусочек масла в вошеной бумаге; и веревочную авоську, прицепленную к замку форточки и висевшую между стеклами, в которой хранилось несколько сморщенных сосисок. И еще он увидел старое, заметно опухшее со сна лицо Сергея Ивановича, его седые брови, немигающий взгляд и желтые от табака пальцы с широкими, плоскими и тупыми ногтями, почесывающие подбородок. Это увидел голубь. А Сергей Иванович увидел то, что привык видеть по утрам в течение многих лет: семиэтажную пропасть,

кирпичную, с дождевыми потеками изнанку дома, и крыши напротив, утыканные трубами и антеннами, и внизу, на дне пропасти,— туманный, заваленный серым снегом двор, беззвучную суетню людей, бегущих по утренним своим делам кто куда. И голубя на карнизе. Дымчато-синего, с розоватым отливом, цвета остывшей после горна стали. Станный неожиданный гость! Никто поблизости не держал голубей, и вдруг — пожалуйста.

Сергей Иванович, размышляя, продолжал чесать ногтями подбородок. Потом стукнул по стеклу мундштуком трубки. Голубь подергал туда-сюда головкой, но не двинулся с места.

— Глянь-ка, мать, кто к нам залетел,— сказал Сергей Иванович.— А погода собачья, хуже вчерашнего.

Он зажег трубку, сунул ноги в галоши и вышел поспешно, ибо уже запаздывал минуты на три против обычного. А Клавдия Никифоровна, проводив мужа до входной двери, вернулась в комнату, подошла к окну и тоже увидела голубя, прибитого непогодой. Внизу, на дворе, чернела мокредь. По стеклу змейками сочился истаявший снег. «Ах ты господи, склизь-то какая,— огорчилась Клавдия Никифоровна.— И верно, хуже вчерашнего». Она открыла форточку и бросила на карниз горсть хлебных крошек, думая о своем старике: как бы не поскользнулся дорогой.

...Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне, дочка с мужем, механиком по автоделу, лет девять назад завербовалась на Север, да так и прикрепилась там, писала редко. Сергей Иванович, несмотря на года — седьмой десяток на половине.— трудился на той же фабрике, где полжизни отработал, теперь, правда, не мастером в кроватном цехе, а кладовщиком в инструментальной кладовке. А Клавдия Никифоровна хозяйство вела. Хотя какое в Москве хозяйство? В «гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести.

Клавдия Никифоровна и пригрела нечаянного голубя: начала подкармливать мимоходом, а потом и привыкла. Ядрицу для него покупала, булку крошила, обязательно белую: от черной голубь клюв воротил. Сергей Иванович шутил: что, мать, забаву нашла? Скоро, спрашивал, на крышу полезешь — свистеть в два пальца и тряпкой махать?

Шутил-шутил, а, приходя с работы, стал между прочим интересоваться:

— Ну, как наш иждивенец? Прилетал нынче?

Голубь прилетал ежедневно и вскоре совсем освоился на седьмом этаже и даже голубку привел, белую, как молочный кипень, с черными глазками в аккуратных янтарных оболочках. Когда потеплело и можно было открыть окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять,— деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз:

— Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди.

В квартире этой скоро запищал птенец, беленький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он стал размером со взрослого голубя, но все еще не умел ворковать и летал, как курица.

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной в дневные часы квартире, не зная, чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, на тонких мушиных ножках,— всегда зазывала ее к себе, и та сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди занятые, пропадали на работе до вечера: Борис Евгеньевич работал библиотекарем в самой главной библиотеке, а Агния Николаевна учила в школе, в старших классах. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти



глухая, но еще крепкая, на ногах — на всех готовила и в магазины ходила.

Весна, между тем, забирала круче.

Расталкивая облака, гуляло над городом влажное синее небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, пугавшие Клавдию Никифоровну серые тени, внизу ухало, наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыши.

Несколько теплых апрельских дней дотла сожгли хоронившийся кое-где снег, залили Москву мутной быстрой водой, но солнце высушило эту сырость очень скоро, и к маю тротуары были сухи. В мае на балконе седьмого этажа появился мальчик в бордовом свитере и в зеленых брюках от лыжного костюма. Мальчик готовил на балконе уроки. Он сидел на стуле, положив одну толстую ногу на другую, и, жмурясь от солнца, что-то зубрил и царапал карандашом в тетрадке. Но чаще он держал карандаш во рту, делая вид, что курит трубку, или же строгал карандаш ножичком, а заодно подравнивал ножичком стул. Время от времени из двери высовывалась рука и протягивала мальчику бутерброд или яблоко. Съев яблоко, мальчик метал огрызок в балкон четвертого этажа, целясь в алюминиевое ведро, стоявшее там, и, если выстрел бывал удачным, ведро отзывалось гулким колокольным звуком. Иногда он просто кидал огрызок вниз, наобум, и, подождав немного, выглядывал через перила: в кого попал?

А скоро мальчик обнаружил голубей, стал приходить на балкон с рогаткой и стрелять в голубей абрикосовыми косточками и кусочками цемента, которые он отколупывал от балкона. Сергей Иванович как-то заметил это, пристыдил из окна:

— Эй, дяденька большой, ты что ж хулиганишь?

Мальчик засмеялся, покраснел и убежал в комнату.

Однако через день или два мальчик вновь появился на балконе и вновь готовил уроки и стрелял из рогатки. Потом неделю шли дожди, и голуби получили передышку. А в середине мая, когда снова наладилась солнечная погода, однажды утром пришла неожиданная посетительница: высокая молодая дама в шуршащем плаще и с длинным цветастым зонтиком.

— Здравствуйте, я Моргунова из шестого подъезда,— сказала дама, с треском складывая зонтик и входя в коридор.— Я пришла относительно голубей.

— Заходите в комнату, милости просим,— сказала Клавдия Никифорова.

— Нет, спасибо, я на минутку. Я только насчет голубей. Голуби ваши, да? Дело в том, что ваши голуби, эти милые существа, играют совершенно роковую роль в нашей семье. Нет, поймите меня правильно! Я против голубей в принципе ничего не имею...— Моргунова говорила таким громким, жизнерадостным голосом, что из своей комнаты вышла соседка Мария Алексеевна, и даже старушка Софья Леопольдовна, глухая-глухая, а тоже услышала, приползла из кухни.

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуршащий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ стал балованный, это на удивленье! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это нужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Все это Сергей Иванович подумал про себя, а в разговоре не проронил ни слова. Клавдия Никифоровна очень вежливо и разумно отвечала даме. Она сказала, что ученику необязательно готовить уроки на балконе и что от голубей никому не может быть беспокойства, если не обращать на них внимания и не шмалять в них из рогатки. Конечно, сказала она, с учениками хлопот довольно, кто говорит. Сама, слава богу, двоих вырастила, и внучка уже в третий ходит, в Мурманске живет. Конечно, кто говорит: учиться нынче не сахар. Хоть в Москве, хоть где. С ребят требуют очень крепко...

Моргунова сказала, что ей, к сожалению, некогда разговаривать, она должна идти по делам, но напоследок повторила:

— Вы уж, пожалуйста, ваших птиц уберите. Это наша категорическая просьба. А то муж хотел обратиться к общественности.

И, улыбнувшись приветливо, она ушла.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна были несколько озадачены последними словами Моргуновой, но, поразмыслив, сочли все происшествие пустяком, не стоящим внимания. А Мария Алексеевна, женщина деловитая (одиннадцать лет кассиршей на одном месте, в «гастрономе»), сказала, что она хоть эту Моргунову не знает, но слышала, что у нее в прошлом году работала в домработницах такая Даша, хроменькая, которая сейчас работает у одного профессора в доме, где овощной магазин, и вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке, и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама, говорит, колотит мужа почем зря, и он ей тоже не дает спуску. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так, что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что, если она что скажет, можно и про нее сказать. Можно эту Дашу в крайнем случае разыскать, она в доме, где овощной, ее там каждый знает, она хроменькая, приметная.

Старушка Софья Леопольдовна тоже была возмущена и кипятилась:

— Какая наглость, вы подумайте! Я бы на вашем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенько! На мой характер, я бы ей задала перцу, нахалке этакой!

Сергей Иванович махнул рукой и ушел в комнату. В окно увидел, как по двору идет Василий Потапович, направляясь к деревянному столу, врытому подле забора, а за столом, в окружении мальчишек, уже сидят старик Колесов и молодой парень Мишаня Жабин, игрок хитрый и прижимистый: собираются воскресного «козла» забивать. Сергей Иванович играл обычно вечером, когда сходились люди солидные, испытанные годами и злопамятные друг против друга противники. Но сейчас, коли Василий Потапович нацелился играть, да и старик Колесов тут, грех не выйти.

— Пойду, постучу до обеда,— сказал Сергей Иванович, выходя в коридор, где Клавдия Никифоровна продолжала пустой разговор с женщинами.— Позовешь тогда...

Прошло несколько дней, и Клавдия Никифоровна опять заметила, как мальчишка в голубей стреляет. Только начала она ему выговаривать, как на балконе появилась Моргунова в длинном, из блестящего китайского шелка халате и, не говоря ни слова — раз! раз! — отхлопала парня по рукам. Тот в слезы, а Моргунова повернулась к Клавдии Никифоровне и пригрозила на весь двор: если, мол, до завтра голубей не уберете, будете иметь дело с домкомом.

Сергей Иванович, конечно, и не подумал голубей убирать. Да и куда их? В шкаф? Суп из них варить? Тут, правда, про голубей на короткое время забыли: за Борисом Евгеньевичем пришли ночью и увели.

С понятыми. Шум был, топот, разговоры, жильцы, конечно, проснулись, вышли в коридор. Агния Николаевна стояла нечесаная, белая и смотрела дико, как пьяная, а старушка Софья Леопольдовна кричала в голос. И только Маришка была спокойная, зевала спросонья, Борис Евгеньевич держал ее на руках до двери. Жильцы с ним прощались. Клавдия Никифоровна сказала:

— Да что ж это, Борис Евгеньевич?

А он посмотрел, улыбнулся:

— Разве не знаете, Клавдия Никифоровна, я же вчера человека убил!

Потом долго, часа два, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна не могли заснуть, грели чайник на плитке, обсуждали шепотом: мог ли Борис Евгеньевич человека убить? Вообще-то он был шутник, скорей всего пошутил. Скорей всего в библиотеке что-нибудь допустил, может, ценные книги портил или еще что.

Спустя день-другой после этого случая пришел член домкома Брыкин. Этого Брыкина, полковника в отставке, все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за порядком, подгонял дворников или же сидел в домоуправлении и командовал как общественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гулял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у миллионера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Зайдя в квартиру, Брыкин в первую очередь спросил:

— Сысойкина дома?

— Нету,— сказала Клавдия Никифоровна.

— Передайте, что если в течение двух дней не оплатит мартовскую жировку, будем разбирать в товарищеском суде. И напишем по месту работы.

— Хорошо, товарищ Брыкин, обязательно передадим. А мы-то уж давно!

— Вы-то я знаю. Насчет вас тоже есть разговор. Можно к вам пройти?

Не дожидаясь ответа, Брыкин шагнул в комнату, сразу к окну, посмотрел на голубей и сказал:

— Это надо убрать, граждане. Соседи протестуют, из шестьдесят второй квартиры. Согласно положению не имеете права.

— Согласно какому такому положению? — спросил Сергей Иванович, который недавно пришел с работы и сидел за столом, пил чай.

И тут же за столом сидела маленькая Маришка и тоже пила чай.

— Имеется положение — а как вы думали? — если соседи протестуют, то не можете держать никаких домашних животных, и птиц то же самое. Касается одинаково домашних животных или птиц, это безразлично. Могут до штрафа довести, так что советую убрать.

— Ну что ж.— Сергей Иванович вздохнул.— До штрафа мы, конечно, не допустим, товарищ Брыкин. Мы их не заводили, нам что были они, что нет, все едино. Вот девочка с ними занимается, а нам — что ж, пускай.

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша,— сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та.— Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые. Наклонившись к Сергею Ивановичу так, что

красные щеки его свесились, как два мешочка, сказал вполголоса: — А приваживать не советую.

Тут в комнату заглянула Агния Николаевна, позвала Маришку ужинать.

— А она уж ужинает,— сказала Клавдия Никифоровна.— Вон как хорошо ужинает.

— Нет, нет, не надо мешать чужим людям, Мариша, скажи спасибо и пойдем.

Агния Николаевна вошла в комнату, поздоровалась с Брыкиным, на что тот как-то неопределенно, не глядя, кивнул, а может, просто опустил голову и вышло похоже, что кивнул, и взяла Маришку за руку. Но девочка не хотела вставать, неспешно допивала чай с блюда и заедала баранкой.

— Нам ваша дочка нисколько не мешает,— сказал Сергей Иванович.

— Я понимаю, но у вас люди, а ей пора домой.

— А ничего, пускай чайком погреется.

— Мариша, я тебя прошу — быстрее!

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнским, холодным взглядом.

— Ну?— сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо — значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо и пойдем. Нас бабушка ждет.— И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно,— сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку, Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та редела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Брыкин сказал, когда мать и дочь скрылись:

— Ну и соседи у вас! — И покрутил головой.— А насчет птиц не затягивайте. К завтраму чтоб.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна особенно не огорчились. жили без голубей и проживут. Штраф платить никому не охота. Клавдия Никифоровна сгребла все голубиное семейство — и птенца великовозрастного, который уже летать начал, — и отнесла вместе с ящиком одному знакомому малому, сыну лифтерши. Вот малый обрадовался-то!

Вечером о голубях не говорили. Точно их и не было никогда. После ужина пошли к Марии Алексеевне в дурачка перекинуться. Потом, когда вернулись и уже спать постелились, старушка Софья Леопольдовна постучала: Маришка плачет, не засыпает, хочет на голубков посмотреть.

— Нету голубков! Все! Улетели! — сказал Сергей Иванович сердито.

А на другой день, лишь только вошел Сергей Иванович в дом, Клавдия Никифоровна ему радостно:

— А у нас гости!

— Кто такие?

— Погляди вот...

Очень смеялись в тот вечер Сергей Иванович и Клавдия Никифорова.

— Мы-то их жалели, мы-то их кормили, а они нас разорить хотят, под штраф подвести!

Вскоре и малый, лифтершин сын, прибежал испуганный:

— Тетя Клава, у вас голуби?

— Здесь, здесь. Забирай свое добро и береги лучше...

Отдали ему голубей, а Сергей Иванович взял молоток и подбил железный отлив таким образом, чтобы, если прилетят голуби в другой раз, сесть им было невозможно.

Утром Сергей Иванович прямо из постели, босой, подошел к окну, глянул — мать честная! — голуби тут как тут. Сидеть им нельзя, так они прицепились к железу и повисли. Все трое повисли. И как ухитрились, на чем держались — непонятно. Эти висящие голуби выглядели так страшно, жутко и трогательно, что Сергей Иванович и Клавдия Никифорова растерялись. Марию Алексеевну с племянником пригласили смотреть и Маришку позвали. Маришка оказалась больной, лежала в постели, вместо нее старушка Софья Леопольдовна пришла — совсем согнутая, голова трясется. Племянник Марии Алексеевны, человек ученый, студент института, сказал, что у голубей действует особенная привычка. Им, сказал, отбиться от вашего окна так же трудно, как, например, Сергею Ивановичу бросить трубку курить. Старушка Софья Леопольдовна тоже удивлялась, ахала, потом сказала Клавдии Никифоровне шепотом:

— А у нас беда: Агнию с работы сократили. Как жить будем — не знаю. Книги продаем, ковер продали... — И громко: — Нет, ваши птицы исключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!

Сергей Иванович хмурился, глядя на голубей.

— Ничего, ладно, — ворчал. — Долго не провисят, устанут...

И голуби, правда, улетали куда-то, но потом возвращались и снова, прицепившись к отливу, терпеливо висели. Так провисели они целый день. И тогда, пораженный этой удивительной преданностью, Сергей Иванович решил: будь что будет, пускай птицы остаются. Нельзя таких птиц отдавать. Два дня прошли спокойно, а на третий явился Брыкин.

— Что ж, граждане? Акт будем составлять?

Ему показали, что ящика нет и даже отлив подогнут нарочно, и рассказали про лифтершина сына и про то, как голуби возвращаются и висят, окаянные, и сделать с ними ничего невозможно. Брыкин разглядывал висящих голубей, качал головой, и его красные щеки тряслись, как два мешочка. Он спрашивал, который тут голубок и которая голубка, пытался взять их в руки и даже положил несколько крошек на карниз.

Поиграв с голубями, вздохнул, сказал тихо:

— А все равно, граждане, убрать надо неминуемо. И зачем вам, ей-богу, эту пакость держать, прости господи? Если ради девчонки, то могу сказать вполне ответственно, — он понизил голос, — не жильцы они тут. Ясно?

— Какая девчонка! — Сергей Иванович махнул рукой. — Это нас не касается.

— А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. Так что голуби считаются птица подозрительная, ненужная в наше время. И тем более ученик занимается, и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба...

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в Сергея Ивановича. — Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф вклеить — и вся недолга!

Едва упросил Сергей Иванович отсрочку на два дня.

В субботу вечером Сергей Иванович посадил голубей в корзинку, накрыл тряпкой и поехал на Ленинградский вокзал. Он решил отвезти голубей своей сестре, которая жила за Клином, в ста пяти километрах от Москвы. Клавдия Никифоровна очень тревожилась за своего старика, особенно огорчилась тем, что не заставила Сергея Ивановича надеть вязаную телогрею и взять зонтик. Последнюю неделю зачастили грозные дожди, в воскресенье тоже была гроза. Клавдия Никифоровна проклинала голубей, соседей, Брыкина, ей мерещились всякие напасти.

Сергей Иванович вернулся за полночь — продрогший, измученный, но довольный и с букетом сирени. Он рассказал, что голуби устроены прекрасно, лучшего и желать нельзя. Обе племянницы, девочки, счастливы до невозможности. Голубям отвели квартиру на чердаке, со всеми удобствами, с окном в сад — не то что ржавый отлив, где даже сесть некуда. А там-то помещение богатое, простор, воздух, сирень цветет, воркуй на здоровье хоть сто лет.

— Так что попали наши птахи как в дом родной, — закончил свой рассказ Сергей Иванович, усмехнулся устало. — Теперь уж не ворются...

Воротились голуби во вторник.

Клавдия Никифоровна плакала, встречая мужа в дверях. Она сказала, что голуби прилетели днем, незадолго перед обедом, и мальчишка уже стрелял в них из рогатки.

Сергей Иванович на цыпочках, боком, подходил к окну, охваченный странным чувством, смесью восторга и испуга. Голуби висели в своей излюбленной позе, опрокинутые навзничь, зацепившись за ржавый отлив. Их крохотные бисерные глаза метали на Сергея Ивановича любовные взгляды.

В третий свой приход Брыкин принес повестку в товарищеский суд: на субботу, на семнадцать часов, в помещении красного уголка.

Был сухой, жаркий, уже клонившийся к вечеру день начального лета. В пустынном дворе — детвора разъехалась по дачам и лагерям — легкий ветер мел по асфальту невесомый прозрачно-серый тополиный пух. Отдельные пушинки достигали седьмого этажа, залетали в окна, а самые отважные, подхваченные теплым воздухом, подымались еще выше, над крышей, над палками антенн, в синее небо. Клавдия Никифоровна смотрела из окна, как ее старик плетется по двору, помахивая корзиной.

Через час он вернулся. Корзина была пуста. Клавдия Никифоровна сразу заметила, что от Сергея Ивановича пахнет вином и у него дрожат руки.

— Отдал? — спросила Клавдия Никифоровна, почему-то испугавшись.

— Не волнуйся, мать. Теперь — все, порядок... Порядок, мать.

— С какой же ты радости наклюкался? Постой-ка... — Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глупой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и по-

тряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

А потом — что ж?

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифоровна мучилась с зубами, Агнию Николаевну с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переселили куда-то на край Москвы, а в их две комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все из Тулы, потом зима кончилась, еще одно лето прошло, объявили амнистию, Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь садился за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводить их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев, — и за них теперь не то что штраф, а спасибо говорили. И развелось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах, ходили они стаями, толстые, вперевалку летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, по балконам и карнизам, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого. А в плохую погоду Сергей Иванович сидел дома и плел для удовольствия маленькие корзинки из цветного полиэтиленового провода. Обрезки такого провода — то ли он был телефонный, то ли еще для каких нужд — приносил Сергею Ивановичу сколько угодно племянник Марии Алексеевны, который уже закончил институт и работал на предприятии.



---

---

ДЕБОРА ВАРАНДИ  
★  
ИЗ КНИГИ  
«ХЛЕБ ПРИБРЕЖНЫХ РАВНИН»

*С эстонского*

*Назыму Хикмету.*

\* \* \*

Настало время щемящих душу осенних красок,  
И с немым протестующим криком  
против старых, свалявшихся туч  
восстает твое молодое сердце,  
Назым.

Тебе ничего не позволено — не правда ли? —  
кроме грустной солидности,  
мемуаров — быть может,  
и речей о воспитании молодежи.  
Не позволено  
заламывать руки  
из-за того, что прошла весна.  
И становиться сумасбродом  
из-за красоты  
алых губ  
и дерзких глаз.

Назым, Назым,  
если б поднялась рука высшей справедливости,  
она нанесла бы все эти годы,  
прошедшие в тюрьме  
или в ожиданье нового ареста,  
на скрижали дерева жизни  
дважды.

Время щемящих душу осенних красок  
все же настало.  
Сердце не переставая кровотоцит.  
Здесь, под небом, сплошь клубящимся облаками,  
на земле, покрытой горошинками ягод,  
возле камней в белой морской пене,



я то и дело возвращаюсь к мысли о том, что —  
ты стоишь сейчас на мосту и крошишь рыбкам  
в Сену или в какую-нибудь другую реку  
свое сердце,  
словно золотистый ломоть хлеба  
из спелого зерна.

Безмолвным рыбам  
и малькам...

И все же —  
я хочу повторять с тобою, Назым:  
в этом мире нет плода драгоценнее,  
чем свет.

Март 1963 г.

### О, ЕСЛИ Б ОЖИВАЛИ ГРЕЗЫ

О, если б оживали грезы,  
то пробудилась бы, взлетела  
та бабочка с доски барака,  
та бабочка...

Ребенок рисовал ее по-детски —  
широкие узорчатые крылья,  
лицо же — человека:  
два выпуклых и черных глаза,  
и нос, и рот...

«Я ни одной не видел бабочки,  
не залетают в лагерь бабочки...»

Ты — лишь былинка, над твоим страданьем  
беспомощно поэзия витает,  
словами передать ее не в силах!

Но все ж и в нем поэзия — в рисунке,  
твоя душа крылата,  
и, воспарив над гибелью и скверной,  
она живет поныне,  
глядят ее глаза на нас с печалью...

Когда умолкнет гул войны навеки,  
то оживет, очнется для полета  
та бабочка с доски барака  
и тихо улетит в забвенья.

Все тайные безмолвные печали,  
как реки, убегающие в море,  
раз навсегда уж выплакаться смогут  
и тихо уплывут в забвенья,  
когда умолкнет гул войны  
навсегда!

### ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО

В вечерних сумерках,  
 когда я чужестранкой прохожу  
 под стук шаров бильярдных  
 и бормотанье радио,  
 под сенью лавров и магнолий всякий раз  
 меня задерживает кто-то, со мною заговаривает.  
 Оно единственное.  
 Своим звенящим ароматом,  
 своим чуть слышным ароматом,  
 словно звезда, забытая сквозь тучу.  
 Оно единственное.

Я узнаю тебя,  
 твой аромат соединил в себе  
 всю кислоту плодов, которые созреют,  
 и упоение и горечь,  
 и гибель белых лепестков.

### ГРУСТЬ

Они рождаются в студеную ночь, когда —

...Я распахнула окно и увидела северное небо.  
 Я глядела на Большую Медведицу и на Полярную  
 Звезду,  
 словно опять я была в чужом краю.

Но я была не в чужом краю,  
 и кругом царил глубокий мир.

Мое дыханье исчезало в ночи.  
 Где-то внизу, во тьме, меж деревьев,  
 ручей Волчьей пропасти  
 журчал так громко и гулко,  
 словно сотни деревянных башмаков стучали  
 по земле, схваченной стужей...

— Звук, непонятный, неясный,  
 безмолвный и совершенно отдельный,  
 в одно мгновенье сгущался  
 в глубокую черно-синюю ночь.

Мысли, странствующие бок о бок с моими,  
 легкие и безошибочные,  
 как спевшиеся в дуэте.

Чуткие руки,  
 настолько подлинные,  
 что они могли бы извять меня заново  
 совершенной и безгранично счастливой.

И любовь, словно солнце,—  
отбрасывающая длинные тени,  
смешные тени с длинными ушами,  
бегущие впереди нас.  
И ты говоришь:  
«Смотри, скоро вечер.  
Ты боишься, бедный дружок мой?»

### УТРО — ОТДАТЬ САДОВОДУ

Что лучше других это утро —  
проснувшись, я вдруг поняла.  
Октябрь мой — близнец мой мятежный,  
сжигал все, что было, дотла.

Час пробил для осени нежной.

Вдоль Пирита море дремало.  
По солнечной стороне  
бульвара — в потоке народа —  
мы шли. Было радостно мне!

Шло утро во власть садовода.

Ни пик, ни знамен, но на плечи  
взяв саженцы, все же могли  
за войско сойти мы хоть внешне.  
Ладони черны от земли.

Шли яблони, вишни, черешни.

Вдруг розу увидев в витрине,  
я стала над ней не дыша:  
ах, сердце — пугливо и ало —  
в ней билось, была в ней душа.

Казалось, вновь детство настало.

Душа, как ладонью прикрытый  
огонь — чтобы ветер утих,—  
достойна и дрожи сердечной,  
и сотен томов золотых,—

останься со мною навечно.

И взоры детей пораженных  
и краскам теряющих счет  
в крутых пирамидах из яблок,  
а рядом — варенье и мед.

Домой шли мы в запахе яблок.

Потом мы усталые сели  
на камне, заговорив

о том величавом и белом  
красавце, зашедшем в залив.

Ледовые саги нам пел он.

Еще этот атомный белый  
корабль говорил, что вернут  
плодами сады, огороды  
затраченный некогда труд.

А утро — отдать садоводу.

*Перевела Анна Ахматова.*



---

---

ГЮНТЕР КУНЕРТ

★

## ИЗ КНИГИ «НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ»

С немецкого

*Гюнтер Кунерт (ГДР) — лауреат премии Генриха Манна. Родился в Берлине в 1929 году. Первая книга его стихов «Дорожные указатели» (1950) была поддержана Бертольтом Брехтом.*

*Кунерт выступает со стихами и прозой в периодической печати ГДР и ФРГ. Выпустил сборники стихов «Работа» (1961), «Память о планете» (1963), «Незванный гость» (1965).*

### О ЛЮДЯХ, КАКИХ ЕЩЕ МНОГО ВСЮДУ

В разгар лесного пожара  
Они говорят  
О красоте листвы.

Они находят живописными  
Дымящие вулканы дальних стран,  
Затаившие в своем чреве  
Клокочущую смерть.

Они соскребают зеленую краску с танка,  
Проверяя, прочней ли она,  
Чем лак их автомобиля.

В последнюю войну  
Они сровняли с землей пол-Европы,—  
Но вспоминают лишь  
Коньяки Франции  
И приволжскую малину.

Такие людишки  
Приспосабливаются к любому строю,  
Угождая и тем и этим.  
Порою они ворчат, но,  
В общем, довольны всем.

И к социализму они привыкли:  
Подумаешь — транспаранты, плакаты  
Да обычай подписывать  
Письма -- «С соц. приветом!».

И в изящных искусствах они преуспели:  
Можно подумать, будто люди гибли  
В застенках и голодали народы  
Лишь затем, чтобы им предоставить  
Возможность  
«Монументально»  
Запечатлеть героизм!

Они **видят** в событиях  
Лишь оболочку.  
Их привлекает лишь  
Видимость жизни.  
Они никогда не стремятся  
Постичь ее глубину...

\*.\*

Сидеть на пороге дома  
В дюнах. Ничего не видеть,  
Кроме солнца. Ничего не чувствовать, кроме  
Тепла. Ничего не слышать,  
Кроме прибоя. В затишье  
Между двумя ударами сердца верить:  
Вот он мир,  
Наконец...

### МИЛОЕ ЗАНЯТИЕ

Вечерами,  
Когда на улицах города  
Умирает свет  
И черные костяки,  
Называемые «деревьями»,  
Держат небо,—

Восстают мертвые солдаты.

Под запотевшими мостовыми  
Маршируют они. Гибнут снова и снова,  
Без разбора, друзья и враги,  
Обливают друг друга горящим бензином  
И пронзают тела друг друга  
Трассами жгучих пуль.

Они маршируют под мостовыми,  
Когда города безмолвны,—  
Чтобы вы услышали их.

Они полны тревоги,  
Когда вы там, наверху, в домах,  
Поездах  
И автомобилях,  
На мостах и на площадях  
Заняты лишь одним —

забвешьем,

Забвешьем,  
Забвешьем.

**ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ**

Что останется после нас,  
Когда мы истлеем,  
Зарытые в скупую почву?

Я перекрашивал стены,  
Переставлял стулья,  
Слова

Составлял, чтоб они становились  
Больше, чем словами,  
И значили:  
Человек  
Может создать на этой земле  
Настоящую жизнь.

В мечтах  
Людей, которые еще угнетены,  
В мыслях  
людей, готовых восстать,  
В делах  
людей, которые уже свободны,—  
Вы найдете то,  
Что останется после нас.

*Перевел В. Куприянов.*



---

---

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

★

## «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

(Записки очевидца)

«**Л**ицом к лицу — лица не увидеть» — крупным планом видится не все то, что есть на самом деле. Китай — гигантская страна, в ней иностранец может видеть лишь крупинку происходящего. Очевидцу всего труднее обобщать. Для этого нужна спокойная работа мысли и время для размышлений, а его нет, когда события набегают одно за другим и каждый день оставляет столько впечатлений, что главное — не забыть их, не перепутать, не смешать.

Но разве не интересно все увиденное, даже если это только внешняя сторона фактов? Мы ведь иногда воспринимаем суть многих явлений в готовых формулировках, при этом «внешность» событий остается нам незнакомой. Понимая сущность, мы не узнаем ее проявления. Поэтому, мне кажется, важно не только раскрыть, но и описать, изобразить, представить происходящее. Тогда явление будет по-настоящему узнано и понято и тогда не останется места для сомнений.

### I

Китаистами называют тех, кто всю жизнь занимается китайским языком и его иероглифической письменностью, а через нее — культурой, историей, экономикой и вообще жизнью огромной страны-континента. Все китаисты стремятся попасть в Китай, а поехать туда не просто, особенно в последние восемь лет.

Наконец, 2 февраля 1966 года, после чуть ли не года хлопот, я вошел в международный экспресс Москва — Пекин.

Поезд мягко тронулся, оставляя за собой на платформе окоченевшие фигуры родных в непомерно толстых шубах. В вагонах заиграла музыка. Инструменты были те же, что и у нас, но мелодия совсем иного склада...

Когда в морозной дымке промелькнули цветные купола Загорска с золотом крестов, в купе вошел пожилой проводник-китаец. Этот состав обслуживала китайская бригада. Его форма по своему покрою ничем не отличалась от китайской партийной одежды: тот же френч с двумя нагрудными накладными карманами, наглухо застегнутый высокий воротничок. Только цвет ее был темнее обычного синего, отливал чернотой.

— Куда вы едете? Давайте билеты, — отдельно выговорил проводник по-русски.

— Здравствуйте! Мы едем в Пекин учиться, — по-китайски ответил я за себя и своих спутников.

— Добро пожаловать! — воскликнул он на родном языке и от удовольствия расплылся в улыбке. — Вы едете учиться китайскому языку? Надолго ли?



— На десять месяцев.

— Вы очень хорошо говорите по-китайски. Я все понимаю, каждое слово,— сказал он, следуя традиционной вежливости и приветливости китайского народа.

— Я учился полгода в Пекине в 1958 году,— объяснил я беглость своей речи,— но уже шесть лет я почти без практики и говорю плохо. А до этого я учился в СССР.

Сказать так было необходимо, чтобы хоть как-то оправдать режущий ухо немusикальный акцент, с которым я говорю по-китайски и не могу расстаться, как с собственной тенью.

— Что вы! Что вы! Вы теперь едете во второй раз и говорить будете еще лучше,— отвечал проводник с покоряющим доброжелательством.— Учиться будете в самом Пекине?

Я кивнул. Он вдруг посерьезнел и сказал без обычной для китайца улыбки, требуемой национальным этикетом:

— Сейчас к нам ездят мало...

— Да, поехать было нелегко. Я ждал такой возможности семь лет. Я должен был выехать еще в прошлом году, к началу учебного года, а еду только сейчас, в феврале.

Он внимательно выслушал и утешил:

— Времени у вас еще много, много...

Мы заговорили о пекинской погоде, о том, не слишком ли жарко будет летом, что меня беспокоило, так как в прошлый приезд я в Пекине летом не жил. Тогда, в вагоне, я еще не знал, что это будет один из немногих разговоров с китайцем за долгие месяцы жизни в Китае.

Проверка документов и таможенный досмотр на нашей пограничной станции прошли быстро.

— Много ли работы?— спросил я у пограничника.

— Не очень, в Китай теперь ездят мало,— отвечал тот, возвращая наши паспорта.

Нельзя сказать, что меня, да и всех остальных не беспокоила эта сакраментально повторяющаяся фраза. Конечно, я внушал себе, что Китай теперь уже не тот, что раньше, и отношение ко мне будет иное. Я приготовился ничему не удивляться и все принимать спокойно. О том, что голодные годы там миновали, я знал от друзей, возвратившихся недавно.

— Теперь жить нам в Китае даже легче, чем раньше,— заметил саркастически в разговоре один из них.— Никто не останавливает тебя на улице, чтобы выразить свои дружеские чувства, не кидается обниматься...

— А здороваются ли? — поинтересовался я.

— Мало и неохотно. Если поблизости никого нет, тогда другое дело. Но редко, очень редко. И совершенно не разговаривают.

— А что, разве это опасно?

— Для них — да.

На границе КНР молодой китайский пограничник внимательно рассматривал наши паспорта. Он стоял в дверях купе, а из-за его плеча выглядывали еще двое. Несведущему иностранцу этот юноша показался бы вполне обычным китайцем, но я понял, что он отобран за красоту. Это определенно был особый тип мужественной, воинской красоты, известный по китайскому классическому театру, характерный стройной, подтянутой и пропорциональной фигурой, густыми, темными, изломленными бровями, большими для китайца глазами, открытым широким лицом правильной овальной формы. «Немного румян и белил — и он готов для сцены», — подумал я. Пограничник читал паспорта медленно, настолько медленно, что я невольно усмехнулся.

— Вас только четверо? Почему не пять? — вдруг спросил он.

Нас — молодых китаистов, едущих в Пекин на стажировку, — действительно должно было быть пять человек, но у одной из наших коллег тяжело заболел муж, и она не решилась оставить его. Ее отсутствие и удивило пограничника, поджидавшего нас во всеоружии осведомленности. «Хорошо работает китайский аппарат», — подумал я.

Эта мысль впервые пришла мне в голову на границе, но потом она не раз, по разным случаям, возникала вновь.

После таможенного досмотра нам предложили пройти в зал ожидания.

Пока мы брели по путям к станции, любезный таможенник успел мне рассказать, что он выпускник Пекинского института иностранных языков, что эмблема, изображенная на станционном здании, составлена из стилизованных иероглифов слова «рабочий» и символизирует рабочий класс, что в Китае сейчас «все переменялось» после 1958 года, когда я там жил несколько месяцев, и, по его словам, стало гораздо лучше.

— Вы увидите в Пекине новые здания на площади Тяньаньмэнь — Дворец собрания народных представителей и Исторический музей. Замечательные здания, вы их еще не видели. В Пекине многое изменилось.

Я отвечал ему, что безусловно с большим интересом посмотрю новую площадь, новые здания и прочее. Да и то, насколько «все изменилось» и каково жить при этих изменениях, мне тоже было любопытно.

Как только мы приблизились к станции, таможенник умолк. Я, правда, не придал этому значения.

Усевшись в углу зала ожидания, напоминающего фойе заурядного кинотеатра, мы стали разглядывать его. В убранство зала входил и гипсовый бюст Мао Цзэ-дуна на красном фоне обтянутой бархатом стены. Нам принесли чай. Это было очень кстати, так как вокзал отапливался совершенно недостаточно, а может, его и вообще не топили. (Должен признаться, что после теплых московских квартир в Китае я в зимнюю пору изрядно мерз в нетопленных или плохо отапливаемых помещениях.) В центре зала на длинном парадном столе лежали журналы и брошюры.

— Наверняка антисоветчина, — сказал мой попутчик Виктор.

Полистав их, я убедился, что он прав.

Мы просидели так несколько часов, от скуки играя в «подкидного», пока нас не пригласили вернуться в вагон.

Наш путь до китайской столицы продолжался около двадцати часов и был мало чем примечательным. Пейзаж довольно унылый в эту пору года, бесконечные лёссовые равнины, изрезанные глубокими промоинами.

На подходе к Пекину поезд затерся среди голых, сухих, буро-желтых гор. Короткие туннели сменялись тупиками, головные вагоны становились хвостовыми, и наоборот. Наконец мы вырвались из теснин на равнину — впереди Пекин. Радио заиграло с особой торжественностью. Мы промчались через пригороды и медленно подползли к платформе пекинского вокзала, новое здание которого — просторное и импозантное, с первым в городе эскалатором на второй этаж — построено совсем недавно.

Пекинский вокзал тоже гордость, как и все роскошные постройки, возведенные в трудные, голодные годы. На платформе снова, как и на промежуточных станциях, было малоллюдно. Нас встретили уже занимающиеся в Пекине коллеги, сотрудники консульства и посольства, некоторые из них были знакомы нам еще по Москве и студенческим годам, и это придавало встрече ощущение радости и теплоты. Были здесь и представители китайских университетов, принимающих нас.

Подняв голову, я тут же обнаружил за огромными стеклами второго этажа вокзала, где находился зал ожидания, десятки пар черных, внимательно-любопытных глаз. Китайские пассажиры разглядывали нас, останавливаясь даже в застекленной галерее, ведущей к дальним платформам. Невольно возникло чувство, будто ты находишься на витрине выставки.

— Где же им еще посмотреть на иностранцев? — заметив мое смущение, сказал сотрудник нашего посольства.

Мы зашли на контрольно-пропускной пункт. Формальности заняли не более пяти минут, и мы двинулись к выходу на площадь. Там представители университетов «рассортировывали» нас по машинам.

Крохотный, европейской модели, бог его знает какой фирмы и какого года выпуска автомобильчик набит был до отказа. Кроме шофера, в нем ехали Лида — моя попутчица коллега-китаистка, двое встречающих и я. В ногах пришлось примостить еще два чемодана, так что повернуться было негде. Рядом со мной сидел молодой китаец с грубоватыми чертами лица. Мы представились друг другу. Он сообщил, что его зовут Ма<sup>1</sup>, что родом он с юга, из чжэцзянского города Цзиньхуа и что он — мой «фудао». Слово это с трудом поддается переводу, а означает оно, что он будет моим консультантом и посредником в общении с людьми и учреждениями, будет жить со мной в одной комнате, разговаривать о чем угодно, заботиться об условиях моего быта и учебы — короче, всегда и всюду будет рядом. Так уж заведено теперь в Китае. Меня его сообщение даже обрадовало, — это же отлично, что я буду жить вместе с китайцем: наконец-то можно будет улучшить мою разговорную речь! Жаль, конечно, что он чжэцзянец — их диалект просто несравним с нормативным пекинским. Правда, прожив более десяти лет в Пекине, Ма говорил очень хорошо. Смеясь, он рассказал мне, что, как нарочно, прошлой осенью ездил на родину повидать близких и нахватался там диалекта.

Вторая наша спутница была фудао Лиды. Ее звали Линь. Черты ее лица были куда мягче, чем у чжэцзянца Ма. Линь была миловидна и выглядела очень интеллигентно. Она была родом из Нанкина. Линь, видно, хорошо зная о своей привлекательности, держалась гордо и отчужденно. На первых порах мне даже показалось, что она не вполне доброжелательна по отношению к нам, но, к счастью, это оказалось следствием моей мнительности.

Педагогический университет находился на «Внешней улице нового пролома», как следует перевести «Синьцзекоу вай дацзе». Четырехугольник старого Пекина, строго ориентированный по частям света, охвачен мощными городскими стенами. Разросшийся после того, как в 1949 году в него перенесли столицу, Пекин расплылся далеко за пределы старых стен. Ворота в них уже не хватало и стали делать проломы, от одного из которых и получила название оживленная улица. Университет был переведен сюда из центра города тоже после 1949 года. Часть корпусов с аудиториями была недостроена, и химический факультет еще размещался в пекинских хутунах — переулках. Парадный въезд тоже оставался недостроенным, и спланирован он был как-то странно — сбоку, упираясь в шестизэтажное административное здание.

Мы въехали через боковые южные ворота и по узкой асфальтированной аллее мимо аудиторий, цветника-парка, светло-серого административного корпуса и астрономического факультета с куполом обсерватории проехали по прямой до большого панно с парящим профилем Мао Цзэ-дуна и лозунгами. Свернув в сторону и попелтаяв по сложному узору аллей, мы высадились под бетонным козырьком четырехэтажного дома из серого кирпича. У входа стояли вьетнамцы-первокурсники.

Моя комната оказалась на втором этаже, рядом с канцелярией по работе с иностранными студентами. Стены комнаты, сильно облупившиеся, были испещрены следами гвоздей и кнопок, оставшимися от прежних жильцов. Она была вытянутой прямоугольной формы с цементным полом и высоким окном. Застеклена была только первая рама, во второй вместо стекол оказалась мелкая проволочная сетка. Ма сразу же объяснил мне, что сетка нужна от комаров.

<sup>1</sup> По понятным обстоятельствам, мне пришлось в этом очерке изменить имена.

От окна сильно дуло, четыре витка радиатора нагревались только утром и вечером, так что дважды в сутки температура в комнате резко менялась. Понимая, что отопление в корпусе, где живут вьетнамцы, должно поддерживаться с особой заботой, а в китайских общежитиях, быть может, и вовсе не топят из экономии, я никогда не жаловался, хотя часто вспоминал теплые московские жилища. Да и холодно в Пекине было не от мороза, а от неприспособленности к короткой зиме. Я поставил постель у окна, а за нею стол — подальше от холода. По другую сторону окна стояла кровать моего фудао Ма и его стол. У двери — с его стороны — пристроилась этажерка для книг, а с моей — платяной шкаф.

Вскоре к нам зашел пожилой человек очень низкого роста, передвигавшийся как-то странно — бочком. Он назвался Ваном, сотрудником канцелярии по работе с иностранцами. Ма поспешил сообщить мне, что товарищ Ван ведает хозяйственной частью. Ван поинтересовался, не понадобится ли мне еще что-нибудь. Бегло осмотрев комнату, я попросил настольную лампу. Как выяснилось впоследствии, такая роскошь не полагалась даже иностранцам, но Ван лампу мне все же достал, хотя на хлопоты у него ушло немало времени.

Когда мы познакомились, я попросил Вана написать его фамилию и имя — это обычно в Китае. Корявые иероглифы выдавали его малую грамотность.

Мы разговорились. Ван рассказал, что он родом из Маньчжурии, участник партизанской войны, а позднее боец Народно-освободительной армии. Жизнь не дала ему возможности учиться, он остался полуграмотным и ценил свою службу дороже всего на свете. Детей у него не было. Они с женой в свое время, чтобы засвидетельствовать свою преданность политике сокращения рождаемости, отказались иметь детей и остались бездетными. Мне понравилась простота Вана. Ко мне Ван с первого же знакомства относился с симпатией и предупредительностью. Как и все люди из народа, он хорошо знал китайский классический театр и, если не было свидетелей, любил поговорить о нем со мной.

Через стену от меня жил вьетнамский стажер Бак Нинь. Он познакомился со мной в первый же день, был очень приветлив, и мы подружились с ним. Бак Нинь преподавал китайский язык в Ханойском университете и в Пекин приехал на два года для совершенствования. К нему ходили поочередно три китайских преподавателя, с которыми он занимался у себя в комнате. На занятиях они постоянно прокручивали магнитофон, отрабатывая произношение. В часы досуга Бак любил играть на гитаре и национальных инструментах, тихонько напевал. В его комнате собирались остальные вьетнамцы — с третьего и четвертого этажей. Часто, проходя по коридору, я слушал знакомые мелодии советских песен, которые они навистывали. Иногда они пели по-вьетнамски, и смысл слов оставался мне непонятен. Дома в Москве я не любил слушать легкую музыку, предпочитая ей симфоническую, и трогательное, сентиментальное чувство, которое рождалось этими мелодиями здесь, в Пекине, удивляло меня самого.

Условия, в которых я жил в Пекине, были необычны для меня, да и вообще для иностранца. Тут негде уединиться. Всегда с тобой кто-то находится рядом, всегда надо быть подчеркнуто вежливым, всегда уметь себя сдерживать, всегда улыбаться.

Общежитие было новым зданием прочной и солидной постройки, но ни для уединения, ни для размышлений оно не предназначалось, обитатели его были постоянно на виду друг у друга. Даже в стене, вдоль которой стояла кровать моего фудао, был сделан сквозной прямоугольный вырез и в него вставлена книжная полочка, но щели в ней просвечивали в соседнюю комнату, и там, видимо, можно было слышать каждое произнесенное у меня слово. Точно так же жили и остальные студенты; моя комната отнюдь не была исключением. Стены строились для того, чтобы слышать, и никто не удивлялся этому. Взаимное недоверие, как я вскоре убедился, было тут вполне обычным, но лишь впоследствии я понял, что всеобщая слежка и взаимное доноительство в нынешнем Китае тоже стали в порядке вещей. Из страха быть заподозренным в утаивании, на собраниях здесь все гово-

рят о себе и обо всем, ничто не остается вне публичного обсуждения — от каждого произнесенного слова или от выражения лица и до естественных отпращиваний. За пределами Китая даже вообразить подобное невозможно.

Этот аккуратный прямоугольный вырез в стене моей комнаты запечатлелся в памяти.

Мои соседи слева, с которыми я сразу же пожелал познакомиться, оказались молодыми сотрудниками той же канцелярии по работе с иностранцами. Они встретили меня с обычной китайской вежливостью, поговорили о погоде, о национальных обычаях. Но вскоре я обратил внимание, что жильцы этой комнаты непрерывно сменяются. Почти никто не ночевал там дважды. Это, видно, было что-то вроде дежурного помещения. Такое соседство, учитывая сквозную нишу в стене, естественно, было неприятно. Я успокаивал себя мыслью о том, что это вызвано скорее недоверием друг к другу, чем ко мне.

Мне очень хотелось познакомиться с коренными пекинцами, чье произношение обладает редкостной натуральной естественностью. Канцелярия благожелательно приняла мою просьбу, но оказалась бессильной помочь — в Пекинском педагогическом университете преподавателей-пекинцев не нашлось. Все, с кем я знакомился, были выходцами из самых разных провинций Китая. Говорили китайцы-преподаватели, разумеется, правильно, но речь их была либо бледной и заученной, когда они следили за ее чистотой, либо малопонятной для иностранца, если в увлечении они сбивались на родной диалект. Пекинский говор, на котором общались между собой люди, приехавшие со всех краев Китая, то и дело перемежался армейским жаргоном. «Напасть», «атаковать», «ударить», «мобилизовать», «бороться» и другие характерные словечки употреблялись в обычном быту. Фразы с лихими призывами или же ложнопатетические звучали в повседневном обращении довольно странно, приобретали порой юмористический оттенок.

Недели две мы присматривались и осваивались в новых условиях. Потом нас с Лидой пригласили в канцелярию обсудить учебный план.

В приемной канцелярии, расположенной на нашем же этаже, нас приняла заведующая товарищ Чжао. Мы поблагодарили ее за заботу о нашем устройстве и приеме, а затем перешли к вежливым взаимным расспросам. Товарищ Чжао сообщила нам, что она старый член партии, долгое время жила в знаменитой Яньани, резиденции руководства КПК во время войны с Японией.

— Заведующая Чжао — старая революционерка! — польстил ей мой фудао Ма.

— Что вы, что вы, я простая пожилая женщина, — скромно возразила Чжао.

Тем не менее из разговора с нею выяснилось, что ее внук устроен в детский сад парка Бэйхай. Расположенный в одном из древнейших пекинских дворцов над озером Центрального парка, сад этот доступен только для детей старых и заслуженных работников компартии и правительства. Это показательное детское учреждение хорошо описано западными журналистами, которых туда водят непременно.

Затем мы перешли к нашему учебному плану. Лида, впервые оказавшись в Китае, смущалась и поначалу робко и неохотно говорила по-китайски. С организацией ее учебной работы все оказалось в порядке. У меня же возникли осложнения: выяснилось, что я попал в КНР чуть ли не по недоразумению. Я уже восемь лет занимался изучением китайских средневековых повестей, новелл, фольклора и т. д. Однако при переводе документации относительно моей темы китайский переводчик термин «художественная проза» перевел словом «саньвэнь», а не «сяошо», что значит: классическая проза высокого стиля — сочинения историков и эссе, эпистолы, то есть нечто совсем иное. Я огорчился таким оборотом дела. Чжао выслушала мои возражения и холодно заявила:

— Древние повести и новеллы, которыми вы занимаетесь, сочинения дурные, идеология их скверная, у нас в университете их не изучают, и никто не согласится руководить вашей работой.

У меня были резоны возражать, так как мне было хорошо известно, что до самой своей кончины виднейший специалист в этой области профессор Ван Гу-лу работал именно в том самом университете. Трудно было поверить, что у него не осталось продолжателей.

— Сейчас у нас никто не занимается столь дурными произведениями, — твердо сказала Чжао. — Если бы мы знали, что вы занимаетесь ими, то вообще не смогли бы вас принять.

Такая неприкрытая угроза на меня сразу же подействовала отрезвляюще. В самом деле, если разобратся в документации и выяснить неточность перевода, налицо будет прекрасный повод отправить меня обратно без дальнейших разговоров! Побывать даже две недели в Китае, конечно, тоже неплохо, но мне хотелось работать, и я спросил с покорностью, что же, собственно, мне будет предложено.

Чжао подумала и сказала, что лучше всего мне заняться историей прозы «саньвэнь» и древним китайским языком с профессором Го. Имя это я знал по научным статьям. Это был известный ученый среднего поколения. Занятия со столь видным специалистом меня более чем устраивали, но все же я попросил времени на размышления. Пораздумав, я возблагодарил судьбу за полезную для меня неточность в переводе.

Такой шаг показался разумным и заведующей Чжао. Вторая наша встреча была куда более благожелательной. Чжао настаивала на занятиях по подготовленной ими программе, и я принял ее. Со своей стороны, я уже не требовал, а просил предоставить мне в дополнение материал не только для учебы, но и для самостоятельной исследовательской работы по теме, которой я занимался долгие годы. Теперь уже Чжао ответила мне, что над этим надо будет подумать.

Во время третьей встречи главным лицом стал профессор Го. Он был заместителем декана филологического факультета, но практически возглавлял всю работу по литературоведению, так как сам декан факультета занимался лингвистикой, а второй заместитель, с которым мне еще предстояло познакомиться, был не ученым, а партийным работником. Меня обрадовало, что профессор Го северянин, — я легко понимал его речь. При встрече я преподнес ему оттиски своих статей, предварительно целый вечер обсуждая с Ма, как получше и поточнее перевести на китайский их названия. Статьи произвели на профессора Го хорошее впечатление, он сказал мне немало приятных слов, да и в канцелярии после этого стали относиться ко мне с меньшей подозрительностью. Натянутость и предубежденность начали спадать — относительно, конечно.

Во время четвертой встречи профессор Го торжественно объявил о согласии администрации «по мере возможности» предоставлять мне материалы по теме «сяошо» для самостоятельного изучения. О консультациях не было сказано ни слова — в них отказывали, — и все же это был шаг навстречу моей просьбе. Такое решение, безусловно, было принято под влиянием профессора Го, который был настоящим ученым. Я поблагодарил, но многозначительно подчеркнул, что достаточно подготовлен для работы над этой темой и смогу обойтись без китайских консультаций. Профессор Го принял этот намек молча. Месяца через два на одном из наших занятий он сообщил, что готов консультировать меня и по материалам средневековых повестей. Увы, я успел только единожды воспользоваться его знаниями.

Во время одной из бесед профессор Го пояснял, почему вредны средневековые повести. Оказывается, потому, что «пропагандируют тезис, что в жизни человека нет ничего выше любви», а это очень дурно и реакционно. Любовь, оказывается, одурманивает молодежь и «уводит ее от революции». Это столь дико и смешно прозвучало в устах мыслящего человека, что я не выдержал и сказал с улыбкой:

— Вы, видимо, считаете меня зеленым юнцом, а я уже восемь лет работаю, давно женат и ращу двоих детей... Меня рассказы о любовных свиданиях испортить не могут... Может быть, я выгляжу слишком молодо?

Профессор Го явно почувствовал себя неловко и всем видом старался показать, что сам он ни при чем и к подобным ханжеским благоглупостям отношение имеет разве что вынужденное. Глядя на него, смутился и я — уже от собственной бестактности: ведь он и сам прекрасно понимает, что к чему.

Постепенно занятия наладились. Они, правда, не приносили мне прямой пользы в исследовательской работе, но для специального образования были очень полезны. Я следил за тем, чтобы занятия не прерывались, и иногда просил увеличить количество часов. Профессор Го всегда шел мне навстречу, и часто мы беседовали с ним не два часа, а все четыре. Он-то уж не был формалистом ни в чем! Но лояльность его оставалась непогрешимой.

Мне было известно от студента Пекинского университета, швейцарца Билетера, что многие сборники и исследования по классической литературе попадали в КНР в разряд запрещенных книг. Их запрещали, собственно, для широкого читателя, а издавали ничтожным тиражом с грифом «для внутреннего пользования». Такие книги были недоступны для иностранцев, и поэтому казалось, что изучение древней культуры в КНР после 1959 года сошло на нет. На самом же деле прекратилась лишь широкая публикация. Я спрашивал Го об известных мне материалах, но он всегда давал уклончивый официальный ответ.

Например, я широко пользовался каталогом журнальных и газетных статей по древней китайской культуре и истории за 1911—1949 годы, но аналогичный каталог за годы народной республики (1949—1962 годы), как ни странно, попал в число запретных «внутренних материалов», хотя в нем не содержалось ничего более, кроме списка опубликованных в КНР статей. Поистине, уму непостижимо! Я спросил у профессора Го объяснения этому, и он официальным тоном сообщил:

— Качество каталога недостаточно высоко, чтобы издавать его для всех, поэтому он издан только как внутренний материал.

Разумеется, я понимал, что для этого были веские политические причины, связанные с гонением на старую китайскую культуру и традиции, но он, видимо, не желал распространяться на такую тему. Развитие событий превратило затем мои догадки в уверенность.

Однажды, вернувшись с урока, я заговорил с Ма о странном положении иностранца в их стране. Уже месяц, как я здесь, но со мной никто, кроме него самого да официальных лиц, не разговаривает. Обидно быть в Китае и не общаться с китайцами, не слышать живой китайской речи, не говорить самому.

— Вполне достаточно, что с тобой разговариваю я и товарищ Го, — отвечал он мне. — Ты можешь еще слушать радио...

— А почему не разрешается разговаривать с иностранцами? — спросил я.

— Мы, китайцы, очень вежливые люди. Просто тебе не хотят докучать разговорами... — уклонился он от прямого ответа.

— Это недоразумение! — отстаивал я от него. — Ведь я приехал практиковаться в разговорной речи тоже. Тебя и товарища Го для этого мне недостаточно. Может быть, мне можно слушать лекции?

— Твой уровень знаний слишком высок, чтобы слушать лекции вместе со студентами в университете, — заявил он, в лучшем виде соединяя отказ и комплимент.

— А я и не говорю о знаниях, — продолжал настаивать я. — Мне важно слышать, как говорит лектор по-китайски. Вот что мне действительно необходимо...

— Мы обсудим этот вопрос.

В марте меня наконец допустили на лекции по истории литературы, которые читались для китайских студентов пятого курса. Особенно интересны были лекции по литературе эпохи Юань, когда Китаем правили завоеватели, потомки Чингисхана. Преподаватели обычно отдавали дань идеям Мао Цзэ-дуна, вульгарному социологизму и национализму, но, как потом, во время «культурной революции», мне стало понятно, дань была тогда не слишком-то обременительной. Куда важ-

нее было то, что на этих лекциях воспитывалось уважение к талантам прошлого, зачитывались и разъяснялись великолепные отрывки, слушатели знакомились с настоящей литературой.

Аудитория реагировала живо, была внимательной и непосредственной. Даже малейшее подозрение относительно связи лекции с действительностью КНР, с современным положением литературы невероятно будоражило студентов.

Как-то преподаватель Ли, рассказывая о китайской литературе в период монгольского владычества, безапелляционно заявил:

— Тогда обстановка в стране была сложной, политическая и классовая борьба была сложной, литература была тоже сложной и... богатой!

Последнее слово, вырвавшееся у лектора после многозначительной паузы, пробежало по слушателям, как электрический заряд. Улыбки заговорщической причастности появились на многих лицах, студенты зашептались. Мне кажется, что никто из них не предполагал тогда, что до «культурной революции» осталось не более двух месяцев.

Из библиотеки мне начали приносить книги и научные журналы. Толстые, переплетенные комплекты были пыльными, пожелтевшие формуляры на них сохранили первоначальную незаполненность. Вручая мне их, мой фудао неизменно напоминал, что все эти журналы, выходявшие до Освобождения, чрезвычайно «дурные». Теперь я уже убедился, что для меня делалось больше, чем для самих китайцев, — им такие журналы не дали бы ни за что! Но и для меня оставался закрытым, недоступным какой-то фонд. Опыт научил меня заказывать книги списками, так как обычно выполнялся заказ процентов на десять.

Мне также разрешили посещать библиотеку Пекинского университета. Процедура, правда, оказалась все же сложной. Я писал заявление на книгу своему фудао, он советовался с преподавателем Го, потом, получив его подпись, шел в канцелярию, где составлялось особое отношение на бланке, с печатями и подписями. При общей благожелательности на такое дело уходило недели две.

Затем с бумагой и, конечно, в сопровождении фудао я направлялся в библиотеку Пекинского университета. Книги выдавали мне на следующий день. Никаких других книг, кроме упомянутых в отношении, получить было нельзя, так что при всем желании удавалось сделать немного. Когда же ксилограф оказывался наконец на столе, Ма проявлял к нему живейший интерес. Специалист и преподаватель, окончивший аспирантуру по древнему языку, он еще и в глаза не видывал первоисточников. Эти «дурные» книги таким, как он, не выдавались вовсе. Что уж говорить о рядовых студентах и просто гражданах! Памятники старой китайской культуры и после революции были для них священно-недоступными и внушали полумистическое благоговение. Если до Освобождения они веками принадлежали немногим посвященным, так как считались сокровищем, после Освобождения какую-то часть их объявили «дурными» и снова скрыли завесой запрета. Постепенно количество запретного возрастало, казалось, кто-то стремится зачеркнуть вообще все прошлое.

Все пришло одновременно — и лекции, и чтение древних ксилографов, и занятия с профессором Го. Я с трудом урывал часок, чтобы походить по книжным магазинам. У букинистов в эти первые месяцы я скупил сотни книг, и это было счастьем. Когда же изредка удавалось выкроить свободный день, я проводил его у полка со старыми, серо-желтыми изданиями. В магазине на улице Люличан, всегда пустом, в продолговатом холодном зале, освещенном люминесцентными лампами, продавцы грелись у угольных жаровен. Мне приносили стул, и я часами перебирал на полках книги. Новые появлялись редко, и главное было — закупить те, которые я еще застал выставленными. Книги в Китае дороги, в два-три раза дороже советских изданий, и хотя я покупал у букинистов со скидкой, книги «съедали» все мои ограниченные финансы.



Удачное начало работы подняло мое настроение. Приятно было глядеть на растущие ряды книг на этажерке: вскоре пришлось просить, чтобы мне выдали еще одну, и любезный Ван тотчас же притащил ее.

Но удовлетворенность делает человека неосторожным, и как-то вечером, будучи в отличном расположении духа, я спросил Ма:

— Вот уже второй месяц я живу в Китае и мне непонятно — почему наши социалистические страны не могут поладить...

Спокойный и доброжелательный Ма вдруг словно взбесился. Рот его переделнулся, он вскочил и, размахивая кулаками, стал кричать:

— Ваша продажная ревизионистская клика предала революцию и Китай! Советская помощь сплошной обман, фикция! Насквозь фальшивые слова для дураков! Нас не обмануть и не подкупить! Мы не можем ладить с изменниками! У нас никогда не будет с ними ничего общего! Мы живем бедно, но мы делаем революцию, а не продаем ее ради «всеобщего благосостояния».

Я был совершенно ошарашен этим взрывом ненависти. Хотя с демагогией китайской печати нам всем пришлось познакомиться давно, но одно дело — печатная, все терпящая страница, совсем другое — живое слово человека, с которым ты живешь бок о бок. Правда, вся его фразеология была полностью скалькирована с газетных статей того времени. Я отлично понимал, что «предательство революции» и прочие «гррромкие» слова, которыми не уставали сыпать пекинские лидеры, это всего лишь камуфляж. Этот поток клеветы потребовался для того, чтобы никто в Китае не помышлял жить получше. Однако вести такую политику можно было, только нагнетая антисоветскую истерию. Поэтому каждый шаг к урегулированию советско-китайских отношений воспринимался ими как нож острый. Китайская пропаганда усиленно жала на то, будто голод и лишения, которые принес китайскому народу авантюристический курс Мао Цзэ-дуна, вызваны разрывом дружеских отношений по вине Советского Союза. С большой головы на здоровую! Старый, как мир, прием. А то, что все годы СССР оказывал Китаю большую помощь, — об этом ни слова.

Все это я услышал и в гневной речи Ма. Все по писаному, ни одного собственного слова! Истеричный пафос тоже, конечно, был предписан свыше.

Мне было дико и больно слушать такие речи от человека, который успел внушить к себе симпатию. Это действовало, как холодный душ, поставив сразу все на свое место. Любезность и вежливость, столь привлекательные в китайцах, обернулись любезностью врага. Это был первый, хорошо запомнившийся мне урок.

— Я заговорил о дружбе наших стран, не зная, что это будет для тебя оскорбительно, — улучив минуту, когда он переводил дух, спокойно сказал я.

На Ма это действовало отрезвляюще.

— Мы в Китае, — заговорил он, постепенно успокаиваясь, — долгое время ставили Советский Союз в пример своему народу. Теперь, после смерти Сталина, Советский Союз уже не может служить для нас образцом. Наше будущее будет другим. Подлинные революционеры — это мы. Революция вечна!

А ведь при жизни Сталина, подумал я, Мао Цзэ-дун, видимо, далеко не во всем соглашался с его линией. Но теперь шла речь об их собственном положении. Им нужно было удержаться в седле, а в стране нарастал ропот. Поэтому они решили так злоупотребить критикой культа личности Сталина. Репрессии, о которых сообщала печать, и подавление воли народа под выкрики о «вечной революции» — вот что им было нужно.

— Недавно я прочел статью из албанской газеты, — заметил я. — В ней странно ведутся рассуждения о том, кто достоин управлять СССР, а кто нет. Но ведь это — беспардонное вмешательство в наши дела. Вряд ли это может наладить вновь отношения между нами.

Ма снова принялся с жаром излагать установки китайской пропаганды.

Продолжать разговор было бессмысленно. Я сказал, что пора идти завтракать, и вышел из комнаты. По дороге в столовую я размышлял над тем, что произошло сейчас между мной и моим фудая. Как узнать, что он думает на самом деле? Разве может человек вести откровенный разговор, если у него за стеной магнитофон? Нет, конечно. Ведь магнитофон следит в первую очередь за его лояльностью, сообразил я. Мое отношение к их официальной догме им достаточно известно. А раз так, то выкрики моего собеседника, видимо, предназначались прежде всего для его собственного самосохранения. «Рискованная у него работенка, по китайским понятиям!» — в утешение себе подумал я и даже почувствовал незнакомую мне гордость за то, что я такой опасный человек.

После этого случая я стал гораздо осмотрительнее во время своих разговоров, решив не лезть на рожон и не касаться политических тем.

Месяца через полтора после нашего приезда Ма вдруг сообщил мне:

— Вас с товарищем Лидой примет заместитель декана товарищ Лю. Он хочет побеседовать относительно вашей учебы и жизни. Он не мог принять вас раньше потому, что был очень занят.

— Товарищ Лю?.. В какой области он специалист? Какие у него научные труды?

— Он политработник, старый революционер, но хорошо разбирается в культуре и науке.

Я вспомнил знакомого мне по Москве политработника Чэня, с которым я познакомился в 1959 году. После Освобождения его поставили у руководства китайской кинематографией. Он быстро «окультурился», действительно хорошо разбирался в искусстве, написал уйму статей. Для меня он был примером человека, быстро развившегося и духовно выросшего на совершенно новой для него работе. Маленький, редковолосый Чэнь страдал гипертонией от переутомления и целыми днями не выходил из номера московской гостиницы. Я приводил к нему врачей и подолгу беседовал. В общении Чэнь был прост и доступен.

Лю принял нас в назначенное время, что само по себе хороший знак. В накуренной комнате, оставленной, как обычная аудитория, нас с Лидой встретил тронутый сединой пожилой человек среднего роста, ширококопытный и по-крестьянски плотный, с сильными, резкими движениями и редкими, крупными, желтоватыми зубами. Усадив нас в кресла, сам он, видно по привычке, продолжал ходить из угла в угол. Позволить себе такое в присутствии приглашенных, да еще иностранцев, в цивилизованном и уважающем приличия Китае мог только человек, чувствующий себя полновластным хозяином. Меня, уже приученного к обычаям страны, его манера держать себя удивила.

Каждую такую официальную беседу я пытался использовать с максимальной выгодой для себя и выдвигал разного рода предложения, задавал различного рода вопросы. Я расспрашивал Лю о его собственной научной работе. Он же, показывая свою эрудицию, старался говорить посложнее. Но литературы этот руководитель филологического факультета совершенно не знал. Его знания, например романа «Сон в красном тереме», не выходили дальше названий пьес, которые он смотрел в театре. Чтобы расположить его, я заговорил с ним как с коллегой.

— Вы понимаете, — говорил я, — что ученый не может работать без оригиналов. Ведь он исследователь.

— Но зачем исследовать «дурное»? — возражал он, улыбаясь, словно выказывая тем самым понимание. — Мао Цзэ-дун нас учит...

Следовала цитата.

— Здесь, в Китае, я не начинаю, а продолжаю начатую работу. В 1958 году вы сами издали книги, по которым я работаю. С тех пор обстановка в Китае изменилась...

— Да, обстановка изменилась! — с радостью согласился он, потому что ни в чем не соглашаться было все же неудобно.

— В Китае быстро меняется обстановка, — продолжал я, — а работа еще не закончена. Выбирая материалы, я не делю их на хорошие и дурные, а смотрю те, которых нет в СССР...

Лю в конце концов все же согласился обсудить мою просьбу. Труднее было с Лидой. Она просила заняться с нею современным разговорным языком, и Лю отказал ей, сославшись на то, что у них нет такого специалиста. Это был только предлог, так как с Бак Нинем занимались.

— Любой китаец может с ней разговаривать. Например, товарищ Ма, — сказал я, указывая на своего фудао. — Нам действительно не хватает разговорной практики.

Вместо прямого ответа Лю вдруг заговорил на модную тему: «не бояться трудностей, не страшиться смерти», — которая, как припев или заклинание, повторялась в китайских газетах все весенние месяцы. Меня раздражал этот словесный героизм, вечно требующий подхлестывания однообразными лозунгами-заклинаниями. Неужели бахвальское, механическое талдычение может побудить людей к самопожертвованию?

Я объяснил ему, что советские люди трудностей не боятся.

— Смешно призывать к прилежанию тех, кто выучил тысячи китайских иероглифов. Вам, китайцам, тоже не просто их изучить, а нам, иностранцам, еще труднее. Мы выбрали себе нелегкую профессию и работать умеем!

При всей справедливости сказанного, меня охватило неприятное чувство — как-то непривычно было во всеуслышание хвалиться — получалось, что Лю заставил-таки меня заговорить чуждым мне языком.

Пожелав нам успехов, он сказал:

— Вы хорошо работаете, но надо и уметь отдыхать. Мао Цзэ-дун учит нас не только работать, но и отдыхать, заниматься спортом...

Под цитаты из сочинений Мао мы с Лидой покинули затянутый табачным дымом кабинет.

Лида, так и не договорившись о занятиях, вскоре выхлопотала себе перевод в Институт языка, чтобы заниматься по твердой студенческой программе.

В Китае даже самые обычные вещи становились для нас праздничным событием. Раз в неделю, по четвергам, съезжаясь в наше посольство, мы дружно расхватывали советские газеты. Они были не слишком-то свежие, но читать их было такой радостью. Старые фильмы, прокручиваемые в клубе посольства, мы смотрели с не меньшим удовольствием, даже если уже видели их прежде в Москве.

Раз в неделю я навещался к своим спутникам по купе, на самую западную окраину Пекина, в Институт языка. Там учились только иностранцы, и вход туда был свободнее, чем куда-либо еще. Виктор и Абдулсатар всегда были рады мне.

Как-то апрельским вечером я провожал из Института языка своего приятеля Ленью. Вынырнув из узкого, темного хутона, мы влезли в длинный шкодовский автобус. Встречи, которые не могли быть частыми, оживляли нас, особенно меня, потому что после перевода Лиды в Институт языка я остался в единственном числе в Педагогическом университете. Всю дорогу мы болтали без умолку и, сойдя на перекрестке, продолжали оживленный разговор. Сошедшие вместе с нами пассажиры растаяли в темноте. Вдруг из нее вынырнула и остановилась перед нами какая-то фигура. Это был еще совсем молодой человек, но какой-то бледный и тщедушный. С трудом подбирая слова, он спросил по-русски:

— Вы советские?..

Мы ответили ему по-китайски, довольные, что наконец хоть кто-то из многомиллионного населения китайской столицы решился заговорить с нами. Он назвался Ли. Было уже поздно, и мы условились с Ли встретиться, чтобы более обстоятельно поговорить обо всем, что интересует нас и его.

Встретились мы ровно через неделю и долго гуляли. Много раз стирная, выцветшая одежда выдавала бедность нашего нового знакомого. Мы бродили по улицам, не вызывая подозрений, — в глазах прохожих он сходил за обычного в Китае сопровождающего при иностранце. Он действительно и был в данном случае сопровождающим, но инструкцией не предусмотренным.

Гуляя с ним по пекинским улицам, я понял, насколько хорошо по китайским стандартам одеваются официальные лица. Их скромная одежда всегда новая, они освобождены от распределения тканей по талонам и поэтому выглядят куда лучше «человека улицы». История молодого человека с заурядной фамилией Ли дала мне для познания китайской жизни куда больше, чем все виденное «со стороны», с моей, иностранной, стороны.

Ли два года учился в Народном университете, пока под напором юношеской искренности не проговорился в коридоре о своем недовольстве антисоветским курсом Мао. Последовало официальное осуждение, отчисление с факультета, кампания по перевоспитанию. Может быть, поэтому он заболел ранней гипертонией, и зрение его сильно ухудшилось. Теперь, после больницы, его уделом оставался только физический труд, — он был направлен на перевоспитание — строить кирпичные хлевы и склады. Приходилось колесить через весь город с запада на восток, да еще потом ехать на пригородном поезде. Это чересчур утомительно и накладно. Поэтому он жил всю неделю в рабочем общежитии, в окружении людей, принимавших его за опасного государственного преступника, а в субботу поздним вечером приезжал к матери на воскресенье. За месяц тяжелого труда он получал всего двадцать два юаня.

Этот больной интеллигент чувствовал себя на работе изгоем. Он отдыхал только дома, крутя рычажки радиоприемника, слушая на трех языках Москву и все, что ни попадется заграничного.

— У нас сейчас в разгаре движение за «четыре чистки»<sup>1</sup> — все политические, конечно, — рассказывал он. — Два раза в неделю собрания после работы. Тянутся они бесконечно, потому что каждый хочет засвидетельствовать свою чистоту. Выступать безопаснее. Но я отмалчиваюсь, выступаю только тогда, когда партийный секретарь обращает на меня внимание. Я устал и одиноко... У нас, китайских интеллигентов, культ личности Мао Цзэ-дуна лежит тяжелым камнем на сердце. Тоскливо и горько...

Он часто повторял эти печальные слова.

— Того, что происходит у нас, прежде и вообразить невозможно было... Культ — вот что давит и губит Китай сегодня. Ради культа забывают и о марксизме, и о ленинизме, и о народе. У честных и думающих людей тяжело на сердце.

Ли говорил о страшной духовной опустошенности. Для души, чтобы не одичать окончательно, он занялся изучением педагогических воззрений Макаренко.

— Макаренко тоже перевоспитывал людей, но он поднимал их! Воров и преступников он готовил к труду, они становились рабочими и инженерами. А у нас? Вы знаете, что такое китайское воспитание? Или перевоспитание? Нет, у нас не поднимают дух человека! Главное — в том, чтобы подавить его, превратить в покорного, бессловесного. У нас не народ поднимают до интеллигенции — о, нет! — у нас дают ту интеллигенцию, которая была, загоняют ее вниз.

— Не слишком ли пессимистичны вы? — осторожно спросил я. — Все же в КНР тысячи людей получают образование.

— Их нельзя назвать интеллигенцией. Они не умеют мыслить, — сказал Ли. — Пользы от них мало, но раздавить мыслящих они могут, и сделают это. Если

<sup>1</sup> Чтобы читателю было понятно, что такое «четыре чистки», поясню: это движение, которое развернулось в КНР в период открытой полемики с КПСС за «чистоту» нового курса китайского руководства. Имелось в виду всеобщее «очищение» от политических, идеологических, экономических «грехов» и от неугодных кадров. Хотя в ходе движения смешались с постов взяточники, лихоимцы, карьеристы, главной целью движения была расправа с людьми, симпатизирующими Советскому Союзу.

человек стал грамотным, получил какие-то знания, то от этого он еще не становится интеллигентом. Чтобы стать им, нужно еще научиться думать, а это не просто... У нас каждый, окончивший школу, считается интеллигентом. Но они не умеют и, главное, не хотят думать. Зачем им это? На собрании каждый повторяет одни и те же фразы и дрожит, как бы не оговориться. Ох, как это отупляет! А повторение до одури при изучении сочинений Мао! Мы учим небольшую статью пять, десять раз. Каждое предложение надо повторять и повторять. Так в старину учили конфуцианские каноны сюцаи<sup>1</sup>,

— Ну, а рабочие? Что думают те, с кем вы работаете?

— Многие из них обмануты и верят Мао Цзэ-дуну, — сказал Ли. — Для них все осужденные — либо контрреволюционеры, либо изменники. Меня они считают полоумным... — Как бы отвечая на мой немой вопрос — «почему же?» — он продолжал: — Слишком много хорошего было сделано после Освобождения, особенно до пятидесяти седьмого года. В пятьдесят восьмом году уже стало нехорошо, а затем дошло и до несчастья. Но вы ведь знаете, что вину за последние два года наши руководители возложили на Советский Союз!

— Это неправда, — горячо сказал я. — СССР помогал индустриализации Китая, нередко даже в ущерб себе...

— Я-то знаю, но другие не знают. Я знаю, что это клевета. Но для чего? К чему изолировать Китай? Что кроется за этим? Мне многое непонятно, и когда я задумываюсь, то просто пугаюсь.

Некоторое время мы шли молча. Вдруг он спросил с неподдельным волнением:

— Как вы считаете — нападут американские империалисты на Китай?

— Едва ли, — сказал я. — Ведь нынешняя китайская политика им на руку. Если б я верил в близкую опасность войны, я бы сюда не приехал.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Мне просто хотелось посоветоваться, а не с кем. Наши не хотят помогать Вьетнаму вместе с СССР, они хотят использовать победу Вьетнама против СССР. А поскольку вы ему помогаете, это им не удастся. Вот почему не будет единых действий. Я верю в единые действия и искренность того, что говорит радио Москвы, — добавил он, поймав мой взгляд. — Здесь у нас готовы опорочить любое предложение, если оно исходит от СССР.

— Да, это большое несчастье, что наши страны разъединены, — сказал я. — Мне кажется, что если б не было раскола, то и американцы не посмели бы начать агрессию во Вьетнаме!

— Может быть, — устало согласился он.

И снова заговорил о культе личности, об экономических ошибках. Он рассказывал, как близко к сердцу принимали люди бедствия своей страны, как его отец, экономист, не перенес трагических ошибок шестидесятых годов и умер с горя, хотя и не подвергался преследованиям.

— У Советского Союза тоже были ошибки! — вдруг с мрачной решимостью сказал он. — Но все равно нельзя было порывать с СССР!

Временами Ли вспоминал о своей роли гида и начинал рассказывать о Пекине. Правда, знал он древность не слишком хорошо.

Мы встречались с ним еще раза два.

Приближались майские праздники.

— Мы увидимся теперь только после праздников, ровно через две недели, — сказал, прощаясь, Ли.

Но я его так и не увидел — он не пришел.

Может, он не захотел рисковать? Или он сказал мне все, что хотел? Или же его заметили, и он уже никуда не мог приходить?

<sup>1</sup> В феодальном Китае, чтобы получить должность императорского чиновника, надо было выдержать экзамен по конфуцианским священным книгам. Сюцаем называли того, кто прошел первый тур экзаменов на должность, но еще не получил ее. Многие так всю жизнь и оставались сюцаями.

\* \* \*

Теперь я стал чаще ходить в кино. Правда, не столько ради развлечения, сколько ради навыка воспринимать на слух беглую речь.

Китайский зритель так же чуток к прекрасному, как и любой другой. Когда в Пекине шел фильм «Февраль — ранняя весна», фильм, как мне говорили, по-настоящему художественный, романтический и человечный, — у кинотеатров стояли толпы. Я не видел его, только слышал о нем. Фильм этот был осужден и запрещен.

Но как бы ни относиться к китайскому кино, оно — единственная реальность для сотен миллионов людей. Ничего другого они не видят, иностранных фильмов в КНР не показывают.

Вот, например, виденный мною «хороший», то есть отвечающий требованиям пропаганды, фильм «Подземная война». Знакомые, по-настоящему хорошие актеры, уже много лет подряд снимающиеся в военно-приключенческих фильмах. Знакомый сюжет — события времен антияпонской войны, знакомые персонажи. Его вполне можно было бы назвать комедией, если б он не преследовал вполне серьезных целей. Война, изображенная в фильме, была игрушечной, веселой, задорной. Враги — японские солдаты — падают, как оловянные солдатки. Чем только их не убивали — и кольями, и дубинами, и копьями, и камнями. Их подрывали на минах, затаскивали в траншеи, заманивали в ямы, протыкали, резали, кололи и пристреливали, в то время как трясущиеся фигурки в японских мундирах отчаянно визжали, верещали, скакали, испускали дух. Партизанская война в фильме преподносилась, как всем доступная игра, где с помощью подземных ходов герои появляются отовсюду, возникают из лесовых галерей чистенькие, без пылиночки, как и полагается в кинобоевике. Народная война в подземных галереях — веселая и победоносная штука! Такова идея фильма, «оптимистически» трактующего народную войну по Мао Цзэ-дуну, цитаты из которого подолгу занимают весь экран.

Бросалась в глаза утрата человечности и гуманности. Их место — для большей достоверности событий, что ли? — заняло изображение льющейся крови, предсмертных содроганий, агоний. Вот японца прокалывают насквозь копьем, и он корчится в муках, глаза его буквально лезут на лоб, и он испускает дух — все это крупным планом, к вящему восторгу юных зрителей... А вот детишки добивают раненых врагов: стоит контуженному японцу подняться голою, как к нему устремляется юный герой и — бац по башке!.. Другой подняться-то не может, он только охнул, а уж детишки спешат прикончить его... Хотя и веселая это комедия, но для нее нужны крепкие нервы и привычка к жестокости как обыденному поведению.

В зале, когда я смотрел этот фильм, было много молодежи, и у нее он вызывал ликование и восторг. Хуже было тем, кто постарше и сам видел войну с японцами. Что и говорить, война была нешуточной!

— Вы участвовали в освободительной войне? — спросил я, направляясь к выходу, у пожилого китайца.

— Да, — он внимательно посмотрел на меня, а потом на моего фудая Ма.

— Похожа она на ту, что изображена в фильме?

— Не слишком, — сказал он и тут же спохватился: — В тех местах, где воевал я, она была несколько иной!

Ма тут же не преминул сформулировать главную идею фильма:

— Это настоящий фильм — он учит, что войны не надо бояться. Народная война непобедима. Это только ревизионисты изображают ужасы войны. Наш фильм показывает, что народу война не страшна.

Обычно я смотрел китайские фильмы по телевизору на своем этаже вместе со служащими канцелярии, реже в городских кинотеатрах и регулярно по субботам вместе с китайскими студентами. Студенческие киносеансы устраивались в «северной столовой», которая после ужина превращалась в кинозал. Билет туда

стоил вполтину дешевле, чем в городе, а вьетнамцев и меня как гостей пускали бесплатно. Организовывал сеансы местком, дежурных присылал студенческий союз. Все зрители приходили со своими стульями. Китайцы обычно тащили приземистые табуретки, а мы — иностранцы — волокли увесистые стулья со спинками. Ма научил меня надевать такой стул на плечо, чтобы легче было его нести.

Студенты встречали нас гостеприимно, в центре зала сохраняли свободное место, где мы и усаживались. Правда, вьетнамцы ходили не слишком часто, и когда выключали свет, китайские студенты дружно поднимались и занимали пустующее место, гремя своими табуретками. Ма, разумеется, всегда был рядом и следил, чтобы никто со мной не разговаривал. Но я сидел у самого края, и в темноте кинозала ко мне иногда подсаживались и приветливо заговаривали. Однажды, когда погас свет, пришедшая на сеанс со своей матерью девушка пересела поближе к экрану и оказалась рядом со мной.

— Вы советский! Вам, должно быть, странно смотреть такие фильмы? — не без наивности воскликнула она.

Мать тут же ее одернула и шепнула:

— Осторожнее, он не один...

Я ответил уклончиво:

— Да, странные фильмы. Такие увидишь только здесь!

Перед началом сеанса студентам обычно сначала показывали диапозитивы с изречениями Мао Цзэ-дуна, не имеющие с фильмом никакой связи. Затем — документальную или научно-популярную ленту. Среди них попадались любопытные: например, о всекитайском соревновании работников сферы обслуживания, где повара с невообразимой скоростью крошили овощи и лепили пельмени, мясники — разделявали туши, продавцы — обрабатывали товар. Или фильм об электрификации деревни с забавными несчастными случаями для остротки неосторожным.

Непосредственно перед фильмом снова диапозитив с изречениями Мао Цзэ-дуна на красном фоне, но уже поближе к теме фильма. Здесь я видел «Красный короб» — фильм, который вышел в начале 1966 года и сумел удержаться в дни «культурной революции», потому что понравился хунвэйбинам.

Герой фильма на манер некрасовского коробейника берет на спину короб с ширпотребом и провизией — сахаром, например, — и отправляется в горы торговать вразнос. В фильме мало кадров, где бы в той или иной форме не упоминался председатель Мао.

Герой фильма непрерывно вспоминает цитаты из сочинений Мао Цзэ-дуна, он учит наизусть целые его труды и сборники цитат; все его хорошие поступки по фильму «вытекают» из идей Мао Цзэ-дуна, как бы мотивирующих всю жизнь героя. В кадр очень часто включается портрет Мао Цзэ-дуна или бюст Мао Цзэ-дуна. Разносчик говорит, что его привели сюда «идеи председателя Мао», крестьяне благодарят «счастливую эпоху председателя Мао» и т. д. Молодые продавщицы изображены как люди, отказавшиеся от всякой личной жизни, как образцовые люди, «выросшие в эпоху Мао Цзэ-дуна». Молодежь лучше и вернее старшего и среднего поколений — эта идея фильма, несомненно, одна из причин его успеха у хунвэйбинов.

Это, так сказать, фильмы «хорошие». Но видел я и фильмы «плохие».

Печать строго осудила кинофильм «Красное солнце». В этом фильме о войне за Освобождение противник был показан сражающимся всерьез

Перед тем как показать этот фильм, иностранцам была прочитана целая лекция о нем. Нас остановили на аллее, пригласили сесть на свои стулья, которые каждый нес, и сотрудник канцелярии Сюй в присутствии по меньшей мере троих сослуживцев разъяснил вредность фильма по газете. Речь его была вполне стереотипной:

— Китайский народ добился освобождения благодаря гениальным идеям председателя Мао. В этом фильме вы не увидите портрета нашего любимого вождя, не услышите ни одного его слова. Это злостное извращение и вражеская клевета на китайскую революцию и Народно-освободительную армию.

В кинофильме действительно — и нельзя не поразиться мужеству его создателей — нет ни бюста, ни фото, ни портрета Мао Цзэ-дуна, никто из действующих лиц ни разу не цитирует его изречения...

«Красное солнце» меня пригласили посмотреть в нашем университете, и пригласили неспроста, а потому, что я ходил до этого в «Бэйда», то есть Пекинский университет, смотреть «Сестры по сцене», тоже осужденный фильм. Вообще весной 1966 года у всех было впечатление, что нам показывают только осужденные фильмы, а других просто не бывает.

В «Бэйда» просмотр состоялся в студенческой столовой — громадном, похожем на ангар помещении с двумя этажами окон.

Перед кинофильмом был концерт студенческой самодеятельности — сперва хоровое исполнение песни о Мао Цзэ-дуне, затем массовая хореографическая сцена, изображающая войну вьетнамцев с янки, и в апофеозе — танцевальная группа вместе с хором снова славилась вождя. Постановочно это было сделано просто здорово, вполне современно по пластическому решению. Юноши и девушки — все на подбор, все изумительно стройные и красивые, в плотно облегающих спортивных костюмах. Под звуки гимна вождю танцующие обращались к гигантскому золотому профилю Мао Цзэ-дуна, занимавшему весь задник, так что по бокам оставалось место лишь для красных знамен. Профиль на красном фоне излучал золотое сияние, и к этому человеку-солнцу танцующие простирали руки, падали на колени, живописно группируясь и пластично меняя позы. Хор доходил до неистового крещендо, приводя всех в экстаз, наэлектризованность на сцене достигала невысказанного нагнетания. Мне стало душно в возбужденном всеобщем поклонении зале. Это было что-то среднее языческому культовому исступлению, не хватало единственно человеческих жертвоприношений! Казалось, что и поклонение солнцу, и культ грома и огня, и самозабвение перед волей неба, и шаманское волхование — все впитано этим экстатическим искусством, колоритным и по своему выразительным благодаря обаянию и силе молодости.

И вот после такой самодеятельности нам показали «Сестры по сцене». Этот фильм можно по большому счету оценить как замечательный успех китайской кинематографии. Пока он еще шел, попасть на него в Пекине было нелегко. Зрители, пользуясь темнотой, нередко аплодировали вопреки газетной пропагандистской кампании. Но среди политически подготовленных людей, таких, как студенты Пекинского университета, реакция на фильм была странной, я бы даже сказал страшной.

В фильме есть эпизод, когда старая актриса, выброшенная на улицу за ненужность, кончает жизнь самоубийством. Негодующие артисты винят за это дельца-антрепренера, и одна из актрис восклицает: «Как это бесчеловечно!» Услышав эти слова, тысячная аудитория китайских студентов расхохоталась! Такое нелегко понять. Но ведь уже шесть лет КПК насаждает среди молодежи ненависть к таким понятиям, как гуманизм, человечность. Поэтому над бесчеловечным отношением к старой женщине китайские студенты способны рассмеяться: гуманизм для них — просто глупость, которую давно развеяли «идеи председателя Мао».

Создатели кинофильма совершили «ужасное преступление» — в нем выведен образ честного, революционно мыслящего и деятельного человека, который ни разу даже не вспомнил о «великом вожде» Мао Цзэ-дуне! В КНР такие преступления не остаются безнаказанными. Шанхайские подпольщики, изображенные в фильме, тоже, оказывается, не «подлинны». «Какие же они коммунисты, если ни разу не вспомнили о вожде?» — восклицают китайские критики и раздражаются потоком обвинений в «клевете», «измене» и прочем.



Ходят ли китайские зрители на «хорошие» фильмы? И как воспринимают их?

Ходят — им больше нечего смотреть, а они страстные любители зрелищ, для них всякое зрелище — праздник. Самый «театральный» на свете народ вынужден питаться ныне суррогатом искусства. Зрительные залы в Китае всегда переполнены — китайца не могут отвадить даже фальшивые, антихудожественные, пропитанные культом Мао фильмы и пьесы. К тому же стали системой «культурные походы» в театры и кино, а как отказаться от этого? Ведь могут припомнить при случае!

А вот как воспринимают — ответить сложнее. Внешне — с экзальтацией, а вот как в душе? Чужая-то душа — потемки.

\* \* \*

Настали майские праздники. Канцелярия хлопотала, чем бы нас занять. Гулянье в парке Ихэюань прошло под дождем. Студенческая самодеятельность, которой нас так щедро угощали, самоотверженно выступала в грязи — так раскисла от многодневных дождей затвердевшая после полугодовой засухи пекинская почва. Правда, на следующий день после того, как я купил себе плащ, дожди кончились.

Нас повезли на Великую китайскую стену и знаменитое Шисаньлинское водохранилище. День был чудесный, солнечный. Стена, причудливо извивающаяся по горам, под ясным синим небом казалась нечеловеческим творением. В прозрачном воздухе толпились четко очерченные горные вершины, но песчаная дымка низким пологом застилала долины.

Водоохранилище, которое мы церемонно объехали, иссохло. Не помогло даже то, что сам Мао Цзэ-дун символически брался за лопату на этой народной стройке, где трудились десятки тысяч людей, — вода иссякла, и жужжащий движок перекачивал мутную жижу через грандиозную, величественную плотину — символ напрасного труда. Мы прогуливались с вьетнамцами по паркету, и все сопровождавшие нас китайские сотрудники нервничали, когда я спрашивал, куда же ушла вода. Особенно они взволновались, когда я заявил:

— Да, энтузиазм строителей был велик, но, очевидно, не нашлось толковых специалистов, чтобы сделать правильные расчеты.

После Шисаньлинского водохранилища мы отправились осматривать великолепный подземный дворец-гробницу минского императора, недавно открытый для публичного обозрения. Экскурсоводы начинали свой рассказ с извинений, что вся эта роскошь выставлена напоказ, — она, мол, должна служить воспитанию «классовой ненависти». Но, кроме любопытства к памятнику прошлого, ни у кого я не заметил иных чувств.

На обратном пути повеселевшие после обеда вьетнамцы запели. Это были песни, которые они разучивали на уроках китайского языка, — про Мао Цзэ-дуна, про «алеющий Восток», про единство и солдат-героев.

— А сейчас мы споем для тебя! — крикнул мне вдруг запевала.

И вьетнамские ребята затянули наши советские песни. «Москва моя» сменялась «Катюшей», потом все хором пели «Подмосковные вечера», а лучший их солист — песню космонавтов и «Я люблю тебя, жизнь». Под конец они еще спели «Широка страна моя родная», причем первый куплет — по-русски.

Сопровождавшие нас китайцы совершенно растерялись. Они переглядывались, перешептывались, ерзали, но наконец, видимо, приняли решение: не вмешиваться! Они сидели с отсутствующим видом, показывая, как им тягостно и неприятно слушать подобные песни и как нетактично петь такое в их присутствии. И все же, когда раздались русские слова песни, сидевший рядом со мной молодой преподаватель-китаец доверительно шепнул мне по-русски:

— А я тоже понимаю. Я учился раньше русскому!

Я вздрогнул от неожиданности — ведь до этого мы все время говорили только по-китайски. Я взглянул на него и увидел, что он взволнован. Хотя разговор наш на этом прервался. Я был рад, что мой сосед в душе остался по-прежнему дружеским.

Автобус ускорил ход. Все заметно устали. Смолкло пение. Как-то неприметно передвигаясь, меня со всех сторон обсели китайцы, отделив от вьетнамцев. Я не реагировал, утомление взяло свое. Сквозь дремоту я наблюдал, как сотрудники канцелярии и преподаватели пытались развлечься.

— Давайте устроим шуточное собрание, — предложил Ма.

Кто-то посоветовал обсудить вопрос: кому должно принадлежать более важное место в жизни — мужчинам или женщинам?

Не помню, что говорил в защиту мужчин первый выступавший, но когда нашелся молодой человек, отстаивавший первенство женщин, все оживились. Он аргументировал свою точку зрения так:

— Девушки усваивают сочинения председателя Мао лучше, быстрее и прочнее, чем парни. Им должно принадлежать первенство!

— В самом деле! Точно! Действительно! — заговорили все.

Ма, непринужденно улыбаясь, тоже согласился с ним и пояснил:

— Это потому, что у девушек мысли быстрее настраиваются на правильный путь. Они не разбрасываются, а упорно идут вперед, не сворачивают в сторону.

— Верно, верно, парни часто не идут прямой дорогой, блуждают, у них меньше устоявшихся идей, — заговорил сидевший рядом со мной китаец с изрытым оспой лицом.

В начале мая 1966 года китайцы еще были способны на дерзость и решались шутить с «идеями председателя Мао»...

В плане праздничных мероприятий, предложенных канцелярией, два мне пришлось по душе: посещение курсового вечера китайских студентов, как раз того потока, где я слушал лекции, и майский фейерверк. Особенно хотелось пойти к студентам. Если не удастся поговорить с ними, то следует хоть посмотреть, как они веселятся.

Но канцелярия отменила собственное приглашение. Причиной было политическое покушение в магазине для иностранцев. Мой фудао Ма, выслушав на специальном семинаре информацию об этой истории, так обеспокоился, что даже потребовал для меня усиления охраны. Ко мне приставили заместителя заведующей канцелярией товарища Вана — самого рослого и сильного из всех сотрудников канцелярии (не надо путать его со скромным завхозом — фамилия Ван широко распространена в Китае).

Покушение в магазине всполошило всю иностранную колонию в Пекине. Первым рассказал мне о нем один молодой дипломат из ГДР. Он учился в Москве, а потом приехал совершенствоваться в языке в Пекин. Для немца он превосходно говорил по-русски. Пострадавшей при покушении оказалась Люся Малова, жена сотрудника посольства ГДР, поэтому он, близко знакомый с этой семьей, узнал раньше меня о происшествии.

Дело было так. Неизвестный китаец был в магазине, куда обычно китайцы не вхожи. Он подошел к светловолосой женщине и рубанул сзади ножом-секачом, метя в основание затылка. Жертва — жена немецкого дипломата Люся Малова, говорившая по-русски. Она ждала ребенка. Какое-то шестое чувство подсказало ей об опасности. В момент удара она обернулась и тем спасла себе жизнь. Удар секача рассек ей лицо до кости. Она упала, и преступник решил добить ее ногами. К счастью, удар по животу ему не удался. Продавцы и служащие магазина равнодушно взирали на происходящее. На помощь бросился не «герой эпохи Мао Цзэ-дуна», которого неустанно воспитывают в духе маоцзэдуновской заповеди «Не бояться трудностей, не бояться смерти», а малиец, член правительственной делегации. Безоружный негр принял удары на себя и тем спас беремен-

ную женщину от верной гибели, но сам был поранен. Когда он рухнул под ударами, покушавшийся беспрепятственно покинул магазин. Никто не остановил его и снаружи. Задержан он был значительно позже.

Я разговорился с Ма относительно этой истории.

— Это первый случай нападения на иностранных друзей в Пекине после Освобождения, — сказал Ма. — Мы в этом повинны потому, что забыли, что такое возможно. Потому все растерялись. Но мы извлечем из этого случая хороший урок и не допустим повторений.

И Ма тут же принялся читать мне лекцию об обострении классовой борьбы при социализме. Я сказал в ответ:

— Дело вовсе не в этом. Мне кажется, что покушение в магазине вызвано вашей националистической пропагандой.

Ма сперва опешил, а затем пустился убеждать меня в отсутствии какого бы то ни было национализма в КНР. Я доказывал ему, что есть. Мы препирались до полной усталости. Но спор для Ма был делом долга, и оставлять за мной последнее слово ему было запрещено.

Итак, под предлогом «как бы чего не вышло» канцелярия решила не пускать меня на студенческий вечер, но на фейерверк все же отпустила. Сопровождал меня сам заместитель заведующей канцелярией Ван, потому что мне выпала честь смотреть фейерверк с трибун центральной площади Тяньаньмэнь. Ма был допущен только на площадь.

Мы ехали в специальном небольшом автобусе, старом и дребезжащем, но зато просторном. Кроме нас с Ваном, ехал один вьетнамец — представитель чуть ли не ста обучающихся вьетнамских студентов, несколько преподавателей и административных работников — всего восемь человек.

Поездка была долгой, потому что наш автобус шнырял по извилистым переулкам, объезжая центральные улицы, где происходили народные гулянья. Все курили и весело болтали, преподаватели держались со мной очень любезно. Все были в хорошем настроении. На трибуне перед входом нас разделили: иностранные гости и китайские приглашенные занимали разные трибуны, со мной пустили только одного Вана.

Приехали мы задолго до начала и поневоле разговорились.

Ван, чувствуя себя хозяином и следуя правилам хорошего тона, традиционной китайской вежливости, развлекал меня разговором.

Сначала мы говорили о политике, то есть о Вьетнаме. Ван вежливо и настойчиво внушал мне, что остановить агрессию может лишь мировая война, поэтому не нужно посылать Вьетнаму военные материалы — эта помощь, видите ли, «недостойная», а надо обострить берлинский вопрос или еще что-нибудь, неважно что, и начать мировую войну.

— Империализм боится мировой войны. Его угрозы — дутые угрозы бумажного тигра; чем скорее разразится мировая революционная война, тем скорее погибнет империализм!

— А как вы считаете, будет Китай участвовать в такой войне? — спросил я.

— Китай сделает, что сможет, — последовал не слишком-то определенный ответ.

— Для уничтожения империализма Китай мог бы сделать многое, — возразил я. — Но не хочет и не делает.

— Вы первыми должны начать войну, — заявил Ван, — вот тогда мы вам поверим...

Он перевел разговор, стал расхваливать новый фильм «Подземная война». Как я уже писал, фильм этот непосредственно готовил зрителя к новой «веселой» войне с «бумажными тиграми» — войне, которой прежде всего не надо бояться, и тогда «бумажные тигры» сгорят в ее пламени...

— Значит, вам понравился этот фильм. А вы участвовали в войне? — спро-

сил я Вана. (В Китае не говорят обычно: «Был на фронте». Партизанская война сначала против японцев, а потом против гоминдана шла повсеместно.)

Ван охотно рассказал, что в ранней юности партизанил в Южном Хэбэе, сражаться под землей ему не приходилось, но все же военные годы запомнились на всю жизнь. Он быстро выдвинулся и стал кадровым партийным работником, после Освобождения получил высшее образование в Педагогическом университете, где остался служить в канцелярии. У него, однако, сохранялась военная выправка и здравомыслие военного человека.

— Война, правда, была не совсем такой, как ее изображают в этом фильме, — заметил он осторожно. — Но мы должны готовить молодое поколение к испытаниям, а не запугивать его. Что такое война, узнать можно только в бою.

Ван поинтересовался жизнью в СССР, он ничего о ней не знал и полагал, что у нас голодают.

— В СССР ограничена продажа муки, что же едят люди? — спрашивал он.

Этот вопрос был неспроста. Дело в том, что китайцы хлеба едят мало, народ совсем его не ест, а для пампушек-мантоу покупает муку по талонам. Если муки в продаже нет, то, значит, и есть нечего. Я объяснил, что в СССР все едят не паровые пампушки, а печеный хлеб, продажу которого теперь не регламентируют, а ограничение продажи муки совершенно не затрагивает снабжения хлебом, — просто надо, чтобы мука не шла на иные цели, кроме выпечки хлеба. Ван слушал не только с интересом, но и с явным недоверием. Я спросил его, сколько примерно зерна приходится на душу населения в КНР?

— Это государственная тайна, — ответил он.

Как многие северяне, он, в общем-то, держался лояльно, с ним все же можно было поговорить.

Нашу беседу прервал фейерверк. Великолепный, сказочный. С каждой вспышкой ракет в пекинском небе возникали все новые и новые фантастические композиции. Это была ошеломляющая симфония цвета, света, огненных линий, фигур. Описать китайский фейерверк словами невозможно, его надо видеть. Сотни тысяч глаз молодых китайцев, собравшихся на площади, жадно впитывали в себя буйную красоту праздника огня и света.

Последним развлечением майских празднеств была поездка в планетарий. Я в детстве увлекался астрономией, частенько бывал в Московском планетарии, да и взрослым слушал там лекции о галактиках и метагалактиках, новейших астрономических открытиях. Поэтому отправился я туда охотно.

Пекинский планетарий по оборудованию не был совершенным, но зато зритель был благодарным. Помещение заполнили вьетнамцы-первокурсники, вероятно не видывавшие ничего подобного. Сначала всех провели через выставочные залы. В них на макетах и диаграммах были Платон, Коперник и Ньютон, потом завернулись спутники и космические корабли. Но никакого упоминания о СССР не было, хотя приборам и астрономам Китая уделялось достаточно места. Не удержавшись, я спросил экскурсовода:

— Чей это космический корабль, советский или американский?

— Мы объясняем только принципиальную сторону вопроса, не затрагивая политики.

— Ваш рисунок не похож на советские корабли, это, вероятно, американский корабль, — съязвил я.

— Мы не хотели такого сходства, мы объясняем лишь принципы его движения, и только.

— А кто из космонавтов изображен у вас?

— Никто, это принципиальная схема.

— Вы нигде не упоминаете Гагарина?

— Нет.

— Почему?

— Мы разъясняем только принципиальные вопросы.

Тут вмешался мой вездесущий Ма.

— Товарищи из планетария поступают совершенно правильно, — заявил он. — Они разъясняют принципиальные научно-атеистические вопросы, а не льют воду на мельницу американского империализма и современного ревизионизма.

Иначе реагировали вьетнамцы. Слушали и смотрели они с неподдельным любопытством и увлечением. Их любознательность, их умение вникать и схватывать умиляли меня. У них нашлось слово сочувствия.

— Гагарин сделал великое дело, — сказал мне Нгуен Тхи Кань, с которым я затем познакомился поближе. — Мы тебя понимаем. Жаль, что о нем здесь не сказано ничего.

На обратном пути я сказал Ма, что не понимаю, почему исследования космоса замалчиваются в КНР:

— Неужели китайский народ не интересуют открытия в космическом пространстве?

— Интересуют, почему же, интересуют, — с явной неохотой ответил он.

— Почему же тогда все события, связанные с запусками космических кораблей, у вас замалчиваются?

— Мы не желаем раздувать миф о военной мощи империализма.

— Зачем же тогда замалчиваете успехи советских космонавтов?

Он не отвечал.

— Неужели китайцам все равно, кто первым будет на Луне — американец или советский человек?

— Нет, не все равно.

— Может, вы считаете, что незачем тратить деньги на исследования в космосе?

— Нет, не потому. — Ма явно собирался с мыслями. — Космос исследовать необходимо. Когда Китай поднимет свою науку и технику, он тоже начнет исследования космического пространства. Я думаю, это будет скоро. Советские космонавты — представители народа, они мужественные и смелые люди. Но клика современных ревизионистов использует их успехи, чтобы выторговывать у империализма позорный мир и чтобы унижать Китай.

— Какая чепуха! — не удержался я.

Стоит ли говорить, в какое состояние приводили меня такие разговоры. После них скверно спалось.

А в ту ночь особенно.

Город не утихал даже за полночь, был ярко освещен. На перекрестках толпилась молодежь вперемежку с усиленными нарядами полиции. Передали сообщение, что Китай провел очередное испытание атомной бомбы.

До двух часов ночи наш университет сиял огнями праздничной иллюминации, и ворота, задрапированные красной тканью, были распахнуты. Груды смятых бумажных цветов в канавах, обломки транспарантов, веселая музыка громкоговорителей и пение патриотических песен, несущиеся вразнобой из аллей парка, розария и распахнутых окон аудиторий. Китайцы торжествовали, они отмечали праздник своей бомбы.

Утром Ма принес мне экстренный выпуск газет. Красные иероглифы вещали о применении термоядерных материалов, оправдавших свое назначение при испытательном взрыве. Тон сообщения был безудержно хвастлив.

Так закончилась праздничная карусель, выбившая меня из обычной колеи. Когда я снова сел за свой стол, то, прежде чем приняться за работу, по привычке просмотрел не читанные еще праздничные номера газет. Они были наполнены пространными речами, расплзшимися на целые страницы. Передо мной снова встали сцены шумных празднеств: руководители КНР встречают и чествуют «революционных друзей» — албанскую делегацию (кстати, кто-то из ее состава приезжал даже в наш университет, и громкоговорители в тот день ревели повсюду на полную мощность до самого обеда); красочное шествие 2 мая, состоявшееся вместо перво-

майской демонстрации трудящихся в Пекине — о нем напомнили фотографии, — когда албанскую делегацию «встречали массы». Заранее приготовив бумажные цветы, напомаженные, нарумяненные студенты и студентки выезжали в переполненных автобусах плясать «от радости» на улицах для гостей Пекина. Праздничная суэта, шум, выезд, бой барабанов и звон литавр приводили молодежь в радостное возбуждение, а теплое весеннее солнце, казалось, помогало веселью. Мне легко было их понять — не так уж много праздников в китайской жизни.

Мое внимание задержалось на первой речи Чжоу Энь-лая, которую он произнес перед многотысячной толпой молодежи. Тут красный карандаш моего фудао обвел абзац. Это было то место в речи Чжоу Энь-лая, где он говорил, что самая главная задача в Китае — это «великая пролетарская культурная революция».

— То, что сказал премьер Чжоу, — очень важно! Очень! Это самое важное, что сейчас происходит в китайской политической жизни, — воскликнул Ма.

— В СССР культурная революция произошла давным-давно, — заметил я. — Ленин и вся партия боролись тогда за всеобщую грамотность...

— Нет, это не то. Речь идет о том, чего у вас никогда не было и быть не может! — заносчиво сказал Ма.

Хотя канцелярия не выписывала мне китайских газет, нельзя сказать, что, живя уже два месяца здесь, я не читал их. Читать мне давал Ма. Я бегло просматривал новости, но внимательно прочитывал статьи, да и вообще все, что относилось к культуре прошлого. Такие материалы тогда еще появлялись. Особое удовольствие и пользу я получал от воскресных номеров газеты «Гуанмин жибао», которая в этот день давала целую страницу «Литературного наследия». В состав редакции этой страницы входил мой преподаватель профессор Го. Иногда там печатались и его собственные работы. Воскресный выпуск этой газеты был как бы на особом положении, и многочисленные почитатели культуры и литературы имели возможность подписаться только на пятьдесят два воскресных номера в год. Я не преминул воспользоваться этой возможностью и аккуратно собирал ценный для меня материал, публикуемый в этих выпусках. На остальные газеты подписывался Ма, причем делал это каждый месяц. На более долгий срок он не мог подписаться из-за недостатка денег. Вообще, получая зарплату, Ма приобретал на свои хлебные талоны несколько пачек печенья, потом сладости и подписывался на газету. Извиняющимся тоном он признался мне в своей слабости — он любит сладкое. Оказывается, в его родной провинции Чжэцзян, на юге, где растет сахарный тростник, сладкое входит в повседневную пищу, а здесь, на севере, в общем для всех рации он испытывает недостаток в сладком. Поэтому он покупал печенье, хотя трехразовое питание было ему обеспечено.

Газета доставлялась к нам в обеденное время. После обеда Ма любил почитать ее перед сном. По шуршанию скользящего на пол листа легко было узнать, что он уснул. Тогда приходила моя очередь читать, и, стараясь его не тревожить, я просматривал газету. То ли пример Ма был заразителен, то ли китайские газеты с их трескучим жаргоном действовали одинаково, но я тоже привык засыпать днем. Интересных сообщений бывало мало, информации о событиях в мире — почти никакой. Сводка вьетнамского командования — вот единственный ежедневный столбец, который наверняка стоило прочесть.

Огромные бумажные простыни заполнялись проработочными кампанейскими материалами. Проработка в печати велась издавна, но в 1966 году она достигла высокого накала. Обычно такие кампании отличались продуманной постепенностью, выдавая свою тщательную внутреннюю организацию. То полгода ругают чью-то статью, потом еще полгода какую-то пьесу или фильм, затем полгода чествуют какого-нибудь критика или литературоведа и т. д., заботясь о том, чтобы проработки не наезжали одна на другую, взаимно приглушая тем самым свое общественное звучание. Каждая такая кампания должна была находиться в фокусе внимания, и очередность их поэтому свято соблюдалась.

Осенью 1966 года в проработках произошел качественный сдвиг. Они повелись сразу в нескольких областях. Одновременно ругали ученого-историка и драматурга У Ханя, бранили кинофильмы «Февраль — ранняя весна» и «Сестры по сцене», прорабатывали драматургов Ян Хань-шэна, Ся Яня, Тянь Ханя за попытку вспомнить традиции прогрессивной литературы и театра тридцатых годов. Все эти кампании, особенно против У Ханя, приняли истерический характер. Обвинения, брань и угрозы заполняли газетные статьи, но никаких видимых карающих мер не следовало. Правда, как дело обстояло в действительности, для большинства оставалось неизвестным долгие месяцы, поэтому проработки напоминали какую-то странную игру для взрослых.

*(Продолжение следует)*



---

---

В. ШВЕРУБОВИЧ

★

## ЛЮДИ ТЕАТРА

(Из воспоминаний)

*Автор этих воспоминаний — заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Васильевич Шверубович, сын знаменитого русского актера Василия Ивановича Качалова и известной актрисы и режиссера Художественного театра Нины Николаевны Литовцевой. Выросший и воспитавшийся в атмосфере театральных интересов, В. В. Шверубович с 1920 года сам становится профессиональным работником сцены. В течение многих лет он заведует художественно-постановочной частью МХАТа. Ныне В. В. Шверубович — руководитель постановочного факультета Школы-студии МХАТ. Публикуемые воспоминания — часть большой мемуарной работы автора, которая подготавливается к печати издательством «Искусство».*

То ли родители меня считали глупее, чем я был, то ли просто по легкомыслию и молодости они не задумывались о том, что можно и чего нельзя говорить при четырехлетнем ребенке, — не знаю. Но говорили при мне обо всем, и я все понимал. Правда, многое, почти все, я понимал наизусть или во всяком случае очень неправильно. Трудно теперь, спустя полвека с лишним, восстановить детские представления, но некоторые каким-то чудом еще зацепились в памяти и вдруг всплывают...

Постом в Москву приезжали «на бюро»<sup>1</sup> актеры из провинции. Приезжали цветущими, нарядными. Мужчины носили цепочки с брелочками, золотые пенсне, перстни с печатками, серебряные портсигары с массой золотых монограмм, спичечницы с эмалью, трости с ручками в виде серебряной русалки... Галстуки были заколоты золотыми булавками с жемчужиной или камеей. Рассказывая о своих триумфах, они рокотали хрипловато-бархатными басами и, скромно прерывая себя жестом, стучали по столу твердо накрахмаленными круглыми манжетами, в которых позвякивали большие тяжелые запонки.

К нам они приходили с цветами, коробками конфет, щепочными корзиночками с пирожными и петифурами; мне лично приносили какую-нибудь особенную грушу, какой-нибудь «дюшес», причем подчеркивалось: «С твою голову». Женщины звенели браслетами, тонкими пальцами перебирали кольца, из высоких причесок падали черепаховые шпильки («Поклонника потеряете!» — «Ах!» — страдальчески-загадочные улыбки морщили губы).

К концу поста все было иначе. Первыми исчезали портсигары, и вместо них появлялись коробки с табаком и бумажками. В эти коробки «рассеянно» клали недокуренные папиросы собеседников. Цепочки на жилетах держались долго, но ни часов, ни брелочков на них уже не было.

<sup>1</sup> Так называлась актерская «биржа».



Запонок и булавок не было видно — их не в чем было носить: не было ни манжет, ни галстуков; белоснежная крахмальная рубашка заменялась черной косовороткой «смерть прачкам». Брились реже (до сих пор помню жгучие прикосновения актерских подбородков к моим щекам), запахи менялись: то, что пахло еще недавно одеколоном, бриолином, вежеталем, начинало вонять грязными волосами, никотином, кислой капустой, водочным перегаром... Голоса не журчали, не рокотали, а с сипловатым свистом сквозь зубы сволочили «мерзавцев» и «подлеццов» антрепренеров и «свиней-товарищей»: «Где порядочность, где джентльменство, все хамы, кулаки, барышники». Женщины негодовали и, кусая губы, страдали за какую-то Кручино-Байкальскую, которая пала до того, что «...вилаяла задом, и перед кем! Перед кем! Мужик, прасол!».

В дом ничего не приносили, а иногда забегали перед обедом, пока еще не было ни хозяев, ни, главное, других гостей, и просили у нашей Кати «закусить», чтобы, съев глубокую миску лапши, за обедом рассеянно пощипывать хлеб и оставлять на своей тарелке недоеденной рыбу.

Родители мои сами служили до МХТ в провинции, они понимали, любили своих товарищей и прощали им все. Мне кажется, что они немного стеснялись своего благополучия, сытости, «буржуйскости».

Эта устроенность, так резко отличавшая их от товарищей, которые должны были из года в год искать ангажемента на следующий сезон, толкала их на легкую насмешку по отношению к своему театру. В больших, серьезных вопросах они дорожили знаменем МХТ, не давали его в обиду и поношение никому и ни за что, но не было дня, чтобы при возвращении с репетиции они не приносили очередных рассказов-анекдотов. Еще из передней слышалось веселое повизгивающее мычание отца и звонкое квохтанье матери — это они переживали оплошность одного из режиссеров или оговорку другого. Театр любили глубоко и искренне, но смеяться над ним любили еще больше. Особенно когда в период «бюро», то есть в великий пост, дома была хорошая аудитория. Смеялись над самым любимым, над самым дорогим... Мне кажется, что они не любили того, над чем нельзя было смеяться. Этот смех был признаком любви, признанием человека человеком. «Не смешной» — было страшной, убийственной характеристикой человека и явления. Смеяться и смешить, смешить не с целью вызвать смех, что можно сделать и не смеясь, не радуясь самому, а смешить — делиться смешным, делиться радостью, общаться, объединяться в смехе — это было главное в домашне-общественной жизни моих родителей и всей их компании. Это была компания Художественного театра, но не только его.

Гостили (иногда жили по два-три месяца) провинциальные актеры. Д. А. Шенберг-Дмитриев (раньше работавший в МХТ), например, жил у нас подолгу, как у себя дома. Он по первой профессии был врачом-акушером и принимал на свет меня. Моя бонна-немка (вернее, эстонка, выдававшая себя за немку) называла его «каспатин, котори родил Дима». Часто жила и В. П. Веригина, которая тоже когда-то была сотрудницей Художественного театра, потом стала снова провинциальной, а потом петербургской актрисой. Оба они, уйдя из Художественного театра, сохранили к нему любовь и, со смаком злословя про отдельных актеров и актрис, театр в целом и главным чтили и уважали.

Бывали и совсем провинциальные актеры; один из них, по фамилии Волжанин (это был, конечно, псевдоним), и был из тех, кто особенно заметно менял свой облик от первой до седьмой недели поста. Публикой, аудиторией они все были хорошей, и в эти дни и месяцы рассказы, имитации, розыгрыши сменяли один другой. Мне кажется, что к посту специально копили, откладывали, сберегали все эти «номера», как называли у нас дома все то, чем можно было рассмешить людей.

В «На дне» есть фраза, которую, прежде чем вложить ее в уста Сатина, Горький говорил у нас в доме. Про одного веселого и доброго человека — Б. М. Саблина, юриста, брата книгоиздателя, — Алексей Максимович сказал: «Хороший, славный мужик — любит смешить людей, значит, любит их. Славно».

Было в этой среде определение человеческих качеств, которое я никогда и нигде больше не слышал, — это было слово «номерной», «номерная». Это означало способность спеть, сыграть, рассказать, сымитировать кого-нибудь... Про кого-то из актеров говорили: «Глупый, злой, но номерной»; про кого-то: «Барахло, бездарь на сцене, но по номерам — талант».

Надо сказать, что теперь, когда я перебираю в памяти этих людей, мне ясно, что большинство «номерных» людей были и актерами и людьми второго сорта... Кроме таких блестящих исключений, как Сулер. Сулером друзья звали (а друзей у него было бесконечно много) Леопольда Антоновича Сулержицкого. Он родился в семье польского ремесленника на Правобережной Украине. В молодости был матросом торгового флота, ходил в кругосветное плавание на самых разных (и по флагам, и по командам, и по грузам, и по оснастке) судах. Ходил в дальнее плавание и на парусниках. Когда подошел год его призыва на военную службу, он служить отказался. К этому времени он познакомился с несколькими последователями учения Л. Н. Толстого, читал его статьи и получил возможность побывать у Льва Николаевича и заслужить его пристальное внимание.

Лев Николаевич очень привязался к Сулеру, относился к нему с большой нежностью. Сулер мог объявить себя меннонитом — была такая секта, которая с очень давних времен, чуть ли не с конца XVIII века, имела высочайше утвержденную привилегию не носить оружия. Но солгать даже во имя верности своим убеждениям Сулер не мог и отказался служить, потому что «христианину этого делать нельзя», то есть объявил тем самым все «православное воинство», все государство нехристианским. За это он был арестован, судим и сослан в Среднюю Азию, в Туркестан. Там он два года был на каторжных работах.

Рассказы Сулера об этих годах были упоительно интересны, полны наблюдательности, юмора и любви к людям. Потом он по поручению Льва Николаевича организовал дело переселения нескольких тысяч русских духоборов (христианская секта, близкая к толстовцам) в Канаду. Для этого переселения ему пришлось проделать титаническую работу: арендовать несколько пароходов, обучить команду для них из числа самих духоборов, организовать питание в пути от Батуми до Нью-Йорка, медицинское обслуживание, транспорт от порта высадки до места поселения и, наконец, самое главное — он получил для них землю, кредит на приобретение живого и мертвого инвентаря, семян, фуража, питания... Руководил ими в постройке жилищ, организации хозяйства, быта и самоуправления. Он налаживал их взаимоотношения с правительством США и Канады, с переселенческими управлениями, с соседями (а соседями были и фермеры европейского происхождения, и племена американских индейцев).

Всю эту работу он выполнил с честью. Полный веры в свои силы, в свое умение помогать людям, в возможность и необходимость устроить людям хорошую жизнь, он вернулся в Россию. Через Льва Николаевича он познакомился с А. М. Горьким, а через него — с Московским Художественным театром.

Моя мать любила рассказывать, как Сулер впервые появился у нас в доме. В морозную ночь зимы 1900—1901 года после спектакля Василий Иванович вернулся домой с каким-то новым гостем; кухарка, встре-

тив их в передней, попыталась снять с гостя пальто. Он сначала уговаривал ее, что ему снимать нечего, но так как глухая старуха упорно тянула его за воротник и за рукав, он ловко вывернулся и с веселым хохлацким: «Та нет же, та не дамся я тебе, бабо» — влетел в столовую. На нем была шерстяная, грубой рыбацкой вязки, с высоким воротом фуфайка и куртка, которая заменяла ему и пальто и пиджак... С улыбкой вошел в нашу жизнь Сулер, «дядя Лёпа», как звали его мы, дети, и с улыбкой сквозь слезы вспоминали его, когда он ушел из нее.

Это был человек огромной физической и душевной силы, невысокого роста, очень широкоплечий, с мощной широкой и мускулистой грудью. Он бегал, прыгал, боролся лучше всех, с кем он на моих глазах соревновался, но особенно хорошо и отважно он плавал.

В Алуште, помню, мы (сын Сулера Митя, трех лет, и я — пяти) каждый раз начинали скулить, как щенки, когда он уплывал так далеко, что исчезал из виду, и мы думали, что он уже не вернется. Нет нужды особо говорить о его душевных силах — их мощь видна в том, что он сделал для духоворов, и в том, что он сделал в театре: работа над «Гамлетом», «Синей птицей», создание Первой студии...

В доме моих родителей Сулер был душой и сердцем всех затей, всех шуток и розыгрышей. Он никогда не пил, но всегда был пьяней, веселей, озорней всех самых весело-пьяных. Пел, танцевал, организовывал цирковые номера, сам показывал свою силу и ловкость. Меня поражало, как он, такой маленький, хватал, подкидывал и сажал на плечи таких высоких и плотных людей, как Н. А. Румянцев, например. Непонятным, необъяснимым казалось мне превращение отца в маленького человека, когда он садился «на закорки» к Сулеру и с метлой под мышкой изображал казачью атаку — «разгон студентов у Казанского собора». Студентов (совершенно помимо ее воли) изображала мать, которую они встречали этой атакой, когда она выходила из ванной, и преследовали, не смотря на ее бурные протесты, до тех пор, пока она не выливалась и на «лошадь» и на «всадника» по кувшину воды.

Когда вечерами мать и отец шли играть в театр, я представлял себе, что они там собираются для особо интересной игры — в «театр». Но оно отчасти так и было — уж очень они молоды были все.

В 1904 году (год, с которого я их помню) Станиславскому («старик») было сорок с чем-то, отцу и Москвину — двадцать девять, матери — двадцать шесть, Сулеру — тридцать один... А другие («молодежь»: Подгорный, Комаровская, Веригина, Асланов) были совсем юными.

Это восприятие театра как места игр или даже как игры поддерживалось постоянными увлеченными и увлекательными рассказами о том, сколько сегодня хохотали, когда «Костя»<sup>1</sup>, играя Вершинина («Три сестры»), оговорился, представился Лужскому — Андрею Прозорову: «Прозоров» — и Василий Васильевич взвыл, закрыл рот рукой и, шатаясь, выкатился со сцены. Смеялись весь спектакль, вспоминая намерение (конечно, в шутку) Лужского ответить Константину Сергеевичу: «Представьте, я тоже». И затем припоминалась целая серия оговорок: «яйца диких зверей» (вместо «диких птиц») из «Драмы жизни», «безумнейший, ты не в своей тарелке» (вместо «любезнейший») — «Горе от ума». «Пойдемте в гостиницу» (вместо «в гостиную») в «Трех сестрах» и так далее без конца.

Любили рассказывать о фантазерстве Константина Сергеевича, фантазерстве абсолютно бескорыстном. Для убедительности своего высказывания он мог привести самый невероятный довод. Почтительный сын и внук, он как-то сказал про актрису, игравшую кокетку (может быть,

<sup>1</sup> Константин Сергеевич Станиславский.

в «Травиате» или в «Даме с камелиями»): «Таких кокоток не бывает, я знаю, моя бабушка была кокотка». Не принимая звона бубенцов (звучковой эффект отъезда тройки в «Дяде Ване»), он утверждал, что сам служил в ямщиках.

Что касается Немировича-Данченко, рассказывалось главным образом о его «епискодовщине» и его «двадцати двух несчastьях». То как, въезжая во двор театра, извозчицья пролетка, на которой он ехал, задела колесом тумбу, резко качнулась, и сидевший в ней, как обычно гордо и величаво, Владимир Иванович подскочил, ткнулся носом в спину извозчика, и с него свалился и упал под колеса его знаменитый гордо лоснящийся цилиндр. И как назло по двору шла большая группа актеров, которые, конечно, не удержали взрыва бешеного хохота. Владимир Иванович, подобрав цилиндр, нанял другого извозчика и уехал домой. И еще — опрокинул себе на живот и колени стакан очень горячего чая и, оглянувшись, поискав глазами Василия Ивановича, прячущего за чужие спины смеющееся лицо, сказал ему: «Ну почему со мной все это случается обязательно в вашем присутствии, ведь я знаю, что вы это коллекционируете». Дунул в портсигар и запоросил себе глаза. Элегантно присел на край режиссерского стола, и крышка стола перевернулась, на Владимира Ивановича полетели графин, чернила, лампа... Споткнулся о чью-то ногу и растянулся в проходе между креслами в партере. И, наконец, любимейший рассказ: во время какой-то очень напряженной паузы, последовавшей за очень резким замечанием Владимира Ивановича одной из актрис, он вскочил, вылетел из-за режиссерского стола в средний проход и начал с хриплыми возгласами «ай! ай! ай!» кружиться вокруг своей оси и бить себя ладонями по бедрам и груди, потом сорвал с себя пиджак и начал топтать его ногами. Оказалось, что у него загорелись в кармане спички и прожгли большие дыры в брюках и пиджаке. Репетиция сорвалась.

На другой день В. В. Лужский рассказывал эту историю с невероятными подробностями: Немирович горел так, что пришлось вызывать две пожарные команды, они развернули шланг, направили струю воды на Владимира Ивановича и смыли его в водосточную трубу («Решетка у нас широкая, а он такой маленький, что проскочил было совсем, но Костя его видел и вытащил»). Ну и так далее. Лужский имел способность бесконечно развивать такие фантастические повести, вводя в них все новых и новых действующих лиц от министра Витте, полицмейстера Модля, директора цирка Чинизелли, психиатра Баженова до Дмитрия Максимовича Лубенина (старшего курьера театра), буфетчика Алексея Александровича Прокофьева и городского Стрижака, который стоял на посту на углу Тверской и Камергерского. Все эти лица в самых неожиданных и причудливых комбинациях участвовали в стремительно развертывающейся фабуле его повествования. Для всех находилась короткая, но яркая характеристика, манера речи, собственный лексикон, дикция и голос.

Лужский любил и умел смешить и сам был необыкновенно, неудержимо смешлив. Как-то раз во двор театра въехал извозчик, у которого на сиденье пролетки лежала трость с гнутой серебряной ручкой, а сзади на втором извозчике ехал Лужский и хохотал. Хохотал и его извозчик так, что чуть не валился с козел. Дело было в том, что Василий Васильевич нанял от Сивцева Вражка первого извозчика, глухого старика, многократно возившего его и без приказа знавшего, куда надо ехать, но успел только положить на сиденье палку и занести ногу, как извозчик тронул и поехал. Василий Васильевич нанял другого и поехал следом за первым. Так он и приехал в театр на двух извозчиках. По этому поводу смеялись почти до конца сезона, придумывая все новые и новые варианты того, как и с кем это еще могло произойти.

До меня эти рассказы доходили в пересказе отца, и так как я не умел отделить вымысла фантастического от вымысла же реального, в голове у меня создавалось совсем уже сумбурное представление о том, что делается в театре, где играют большие, взрослые люди. Я везде искал и ждал — «а когда будет смешно?». Но смешно бывало далеко не всегда.

Постепенно я начинал прислушиваться и к серьезным разговорам о театре и старался не принимать их за неудавшиеся шутки (раз не смеются), а соображать, что в театре «играют» иногда и всерьез.

Я не знаю, кого больше любили и чтили у нас в доме — Станиславского или Немировича. У матери, как человека более импульсивного, отношение менялось в зависимости от того, как относятся к ней, как принимают ее. У отца отношение к людям было более стабильным и объективным.

И Константина Сергеевича и Владимира Ивановича он ценил и уважал бесконечно глубоко. Была у него к обоим и огромная любовь и нежность. Была и острая тревога за их здоровье, настроение, благополучие... Боязнь, чтобы кто-нибудь их не огорчил, не обидел. Но в отношении к ним была разница. Отец любил больше Константина Сергеевича, чтил в нем гения, сверхчеловека; к нему не подходили обычные меры, которыми определялся человек: добрый — нет, никак, скорее жестокий; злой — нет, ни в коем случае, он же благостный; кроткий — в чем-то да, но скорее свирепый, беспощадный, безжалостный, безжалостный больше всего к себе; умный — нет, но гений — да. Считал, что у него нет такта, умения наладить отношения с человеком, но что есть гениальная способность (и глубокий ум в этом) подойти и разбудить творчество в актере. Он может быть бестактен, бесполезно груб с актером-человеком, но умеет с нежностью и мудростью проникать в самые глубины психики актера-творца.

У отца были периоды острого неприятия Константина Сергеевича, мучительного раздражения его поведением, его грубостью. Потом, под влиянием какого-то открытия, какой-то гениальной находки Константина Сергеевича, а иногда после какой-нибудь смешной оговорки или нелепого ляпсуса это проходило и сменялось почти обожанием. «Бурбон», «самодур», «Тит Титыч» — говорил он о нем, бледнея, с дрожащими губами. А потом: «Ну, гений же, ну до чего талантлив, эх, если бы можно было идти за ним!» Недоступность для актера, заоблачность высот, на которые звал Константин Сергеевич, недостижимость его пределов — это было большой трагедией и для самого отца, и, с его точки зрения, для всего театра, для всей деятельности Станиславского. Иногда он винил только себя, свою «трусость», свой «кокотизм» (стремление нравиться, любовь к успеху), но часто досадовал за это и на Константина Сергеевича.

Владимира Ивановича отец любил человечески меньше, но работать с ним он любил больше, чем со Станиславским.

Если Константин Сергеевич звал отца к вершинам творчества, вел его по труднейшему, почти непреодолимо трудному пути и был его учителем и наставником в этике творчества, в методе подготовки себя к творчеству, учил отваге духа, смелости, вере в истинно прекрасное и правдивое искусство и презрению к псевдокрасивому и лживому ремеслу — одним словом, помогал самопознанию в нем творца, то Владимир Иванович помогал ему конкретно в создании роли. Первое редко давало радость и никогда не давало удовлетворения. Оно было бы несовместимо с ним. Удовлетворение, удовлетворенность, довольство несовместимы с той взыскательностью, которая была присуща Константину Сергеевичу. Второе же (работа над ролью) часто давало радость и нередко удовлетворение.

Владимира Ивановича отец не считал гением и сверхчеловеком, как Константина Сергеевича, но верил в его ум и талант. Ум Владимира Ивановича он считал европейски-деловым даже в решении философских и отвлеченно-эстетических вопросов. В его «прозрения» не верил, но в чутье и в искусстве, и в литературе, и, конечно, в актерском мастерстве верил очень.

В четыре-пять лет я, конечно, не так понимал, как написал теперь, но написал я это по глубоко врезавшимся в память самым детским воспоминаниям, провоспоминавшим всю долгую жизнь, по-разному в разное время осмысленным, но в основном сохранявшим первые контуры.

Так я воспринял этих двух великих людей, воспринял раз и навсегда, и никакие другие отзывы, никакие личные впечатления от долгих лет работы с ними и жизни подле них не могли стусевать и изменить тот их образ, который вычеканил во мне отец в самом раннем детстве.

Огромную роль в моем восприятии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича играла еще и их внешность (Константин Сергеевич — огромный красавец, да еще с усами; Владимир Иванович — маленький и с бородой, «как у доктора»).

Смущало только богатство Константина Сергеевича.

Мать читала мне басню «Стрекоза и Муравей», и толкование морали этой басни у нее было своеобразное: веселая и милая актриса Стрекоза жила, как и полагается жить всякому порядочному существу, то есть веселилась, гуляла, пела, радовалась жизни и, будучи сама доброй, надеялась на доброту других. А негодяй Муравей, жадный лавочник, скупой мещанин, злой, как все богатые, с издевательством оттолкнул ее. Она бы погибла от холода и голода, но добрый, сам бедный навозный жук поделился с ней последним, и они дружно и весело перезимовали. Этот конец был придуман нами вместе, чтоб не дать умереть бедной актрисе.

Богатые обязательно жадные и злые, иначе они бы не были богатыми... Это, видимо, было крепко засевшей в нашей семье этической нормой.

В этом смысле богатство, фабрикантство Константина Сергеевича меня ужасно огорчало, и я должен был подыскивать ему разные «смягчающие вину обстоятельства», чтобы простить ему его общественное и имущественное положение. Одним из самых убедительных «смягчений» было то, что он получил богатство от отца и еще не успел его растратить, но он постарается, и к моей взрослости, когда я по-настоящему смогу дружить с ним (а об этом я очень мечтал), он уже будет, «как мы», то есть проедать и проживать все жалованье. Самое смешное, что так оно и случилось...

Если в смысле социальном и экономическом я был совершенно единоклубен с родителями и всей их компанией, то в смысле политическом — наоборот.

В пять лет, когда у нас ночевали прятавшиеся от полиции эсдеки, когда отец был зарегистрирован в охранном отделении как неблагонадежный, а сам себя считал марксистом и социал-демократом, а мать иногда, пытаясь вырваться из-под влияния своей приятельницы М. Ф. Андреевой (эсдечки), склонялась к эсерам, которые своей романтикой риска и подвига импонировали ей, я при всем честном народе, то есть при «революционно мыслящих» актерах, заявил: «А с царем все-таки лучше».

Это была бомба. Отец был смущен, сконфужен, опозорен... Мать возмущена и со свойственной ей энергией и активностью начала выяснять, кто на меня так влияет. Подозрения падали на немку Frau Mitzi,

которая носила фамилию Витте и гордилась этим («А чем гордиться, ведь Витте — царский сатрап и негодяй»), и, главное, на швейцара Михайлу, который был под подозрением («А он не охранник?») в черносотенстве.

С Михайлой я был в хороших отношениях, но в моей любви к царю он был не виновен. Царя я любил чисто романтически, как самого первого военного, самого главного генерала, вождя, награждающего героев орденами. Ведь он украсил грудь дяди Эразма целым иконостасом крестов и медалей. Короли и цари во всех сказках были виновниками счастья героев, царевичи и королевичи были красивыми, храбрыми, добрыми, а ведь они же и становились царями и королями.

Отец несколько раз пытался объяснить мне необходимость народо-властия, но я оставался непоколебим: «Нет, без царя скучно». Это совершенно серьезно мучило моих родителей: уж очень не ко двору в интеллигентной и, следовательно, революционной семье был монархист, хотя бы и пятилетний. Это компрометировало почтенную крамольность нашей семьи. Отец симпатизировал то большевикам (после встреч с А. А. Сольцем), то левым меньшевикам (под влиянием Б. Гольдмана). Оба были его товарищами по гимназии, очень с ним дружили, верили ему и мучились его политической неустойчивостью.

Сольц появлялся редко, обычно вызывая отца куда-то на свидания, о месте которых отец не говорил даже матери. Борис Гольдман приезжал прямо к нам — то после отбытия заключения, то сбежав из ссылки, то незаконно приехав в Москву из какой-нибудь глуши, где жил под гласным надзором. Прославши сутки у отца на диване, вымывшись, он пил с отцом по ночам чай и спорил, спорил... Кончалось его посещение поворотом отца в сторону меньшевизма. Как действовал Сольц, я не знаю, но поворот был такой же радикальный. Все это было особенно остро в 1905—1906 годах. И даже моя детская «политическая ориентация» не оставалась без внимания. Возможно, однако, что меня, а может быть, и друг друга разыгрывали.

Как я уже говорил, шутке, розыгрышу, смеху в атмосфере нашей жизни в те годы отдавалось много места. Соседствование драмы с почти фарсом отец считал закономерным именно для лучшего восприятия серьезного в искусстве и в жизни. Часто в ответ на обвинения в том, что он комикует в драматических местах своих же ролей, отец говорил, что слезы легче всего текут после улыбки и что никогда человек так весело не смеется, как утирая слезы. Так и в быту нашем серьезность, драма, даже трагедия разрешались хохотом, а розыгрыш завершался порой ссорой и слезами...

Разыгрывали друг друга всеми возможными способами без конца. Когда перебираешь в памяти все эти опрокидывающиеся на голову кувшины с водой, испачканные сажей полотенца, чтобы умывающийся вышел с черными пятнами на лице, куски льда в постели, щетки под простыней — все это не кажется достаточно смешным и, главное, кажется уж очень глупым, недостойным быть рассказанным. В пересказе это принижает очень хороших и умных людей. Так что, вспоминая это, я сам смеюсь с умилением и любовью, другим этого лучше не сообщать: вместо улыбки это может вызвать только пожатие плечами... Говорю я об этом только для того, чтобы была понятнее атмосфера того времени в нашем доме и компании моих родителей. Люди жили стремлением рассмешить и поделиться с людьми, оделить их радостью. Но «комедиантами» они не были, они были истинными артистами, задача которых распространять радость и добро и со сцены и в жизни. Чувства в этой среде были искренними, и радость и горе переживались по-настоящему глубоко и сильно. Обыватель же, изолгавшийся и изживший в суете и заботе

о своем благополучии способность чувствовать по-настоящему, принимал умение выражать чувства, талантливость в их выражении за умение и з о б р а ж а т ь. Отсюда его мнение, что актер лжив, кривляка и т. п.

Любовь к эпатированию, стремление поразить, удивить, заинтересовать (очень свойственные актеру, особенно провинциальному) поддерживала в «публике» ее неуважение к актеру, ее ощущение его человеческой неполноценности. На самом же деле сама профессия актера (я говорю об актерах серьезных и глубоких) делает человека глубже, сложнее, чувствительнее (в смысле более острой восприимчивости к чувствам), нежнее, понятливее и, в общем, добрее и умнее.

### Вильно

Летом 1906 года мои родители в первый раз в жизни выехали за границу. Меня на это время поселили у деда в Вильно. Приехали в Вильно всей семьей, но через три-четыре дня отец с матерью отправились через Вержболово на Берлин и дальше, а меня с бонной — фрау Митци — оставили на попечение деда и двух его дочерей — моих вдовых теток. Мать очень не любила отцовскую семью; эту нелюбовь отец объяснял тем, как ее с самого начала встретили там. Описываемый приезд не был первым знакомством. При первой встрече свекор (дед) долго рассматривал свою молодую сноху, потом тяжело вздохнул, махнул рукой и сказал: «Ничаво, он тоже некрасивый». Мать, молоденькую (ей было тогда двадцать четыре года), очень хорошенькую, имевшую большой успех и избалованную им, этот отзыв поразил и оскорбил. Через семь-восемь лет она рассказывала об этом с юмором, но тогда это была катастрофа. Эстетические нормы у деда были, конечно, своеобразные, с нашей точки зрения. Красивым, с его точки зрения, был старший сын Анастасий — огромный (четырнадцать вершков, как тогда говорили), дородный, румяный; еще красивее был Эразм — уже пятнадцать вершков, восемь пудов веса, усы с подусниками, красные щеки и нос, ярко-голубые глаза, и все это в оформлении парадной формы сначала Малороссийского драгунского, а потом Приморского драгунского полка, которым он под конец своей службы командовал. Сам дед тоже был высок и дороден. Отец хотя и немало роста (1 м. 85 см.), но худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч сравнительно с гигантами братьями. Мать же, у которой лицо было скорее восточного, грузинского или еврейского, типа — большой нос с горбинкой, темные глаза, — ростом была на голову ниже своих золовок и в полтора раза уже их, тоньше и худее. Такая пигалица не могла внушить деду ничего, кроме грустной жалости. Я, кроме деда, теток и дяди Эразма, никого из своих «предков» с отцовской стороны не видел, но по рассказам знаю, что род этот был физически очень могучим.

Дядя Эразм, за которым, когда он шел по Москве в своей маньчжурской черной папахе, люди бежали вслед и мальчишки кричали: «Дяденька генерал, поймай воробышка!» — был в этом роду и племени нормальным явлением. Эразм в войну 1877 года пятнадцати лет ушел добровольцем из пятого класса гимназии и в рядах Малороссийского драгунского полка в звании штык-, а потом портупей-юнкера воевал с турками; окончил в Варшаве школу прапорщиков, был произведен в корнеты (а не в прапорщики, так как имел георгиевский крест) и сражался в Китае во время боксерского восстания; остался в Приморье воевать с хунхузами, там же его застала японская война. В отряде генерала Мищенко, командуя отдельным дивизионом Приморского драгунского полка, он заслужил все мыслимые для армейского офицера награды и в 1908 году полу-



чил полк. В том же году он со всем своим семейством, женой-сибирячкой и дочкой Таней, гостил у нас в Москве. Отец очень умилял его тем, что сохранил для него вырезки из газетных корреспонденций, где о нем упоминалось. Одна из них (в какой газете, не помню) была даже озаглавлена «Лихие поиски ротмистра Шверубовича». Эту заметку отец хранил очень долго, хотя рецензий на свои выступления на сцене не хранил в это время совсем.

Само собой разумеется, что для меня, семилетнего мальчика, большего героя, чем дядя Эразм, не было. Из других членов шверубовичского рода знаменит был дядя отца, двоюродный брат моего деда, как и он, православный священник. Но если дед был спокойным, обыкновенным рядовым попом без всякого фанатизма — ни религиозного, ни националистического, — отец Хрисанф мнил себя миссионером и чудотворцем. В качестве первого он стремился русифицировать, то есть привлечь к православию (в те времена в западном крае это было одно и то же) как можно больше литовских и белорусских крестьян, которые по вине своих отцов и дедов «впали в схизму», то есть родились католиками. Решение евреев тоже входило в его планы. Самым страшным, роковым для его клерикальной карьеры было намерение убедить своих прихожан в том, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно приказать горе сдвинуться, и она сдвинется, убедить, сотворив чудо. Произошло это так: с утра в воскресный день, когда церковь заполнилась молящимися, он запер врата храма и спрятал ключ в ризнице. Через час-полтора богослужения люди начали кричать и стонать — настоятель был неумолим, и только закончив обедню, молебен, произнес часовую проповедь на тему о всесии веры, он раскрыл храм и отправился со всем причтом к берегу реки Вилии, где его ждала специальная лодка с настилом вровень с бортами. Он вошел в лодку и отплыл на середину реки. Там, подняв святые дары выше головы, он смело и уверенно ступил с настила на поверхность воды, намереваясь пройти по ней, «яко по суху», и стремительно пошел ко дну. Его выловили, откачали, но святые дары утонули, и за это святотатство, а также за смущение верующих он был заточен на три года в монастырь со строгой епитимией. Он же был знаменит своими гимнами, которые сочинял к различным торжественным событиям государственной жизни. К похоронам убитого народовольцами в марте 1881 года царя Александра II он сочинил и исполнял в церкви в сопровождении хора следующий «хорал»:

Торжественно в храмах лампы горят,  
Взор верного Росса к небесам подъят.  
Крамолы, измены Россия чужда,  
Вовек будет помнить своего вожда.

К коронации Александра III он в том же году исполнял:

В семнадцатый день мая Москва ликовала,  
Вождя она честью и правдой встречала,  
И вся России стомиллионный народ  
Вовек будет помнить тот день и  
Тысяча восемьсот восемьдесят первый год!

Отец очень любил петь оба этих гимна и исполнял их на какой-то им самим выдуманный мотив и с карикатурно-белорусским акцентом. Этим акцентом он владел хорошо и мог не только говорить, но и читать стихи. Одним из его «номеров» было исполнение монолога Чацкого гродненским семинаристом.

Дед говорил с сильным акцентом не только по-русски, но и по-церковнославянски (в богослужении) и даже по-латыни. Он знал наизусть несколько отрывков из Овидия и охотно читал их, но произносил их по-

белорусски. Изображение этого было также «номером» отца. Этими рассказами и «номерами» я в свои четыре года был подготовлен к несколько юмористическому облику деда. Оказалось не совсем то. Дед был молчалив, суров, серьезно и умно смотрел на меня и улыбался, только когда мы с ним были с глазу на глаз. Тогда он мне даже подмигивал и тихо говорил: «Ты ийх ня слухай, ани жа бабы». Это относилось и к матери, и к теткам (его дочерям), и, главное, к моей фрау Митци, которую он невзлюбил главным образом после того, как она смеялась над евреями. Сам он к евреям относился хорошо. У него даже был приятель Янкель, державший «универсальный магазин» — крошечную лавчонку, где продавалась всякая снедь, мыло и свечи. Кроме того, Янкель был портным, и первые форменные костюмы отцу шил он. Василий Иванович рассказывал, как он умолял Янкеля не шить ему шинель «на вырост», как этого требовал дед; для этого он перед примеркой забежал к портному и заклинал его всем святым «не делать из него шута горохового», чтоб над ним не смеялась вся Вильна.

Когда Янкель умер, дед так разволновался, что заболел.

Дед приказал, чтобы меня привели в церковь к обедне, когда он служил, «чтоб смотрел, как дзяд служит», только чтоб без лютеранки (фрау Митци). Та презрительно пожала плечами — для нее это богослужение являлось Heidentum (язычеством). Я не помню богослужения, помню только, как тетя Соня сказала в конце его тете Саше: «Папаша, как маленький, старался, служил, как перед митрополитом,— это он внуку понравиться хочет». Соня всегда была строга и беспощадна в своих суждениях о людях. Она была вдовой пехотного капитана, с которым прожила всего восемь лет, и за эти годы потеряла шестилетнюю дочь, которую сильно любила и помнила всю жизнь, и ни одного ребенка родного или просто близкого полюбить не могла. Всякую возникавшую привязанность она в себе глушила, так как была убеждена, что приносит несчастье тем, кто ей дорог. Соня была умна, наблюдательна, остроумна, хорошо рассказывала, слегка копируя того, о ком говорила. Она служила классной дамой и давала уроки музыки на рояле. Сама играла мало и редко («Потому что люблю музыку»), тоненьким и тихим голосом пела. Отца моего любила безумно. Она была на девять лет старше его и была ему как бы няней. Она очень смешно рассказывала, как к ней прибежали мальчишки с сообщением: «Панна Зося, там ваш Васька удавиуся, юш синий, ня дыша зусим». Оказалось, что пятилетний Вася засунул голову между прутьями железной ограды там, где эти прутья были чуть подалеже один от другого, потом упал, попал в узкое место и стал задыхаться. Четырнадцатилетняя Соня рванула его за плечи и, оборвав ему в кровь уши, вытащила его оттуда. Мать мою она никогда не любила, считая, что она и недостойна отца, и, главное, не так, как надо, ценит его.

Театр драматический Соня не признавала, а МХТ терпеть не могла, считая, что там играют не по чувствам, а по науке. «Этот Станиславский сам плохой актер, не талантливый, потому ему нужна какая-то система, он без нее никуда не годится, так он и таких актеров, как Вася, хочет заставить играть не душой, а по системе». Считала, что Василий Иванович добился бы большего, если бы был в провинции, а потом на императорской сцене. На императорскую сцену пытался устроить Василия Ивановича и его брат Эразм. Приехав к нам в 1908 году, он рассказывал: «Знаешь, Василий, я от самого Хабаровска ехал с одним артистом императорского Малого театра, с господином Л. Я его поил всю дорогу и коньяком, и мадерой, и даже шампанским, и он обещал оказать тебе свою протекцию для поступления на императорскую сцену». Этот господин Л. был помощником режиссера в Малом театре и получал пятьдесят

рублей в месяц, когда отца звали туда на тысячу. Но почему же ему было не выпить за счет провинциала-офицера?

Совсем другой была тетя Саша. У нее была неистовая доброта, страшно активная и требовательная. Для животных, которых она любила сверхъестественно, это было в самый раз, но людей она доводила до того, что они скрывались от нее или грубили ей. Детей она портила в самый короткий срок — самому воспитанному ребенку достаточно было двух недель ее общества, чтобы превратиться в отвратительного барчука. Животные (собаки и кошки), бывшие на ее попечении, питались всегда тем, что любили, а она подъедала то, что от них оставалось; спали у нее на постели и рычали, если она занимала в ней слишком много места или беспокоила их своими движениями и даже вздохами.

Она была замужем за каким-то чиновником Морошкиным, который оказался горьким пьяницей и скандалистом. После двух лет супружества она убежала от него и жила с дедом. Вскоре муж спился и умер. Свое вдовство она несла далеко не так строго, как ее младшая сестра, — темперамент ее был совсем другим, у нее были постоянно какие-то романы, начинавшиеся с жаления и помогания и кончавшиеся тем, что жертва ее добродетели не в силах была перенести напора благодетельных и бежала от нее.

Когда меня привезли в Вильно, она тоже приехала туда в отпуск из Петербурга, где служила старшей фельдшерницей (у нее было среднее медицинское образование) в «богоугодном заведении» — в сиротском приюте Брусницына. Поступила она туда потому, что управляющему показалось остроумным собирать к Брусницыну служащих с ягдной фамилией. Фамилия его самого была Рябинин, сестра-хозяйка была Малиновская, старший дворник (нечто вроде теперешнего управдома) был Вишняк. Через два года я гостил у нее в приюте, и меня совершенно пленила эта коллекция фамилий, я думал, что так полагается везде, и был недоволен, что в МХТ актеры носят фамилии не по смыслу, а какие попало.

После отъезда родителей мы всей семьей, к которой еще добавилась моя одиннадцатилетняя двоюродная сестра Вера, дочь Анастасия, учившаяся в Петербурге в Сиротском Николаевском институте, переехали на дачу в Верки (дачное место под Вильно). Вера была круглая сирота, ее родители умерли почти одновременно от туберкулеза. Так как Анастасий был чиновником какого-то класса, ее приняли в институт, обеспечивающий своих питомцев от девятого до первого класса (у них был счет классов наоборот) всем необходимым вплоть до полного приданого при выходе из последнего, «пепиньерского» класса.

Вера была (и осталась такой до взрослости) тихой, предельно молчаливой, замкнутой, очень скрытной девочкой. Единственным явным ее свойством, которое она не умела скрыть, была неистовая любовь к сладкому. Как-то раз она, вынимая из кармана платок, вытащила вместе с ним большую ложку. Она носила ее в кармане «на всякий случай» — вдруг окажется где-нибудь наедине с вареньем или компотом, чтобы не искать ложки, чтобы быть всегда «во всеоружии».

Верки были недалеко от Вильно, и дед приезжал к нам на свои свободные дни, когда служил второй священник. Как-то раз он пришел, неся на голове качалку, за что тетки упрекали его: «Вам, папаша, не к сану ходить с мебелью на голове, вся Вильна будет удивляться, ведь вы еще и благочинный».

Благочинный — это священник, наблюдающий за поведением и священнической деятельностью других духовных лиц в своем округе.

Должен сказать, что я никогда не видел в доме деда никаких духовных лиц — он, видимо, ни с кем из них не дружил. Бывал в Вильно

сосед-домовладелец, учитель латинского языка, бывал аптекарь-еврей и кое-кто из родственников (Хрутские, Лечицкие, Воскобойниковы), но все это были чиновники, служащие, бывшие товарищи и сослуживцы рано умершего дяди Анастасия.

Анастасий, окончивший юридический факультет Петербургского университета, служил в Привислянском статистическом управлении главным статистиком. Он хорошо поставил это дело, издавал журнал — какие-то «ведомости» или «ведомости чего-то». Недавно сравнительно я получил от Н. Д. Волкова книгу «Братья Кукольник», написанную А. И. Шверубовичем, изданную в Вильно и продававшуюся у отца Иоанна Шверубовича и еще где-то. Это был, по-видимому, вполне интеллигентный человек, добрый, веселый, талантливый. Очень хорошо пел. «Лучше, чем ваш Шаляпин» — как утверждала его сестра. Его карьерой, как, впрочем, и военной карьерой Эразма, дед очень гордился, чего нельзя сказать о карьере Василия. Когда его спрашивали: «А младшенький ваш, Васенька, что делает?» — он неохотно отвечал: «А он так, по ученой части...» Сестра рассказывала о недоразумении, которое возникло у родителей, когда в рецензии было написано: «Князь (г. Качалов) убил свою жену». Матушка в ужасе прибежала к отцу Иоанну: «Васенька жену убил!» Тот весь задрожал, но, разобрав, в чем дело, обружал жену: «От дура! То же на позорище!»

Матушку (мою бабушку, мать отца) я никогда не видел, она умерла, когда мне было меньше года. Это, видимо, была тихая и застенчивая женщина, но иногда она всплывала, и тогда все от нее уходило, избегая ее ядовитых и язвительных обличений. Тетя Соня рассказывала, что как-то, придя от обедни, которую служил дед, она накинулась на него: «Стыдно тебе, отец, старый ты, а бабник. Старух крестом, как прикладываться идут, по губам да по зубам бьешь, альбо пошвидче, а к молодым да красивым сам с крестом тянешься, будто они не к кресту, а к тебе прикладываются. Грех это, грех, ведь ты пастырь, грех...» Дед, смущенный, отругивался, оглядываясь на дочерей. «От дура, чего выдумала, ведь клямишь (врешь), старая!» Гостей она принимала приветливо, хотя жили они скромно и питались только досыта, без разносолов.

В Верах мы жили совсем уединенно. Через месяц или полтора приехали мои родители, полные восторгов от своего путешествия. Они были в Германии, в Швейцарии, Италии и Австрии. В Берлине бегали по музеям, восхищались немецкой культурой везде — от дворцов, музеев, церковью до магазинов и сортиров. Мать со свойственным ей темпераментом стремилась все увидеть, что полагается, отца тянуло больше посидеть в кафе или пивной за кружкой «Märzbier» с сосисками и понаблюдать толпу. В Швейцарии они лазали по каким-то ледникам-глетчерам, доступным для массового туризма, видели восход солнца на Юнгфрау, ездили по зубчатой и канатной дорогам, были на озерах, наслаждались всеми этими красотами, как полагалось, по Бедекеру. Потом, в зрелом возрасте, они немного посмеивались над этой своей тогдашней наивностью, с какой они проделывали все полагающиеся маршруты и любовались «Schöne Aussicht» там, где это было предусмотрено.

В Италии они были в Милане и в Венеции. В этой стране отец оказался «на коне» благодаря отличному знанию латыни: он легко научился объясняться с итальянцами, с которыми вообще легко говорить благодаря их хорошему отношению к иностранцам и большой легкости и веселости ума. Мать же, прилично говорившая и понимавшая по-немецки, здесь оказалась в худшем положении. В Италии отец совсем изнемог от музеев и галерей и все чаще и чаще бастовал и сбегал в какую-нибудь «Osteria» или «Albergo». Через очаровавшую их Вену они вернулись в Россию.

## 1905 год

Начался новый сезон — сезон 1905—1906 года. У матери, да и у Василия Ивановича завязалась тесная дружба с М. Ф. Андреевой. Эта дружба была причиной того, что мать начала принимать деятельное участие в подпольной работе РСДРП. Ей давали разные не столько ответственные, сколько рискованные поручения, главным образом по связи, передачам и т. д. Она их выполняла, видимо, хорошо, это я заключаю из того, что задания становились раз от разу серьезнее и труднее. Мать моя была очень подвижна, ловка и очень отважна. Она была коренной москвичкой, знала город, по ее выражению, «как извозчик», знала проходные дворы, проходные парадные, через которые можно было с улицы попасть во двор или в сад, а там из сада через забор в другой сад и опять через дом на другую далекую улицу. Изящная, хорошо одетая, владеющая бойкой, чисто московской речью со всеми прибаутками и поговорками и острыми словечками, она умела отшутиться и отбратиться в случае какого-нибудь столкновения. Это все было ей очень кстати при выполнении различных заданий: выяснить, «чиста» ли та или другая явка, отвести слежку, «раскрыть» филера (определить, что «извозчик» или «разносчик» на самом деле сыщик), передать письмо, сообщить пароль и отзыв и другие такие же простые, но рискованные поручения. Только много лет спустя, уже после Октябрьской революции, я узнал, что на адрес отца приходили из-за границы директивные письма для МК РСДРП, а от его имени шли за рубеж материалы для большевистской печати. Все это было глубоко засекречено, и ни отец, ни мать не были посвящены в содержание пересылаемого, но они охотно разрешали пользоваться своим адресом, а мать со всей энергией принимала самое непосредственное участие в технике пересылки, хранения и передаче всего, что проходило через ее руки.

Оба они сознавали риск, которому подвергались, но в те времена отказаться от такого почетного и лестного риска мог только «трус и обыватель» (выражение отца) или отъявленный черносотенец. Прослыть же тем или другим было для них страшнее ареста, охранки и всех жандармов Российской империи. Общественное мнение, традиции, среда требовали от каждого интеллигента если не прямой революционной деятельности, то уж по крайней мере посильной помощи революционерам.

В порядке этой же деятельности произошло знакомство, перешедшее в теплую дружбу, с Н. Э. Бауманом. Эта история уже многократно рассказывалась, мне ее повторять ни к чему, тем более что я не был, конечно, посвящен в эти дела. Помню только смешливого белокурого «дядю Тигра», как я его почему-то называл, веселую возню с ним, щекотку от мягкой бородки, которая попадала мне за шиворот, когда он, изображая зверя, загрызал меня, охотника. Ярче всего помню веселые, совсем не страшные глаза «зверя» и щекотно-ласковую бородку — ведь бороды в нашем актерском доме были редкостью.

Помню рассказ, почти сказку, которую мне рассказывала мать, сдерживаясь, чтобы не заплакать, что с ней случалось тогда очень, очень редко, — она была совсем не слезлива.

Рассказ был о добром человеке, за которым гнались враги, он убежал от них и долго ходил, больной и голодный, по улицам под дождем и снегом в ветреную ночь поздней осени. Но он знал, что есть один дом, где его примут, обласкают, обогреют, накормят, напоят горячим чаем с малиновым вареньем и уложат спать в чистую, теплую постель под толстое, пушистое одеяло. Там он будет в безопасности, ни один враг не будет знать, где он, там он сможет отдохнуть и подлечиться. Он

уже предвкушал все это, когда поднимался по лестнице этого дома, но когда позвонил и ему отворили, женщина, встретившая его, задала ему какие-то нелепые, непонятные вопросы и, еле выслушав его сбивчивые, бестолковые ответы, закрыла дверь перед его носом. Он, шатаясь от слабости, спустился и снова вышел под снег и дождь, но надежды на приют у него уже не оставалось.

Самое для меня тогда непонятное было то, что мать моя, такая беспощадная ко всем злым, трусам, безжалостным, в ответ на мое возмущение этой женщиной сказала: «Она не виновата, она иначе не могла».

Это была не сказка — так оно было на самом деле: мать обещала принять и спрятать человека, который придет к ней в ту ночь, но он должен был произнести пароль. Никого другого, не знающего этот пароль, Мария Федоровна Андреева велела не впускать. Бауман — а это был он — в жару забыл пароль, и мать его не пустила. Она была права — это мог быть охранник, и Бауман, придя после него, попал бы в ловушку. Но мать чувствовала, что пришел тот, кого она ждала. Она, выждав какое-то время, окольными путями помчалась к Марии Федоровне, рассказала ей о внешности приходившего, и та с огромным трудом, после ночи беготни по всей Москве, под утро разыскала Николая Эрнестовича в каком-то извозничьем трактире, напомнила ему пароль, и, вторично придя в наш дом, он был принят и прожил у нас несколько недель; во время них и завязалась крепкая дружба его с отцом и матерью, дружба, длившаяся до самой его гибели.

В декабре, когда началось вооруженное восстание, мы жили в самом центре города, дом наш смотрел на боковой фасад Большого театра, на боковой фасад Солодовниковского театра (где была опера Зимина) и на Благородное собрание, ныне Дом Союзов. И хотя окна нашей квартиры выходили во двор, место казалось уж слишком центральным и потому опасным. Говорили, что дружинники — эсеры-боевики заняли Большой театр и укрепляют его, что верные правительству войска будут разносить его из пушек; говорили, что в Благородном собрании революционеры спрятали пушку, которая будет стрелять по войскам. Мне кажется, что у нас в семье особой тревоги не было, но тем не менее меня персонально решили «эвакуировать».

Очень ясно помню морозный декабрьский вечер и закрытый экипаж, в котором меня везли к Станиславским в Каретный ряд. Их дом, расположенный за бульварным кольцом, в тихой, населенной интеллигенцией и торговыми служащими части Москвы, казался безопаснее нашего, стоящего «на юру» дома.

Недели две я прожил под одним кровом с Константином Сергеевичем, и образ его стал мне много яснее и гораздо милее. Ничто не противоречило тому представлению о нем, которое сложилось у меня по рассказам отца, но многое чудное и смешное, во что, как в вату, любовно укутывал его своими рассказами мой отец, рассеялось, стало прозрачнее, а то и совсем исчезло. Сам я еще не умел видеть смешного во взрослых (кроме того, на что мне указывали), а светлое сияние благополучия, теплый свет ласки, очарование приветливости и, главное, серьезный, вдумчивый, «на равных» интерес к высказываниям, к мнениям и ощущениям — все это я чувствовал в какой-то непомерной, непосильной мне мере. Сошествие этого, такого именно приятя Константина Сергеевича с тем, как принимал его мой отец, наполняло меня огромным счастьем и гордостью. От этого я еще больше любил и обожал обоих.

Очень грела мою душу одинаковость построения миров дома Станиславского и нашего. Как у них, так и у нас был огромный центр мира — единственный и всеопределяющий. Этот центр ничего не делает для того, чтобы быть центром, — он только сияет, только распространя-

ет свои лучи света, тепла, ума и добра. А то, что его окружает, поглощает это лучеиспускание и отражает его в обожании, в абсолютной преданности. Причем у них, как и у нас, обоготворение отнюдь не мешает высмеиванию, осаживанию, а иногда и пилению своего божества. Я уже знал и другие «миры» — бывал в других семьях и видел, что не у всех, далеко не у всех они устроены так, как у нас. Например, у Эфросов: он умнее, он лучше, но центр — она, потому что она считается лучше. Она (Н. А. Смирнова) решила, что она и умна и талантлива, а он (Н. Е. Эфрос) просто кадет-журналист. Она же еще и теософка — член какого-то теософского общества. Но самые близкие, до откровенности близкие друзья считали, что теософия — это серьезная дама, а Надя только «теосонька» (как прозвал ее отец). Однако она была центром дома, а ни моя мать, ни Мария Петровна не были центрами, хотя (во всяком случае уж Мария Петровна) имели на это не меньшее, чем Смирнова, право. Не были, потому что был центром Константин Сергеевич, а у нас — Василий Иванович. Бедный же Эфрос работал ночами, писал книги, был членом редакции известной газеты «Русские ведомости», был умен, людьми уважаем, но из него центра не вышло.

За короткое время моего жития у Станиславских я на всю жизнь полюбил и Константина Сергеевича, и его жену Марию Петровну (Лилину). Она больше всего несла в себе и щедро распространяла особую атмосферу нежности, но без нежничанья, любви, но без любезничанья, ласки, но без всякого поглаживания. Она была чуть суховата, чуть резковата, и мне она казалась не округлой и сладковато-липкой, как другие ласковые дамы, а грановитой и шершавой почти до колючести. Но и от нее исходило стойкое тепло и свет.

В первую же ночь я проснулся оттого, что кто-то укрывал меня одеялом — подтыкал его под перинку. Это была Мария Петровна, а в дверях стоял Константин Сергеевич и разглядывал меня из-за Марии Петровны, смешно («как птица») поводя головой. Он о чем-то (по поводу меня) спросил ее, и она ответила: «Да, очень хорошо».

Марию Петровну мой отец считал самым строгим и справедливым ценителем актерского искусства и верил ей, ее вкусу, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было, включая сюда и Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. Не верил ей он только, если играл роли Константина Сергеевича — Вершинина, Ракитина, Гаева, Штокмана, — считал, что она после Константина Сергеевича в его роли никого принять не может. Василий Иванович вообще не верил в беспристрастие актера, если речь шла о его, этого актера, ролях. Он говорил, что в роли, которую когда-либо играл, не может принять другого актера, что это органически невозможно. Отношение же Марии Петровны к ролям Константина Сергеевича он, видимо, приравнивал к отношению актера к своим ролям.

Мать моя тоже очень ценила Марию Петровну, считала ее самой настоящей, самой непосредственной из всех женщин, которых знала. Действительно, мне кажется, что ложь, ломанье, разрыв между «кажется» и «есть» были абсолютны несовместимы с внутренним обликом Марии Петровны. Небеспристрастна она была только во всем, что касалось Константина Сергеевича. Особенно если ей казалось, что кто-то недостаточно ценит его, кто-то недостаточно чтит его. Как-то она показала Василию Ивановичу стихотворение Блока «Я вам поведал неземное» и сказала, что это написано о Константине Сергеевиче и актерах МХТ. Это была абсолютная убежденность и твердая вера. Не идущий безоговорочно за Константином Сергеевичем, сомневающийся, где-то и в чем-то несогласный с ним, это: «Ваши девы слепы, у юношей

безогнен взор», им путь «назад!.. В глухие склепы!», им «нужен бич, а не топор!». Она шла за ним и верила ему безоговорочно, хотя на репетициях спорила с ним, но эти споры были только приемом, чтобы крепче убедить себя в его правоте. Она как бы подставляла ему свои возражения для опровержения их, для заострения на них его диалектики. Иногда же она высказывала свое несогласие для того, чтобы, разбивая ее, он убеждал других. При этом оба входили в азарт, она — забывая свою первоначальную цель, он — не зная о ней, и ссорились до взаимных обид.

Отец считал Марию Петровну замечательной актрисой, безусловно лучшей актрисой Художественного театра. Он говорил, что она не стала великой актрисой главным образом потому, что сама себя не видела такой. Она была не то чтобы скромного мнения о своем актерском качестве, нет, она считала себя хорошей актрисой, но она была убежденно «вторым» человеком и художником. Вторым при великом первом. Это было, видимо, следствием структуры их «макрокосма».

В январе 1906 года была решена заграничная поездка всего театра. Мои родители были счастливы — поездка всей группой, со всеми друзьями в Берлин и Вену, которые они уже знали по прошлой годней поездке; в Прагу, в рейнские города, о которых они только мечтали.

Решили ехать всем семейством, то есть со мной и с моей бонной. Сборы в дорогу помню плохо, но приезд в Берлин и поселение в пансионе у фрау Линде помню отлично. В пансионе поселились из экономии: условия поездки были такие, что надо было жить на половинное против московского жалованья, а нас было четверо. Приняла нас фрау Линде необыкновенно приветливо. Я был и *Engelien* и *süßes Kind*, мать — *gnädige Frau*, отец — *Exelenz*, фрау Митци — *meine allerliebste*.

Оказывается, снимавший комнаты агент администрации сказал, что мы из *hohem russischen Adel* (высокого русского дворянства), отец не то генерал, не то тайный советник и т. д.

Через два дня выяснилось, что мы актеры. Все резко изменилось. Подушечки, коврики, дорожки, которыми была в изобилии украшена комната, исчезли. Потом стала исчезать и заменяться на плохую мебель. Потом постельное белье, и главное, *Federbett* (перинки) заменились старым рваньем. Посуда к трапезам стала подаваться скверная, обеды и завтраки стали несъедобными. Уборка прекратилась.

Жить стало невыносимо. Решили переезжать. Хозяйка, когда ей об этом сообщили, сказала, что она не возражает, так как у нее приличный дом и «актерам и другим цыганам» у нее жить не место, но потребовала платы за все три недели, на которые снята была комната. Разразился грандиозный скандал. Больше всех старалась моя Митци: благодаря своему немецкому языку она чувствовала себя защитником нашей семьи, ее естественной опорой и покровителем. Крик был стено-сокрушающий, отец сбежал, мать была больна и лежала в постели. Навещавший ее друг нашей семьи Н. А. Подгорный подбежал к ней и потребовал сообщить ему какое-нибудь ругательство. Мать сказала ему: «*Stillschweigen!*» («Молчать!»). Подгорный подскокил к хозяйке, поднял кулаки над головой и завопил во всю мощь своей актерской глотки: «*Stillschweigen!*» Хозяйка испугалась почему-то и, хлопнув дверью, убежала. Дело кончилось тем, что представитель русского консула с представителем германского министерства иностранных дел и с агентом специальной полиции наблюдали за нашим переездом на новую квартиру. Хозяйка опять лебезила и плакалась на то, что благодаря недоразумению и интригам этой *suspekter Person* (подозрительной личности), фрау Митци, она лишается таких хороших жильцов.



Следующая квартира была совершенно прогивоположной: приняли нас суховато-вежливо, но потом так подружились, что при расставании рыдали. Там были, кроме хозяйки, которую я не помню (а это хороший признак), ее отец и мать. Предестные старички «О папа» и «О рара», которые баловали меня: она Pfefferkuchen (пряниками), он — чтением священного писания и обучением молитвам и псалмам. Их восьмилетний внук и шестилетняя внучка были моими друзьями. С детьми я вскоре стал бегать в детский сад, а по воскресеньям мы всей семьей (я разумею свою новую немецкую семью) ходили в Kirche, где я по мере сил пел лютеранские псалмы. Мои родители уехали в поездку по Германии и Австрии, а я с фрау Митци жил в этой уютной семье.

Пока мы жили еще на первой квартире, с родителями произошел следующий казус. Они довольно большой компанией актеров (Лужский с женой, Румянцев, Подгорный...) отправились в полицейский участок регистрировать свои паспорта. Вошли во двор, остановились у входа, увидели ручку звонка, подергали ее — над ручкой была надпись: «Bei Alarm—ziehen» (по тревоге дергать, тянуть). Через несколько секунд мимо них, придерживая тесаки, пронеслись пять-шесть шуцманов, наши побегали за ними, чтобы посмотреть, что случилось. Шуцманы, добежав до улицы, с недоумением остановились, постояли и вернулись обратно. Спросили наших, не видели ли они, кто дергал ручку. Наши сказали, что это они. Полицейские рассвирепели — ведь надо же быть ослами, чтобы не прочесть: «Bei Alarm» — «При тревоге». Покачивая головами, возмущенные и пораженные глупостью этих русских, шуцманы с нашими ввалились в участок. Там и поражались и смеялись. Но когда мой отец на вопрос, сколько он зарабатывает, написал, с точки зрения шуцмана, слишком крупную сумму и тот изумленно спросил: «Aber warum so viel?» («Почему так много?»), ответил: «Aber nicht allein, mit meiner Gemüse» («Но не один, со своим овощем») — весь участок грохнул; отец слово «Gemüse» спутал с «Gemahlin» (супруга) и назвал овощем мою мать.

Участок хохотал долго и громко, как могут хохотать пруссаки, да еще военные, и зарегистрировал паспорта без всяких формальных придирок. Хохотали и в театре, где прозвище Gemüse укрепилось за матерью на несколько месяцев. В. В. Лужский даже меня называл иногда Klein Gemüse.

Воспоминания мои об этой поездке настолько личны и ребячливы, что не заслуживают внимания читателей.

Поездка была, видимо («видимо» — потому что я о ней судить не могу), изумительная. Молодая, дружная, талантливая группа имела действительно огромный успех. Это была реабилитация России, побитой Японией, России с виселицами, усмирениями, погромами и т. д. Реабилитация высокой культурой труда, прекрасным искусством, высотой этики, великодушью дисциплиной, умением себя держать...

Весной приехали в Варшаву. Это уже была Российская империя, но именно здесь театр чувствовал себя самым нежелательным, чужим. Польская интеллигенция, упорно борющаяся за свою национальную культуру, против русификаторской политики Российской империи, отнеслась к приезду русского драматического театра сдержанно, холодно. Но демократизм и человечность Художественного театра покорили и ее. К концу гастролей вокруг театра создалась атмосфера дружбы и признания. Часто впоследствии я слышал воспоминания об этих гастролях как об одной из самых трудных и славных побед Художественного театра. Отец, недурно говоривший по-польски, знавший наизусть и с большим темпераментом читавший кое-что из Мицкевича, рассказывавший

по-польски несколько смешных анекдотов и отлично, чисто по-великопольски танцевавший мазурку, имел, кроме актерского, еще и большой светский успех.

### «Приезжайте, будете довольны»

Сезон, очень тяжелый и утомительный, заканчивался. Надо было подумать о летнем отдыхе. И тут как раз вовремя пришло письмо от Сулера, который в поездке не участвовал и это время был в Крыму, около Алушты, в поселке, который назывался «Профессорский уголок». Сулер писал, что это рай: солнце, море, деревья, луг — все чудесно, и что ждет всех к себе. Мать написала ему письмо, состоящее из десятков вопросов: везти ли с собой постельное белье, посуду, хорошее ли молоко, какая вода, далеко ли врач и т. д. и т. п. — все, что может интересовать мать довольно избалованного ребенка, и жену, очень заботившуюся о здоровье своего мужа, и женщину, уже привыкшую к известному комфорту.

Сулер ко всему этому относился гораздо легче и, любя и ценя мою мать, считал в то же время, что эти барские привычки надо в ней истреблять, что она лучше, чем сама себя выказывает, что в ней «барство» наносное, и, главное, считал, что лучше не испорченной человеком природы на свете ничего нет. Он ответил короткой телеграммой: «Приезжайте, будете довольны. Сулер». Наши поверили и, захав на несколько часов в Москву, поехали в Крым.

«Профессорский уголок» оказался прекрасным местом, но удобства были сомнительные. Вместо кроватей стояли козлы с досками, на которые клали мешки, набитые соломой или водорослями; белье постельного не было — спали на холщовых ряднах и укрывались ими же. Посуды было «крест да пуговица». Но было так красиво, тепло и душевно, Сулер и его очаровательная, добрейшая жена Ольга Ивановна были так веселы и радушны, что мать моя махнула рукой на все свои вопросы и запросы и решила жить, «как птицы небесные», как ее учил жить Сулер.

Через два дня в Ялте должен был идти спектакль «Сын мандарина», который организовал и в котором участвовал Сулер. Все взрослые отправились туда. В нашем отстоящем довольно далеко от других домов домике остались только дети и прислуга во главе с моей Митци.

Я проснулся на раннем рассвете, дрожа от холода, сидя под кустом на одеяле, — в четырех-пяти сажнях от меня пылал наш дом. Другие ребята — Митя Сулержицкий и Тамара и Лель (племянники О. И. Сулержицкой-Поль) — сидели недалеко от меня и тарасили заспанные глаза на огонь. Кухарка выла, нянька кидалась в огонь, пытаясь хоть что-нибудь спасти. Митци ухитрилась вытащить все наше имущество, которое за неимением шкафов лежало в чемоданах, и ругала на своем русско-балтийском диалекте «глупых думкопфов» и «русских тау-генихтсов», затеявших эту «wahnsinnige поездка», когда можно было жить на Остзее со всеми удобствами и в цивилизованной стране, а не среди диких Tataren.

Дом догорел весь, и крыша рухнула и провалилась между сложенными из дикого камня стенами.

Утром появился Сулер прямо из зарослей, посмотрел, присел от удивления, проверил, целы ли все, и исчез в кустах. Он ехал с моими родителями и с Ольгой Ивановной на извозчице, и, когда начался «серпантин» (петляющая дорога), его охватило нетерпение, он выскочил и побежал по крутизне к нашему поселку. Исчез он, чтобы встретить всех и подготовить их к страшному зрелищу.

Мать рассказывала, что он скатился с обрыва прямо под ноги лошадям, так что они чуть не встали на дыбы, и сказал: «Все живы и здоровы, но дача сгорела, не пугайтесь». Через два-три поворота им открылась картина пожарища. Нас все щупали, целовали, плакали от мысли, что бы могло быть, если бы... Целовали и благословляли гордую Митци, которая первая услышала запах дыма и разбудила всех, когда крыша была уже вся к огню.

Мать вспоминала, что в первую паузу Василий Иванович сказал: «Вот уж действительно «приезжайте, будете довольны. Сулер». И не смотря на весь трагизм, на все слезы и вздохи, вся компания во главе с Сулером грохнула от неистового смеха. Эту фразу в нашей среде повторяли десятки лет, когда случалось что-нибудь не соответствующее ожиданиям или надеждам.

Кроме сгоревшего дома, на участке стояла еще частично застекленная беседка. В ней вповалку на полу поселились все «погорельцы». Из камней, оставшихся от сгоревшего дома, сложили печку-очаг (когда клали печь, я ухитрился свалиться и сесть в кадку с жидкой глиной — тут родилось знаменитое сулеровское «от бисова тиснота!»), и жизнь продолжалась совсем уже «по-простому», что так нравилось Сулеру, а потом было оценено и всеми.

Сулер воспитывал всех. Самого ленивого из компании, Василия Ивановича, он заставлял собирать дрова, мыть посуду (это было нелегко — посуды было меньше, чем едоков), собирать на огороде редиску. Как-то он спросил: «А почему нет редиски?» Отец ответил: «Никто не хочет». — «А ты спрашивал, сукин сын?» — И погнал его на огород, подхлестывая по ногам веревкой. Каждое утро он собирал всех жителей от мала до велика на «великий совет племени» и распределял, кто что делает. Портила дело Митци: она была слишком взрослой, не такой *wahnsinnig* (сумасшедшей), по ее мнению, и слишком глупой, по мнению Сулера, чтобы играть в индейцев, как *dumme Buben* (глупые мальчишки), и не приходила на совет. Остальные же все являлись и весь день выполняли намеченный план работ и занятий. Работа заключалась в собирании горючего, уборке «вигвама» и его окрестностей, приготовления пищи и т. д. Один из взрослых должен был «пасти» детей.

Нашим праздником было, когда «пастухом» бывал сам дядя Лёпа. Он делал это необыкновенно талантливо, каждый раз придумывал какую-нибудь новую игру-задание. То мы были робинзонами на необитаемом острове и обследовали его вдоль и поперек, выясняя, какие растения можно есть, какие нельзя и почему, что из растущего и как можно использовать. То мы попадали в безводную пустыню и находили в ней источник — надо было очистить его и сделать резервуар для воды. То мы искали алмазы и для этого изучали песок и гравий в море. Эти игры помогали нам познавать природу и делать полезные людям дела — мы обнаружили, очистили и обложили камнями несколько источников питьевой воды, которая так дорога в Крыму.

Мне кажется, что мы все получали очень много от этой жизни и игры, все, не только дети, но и взрослые, если они не были такими безнадежными мешанами, как моя бонна. Но такая была одна она, все остальные играли с удовольствием. Засыпал я всегда под пение, руководимое Сулером, под его рассказы, прерываемые веселым хохотом и восклицаниями. Дальше я еще раз вернусь к Сулеру — третья встреча моя с ним была уже более сознательной, чем первые две.

Не помню, что было причиной нашего отъезда, но в середине лета наше семейство переехало в Тверскую губернию, в имение Панафидиных Марицыно. Там была снята дача, вернее флигель — служба при барском доме. Места были красивые, хорошие луга, леса, узенькая

лесная речка. Много грибов и ягод. Из смешного помню быка под названием Румянцев. Это был огромный рыжий бык с кольцом в носу, очень злой, считавшийся опасным, но наши, главным образом живший с нами Н. А. Подгорный, приучили его подниматься по нескольким ступенькам к нам на террасу и мычанием выпрашивать хлеба. Морда у него в это время делалась, как говорила мать, «прохиндейской». При хорошем отношении самое злое существо делается ласковым, это мне внушали и доказывали и словами и примером.

Из страшного, тревожного я запомнил разговоры об арестах и казнях революционеров. Все время говорили и спорили и о возможности новой вспышки революции. Кажется, из-за этого мы и уехали из Крыма, боялись, что в случае железнодорожной стачки, которую ожидали, мы будем отрезаны от Москвы. Тверская губерния была ближе, можно было бы и на лошади доехать.

Еще одно, имевшее большое значение для всего нашего семейства, а для меня особенно, событие явилось результатом этого лета и посещения имения Вульфов: нам там подарили щенка — жесткошерстного фокстерьера, сучку по имени Джипси. Эта собака прожила со мной все мое детство, отрочество и раннюю юность. Это была моя первая собачья привязанность. Когда мы с отцом, я в тридцать, он в пятьдесят шесть лет, вспоминали самые счастливые минуты нашей жизни, то одной из самых счастливых моих минут оказалась та, когда вернулась домой пропадавшая три или четыре дня (видимо, украденная) наша Джипси. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, это утро было и для него если не самым большим счастьем, то во всяком случае радостью, оттого что миновало очень большое горе. Для меня Джипси была другом моего детства (я рос без братьев и сестер). Для родителей привязанность к ней тоже была серьезным чувством. Это не было ни кривляньем, ни сантиментом — собака всегда была у нас близким существом. Без собаки не жили никогда.

Когда мать была смертельно больна, отец в тоске пил по ночам коньяк, а Джипси ела сахар, пропитанный коньяком, — под конец они оба хмелели и засыпали. Последняя запись в дневнике отца за сентябрь 1948 года, за десять — двенадцать дней до смерти: «Единственное утешение — Люк». Это последний пес в его жизни. А воспетый Есениным легендарный Джим? С ним у отца была настоящая дружба, и гибель его (от какой-то особенной мозговой болезни) была для отца серьезной драмой. Он часами мог наблюдать собаку, ее поведение, изменения ее настроений, проявления ее характера...

### Быт и среда

Зима 1906—1907 года была для отца очень трудной, он очень много играл и репетировал. В этот сезон он сыграл две такие грандиозные роли, как Чацкий и Бранд. Однако это не мешало ему жить необыкновенно весело. Дом моих родных был всегда, а в эту зиму особенно, открытым домом. И. М. Москвин называл его «бубновским бесплатным трактиром» («На дне»). Народ бывал почти каждый вечер, вернее, каждую ночь. После спектакля, часам к двенадцати, приходили к нам ужинать и сидели часов до двух-трех. Не знаю, много ли пили, думаю, что не особенно, так как пьяных не бывало, но вино (вернее, водка и коньяк) присутствовало обязательно. Еда была несложная — то, что оставалось от обеда, и селедка, огурцы, маринады... Часто гости приносили с собой какие-нибудь деликатесы: кто украинское сало, кто замороженные сибирские пельмени, волжскую стерлядь, петербургского сига, рижские

копчушки или угря. Эти вещи ценились, именно если были привезены кем-нибудь из этих мест, хотя, вероятно, ими торговали и в Москве. Отцу, например, приезжие из Вильно всегда привозили литовскую полендвицу, она у нас не переводилась.

Кроме этих еженощных сидений, раза три-четыре в сезон устраивались большие вечера уже с приглашенными и с подготовкой. Бывало по двадцать пять — тридцать человек. Мать тщательно занавешивала окна и останавливала часы, чтобы рассвет и стрелки часов не разогнали гостей. Видимо, бывало очень весело и интересно, потому что засиживались до позднего утра — расходились, когда надо было идти на репетиции или на утренние спектакли. Меня часто переселяли на эту ночь куда-нибудь к знакомым, чтобы мое присутствие не стесняло гостей и чтобы я мог нормально спать. Иногда же утром, когда не удавалось устроить мне ночлега вне дома и после почти бессонной ночи (так как заснуть при шуме споров, пении, музыке было трудно), я выходил в столовую, там еще пили кофе и спорили об искусстве, боге, поэзии одни, пели под гитару другие, дремали на диване в ожидании, пока выйдет время идти на работу, третьи. Бывали люди театра и литературы; вот приблизительный список тех, кто бывал: Эфрос Николай Ефимович, литератор, театральный критик; Смирнова Над. А. — актриса; Смирнов А. А. (ее брат) — юрист и переводчик; Ю. К. Балтрушайтис — поэт; Дживилегов Ал. Карп. — ученый, литератор-искусствовед; его жена Екатерина Нерсесовна — хозяйка московского «салона»; Санины — он, жена (Лика), сестра (переводчица), брат (врач и актер); Кайранский (художник, искусство- и театровед); Мандельштам — юрист; Лидов П. П. — юрист; Москвин И. М., Муратова Ел. Пав., Балиев Н. Ф., Шуванов М. И., Подгорный Н. А. и Подгорный В. А., М. М. Блюменталь-Тамарина, ее сын Всев. Ал. Блюменталь-Тамарин, Н. Н. Званцев, Н. П. Асланов, Л. А. Сулержицкий и актерская молодежь: Коонен, Хохлов, Гиацинтова, Ефремова. Берсенев, Болеславский, Базилевский, Хмара и другие.

Кроме обычных гостей, почти всегда бывал кто-нибудь в первый раз (потом он иногда делался постоянным); так, был скрывающийся под другой фамилией Н. Э. Бауман, раз или два были Горький, Блок, К. Коровин, Шалапин, Собинов, Бахрушин, доктор Боткин, Леонид Андреев... Приглашались не за именитость, никакого «салона» составить не пытались, звали людей веселых, умеющих веселиться и веселить других.

Бывал брат актрисы Художественного театра Ефремовой, которого звали из-за того, вернее для того, чтобы он организовал цыганщину, и он иногда приводил с собой цыган — миловидную Шуру Мархаленко и старуху Настю Полякову — и сам аккомпанировал им на гитаре. Шуванов играл на саратовской гармонике и чудно пел. Москвин организовывал русский хор, Сулер — украинский... Блюменталь-Тамарин играл на рояле и пел, как *diseur*. Где-то в другой комнате читали стихи отец, Вл. Подгорный, шутили и острили Балиев, Асланов, Дмитриев... Но больше всего спорили. Спорили до хрипоты, визга и оскорблений, с трудом мирились (а иногда и не мирились, и кто-нибудь уходил, хлопнув дверью, и мирились уже на следующий раз) и опять спорили.

Темы споров были самые разнообразные: и о политике (ведь бывали эсдеки, кадеты, анархисты и даже монархисты), и о философии и религии, и об искусстве и, главное, о театре, ролях, актерах, пьесах, режиссерах, спектаклях.

Эти споры были основным содержанием вечера. Все остальное — пение, музыка, шутки и розыгрышы — было больше гарниром к основному: к беседе, к высказыванию своих убеждений, исповедованию и проповедованию своей веры... И так как думали и верили искренно и глу-

боко, так как свои мысли любили и ценили, то, конечно, стремились убедить и других (одни), утвердить себя в своих убеждениях, укрепить в себе свою веру (другие) — возникали знаменитые русские интеллигентские споры. Интересно, что злее, яростнее всего спорили самые близкие, самые родные (буквально) друг другу люди. Например, не было более резких контрастов, чем у Н. А. Смирновой с ее братом. Он разбивал ее теории, громил ее построения, доказывал ей ее диалектическую беспомощность, отсутствие логики, несостоятельность мысли... Она плакала, взывала за помощью к Эфросу, тот не поддерживал ее, так как не был с ней одних убеждений, а отступать от них он не мог даже ради уважаемой и бесконечно обожаемой жены. Споры были глубоко принципиальными, ведь люди были все друг от друга независимы, никто ничьих симпатий или благоволения в корыстных или карьеристских целях не завоевывал. Эти люди были нужны друг другу только как друзья, приятели, как питательная среда для своей умственной деятельности. Они тянулись друг к другу и потому тоже, что искали радости, веселья, потому что были приятны друг другу, потому что составляли компанию, в которой просто, легко и уютно сиделось, хорошо елось и пилося...

Ели и пили, конечно, много. Вечера матери славились вкусом, обилием еды и питья. Еще накануне мать делала свой знаменитый «соус провансаль», который подавался и к заливной белуге, и к раковым шейкам, варенным в вине, и этим же соусом заправлялся грандиозный салат. Пили водку и заготовленный в двух ведрах крюшон из белого вина, фруктовых отваров и шампанского. К концу ужина пили кофе с коньяком, утром — чай и опять водку под яичницу с черным хлебом. Стоили эти вечера по сто пятьдесят — двести рублей каждый. Вообще пропивали, вернее проугащивали, очень много денег. Это видно из того, как строился бюджет: отец получал сначала около тысячи, а потом и тысячу рублей в месяц, на все хозяйство мать брала у него триста рублей — хватало на квартиру с отоплением и освещением (сто двадцать рублей в месяц), на прислугу (сорок рублей), на еду (около ста рублей), на мою учебу (гимназия, языки) и на мелкие расходы. Жалованье матери шло на ее одевание и ее карманные расходы. Значит, семьсот рублей в месяц отец тратил на свой и мой гардероб и на свои «карманные расходы»: из них оплачивались все вечера, из них он тратил на «в долг» (он очень много раздавал), на чаевые, извозчиков, на все развлечения и подарки. Не откладывали ни одного рубля. Ничего «ценного» не покупали, даже книги и картины были все дареные. Жили от получки до получки, никакого «страхового фонда» не было. Если нужен был какой-нибудь экстренный расход, занимали у Марии Михайловны Блюменталь-Тамириной — у нее почему-то всегда были свободные деньги и она охотно их одалживала.

Так же широко и беспечно жили, насколько я знаю, почти все члены компании. Все много зарабатывали, и все всё, а некоторые больше того, что имели, проживали. Ни у кого из них не было ни дач, ни автомобиля, ни счетов в банке, ни ценных бумаг, ни бриллиантов (кроме тех безделушек, которые носили на пальцах и в ушах).

Богатства, зажиточности скорее стеснялись, чем хвалились и хвастались ими. С нуждающимися делились. Вся молодежь Художественного театра широко пользовалась займами у своих старших товарищей. Когда один из молодых актеров — Подгорный — заболел туберкулезом, ему помогил год прожить в Давосе (Швейцария), в одном из лучших санаториев, помогли бескорыстно и без всяких надежд на возмещение. Образцами, трудно достижимыми идеалами для всех были активные революционеры, которые жили от ареста до ареста, от высылки до высылки. Их жертвенность была мерилем того, как должны жить, как от-

носиться к жизненным благам настоящие люди. Они и земские деятели (учителя, врачи) — вот это люди, а все остальные — это или активные, или пассивные мешане.

Боязнь мещанства, буржуазности, ожирелости во многом определяла умонастроения этой среды. А она была, мне кажется, довольно типична для настроения всей русской интеллигенции того времени. Но идеалом в революционерах для этой части интеллигенции были далеко не всегда их цели, их программа, то, во имя чего они действовали, а больше этическая сторона их действий, то, как они действовали, как жили, как не жалели себя, как не стремились к личным благам. Идеи же и программа их многим были чужды.

К настоящей буржуазии, то есть к богатым меценатам, относились очень по-разному. К некоторым шли в гости или по их приглашениям в ресторан, видя в них довольно цинично только «карасей», то есть богатых угощателей. Некоторых принимали как своих, невзирая на их богатство. Одних за их ум и вкус (Бахрушин, Шукин), других за талантливость (Н. Л. Тарасов), третьих за простоту, радушие, доброту и богемную широту (Комиссаровы). В некоторых ценили умение собрать у себя сливки общества (Л. Г. Марк, Г. Л. Гиршман), в некоторых ничего не ценили, а просто ходили есть омаров и устриц, медвежий окорок и фазанов, пить «мартель» и «редерер», нюхать в январе пармские фиалки и розы из Ниццы и поглаживать сдобные тела хозяек, их сестер и дочерей.

Компания моих родных была в этом мало грешна: были такие грехи и у них, но это не было типично и случалось редко, главным образом во время поездок — Одесса, Киев, Петербург... О некоторых вышеупомянутых хочется вспомнить поподробнее.

О А. А. Бахрушине и С. И. Шукине всем и без того известно, но вот о Тарасове надо рассказать. Ему было двадцать четыре — двадцать пять лет, когда он познакомился с актерами Художественного театра и полюбил этот театр. В 1906 году в Берлине он одолжил театру тридцать тысяч рублей, выручил его из тяжелого финансового положения. Этим он стал не только другом, но и пайщиком театра, членом его «товарищества». Необычайно одаренный дилетант, он с одинаковой легкостью писал стихи, сочинял скетчи и пьески, рисовал карикатуры и эскизы костюмов. Все это было не всерьез, конечно, но очень талантливо и изысканно-тонко по вкусу. Начитан и эрудирован был он до чрезвычайности. Стихом владел легко, свободно и грациозно, но писал «под такого-то» и в стиле того-то. Это были шутки, пародии, иногда и не пародийные, тонко угаданные поэтические подделки, стилизация... То же было и с живописью — он подарил отцу написанный маслом этюд «под Коровина» с очень похоже сделанной под Коровина подписью. Отец повесил этот этюд на стене своей уборной, и все «знатоки» и «ценители», складывая руки трубочкой, любовались этим произведением и не сомневались в его подлинности. Только А. Н. Бенуа немедленно понял «подлинность» этого произведения.

Тарасов был мультимиллионером — он владел нефтеносными землями, был совладельцем большого торгового дома в Екатеринодаре, был пайщиком ряда акционерных компаний и предприятий, — и богатство губило его тем, что он ничего не должен был делать, а одного жизненного любия, чтобы жить, ему не хватало. Он больше уважал себя, чем любил, а уважать себя ему мешало отсутствие настоящей профессии, настоящего права на самоуважение. Он никому не верил — ни друзьям, ни женщинам, за всяким их отношением к себе видел один стимул — свое богатство. Отец мой был, может быть, единственным его приятелем, в бескорыстие которого он верил, так как отец никогда ничего у него не

брал и ничем не был ему обязан. И вот первый же неудачный роман, подтвердивший его самоощущение, — и этот красивый, здоровый, богатый, умный, одаренный, «счастливый молодой человек» застрелился. Женщина, с которой он был в близких отношениях, потребовала у него денег для своего любовника, который грозил ей, что покончит с собой, если она не добудет ему денег. Она сказала Тарасову, что, если тот погибнет, она тоже убьет себя. Тарасов ответил, что тогда и он застрелится. Узнав о ее смерти, Тарасов лег в постель, закутался толстым одеялом, чтобы заглушить звук, и выстрелил себе в сердце. Его нашли мертвым через десять часов после этого.

Созданием Тарасова была «Летучая мышь» — театр миниатюр, выросший из МХТовских «капустников» и завоевавший впоследствии всю Москву, Петербург, Париж, Лондон и США. Первые программы этого театра были созданы на девяносто процентов им. Он сочинял тексты, подбирал музыку, рисовал эскизы... Если бы он дожил до Октябрьской революции и своей финансовой катастрофы да остался бы в России — это был бы интереснейший деятель театра. Кто знает, что еще таилось в его талантливой и умной голове.

Совсем иным был другой друг Василия Ивановича — Василий Васильевич Прохоров. Он тоже был очень богат, тоже тянулся к искусству, к театру. Это был человек огромного темперамента, жизнерадостности и жизнелюбия. Физически он был могуч, здоров и вынослив почти нечеловечески. В него стреляли в упор, он получил несколько ран, они зажили. На самой заре авиации он приобрел во Франции самолет, научился летать на нем и разбил его, разбился при этом сам, пролежал несколько месяцев, и полетел снова, и снова разбился, чуть не утонул, так как пролежал под обломками самолета, рухнувшего в реку, несколько часов в воде, и... снова летал, как только оправился. Он был охотником, у нас были чучела убитых им огромного волка, рыси, шкура медведя. Думаю, что он был плохим капиталистом — деньги интересовали его только в плане расходов, а не доходов. Тратил он их широко и весело. Когда произошла революция, он потерял все состояние, но не потерял главного — любви к жизни, к людям, к искусству. Торгуя на Арбате пирожными, которые делала его жена, он одновременно коллекционировал иконы («Главным образом ангелов, архангелов, серафимов и херувимов — летчики, понимаешь!» — так он объяснял свое увлечение отцу) и воспитывал дочь: из нее вышла первоклассная балерина, прославившая советский балет в Англии и Италии. В дальнейшем он нашел себе достойное своих знаний, умения и энергии место в советской жизни и хозяйстве и работал инженером на ответственной работе в ВСНХ. Вражды к советскому строю у него быть не могло: он любил людей и жизнь, а не себя; перефразируя Станиславского — любил жизнь в себе, а не себя в жизни.

Художественному театру была очень близка семья Комиссаровых. Михаил Герасимович Комиссаров был сыном владимирского крестьянина, пришедшего в Москву в лаптях и оставившего сыну большое состояние: несколько доходных домов в Москве, имение и фабрику во Владимирской губернии. Сам Михаил Герасимович был крупным общественным деятелем и еще более крупным благотворителем. Самая значительная в его состоянии доходная статья была квартирная плата, которую он получал от жильцов своих домов. И эта статья год от года сокращалась: Михаил Герасимович снижал плату, одновременно увеличивая расходы на ремонт и усовершенствование квартир. Делал он это совершенно сознательно: квартирантами его были люди небогатые и он не мог допустить их эксплуатации. Это было, так сказать, косвенной благотворительностью, но много он расходовал и на богадельни, приюты, сти-



пендии и т. д. Его жена Мария Петровна была урожденная Смирнова, дочь знаменитого водочника Петра Смирнова. Если наш дом называли бесплатным трактиром, то уж комиссаровский был бесплатным перво-класснейшим рестораном. Щедрость, широта, радушие и гостеприимство этой семьи были неслыханными и неправдоподобными. Простота, душевная теплота и ласка покоряли актеров. Это был, в сущности, клуб, в котором в любой день и час можно было уютно посидеть, побеседовать с милыми людьми, успокоить и привести в порядок нервную систему. А что еще нужно человеку искусства?

Впоследствии два сына Комиссаровых стали актерами, а Михаил Герасимович, когда лишился всего состояния, поступил в Художественный театр бухгалтером и работал в нем до конца жизни.

Перечел написанное и испугался: может создаться впечатление, что родители и их компания только шутили, смеялись, пьянствовали и веселились, во всяком случае что мне тогда так казалось. Это было бы неверно. Даже и тогда я понимал, что это не так. Работали они все очень много и очень напряженно. Почти каждое утро, когда бы ни легли накануне, вставали не позже десяти часов, чтобы к одиннадцати быть на репетициях, заканчивающихся в четыре — в половине пятого. В пять обедали, спали тридцать—сорок минут и бежали или ехали в театр, чтобы в семь часов начать гримироваться.

Очень ясно помню эти часы (с шести до половины седьмого), когда в квартире сохранялась полнейшая тишина — все ходили на цыпочках, говорили шепотом. В половине седьмого отец быстро выходил из своей комнаты, выпивал, не садясь, стакан очень крепкого, уже остывшего чая (его наливали минут за десять—пятнадцать до этого), брал портсигар, в который я заранее закладывал за желтые резинки душистые папиросы, и, защелкнув его с громким треском, но абсолютно не больно о мою голову, на что я отвечал ему шлепком по спине (это была наша с ним традиционная ежевечерняя ласка-шутка), быстрыми шагами шел в переднюю одеваться. Прodelывал он все это абсолютно молча, только иногда громко прочищал горло, как бы откашливался, пробуя голос. Глаза его смотрели куда-то мимо, весь он был другой, чужой, подобранный и сосредоточенный...

И ведь работали не только в театре на спектаклях, репетициях и разных тренировочных занятиях: часто ночью я просыпался от громкого, не домашнего, не разговорного голоса отца — он работал над ролью, пробовал какое-нибудь сильное место.

У нас одно время была кухарка — она, услышав его ночные занятия, заявила, что уходит, не желает служить в доме, где сумасшедший хозяин сам с собой по ночам разговаривает на разные голоса, смеется, плачет, скулит по-собачьи (отец работал тогда над ролью Анатэмы).

Одно время Василий Иванович увлекался упражнением в умении носить костюм: одетый в легкую пижаму, он выходил к нам, домашним, и каким-нибудь «своим» гостям (у нас всегда почти кто-нибудь обедал) и просил, чтобы мы угадали, «во что он одет». По тому, как он ходит, как садится, как держит голову, руки, мы должны были определить, что на нем — фрак ли, мундир, николаевская ли шинель или испанский плащ... Вот он выходит, переваливаясь, садится, широко расставив ноги, одной рукой разглаживает что-то на груди, другая с трудом охватила пустоту против живота.. И ясно видно, что это толстый, сановный, бородатый боярин выпростал бороду из-под бортов шубы, поглаживает лежащее на коленях отвислое брюхо. Так он по очереди являлся то гусарским корнетом, позванивающим шпорой, играющим темляком сабли; то новогодним визитером в непривычном фраке, с цилиндром, который он «грациозно» ставит на пол, бросая в него перчатки, и садится,

раскинув фалды; то священником с епитрахилью; то половым «шестеркой» и т. д. Он очень радовался, если мы угадывали его замысел, и огорчался, если нет.

Из посторонних, кто присутствовал и принимал участие в этих играх, я помню молодого актера Художественного театра Юрия Ракитина. Он одно время был нашим постоянным гостем и на своей фотографии написал такие стихи:

Качалов! В грустный час досуга,  
когда лишь прошлое в уме,  
я вспоминаю ласкового друга  
в домашней, легкой пижаме.  
Ваш Дима, Нина Николавна,  
как я обедать к вам ходил  
всегда к пяти часам исправно.  
Качалов, я ведь Вас любил!

Это, конечно, никакого отношения не имеет к костюмным упражнениям, но Ракитин вспомнился как их участник.

Работал над своим телом, над манерой держаться очень много и Константин Сергеевич. У него дома в спальне было огромное трехстворчатое зеркало, в котором он мог себя видеть во весь рост и во всех поворотах. Потом он отвергал пользу и привычность таких упражнений, даже допустимость их при «системе», но Мария Петровна говорила, что он все-таки перед этим зеркалом работает.

Надо сказать, что оба они носили фрак (да и вообще всякий костюм) с удивительным искусством. Это не было опереточное, пшютовское изящество фрачного актера, нет,— это было мужественное, благородное умение правильно почувствовать себя в этом удивительно красивом костюме.

Лето 1907 года жили в Пузыреве. Необыкновенно красивая местность на озере в Новгородской губернии. В доме, который снимали наши вместе с Эфросом, жили еще и Смирновы — брат Надежды Александровны и его жена, «маленькая Нина», как ее звали, чтобы не путать с Ниной — моей матерью. Жизнь была, видимо, приятная и веселая. Те же шутки и розыгрыши, те же разговоры и споры об искусстве, философии, театре. Те же постоянные «выяснения отношений». Необыкновенно добрый, любящий, ласковый Николай Ефимович Эфрос, веселый Саша Смирнов, который был больше всех «мальчиком» и моим товарищем — делал мне луки и стрелы, жег костры, организовывал большие прогулки, которые у них называли Entdeckungsreisen. Совсем юная, нежная и смешливая его жена. Строгая, иногда свирепая, иногда шутивая и всегда сварливая старуха нянька «баба Анисья», родившаяся в тридцатые годы XIX века. Она вынянчила Надежду Александровну и всех ее сестер и братьев и не могла отвыкнуть обращаться с ними, как с детьми. Случалось, что она, рассердившись на кого-нибудь из своих питомцев, снимала с себя фартук, свертывала его жгутом и пыталась лупить их. Рассказы о ней, изображение ее, ее словечки, определения были постоянным материалом для семейных «номеров». Ее очень любили и, как полагалось в этой среде, очень смеялись над ней.

На другом берегу озера жили Санины. А. А. Санин был одним из основателей Художественного театра, его женой была Лидия Стахивна Мизинова (Ли́ка) — в нее, девушку, был влюблен Антон Павлович Чехов. В это время она была уже далека от девушки Ли́ки Мизиновой: высокая, очень полная, с пышными, обильными матово-каштановыми с проседью волосами и сочными, полными губами жен-

щина. Про нее говорили все взрослые — «красавица». Мне это было непонятно — уж очень крупна и полна она была. Красивыми мне казались только ее глаза. Они были какие-то тепло-блестящие, веселые, ясные и мохнатые — это, видимо, от мохнатости густых и мягких, истинно соболиных бровей и темных, длинных и густых ресниц. Но и сами радужные оболочки были какие-то не плоские, а серо-синие и в полосу, казались тоже рельефными и «мохматыми». Она, несмотря на свою полноту, не казалась тяжелой. Ее полнота была воздушной, она не прижимала ее к земле, а поднимала вверх. Легкая походка, легкие, порывистые движения, жесты, которые как бы подкидывали ее. Волосы, бархатистая кожа плеч, рук и лица — все было пушистым, пронизанным воздухом. Даже почти непрерывно выходивший из ее рта дым (она много курила) не стлался душным слоем, а взлетал легкими пуховками, казавшимися душистыми и свежими. Она была громкой, горячей — то гневной, то хохотуньей, открытая сама и внимательно-заинтересованная в других. С ней никто не «выяснял отношений» — они всегда и со всеми были у нее ясными, ей рассказывали о самом сокровенном, самом тайном и мучительном. Видимо, она умела слушать и понимать, видимо, любила людей и умела смотреть в глубину их не с любопытством, а с любованием, проникновением и любовью к ним.

В архиве Музея МХАТ хранится письмо моего отца к Лидии Стахиевне. В этом письме он так глубоко распахивает перед ней свою душу, как я не помню, чтобы он это делал перед кем-нибудь, кроме меня в годы моей полной зрелости.

И вот эта честная и вдумчивая женщина абсолютно верила своему насквозь лживому и фальшивому мужу. А. А. Санин был, видимо, хорошим, опытным, может быть, даже талантливым режиссером. Он после Художественного театра работал в Петербурге, в 1912 году вернулся в Москву в Свободный театр, где поставил нашумевшую «Сорочинскую ярмарку», был главным (не по званию, а фактически) режиссером в Малом театре. В 1922—1923 годах за границей ставил оперные спектакли в Париже, Барселоне, Милане, Нью-Йорке и т. д. и т. п. Везде и все с неизменным успехом. Но все это не мешало ему быть образцом фальши и вместилищем лжи и притворства. Крещеный еврей, он был богомольно-православным, как московская богаделка, крестился на каждую церковь и говел по три раза в год. Безжалостный, беспощадный карьерист, он завоевывал симпатии и готовность хора и кордебалета тем, что знал по имени каждую последнюю фигурантку и льстил им, как самый типичный демагог. Узнав окольным путем, кто из «девочек» пользуется покровительством высокого начальства, делал этой фаворитке молниеносную карьеру. Лгал и льстил хормейстерам, балетмейстерам, дирижерам, машинистам сцены. Этим он добивался от очень наивных (на Западе особенно) работников театра максимальной отдачи сил. Не привыкшие к вниманию, к тому, чтобы их труд отмечался и оценивался, «маленькие люди» театра верили ему и лезли вон из кожи, чтобы услышать: «Мими, вы, в третьем ряду, вы, именно вы, Мими, моя радость, вы образец грации! Будьте все, как Мими!» Или: «Робер, вы, там, в трюме, вы настоящий мастер, вы артист!» Или: «Оркестр! Молчание! Пусть сыграет соло мой дорогой Жак, соло на контрабасе, вы гений, друг мой!» и т. д. Люди поумнее пожимали плечами, или злились, или смеялись над ним, но дураков, веривших ему, было неизмеримо больше, и на них он и опирался. При любой ссоре, при любом расхождении мнений он каждому говорил о его полной правоте, о высоте его художественного вкуса, о пошлости, тупости и мешанстве его противника. Через несколько минут то же он говорил противнику. Были редкие случаи, когда его разоблачали, но он сейчас

же превращался в абсолютно бестолкового, рассеянного, погруженного в творчество, не от мира сего человека.

Раз я (это было в Париже в 1924 году) сам услышал, как он ругал меня Балиеву за расточительность и бесхозяйственность, а за полчаса до этого он обнимал меня, крестил и благословлял на борьбу с «этим кулаком, Плюшкиным, халтурщиком Балиевым». Когда я подошел к нему и, почти плача, спросил, как это он может быть таким, он просто притворился глухим и «не понял», о чем я говорю, но сказал, что мой гнев, смысл которого он не понимает,— святой гнев и мои слезы — светлые и благодатные слезы...

А вот умная и тонкая Лидия Стахивевна считала его чуть не святым в его наивности, энтузиазме, любви к театру и людям, в полном забвении себя. Вот что значит ослепление любви! У него было совершенно несимметричное лицо — разные разрезы глаз, на разной высоте и разного рисунка брови, разные ноздри. Кто-то сказал, что у него лицо тряпичной куклы, у которой дождем размыло черты лица. Моя подружка пятилетняя Катя (племянница Нади Смирновой) сказала ему: «Дядя Саня, у вас лицо тряпичной куклы». Он посерел и перекопился от злости: «Это кто так сказал, девочка, кто? Ведь это не ты придумала, кто?» И вдруг из всегда ласкового, добренького, почти юродивого от доброты и простоты дядя Саня превратился в волка. Это превращение мы с Катей запомнили на всю жизнь. Мы долго боялись его, что у менее наблюдательных взрослых вызывало полное недоумение. Когда он приходил к нам и со словами «под тень Нинкиных ресничек» припадал к ногам моей матери, мне всегда хотелось позвать кого-нибудь на помощь — чувствовал, что матери угрожает опасность.

Санин всю жизнь был нежнейшим мужем, братом. Его брат и его жена жили почти целиком на его счет, сестра Катя жила у них совсем. Когда же в старости он заболел психически, пунктом его помешательства была иступленная ненависть к близким. Приступы буйного помешательства случались с ним только при виде и даже при упоминании имен жены, брата, сестры. Это было следствием того, что он десятки лет притворялся и лгал, когда, содержа их, работая на них, ненавидел их всех.

Я с детства ненавидел и боялся А. А. Санина, видя в нем воплощенные скрытого зла и засахаренной подлости.

За этим летом наступила страшная зима. Мать взяла годовой отпуск и подписала на зимний сезон контракт в Ригу к Незлобину. Меня она взяла с собой. Начала она сезон очень хорошо. Первой ролью (кажется) была Йола в пьесе «Йола» Жулавского. Мы спали с ней в одной комнате; думая, что я сплю, она работала над ролью. Пока это были только слова, я только слушал ее, но когда она по десять, пятнадцать, двадцать раз падала на пол (по пьесе граф, ее муж, подстреливает ее из лука, когда она в состоянии лунатизма ходит ночами по стене замка), выработывая падение, «как подкошенная», мне делалось ее безумно жалко, я ревел под одеялом и клялся, что никогда не буду играть на сцене.

Наступила сырая, дождливая рижская осень, мать простудилась, насморк перешел в воспаление уха, надо было делать прокол нарыва на барабанной перепонке. В Риге были хорошие врачи, но квартирохозяева рекомендовали своего знакомого плохого врача. Он сделал прокол так, что началось общее заражение крови. Матери за эту зиму сделали две трепанации черепа и три операции около бедра, где процесс проходил с особой остротой. Кроме того, в эту же зиму ей вырезали аппендицит; всего, с проколом уха, она перенесла за пять месяцев семь операций под наркозом.

В Москву ее привезли в марте 1908 года совершенно инвалидом.

Только летом она начала ходить, вернее передвигаться: ей сделали скамеечку-козлы, она переставляла их перед собой и таким образом передвигалась с места на место. То, что она все это перенесла и осталась жива, считалось чудом. С ноября, когда меня перевезли из Риги в Москву, и до марта я считался сиротой, и баловали меня все отчаянно.

Лето 1908 года мы жили в селе Спасском, недалеко от Коломны, в имении светлейших князей Ливен. Устроил нас туда друг и пайщик, а потом и актер Художественного театра А. А. Стахович. Стахович, не будучи ни титулованным, ни особенно родовитым, был членом самого najwyżшего петербургского общества. В 1878 году он окончил Пажеский корпус и был выпущен в лейб-гвардии конный полк. Конногвардейцем он военной карьеры не сделал, но светскую карьеру сделал блестящую. В конце девяностых годов он был флигель-адъютантом и адъютантом московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Живя в Москве, он увлекся Художественным театром, стал его другом, пайщиком, членом его правления, а затем, еще задолго до революции, сравнительно нестарым человеком (пятидесяти с чем-то лет), бросил военную службу, вышел в отставку и поступил актером в Художественный театр. Мой отец приветствовал его приход в театр в стихах, из которых я помню только отдельные куски:

...что вышел ты в запас  
всего лишь генерал-майором.  
Благословен тот день и час,  
когда ты сделался актером.

. . . . .  
И генералом будь от сцены  
его величества Орла (К. С.),  
и адъютантом Мельпомены.

Он очень дружил с Константином Сергеевичем, был с ним даже на «ты» (это было, кажется, единственное «ты» Константина Сергеевича, кроме родственников и Ф. И. Шаляпина). Константин Сергеевич ценил его бескорыстную преданность театру и ему как учителю. Ценил его безукоризненную светскость и тактичность, его действительно хороший тон, так непохожий на «бонтон» изысканно воспитанной буржуазии. В смысле манер, тона, правил поведения он был истинным *arbiter elegantiarum*, Петронием Художественного театра.

Как актер Стахович был... вернее, он просто не был актером. Это была маска аристократа, живое амплуа... Лучше всего он играл Степана Верховенского в «Бесах» Достоевского — там он был самим собой. В Репетиловое он был тем же Стаховичем. В Дон-Карлосе («Каменный гость») он был ужасен — вялый барин, петербургский лев, а не сжигаемый пламенем любви и ненависти гордый испанский гранд.

Стахович считал, что великолепно умеет обходиться с «людьми», что они его любят и преданы ему, что они ему блестяще доказали в апреле 1917 года, разгромив его имение в Орловской губернии. Прислугу он умел не замечать или «дружить» с ней так, что это получалось обиднее хамства.

Революция была для него и экономической и моральной катастрофой — ему во всех смыслах стало нечем жить, она его опустошила и выжгла. В возможность, в свою способность стать профессиональным актером, живущим на свой заработок, он не верил, а уехать за границу и жить на содержании у брата или сына не хотел. В марте 1919 года он повесился.

Жили мы в Спасском той же компанией — семьи Эфросов и Смирновых и наше семейство с тетей Сашей и с Верой.

Гостили у нас Надежда Ивановна Комаровская со своим мужем — художником Константином Коровиным. Он писал у нас на завитой хмелем террасе, а Надя Комаровская в красной шелковой кофте позировала ему для пятна-контраста. Ходили к нам в гости и молодые жильцы из дворца: Андрей, Петрик, Машенька, красавица Дженнинька и шестнадцатилетняя Драшка (Александра) — дочери Стаховича. Думаю, что им было у наших скучно: ни спорта, ни спирта, ни флирта у нас не было, а споры о Шопенгауэре, Скрябине, Врубеле и Ленском им были неинтересны. Пришла как-то и сама «светлейшая» княгиня Ливен. Села на террасе, сделала широкий жест и... разбила синюю стеклянную вазу, очень смутилась и велела мне с ней идти во дворец, чтобы прислать со мной другую вазу. Я пошел. Она ушла в дом, оставив меня в холле. Через несколько минут ливрейный лакей вручил мне серебряный кашпо с металлопластикой. Лакей постучал пальцем, чтобы я услышал звон, и сказал: «Серебро. Небось их светлость дрянь разбила, а отдадут!.. Ведь это какая вещь, ведь это капитал!» И вздохнул. Я чуть не заплакал, но не боялся, побоялся демонстрации. Дома я ничего не рассказал, тоже боялся демонстрации, которую могла бы устроить мать. Только зимой рассказал, и оказался прав, что молчал, — мать вышла из себя от обиды даже через полгода после происшествия. Отец смеялся: «Лакей же нахамил, а не она, а если бы сказать — ему была бы неприятность. Молодец, что смолчал и там и дома. Вообще хамить нельзя, а стерпеть хамство можно. Даже хорошо. Потом хорошо будет вспомнить, что тебе нахамили, а не ты. А вот если нахамить — потом тошно бывает на десять лет».

Зиму 1908—1909 года помню плохо. Праздновался десятилетний юбилей театра. Хотя Василий Иванович был поистине ведущим, как теперь говорят, актером (тогда говорили «премьер»), то, что он не был основателем, ему дали почувствовать. Он был этим очень огорчен. Кроме того, он был очень обижен за мать. Ее как-то уж очень формально приглашали на празднество.

Как прошли юбилейные дни — я не знаю, об этом у нас дома не говорили совсем.

В доме было уныло, мать очень тяжело переносила свое положение калеки. Ей стало лучше, она уже ходила просто с палочкой, но и это ее терзало. Бросалась то за изучение английского языка, то шахмат... Отец очень много работал — и репетировал, и играл, и начал выступать в концертах со стихами и прозой. Проверял свой репертуар очень охотно на мне — не скучно ли мне его слушать; особенно помню «Ярмарку в Голтве» Горького и «Рассказ переплетчика» — не знаю чей. Мать тоже готовила концертный репертуар: хотела попробовать недоступную ей сцену заменить эстрадой и стать чтицей, но и сама была недовольна собой, и у отца хватило мужества раскритиковать ее. Она и плакала, и приходила в отчаяние, и обвиняла его в жестокости («Отнимаешь у человека последнюю надежду, вместо того чтобы помочь»), но поверила ему и работу прекратила.

Сезон 1909—1910 года принес отцу один из самых грандиозных успехов его актерской жизни. Он сыграл Анатэму. Пьеса даже и тогда казалась плохой, псевдоглубокой, с претензией на философскую проблемность, но образ обывателя — дьявола, страдальца и богоборца, очевидно, как-то сверхъестественно «лег» на внешние и внутренние актерские данные отца. Это был триумф. Не знаю, что писала пресса, но помню заплаканного, с красным носом, с мокрыми от слез усами Н. Е. Эфроса, который прибежал к нам прямо из редакции «Русских ведомостей»

утром, когда еще родители спали, как он схватил меня на руки, целовал и приговаривал: «Твой отец гений, гений твой Вася». Правда, потом он ругательски ругал Андреева, и театр, и рецензентов, хваливших автора и пьесу. Но отца он оценил предельно высоко.

Другим свидетельством успеха отца была реакция моей толстухи-француженки, усатой полуиспанки м-ль Перера, которая приходила ко мне в двенадцать часов дня и оставалась с нами обедать; так вот, после того, как она посмотрела «Анатэму», она, увидев отца, побледнела, закрестилась и, бормоча какие-то не то молитвы, не то заговоры, ушла домой и за стол с отцом не садилась недели две. Она говорила, что у нее сжимается сердце, когда она видит его руки, его пальцы дьявола — *ses doigts crispés du Satan*, на которых она видела длинные черные когти. Когтей не было, их сочинила суеверная фантазия старой испанки, учившейся в иезуитском монастыре, но грим был необыкновенно удачен. Изменены были весь череп, шея, грудная клетка, кисти рук. Лицо было преобразено и гримом, и долгим трудом выработанной мимикой.

Я спектакля не видел, слышал только сначала дома, потом в концертах монологи из него. Мне они никогда не нравились, и, когда я признался в этом отцу, он сказал, что я прав, что у меня правильный вкус, потому что это все дешевка, трюк и кривлянье, что и Константин Сергеевич это все тоже не нравится, «можешь этим гордиться».

В том же сезоне отец сыграл Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты». Успех тоже был огромный, может быть, только у другой несколько публики... «Анатэма» нравилась философствующей молодежи, читателям Мережковского и Розанова, молодым ницшеанцам и штирнереанцам, членам клубов самоубийц, девицам-садисткам и тому подобной московской накипи. «Мудрец» был козырем для поклонников МХТ: «Вот и Островского они играют лучше, чем в Малом». Им восторгались и интеллигенты и буржуазия. Успех Василия Ивановича был огромен. Кроме актерского успеха, он имел еще и грандиозный «мужской» успех — он был очень красив, очень по-мужски обаятелен в этой роли. Поклонниц развелись стада, не только ему, даже и мне не давали прохода: «твой папа красавец», «божество, вот что такое твой отец», «Аполлон», «Дионис»... Мы выходили из дому черным ходом. Телефон был засекречен: его не было в телефонной книге, его не сообщала справочная, и все-таки его номер меняли по два раза в год (у матери была такая запись в телефонной книжке: «Телефонный господин Карл Иванович»: это был кто-то из начальников телефонной станции, который устраивал этот обмен).

Одна из наших горничных продавала поклонникам поношенные носки отца по десять рублей за носок, по двадцать пять рублей за пару. Его носовые платки ходили по пятнадцать—двадцать рублей, окурки — по рублю за штуку.

Отец и этой своей («На всякого мудреца») работой был недоволен. Недоволен тем, что не мог заставить себя быть смелым, не бояться снижения успеха, того, что «не примут», добиваться не успеха и «приема», а высот истинного искусства и высот истины в искусстве. Он мне говорил о сцене из этого спектакля, разрешение которой и определяло и ставило эту проблему. Во втором акте Глумов, оставшись наедине с влюбленной в него Мамаевой, объясняется ей в любви. Он ее не любит, роман с ней нужен ему только для карьеры, кроме того, он боится, что ее муж, его дядя, Мамаев, может застать их. В другом театре актер играл бы обманщика, притворно вздыхал бы и явно лгал о пламенной любви... Отец же говорил горячо, страстно, как будто искренне. Все мастерство его в этой сцене, за которую его хвалили буквально все (кроме... но о том,

кроме кого, дальше), заключалось в том, что его интонации звучали настолько искренно, настолько правдоподобно, что Мамаева, слушавшая его отвернувшись, могла действительно верить ему, и публика, если бы только слушала его, верила бы, что Глумов иступленно влюблен, но публика не только слушала, но и видела то, как он оглядывается, какие тревожные и настороженные взгляды бросает на дверь... У него были глаза человека, слушающего одновременно и себя и шаги за дверью, фигура человека, готового вскочить и принять во мгновение ока «глумовскую», выражающую готовность услужить, позу. Это страшно нравилось, в этой двойственности видели высокое искусство замечательного мастера. А Константин Сергеевич, игравший Крутицкого, несколько раз оставался на сцене и из кулис смотрел эту сцену и после нескольких спектаклей спросил Василия Ивановича: «А вам не противно, не стыдно таким дешевым приемом завоевывать успех, дешевый успех?» Я не могу цитировать Константина Сергеевича, так как не только не слышал его слов, но и отец рассказывал только смысл его, Константина Сергеевича, понимания этой сцены, а через нее и всего образа Глумова, а значит, и основного смысла всей пьесы. Глумов — большой актер, он не жулик, он одержим карьеризмом, он всегда искренен, страстен по-настоящему, ему верят потому, что он, увлеченный своей целью, увлекается и каждой задачей, становящейся перед ним на его пути. Любви Мамаевой он может добиться только любовью к Мамаевой, и в момент объяснения, во всяком случае в этот момент, он «бешено», «страстно», и как там еще говорится в роли, любит ее. Это поднимает и его, и Мамаеву, и всю пьесу. Отец, недавний Карено, Анатэма, изучавший и готовившийся к Гамлету, стремился всей душой к серьезному исполнению любой роли, был полностью готов к такой перестройке этой сцены, а потом и всей роли. Но... не мог. Не мог расстаться с успехом. Не мог набраться мужества отказаться от него. Это он клеймил в себе всю жизнь, «трусостью» называл он эту боязнь остаться непонятым, боязнь остаться в одиночестве, без связи со зрительным залом.

Случай с Глумовым я запомнил потому, что отец приводил его как пример и высоты требований, и глубины понимания Константина Сергеевича, и трудности актеру идти за ним... Особенно такому «трусу и кошке», говорил он. Чтобы объяснить Константину Сергеевичу, почему он не может перестроиться, он сказал, что Владимиру Ивановичу нравится то, что он делает, и то, как он это делает, и менять что-либо было бы бестактным по отношению к нему. Хотя на самом деле он был уверен, что и Владимир Иванович и Мария Николаевна Германова (Мамаева) с радостью согласились бы на это.

### Барсовы

В это лето 1910 года мои родители познакомились с владельцами небольшого именица, вернее дачного участка с зимней дачей, в Свистухе — семьей инженера Барсова. Впоследствии эта семья стала моей первой взрослой компанией. Мать назвала их потом «Димкины Станиславские» — я бывал у них так же часто и охотно, как Василий Иванович у Станиславских. Семья состояла из самого «инженера» — его так и звали многие, — его жены Екатерины Ивановны и сына Кости. Инженер был необыкновенной фигурой. Он с молодых лет придал себе диаметрально противоположный своей истинной сущности образ. Основой была внешность. Можно сказать, костюм и грим — он ходил, когда это было мало-мальски возможно, в коричневой из «чертовой кожи» блузе с широким кожаным ремнем, в высоких охотничьих сапогах, носил большую бороду



и длинные волосы. Ходил большими шагами, поводил казавшимися (вернее, желательными ему) широкими, на самом деле шуплыми, плечами. Говорил фальшиво-глубоким басом, громко откашливался, харкал на весь дом и плевал в окно. Сморкался в пальцы, вытирая после этого руки шелковым фуляром. «Истинное дитя природы», «столбовой дворянин», «коренной русак», «барин-мужик» — вот чем он хотел казаться. Любил шегольнуть немецкими непристойными стихами, строчкой из трагедии Озерова, игрой на корнет-а-пистоне и, главное, пением арий из итальянских опер. Фальшивил, но орал так, что синел от напряжения, от его трескучего баритона лопались барабанные перепонки, а аккомпанировала ему обладавшая слухом жена, хотя морщилась и страдала... «Понимал мужика» (они смеялись над ним), «был близок ко всякой животине», поэтому все ел в холодном виде («Ни одна скотина горячего жрать не будет»), чувствовал природу: предсказывал погоду, «ноздрей чуял дождь», «ухом слышал ведро», «горбом ощущал заморозки» — все и всегда невпопад. Говорил он так: «Похарчуй нас, мамахен!», «Испить бы кваску», «Напёрсы редьки, аж брюхо трещит», «Что ж ты не жрешь? Али брезгуешь?» Из актеров ценил Сальвини и Мамонта-Дальского. Из художников — Васнецова, про которого врал: «Мы с ним водки море выжрали». Говорил: «Пора на полати да храповицкого задавать, а то дюже притомился я нонеча». Жену называл «мамахен» или «Катюха». Катюха эта была институтка-смолянка, в восемнадцать лет выскочившая за него замуж и всю жизнь мучившаяся и стыдившаяся этого поступка. Она забеременела еще до свадьбы и беременная ездила по всей Европе, смотрела на статуи, картины и просто на красивых людей, надеялась таким образом родить сына, похожего не на отца, а на микеланджеловского Давида или на Вильгельма Телля. Сын родился действительно непохожим на отца, он был много некрасивее его, был похож на собственную бабушку. Зато был очень умен и добр бесконечно.

Екатерина Ивановна была прелестная женщина, образованная, талантливая переводчица — она переводила Бодлера в очень хороших русских стихах... У нее был роман с поэтом Балтрушайтисом... Были у нее и смешные и неожиданные для смолянки странности — она всегда и во всем жульничала: в карты с ней играть было абсолютно невозможно, даже в крокет она ухитрялась ловчить — длинным подолом юбки, в которую для этой цели была вшита проволока, она, становясь над шаром, подводила его на хорошую позицию. Приходилось обрисовывать шар на песке кружочком. Она постоянно раскладывала пасьянс, и, если незаметно для нее следить за ней, видно было, что она передергивает карты — жульничала сама с собой. Но все ее таланты развернулись, когда компания свистухинских «помещиков» и их гостей увлеклась спиритизмом. К ним повадился «являться» дух отца Евлампия, он был (по его словам, записанным через блюдечко) беглым монахом, расстригой, пьяницей и ёрником. Подозревать Екатерину Ивановну в данном случае было невозможно: Евлампий произносил такие изощренные ругательства, какие даже понять не могла бывшая смолянка, но тем не менее через несколько лет выяснилось, что лексикон Евлампия принадлежал Екатерине Ивановне. Сын ее Костя был, как я уже говорил, и умен, и добр, и честен. Он учился на естественном, а потом на медицинском факультете, но, кроме того, рисовал, лепил (и то и другое совсем неплохо) и учился петь. Учился он у М. В. Владимировой. На ее сестре Валерии Владимировне он женился. Его фамилию она и приняла.

Я стал часто бывать у них, сначала с родителями, а потом и самостоятельно. Лет с двенадцати я стал их постоянным гостем в Москве, а на дачу к ним ездил, как к себе. Как это ни странно, но я был принят в этом семействе (вернее, в части его, то есть у Екатерины Ивановны

и Кости, так как «инженер», как его звали в домашнем кругу, меня терпеть не мог) за равного. Ко мне относились как к взрослому другу дома. В моем развитии, в выработке миросозерцания общение с ними и их друзьями — соседями и гостями сыграло огромную роль.

Осень 1910 года началась для театра катастрофически: Константин Сергеевич к сезону не приехал — он лежал больной брюшным тифом в Кисловодске. Планировавшаяся работа над «Гамлетом» была отложена; срочно приступили к «Карамазовым». Я их тогда еще не читал, поэтому, когда у Барсовых приступили к чтению по вечерам отдельных глав из романа, я с огромным интересом слушал эти чтения. Образ Ивана мне не нравился — казался неясным, неопределенным, слишком сложным. Разве можно его сравнить с таким живым и страстным Дмитрием и с добрым и умным Алешей? В «Легенде о великом инквизиторе» я просто ничего не понял. За отца я был огорчен и обижен, что ему дали такую роль. Думал, что, если бы Константин Сергеевич был в Москве, такого безобразия бы не произошло. Но, как выяснилось очень скоро, я был не прав — роль Ивана Карамазова стала одной из лучших в репертуаре Василия Ивановича. «Карамазовых» я стал читать почти ежегодно и лет в шестнадцать понял (вернее — казалось мне, что понял), и оценил, и глубоко полюбил именно Ивана с его Легендой и кошмаром.

В том же сезоне у отца был и еще один громадный успех — набоб Пэр Баст в пьесе «У жизни в лапах». Мне кажется, ни одной роли ни до, ни после он не играл с таким наслаждением. Он немного стеснялся своего удовольствия от этой роли, уж очень она была сравнительно с шекспировским, достоевским, островским, чеховским репертуаром легковесна, мелодраматична, внешне эффектна, бессодержательна. Ведь даже в дурнотонном Анатэме были проблемы более серьезные и глубокие, чем трагедия старения и «власти жизни». Но играть человека смелого, уверенного в себе, в своем праве на счастье, страстного жизнелюба, быть хоть на сцене в чем-то таким, каким хотел быть в жизни Василий Иванович, но чем быть ему мешал его лабильный (неустойчивый) темперамент, освободиться от вечных сомнений и колебаний было весело и приятно. Играл он Баста изумительно. Он был красив, мужествен, дерзок, обаятелен, он был соблазнитель (так говорили женщины). Многие считали, что он был в Басте больше Дон-Жуаном, чем в «Каменном госте».

С огромным увлечением занимался Василий Иванович своей внешностью — придумывал «коски» для увеличения роста, толщинки для расширения груди и плеч (от них он потом отказался, они стесняли и тяжелили фигуру, не придавая ей мощи), парик, цвет лица, нос, бороду. Даже для зубов он придумал грим — покрывал их слоем гримировального лака. Результат был отличный — фигура получилась могучая и, как говорили, «солнечная».

Весь этот сезон он усиленно занимался гимнастикой, чтобы выработать в себе атлетичность походки, выработал приемы, помогавшие ему ложиться, садиться, вскакивать легко, «как ягуар».

На генеральной репетиции я почему-то оказался рядом с А. А. Стаховичем. Когда Василий Иванович давил кобру (для «треска черепа» кобры под ковер клали несколько пустых спичечных коробок), я вскочил и дернулся к рампе, и вместе со мной ринулся и Стахович. Оба мы, и десятилетний мальчик, и пятидесятипятилетний мужчина, сконфуженно сели на свои места, но крепко, видимо, забирало публику происходящее на сцене, если такая наша реакция никого не удивила. Потом Стахович говорил: «Вполне понятно, что Дима рванулся, я и сам чуть не вскочил»; но на самом деле он вскочил даже раньше меня.

### Дружба с Константином Сергеевичем

Лето 1911 года мы со Станиславскими и неизменными Эфро-сами жили в Бретани, на берегу Атлантического океана, в крошечном городишке-поселке St. Lupaïge (Сен Люнер). Столовались все у Станиславских, которые снимали большую виллу под названием «Le Goéland» («Ле Гэлан»), что значит «альбатрос», то есть почти «чайка». Они наняли хорошую кухарку и ели очень вкусно и обильно. Семья Константина Сергеевича состояла из него, Марии Петровны, Игоря и Киры. Игорю было шестнадцать лет, и с ним приехали два гувернера, которых мы звали Цыфиркин и Вральман. Цыфиркиным был окончивший медицинский факультет молодой спортивный врач, борец и судья французской (классической) борьбы Николай Васильевич Демидов. Вральманом был молодой англичанин, вернее ирландец, спортсмен и преподаватель английского языка Ray (Рэй). В задачу Демидова входил спортивно-медицинский надзор, физическое воспитание Игоря. После тяжелой болезни (тиф) он очень ослабел, вот родители и решили использовать это лето на берегу океана, чтобы укрепить здоровье Игоря. Рэй занимался и с Игорем и с Кирой английским языком и играл с ними в теннис. Это был веселый, энергичный, темпераментный, с быстрой речью и движениями человек — полная противоположность медлительному, педантичному, либо молчавшему, либо бесконечно долго (потому что медленно) говорящему Демидову.

Демидов увлекался йогой, их школой физического и духовного воспитания человека. Отрицая всю мистическую (и этим романтическую) сторону их учения, он брал только внешнее: если йог учил часами созерцать свой пупок для освобождения своего духа от отвлекающих его впечатлений, чтобы этим освободить свою «прану» для духовного действия, то Демидов смотрел на свой пупок ради самого пупка. Дождавшись паузы в оживленной застольной беседе Марии Петровны, Константина Сергеевича, особенно моей матери, он скрипучим, монотонным голосом заводил бесконечные поучения на тему о жевании, переваривании и усваивании пищи. Со скоростью двенадцати слов в минуту он вещал о том, что каждый кусок, попавший в рот, должен быть перетерт зубами в мелкую кашу, смочен слюной и не должен быть проглочен, пока эта процедура не будет повторена тридцать два раза. Все попытки прервать себя или завести «апартный» разговор он пресекал, форсируя не темп, конечно, а силу звука своей речи. Бедный Игорь покорно жевал, отсчитывая количество «жевательных процедур» на пальцах.

Все, буквально все ненавидели Демидова, но особенно жгучую ненависть питал к нему Рэй. Закончив сообщение, Демидов замолкал и молча ел, смотря перед собой, и не принимая участия в разговоре, и, кажется, не слыша его. Рэй слушал Демидова, не понимая его (он очень мало знал русский язык), но самый звук голоса, самый темп речи вызывал в нем, видимо, совершенную ярость. Когда же Кире удавалось со свойственной ей невозмутимостью перевести ему смысл этих поучений, он наливался рыжей кровью, садился на свои руки, задира подбородок и, уставившись в потолок, тихо топтал по полу каблуками и бормотал какие-то ирландские не то проклятия, не то молитвы о ниспослании ему свыше терпения и сил, чтобы не убить этого йога...

Видимо, все же Демидов не только поучал, но и слушал — через несколько лет он оказался в числе исповедников системы Константина Сергеевича и обучал ей и пропагандировал ее в ряде театров.

Я всегда обожал Константина Сергеевича, но за это лето, когда я впервые видел его изо дня в день, слушал его — он был весел и разговорчив в этот период, как давно не был (это говорила Мария Петровна), я

влюбился в него страстно. Я гулял с ним, и он с удовольствием слушал мои рассказы о наших играх, ссорах, драках даже, советовал мне, как и кому ответить, как, не ввязываясь в драку, оказаться победителем. Больше того — он учил меня плавать. Сначала обучал плавательным движениям на полу или на двух стульях, потом проверял меня, сопровождая меня на пляж. Он не купался, но разувался и закатывал свои белые брюки выше колен, входил в воду и смотрел, как я выполняю его наставления.

В это лето Константин Сергеевич много работал с Н. Е. Эфросом; он искал в Николае Ефимовиче истолкователя своего учения о театре, об актере. Тот с истинной и глубокой готовностью откликнулся, и они одно время встречались каждый день и, сидя на каменном балконе виллы, работали. Константин Сергеевич надеялся, что Николай Ефимович сможет найти общепонятную форму его мыслям, сможет, не исказив, выразить самое главное, самое сокровенное, хаотически клубившееся в его голове, но при попытке выразить словами превращавшееся в вульгарность, трюизмы, пошлости (так он говорил сам Николаю Ефимовичу) или остававшееся сумбуром. Но, видимо, Николай Ефимович был слишком прямолинейно популярен для поэтического и романтического изложения строя мыслей Константина Сергеевича того времени. Его переложение и обработка их бесед угнетали Константина Сергеевича своей рациональностью, сухостью и поверхностностью.

В Эфросе не было ни на атом Марии — он не мог сидеть у ног учителя и внимать с раскрытой душой, — слышанное он должен был немедленно изложить в понятных читателю словах; все, что он слышал, он тотчас же видел в типографских знаках на странице... Не было в нем и Марфы — он не мог, как впоследствии другие, взять общепонятную часть услышанного, переработать ее, уснастить, и сдобрить, и изложить читателям под видом целого и основного — этого ему не позволяла совесть, уважение и любовь к Константину Сергеевичу.

Так вот, не удалась ни Константину Сергеевичу, ни Николаю Ефимовичу эта работа. Сделать «мысль изреченную» не ложью честный, влюбленный, но, может быть, недостаточно чуткий Эфрос не смог. Дружба их от этого не пострадала.

Константин Сергеевич до всего доходил своим путем, школа не дала ему ни знаний, ни метода к приобретению знаний. Тем большего уважения заслуживает то, чем он себя сделал, и то, что он вокруг себя создал. Может быть, от неискушенности образованием, от неискушенности знаниями в нем сохранилась гениальная наивность, детскость, непосредственность.

У Константина Сергеевича не было никакого мелкого самолюбия: он не скрывал своих незнаний, не стыдился узнавать новое, даже если источником узнавания был ребенок или прислуга. Замечательно было, когда эти сведения попадали в какой-то канал, по которому они текли на мельницу его творчества, как они тут же становились совершенно неожиданными и гениальными примерами и режиссерскими «манками». Иногда нельзя было путем простой, общечеловеческой (вернее, рядовой человеческой) логики понять и объяснить эти связи, зависимости или противопоставления... Логика была больше постигавшаяся чувствами, почти прозрениями, логика гения. У него был мощный, независимый от мещанской, «гелертерской» логики ум. Он сопоставлял неожиданности так глубоко и необъяснимо-простыми словами, как это бывает только в снах, когда во время них все понятно и ясно, а при пробуждении связь явлений мгновенно расплывается и исчезает. Ну как мог просто умный и в яви мыслящий Эфрос постичь и воплотить в логике слов, состоящих из тридцати шести букв алфавита, то, что могло выразиться только интонацией,

вздохом, жестом, улыбкой, блеском и потуханием зрачков, сужением и расширением глаз... Это все равно, как если бы рассказывать живопись и попытаться, описывая картину гениального мастера, сделать из этого описания учебник живописи.

Когда я, читая написанное самим Станиславским, вспоминаю свои ощущения от общения с ним, мне кажется, что передо мной только тень грубо вырезанного контура фотографии с картины: настолько это беднее его творчества, его глубоких, почти нечеловеческих прозрений в подсознательное в человеке-актере. Самым увлекательным было смотреть на него во время репетиции, когда одно лицо выглядывало из другого — лицо, отражающее образ, который он ставил задачей, — образ создаваемый застлался лицом воспроизводящим, лицом, на котором появлялась то улыбка удовольствия, почти наслаждения от близости, от совпадения задуманного с получающимся, от того, что образ, ощущаемый им в глубине актера, всплывает, приближается к поверхности, почти совпадает с живущим актером; то горе, страх, отчаяние от того, что образ уходит, пропадает; то гнев, когда истинное подменялось изображаемым. Тоска от непонимания, от неумения быть понятым сменялась недоумением: как это, ясное ему, как свет солнца, может быть непонятым?

И если его «теория» — это бледное отражение его прозрений — стала библией мирового театра, это потому, что, во-первых, есть Художественный театр, во-вторых, потому, что прозрения его так гигантски масштабны, что и их отображение является откровением для стремящихся к истинному в театре. То зерно правды, которое в них прорастает, — единственный указатель пути к свету.

Все это, конечно, хронологически не относится к лету 1911 года, это то, что мне надумалось за годы работы с ним самому и наслышалось от Василия Ивановича, матери, из разговоров истинных друзей и соратников его.

Тогда же было обожание, нежность и бережность — страх, как бы его не обидели, не победили в споре, не огорчили.

### Сулер

Лето 1912 года мы с матерью провели на Украине, на Днепре, недалеко от могилы Шевченко, где Сулер с семьей, состоявшей, кроме него, из жены Ольги Ивановны и сына Мити, девяти лет, уже несколько лет снимал дачу. В то лето там жили Москвины — Иван Михайлович и Любовь Васильевна, урожденная Гельцер (сестра балерины Екатерины Васильевны Гельцер), их два сына, девяти и семи лет, мать Любви Васильевны и племянница Таня, одиннадцати лет, Н. Г. Александров с женой и дочерью Марусей, шести лет; неподалеку жил и хозяин всего этого хутора и прекрасного фруктового сада, в котором стояли эти дома, директор Киевского археологического (или исторического?) музея Беляшевский и его два племянника моего возраста; кроме этих семей, там жили еще Л. М. Коренева и В. А. Попов. Нас, детей, было восемь человек — от одиннадцати до шести лет.

Какие бы планы занятий ни строили наши родители и воспитатели на лето, все они превращались в прах, если не совпадали с тем, что хотел с нами делать Сулер. Сидели ли мы за пианино, твердя гаммы, зубрили ли немецкую или французскую грамматику или, как я, решали примеры из арифметики (я по ней в гимназии очень отставал) — как только раздавались переливчатые трели боцманской дудки Сулера («дяди Лёпы»), всё бросалось в ту же секунду, и мы, сокрушая всякое сопротивление, мчались к нему. Он был абсолютным повелителем нашим. Его слово было законом, никому в голову не приходило в чем бы то ни было его

ослушаться, не с полным самозабвенным рвением выполнить любое его приказание. Причем он никогда не сердился, никогда ничем не грозил. Просто мы его любили и уважали так, как это могут дети по отношению к самому светлому герою их мечты, к идеалу их представлений о человеке.

Сулер не жалел своего времени, которое было ему нужно для продуцирования, для подготовки своих режиссерских работ по театру и по организации Первой студии Художественного театра, для писательской деятельности, для отдыха наконец, — не жалел для нас, детей. Часами он занимался нами, нашим воспитанием, нашими играми, прогулками, купанием... Неверно говорить «играми» — это была одна бесконечная на все лето игра, в которую входило все, чем мы занимались. Все игры, занятия, развлечения и работы... Основное в этой игре было то, что мы все были моряки. От Ивана Михайловича Москвина, который был самым главным — он был адмиралом, — до Маруси Александровой, которая была гребцом второй статьи. Мы были флотом, но не военным, а мирным, всякий элемент военщины изгонялся категорически или пародировался, высмеивался, оглуплялся. Материальная часть нашего флота состояла из «дуба» (крепкой, большой лодки, в которой гребли четыре человека одним веслом каждый, а пятый управлял кормовым, «кормчим» веслом), двух «галер» (две лодки, на которых гребли по два человека двумя веслами каждый) и челнока — на одного гребца и одного пассажира.

Каждый день мы все под командованием Сулера «уходили» (не дай бог никому сказать «уезжали») на дубе с двумя «вахтами» (одна на веслах, другая отдыхает) на другой берег для купания, обучения плаванию, загорания, гимнастики, бешеных игр в индейцев и т. д. Иногда уходили в «дальнее плавание»: в село Прохоровку на ярмарку, в имение А. П. Ленского; в Канев, на могилу Шевченко; еще в какое-нибудь село, где слушали кобзаря, бандуриста, лирника; либо туда, где, Сулер знал, есть гончар, работающий на ножном круге, или еще какой-нибудь ремесленник, мастер — художник своего дела; к учителю в соседнее село, у которого были собраны старинные одежды гуцулов, карпатских горцев, которые, по теории Сулера, были предками украинцев. Сулер считал, что киевские славяне — жители древней Киевской Руси — были уничтожены татарами или переселились на северо-восток, образовав Московскую Русь, а на их место с Карпат переселились теснимые мадьярами, а потом поляками гуцулы, и от них-то и пошли украинцы. Он их считал ближе к словакам, чем к русским. Теперь, как и тогда, эта теория считается неверной и вредной.

Были плавания особо дальние — с ночлегами у костра, в «вигваме» (из брезента и парусины) или в «типи» (из коры и ветвей). Взрослые допускались в эту нашу игру не очень охотно. Особенно женщины, особенно матери. Они портили игру. Портили, во-первых, тем, что волновались за нас — что мы утонем, что простудимся, сгорим на костре, когда прыгаем через него в диком охотничьем танце племени дакотов, расшибемся, когда ласточкой летим с обрыва в прибрежный песок, и т. д.; во-вторых, еще больше портили игру тем, что не верили в игру... Самое страшное для ребенка — это если кто-то рядом не верит в его «как будто». Мгновенно игра испорчена, и становится скучно и противно. Сулер верил, не притворялся, не подыгрывал нам, а верил. Верил. Я знаю это, ребенок не может ошибаться, его ни один гениальный актер не надует. Мы знали, что дядя Лёпа Сулер, играя с нами, верит в то, во что мы верим... Он вместе с нами поднимал со дна моря затонувший сто лет назад пиратский пятидесятипушечный фрегат и открывал бочонки с изумрудами и рубинами, утонувшие на нем... Он раскапывал древний кур-

ган и находил там похороненную две тысячи лет назад принцессу (Таню Гельцер), которая спала «лекарическим» сном, и мы ее оживляли и учили говорить по-русски, так как она знала только древний сарматский язык (язык мы тут же сочиняли), и никогда Сулер не портил нам веры в истинность происходящего. В этом и была подлинность проникновения его в систему Станиславского, самую сущность Художественного театра.

От этих наших игр, которых Сулер не был режиссером, а только участником, шел прямой и торный путь к созданию Первой студии, где Сулер был руководителем. Нами он не руководил, он только отвращал нас от грубого, жестокого, кровожадного... Можно было, например, охотиться на акулу — он сам тащил отяжелевшую от времени черную корягу со дна Днепра, «гигантскую пожирательницу детей», падал под «ударами ее хвоста» и т. д., — но нельзя было, даже играя, стрелять из лука в Капсюля или Серку (наших собак), хотя они и были в игре «вепрями» или «медведями».

Характерным результатом педагогики Сулера была история с гусем: Александровы купили к обеду живого молодого гуся — он был очень худ, решено было откормить его. Через неделю он стал самым популярным членом нашей компании — он купался с нами, гулял, участвовал в наших играх. О том, чтобы его зарезать и (о ужас!) съесть, не допускалось и мысли. Федя Москвин сказал: «Лучше уж бабушку».

Но самым большим наслаждением были праздники, которые организовывал Сулер в связи со всякими событиями, юбилеями, именинами и т. д. Самым, пожалуй, торжественным и увлекательным для нас был «день открытия навигации». За несколько дней до этого мы «с помощью» рыбака из соседней деревни (а вернее, этот рыбак, несмотря на наши старания помочь ему) просмолили днища наших «кораблей» (а заодно друг друга так, что неделю нас не могли отскоблить), он тоже с нашей помощью сшил из белой парусины парус для дуба, сделал мачту и рею, на мачте под «ноком» был подвезан блок для подъема флага. Наши «морячки» (матери) сшили флаг — он был белый с тремя синими переплетающимися кольцами — символами вечной правдивости, бодрости и дружбы. В утро торжественного дня «морское собрание» — терраса дома, в котором жили Сулеры и Александровы, — было украшено «флагами расцветивания» (цветными лоскутами, собранными со всего поселка), гирляндами из листьев и цветов, букетами полевых цветов. Мы в восемь утра были построены «на палубе» (терраса при необходимости была и палубой), около террасы стояли все дамы в белых платьях с букетами цветов. Сулер был в белом кителе с золотыми пуговицами (вызолотил бронзой какие-то кружочки). Александров — помощник капитана, он же главный кок — был в костюме повара с белым колпаком, Володя Попов — боцманом — стоял в строю вместе с нами.

Ровно в восемь часов тридцать минут вместе с боем склянок (Сулер бил в ступку) из дверей соседней дачи показался адмирал — И. М. Москвин. Несмотря на жаркое летнее утро, он был в черном фраке, белом жилете и брюках, с поднятым и подпирающим его щеки крахмальным отложным воротником, с синей орденской лентой через плечо. Все имеющиеся в поселке часы — золотые, серебряные, стальные, черные, большие и маленькие, — все компасы были навешаны на его груди вместо орденов. На голове его была огромная, украшенная перьями треуголка из двух сшитых вместе шляп. Он вышел и остановился, чтобы посмотреть на небо, и стоял минуты две неподвижно. Засмеявшаяся было Л. М. Коренева была строго призвана к порядку — Сулер требовал полной серьезности. И Москвин в этом смысле был на недосягаемой высоте. Расстояние в пятьдесят метров он шел минут десять, сохраняя на лице абсолют-

ную невозмутимость и истинно сановническую важность. Он не играл, не представлял, не изображал адмирала, он и г р а л в а д м и р а л а. Мы не смеялись тогда, мы тоже играли в смотр, играли, как настоящие дети,— абсолютно серьезно, с полной верой в «как будто»...

Наши матери сдерживали смех — они не играли, но не смели портить игру. Мы были первоклассной актерской группой — они добровольными статистами. Хохотали они позже, вечером, и когда через многие годы вспоминали Москвина с его крахмалом, часами и серьезностью. Потом был подъем флага на дубе, подъем паруса, испытания и соревнования гребцов, гонки галер, состязания в плавании, нырянии, прыгании в воду, в выдувании мыльных пузырей... А вечером дивный, совершенно поразительный фейерверк и иллюминация...

Праздновали день свадьбы Москвина; были выступления всех народов с поздравлениями супругам: Сулер был великолепным гондольером и пел итальянскую баркаролу, составленную из «итальянских» слов «O msquivane cikalubo», О, Москвин, Ванечка, Любочка и т. д.; Н. Г. Александров был «король зулусов» — голый, выкрашенный серой и рыжей глиной, с серьгой в носу, с топором и ассагаем. Он говорил речь и танцевал ритуальный зулусский танец. Володе Попову vybrили голову, оставив только инициалы «И» и «Л»; он был персом, весь в черном колкоре и с голыми плечами и руками. Мы, ребята, были: я китайцем, говорил приветствие по-китайски; Таня грузинкой, говорила «чхери, чхери и Арагви чечечери» и т. д.; Маруся дарила пирог и говорила по-голландски; Федя — запорожец, говорил «здоровеньки булы»; Митя — индейцем племени сиу, весь в боевой татуировке, рычал и пел какие-то шаманские заклинания. Венцом всего был Володя Москвин — он был абсолютно гол, припудрен золотом, с приклеенными к лопаткам гусиными перьями, с золотым обручем в рыжих волосах, он — амур — подходил к отцу и матери и тыкал их стрелой в сердце. В том, что девятилетний мальчик мог, не зная мещанского стыда, выйти на люди абсолютно голым и не застесняться, не смутиться, не наиграть ничего, не быть ни смущенным, ни наглым, была такая чистота, такая серьезность поведения, какой мог добиться, какую мог внушить только Сулер.

Были и срывы. В день ангела Володи готовилась обширная программа развлечений, мы уже подсмотрели огромный транспарант с буквой «В», который должен был засиять вечером над нашим домом, знали, что куплен целый набор пиротехники, что будут ряженные гости из Канева, что и для нас готовы маски и костюмы. Мы, нарядные, причесанные, собрались после завтрака у «морского собрания», стали придумывать, во что поиграть, пока дядя Лёпа занят приятными для нас приготовлениями, и неожиданно подрались: я ударил Володю, он меня, а Федя, маленький, но отважный брат его, укусил меня, я бросился бить его, Таня ударила меня палкой, Митя, считавший, что прав я, схватил ее за волосы... Нас быстро усмирили, но в наказание за безобразное поведение все празднества были отменены. Сулер ликовал — вся пиротехника и даже транспарант «В» готов для следующих торжеств — моего дня рождения.

Трудно, конечно, представить себе, какими бы мы все получились без Сулера, но мне кажется, и я думаю, что все те, кто рос под его влиянием, согласились бы со мной, что все мы были бы много хуже, что тому хорошему, что есть в нас, мы большей частью обязаны ему.

Следующее лето, когда мы с матерью там не жили, на Княжьей Горе (так назывался тот хутор) жил Е. Б. Вахтангов. Мне кажется, что из Сулеровых игр, из его празднеств, которых в то лето было не меньше, чем в предыдущее, родилась через девять лет игра-праздник «Принцесса Турандот» — гениальное творение Е. Б. Вахтангова. Во всяком случае,



когда мы смотрели этот изумительный спектакль, мы все видели Сулеровы игры, слушали Сулерово пение и Сулерову музыку.

«Сулерово пение» — это не пение самого Сулера (хотя он любил петь и пел хорошо, особенно украинские песни), а песни, которые он организовывал, хоры, которыми он руководил, которые создавал, заставляя петь и неумеющих... Через много лет мы, пробуя спеть что-нибудь хором, когда у нас ничего не выходило, вспоминали: «А как же у Сулера мы пели?» Он умел каждого занять в посильной ему «партии», а так как каждый старался делать то, что ему было поручено, самым что ни на есть лучшим образом и именно так, как его учил Сулер, выходило складно. Сила была не в голосах, а в ансамбле, в нюансах, в переходах от замирающего *piano* к относительно мощному *forte*, главное же был он сам — вдохновенный организатор, дирижер и хормейстер. Если нужен был оркестр — через четверть часа он был готов: из кастрюль, тазов для варенья, бутылок, по-разному наполненных водой, рюмок, подвешенных за ножки к поставленному на стол стулу, свистулек и дудок и гребешков с папиросной бумагой. Кто видел и слышал музыку в «Турандот», поймет, почему это подчеркнуто. И как такой оркестр мог звучать! Сколько радости и веселья было в его звуках, как под него весело танцевали, как торжественно им отмечались встречи, проводы и наши празднества. Разве в этом не проявлялся талант режиссера, талант организатора людей в искусстве, ведь это же и есть главный талант режиссера.

Для меня это лето было последним летом с Сулером. Видел я его только на генеральных в Студии, душой и сердцем которой он был. Бывал он и у нас, но уже гораздо реже — перетасовались, видимо, компании и у наших и у Сулера, да и некогда ему было: он очень много работал и в театре и в Студии. И со здоровьем у него стало плохо — болели почки... Одно время он зачастил опять, но не для веселья, а по делам: он организовывал кооператив, хотел, чтобы группа молодежи Студии и лучшие из «стариков», к которым он причислял моих родителей, имели в общественном владении кусок земли на берегу моря, чтобы там вместе жить, работать в садах и выработывать в совместном труде и общей жизни настоящую дружбу, настоящую нравственность, истинно творческое и чистое отношение к искусству. Корни настоящего искусства, высокого, светлого, святого Театра он видел в детской, пронизанной верой в истинность ее самой игре и в глубокой, наполняющей человека целиком нравственности, которую можно воспитать только в соприкосновении с землей, общим трудом на земле. Отец охотно согласился, нашлись деньги, и участок земли под Евпаторией был приобретен. Смерть не дала Сулеру выполнить его замыслов.

С Сулером кончился *Sturm und Drang*, период бури и натиска Художественного театра.

Влияние Сулера в Первой студии и МХАТ II было огромным. Студийность, идейность были там сильнее, чем в каком бы то ни было другом русском театре. Если бы Сулер жил дольше, он стал бы третьим вождем Московского Художественного театра.

У Константина Сергеевича и Владимира Ивановича были гениальные замыслы в самом искусстве, о том, как его творить и каким надо быть, чтобы достойно его жить и работать в нем, но они не учили (потому что сами не знали), к чему надо стремиться в смысле общественно-этическом. Не было сверхзадачи существования театра и искусства вообще. Смутных христианско-социалистических идей было недостаточно, чтобы стать театром-храмом, театром-орденом, театром-вестником и проповедником всеобъемлющей веры-мысли, театром, несущим народу новый символ веры; театром, учащим, как жить и какими быть, как

устроить жизнь на земле... Вот чего хотел и что мог Сулер. Мог, потому что был не вне театра, а в нем самом, потому что мог учить, не проповедуя, а живя и творя бок о бок с учимыми, как он учил, живя и играя бок о бок с нами — детьми.

Незадолго до его смерти я встретился с ним около театра. Увидев с противоположной стороны улицы, как он неуклюже, как-то громоздко слезал с пролетки извозчика, я подбежал к нему. Он скорее тяжело, чем крепко обнял меня и пристально ощупал мне плечи и ребра: «Хорошо, что худой, таким и держись подольше, не толстей — жирному жить мерзко, противно, скверно и для здоровья и для души». Лицо у него было болезненное, старое, грустное, глаза смотрели мимо меня, он явно думал о чем-то трудном и печальном и, совсем забыв обо мне, хотя и опираясь на меня всем весом, вошел во двор и поднялся на три-четыре ступеньки «конторы» (так тогда назывался служебный вход в театр). Уже открыв дверь, он оглянулся на меня, вроде как вспомнил, что я тут: «Не обращай жиром, не забывай про зеленую палочку и про то, что ты наш матрос первой статьи, загребной дуба, не забывай. А может, еще походим по Днепру, а?»

Когда дверь за ним затворилась, я чуть не в голос разрыдался — такая тоска была в его глазах, такая безнадежность звучала в голосе. Никогда я не видел нашего дорогого дядю Лёпу таким. А больше я его уже и вообще не увидел живым. В начале зимы он скончался. На похоронах его, несмотря на лютый мороз, было несколько сот человек, и почти не было видно лиц, на которых не намерзли бы дорожки от слез. Сам я этого не в состоянии был заметить, так как проревел от самого Милютинского переулка, где в костеле проходило заупокойное богослужение (он официально был католиком), до Новодевичьего кладбища, где его могила была одной из первых в нашем МХТовском некрополе.

Через несколько дней в Первой студии была устроена гражданская панихида по нем. Я очень стеснялся идти в Студию один, а отец и мать собирались идти туда из театра, после спектакля или репетиции. Услышав об этом, зная мою привязанность к Сулеру, за мной на извозчике заехала Мария Петровна Лилина. Рядом с ней я и сидел все время. Собрание это было необыкновенным, переворачивающим все нутро. Почти никто из выступавших не плакал — это как будто запретил Константин Сергеевич, запретил не словами, а тем, как он сам не позволил себе плакать. Он вышел перед аудиторией (сцены в Первой студии не было) и с минуту, а может быть, и дольше стоял к ней спиной — не хотел показать заплаканное лицо. Потом повернулся, обернулся на зал, но смотря поверх всех лиц, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Он очень долго молчал, и это молчание, это его лицо, на котором выражалась его борьба со слезами, было красноречивее, сильнее всего, что он говорил. Даже в его затылке, покрасневшей шее, когда он стоял спиной к нам, да и в самой его спине было столько горя, горя, не размазанного в жалких словах и таких легких и послушных актерам рыданиях, а побежденного, целомудренно спрятанного внутри, что можно было бы ему и не говорить.

И так пошло потом у всех — все выступавшие больше молчали и до своих слов, и между ними, и после них. И это были такие горестные, такие трагические молчания, так они были полны горячей, страстной нежностью, так насыщены любовью, памятью, благодарностью Сулеру...

*(Окончание следует)*



# ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВОЛКОВ, Г. ЛИСИЧКИН

★

## СПОСОБНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ

Однажды был проведен такой интересный эксперимент: на курсах повышения квалификации сельских руководящих кадров создали несколько групп. Руководитель каждой из них в помощь себе выбрал из слушателей нескольких специалистов. Была задана совершенно практическая задача: определить, какую структуру посевных площадей следует избрать в хозяйстве при ныне действующих ценах, при заданной обеспеченности техникой и людьми, при существующем плане-заказе? Ответы получились очень разные. Однако лучшим оказался тот, который уже был осуществлен на практике,— задача-то давалась с готовым ответом. В пример было взято хозяйство со структурой, отточенной годами опытнейшими специалистами. Но попади оно в другие руки, и результаты, это видно из полученных ответов, оказались бы совсем иными.

В свое время в США произвели анализ ответственности за чрезмерное превышение затрат на ряде предприятий разных отраслей промышленности. Результаты его оказались достаточно впечатляющими (в процентах):

Отрасли	По вине руководства	По вине рабочих	Внешние причины
Машиностроительная .	81	9	10
Обувная . . . . .	73	11	16
Пошивочная промышленность . . . . .	75	16	9
Строительная . . . .	65	21	14

Вот как много, оказывается, зависит от правильного руководства! Вот как важно иметь во главе коллектива опытного человека!

Но талант руководителя — вещь не более распространенная, чем любой другой талант, где бы он не применил себя. Видный польский экономист Э. Липински, используя данные социологов, утверждает, что лишь незначительная часть людей (около пяти процентов) способна проявлять необходимую в этой работе инициативу. Причем он специально подчеркивает: «Если предъявляется требование профессионального знания дела, то из этого вовсе не следует, что руководящий состав должен набираться исключительно из людей, имеющих высшее образование. Среди рабочих есть такой же процент лиц, обладающих даром инициативы, как и среди имеющих дипломы инженеров... Правда, никто не рождается со всеми необходимыми для получения руководящего поста квалификациями, но путем соответственного отбора людей и систематического повышения квалификации рабочий коллектив может, несомненно, доставлять многочисленных кандидатов на руководящие должности».

С этими выводами перекликаются данные анкеты, проведенной в одной из зарубежных стран. Какие качества необходимо иметь руководителю предприятия? — спра-

шивалось там. Восемьдесят восемь процентов опрошенных высказали мнение, что специальные знания — это еще не та особенность, которая выделяет руководителя из числа остальных. Само собой разумеется, что директор химического завода должен знать технологию своего производства. Но качество руководителя, отвечали опрошенные, определяется главным образом тем, насколько он обладает самодисциплиной, энергией, настойчивостью, способностью принимать быстрые решения, смелостью, и, конечно, руководитель должен быть хорошим психологом, служить примером для других, иметь хорошее общее образование.

Проблема отбора и подготовки руководящих кадров, «менеджеров», очень занимает сейчас умы капиталистических предпринимателей. Еще бы: от этого зависят их прибыли! Недаром проводятся анкеты, серьезнейшие исследования, недаром разрабатываются точнейшие инструкции поведения «менеджера» вплоть до того, кому и когда он должен улыбнуться, а кому и когда нет. Недаром, скажем, владыка японской электронной империи «Националь» Коносукэ Мацусита ввел на своих предприятиях институт кандидатов на руководящие посты для выявления наиболее одаренных и замещения менее одаренных организаторов, а всем своим служащим ежегодно устраивает аттестацию по сложной программе (умение планировать работу, наличие творческого элемента, способность двинуть дело вперед, результаты работы, умение найти общий язык с подчиненными и поднять производительность труда).

Разумеется, цель, содержание, стиль работы советского руководителя и капиталистического предпринимателя или «менеджера» отличаются в корне так же, как цели социалистического и капиталистического производства, и мы не раз будем возвращаться к этому в процессе рассуждений. Руководителей социалистических предприятий характеризует прежде всего глубокая коммунистическая идейность и умение убеждать, вести за собой людей. Хозяйственный руководитель в наших условиях — общественный и политический деятель. Он руководствуется в своей деятельности не только интересами данного предприятия, но оценивает явления и факты с партийных и общегосударственных позиций. Ему чужд узкий практицизм. Отдавая должное повышению рентабельности производства, его прибыльности, настоящий руководитель с чувством большой гражданской ответственности относится к выполнению государственных планов.

Проблемы воспитания и обучения руководящих кадров всегда были в центре внимания нашей партии, а основные принципы подбора и расстановки кадров, работы с ними были сформулированы еще В. И. Лениным. Вместе с тем способы получения тех же главных результатов, приемы и методы работы руководителя, сама технология управления меняются в зависимости от изменения условий. Нельзя не учитывать и не использовать накопленного опыта организации производства и достижений науки управления, в том числе за рубежом. Тем более необходимо внимание к проблемам управления, подбора и обучения хозяйственных организаторов именно сейчас, поскольку роль руководителя в осуществлении новых экономических задач в условиях экономической реформы вырисовывается в значительной мере по-новому.

Размышляя над этим, мы невольно обращались к примерам сельским, более близким для обоих, и один из нас вспомнил недавнюю встречу со старым своим знакомым.

Имени этого человека не назовем, просто не хочется обидеть, потому что в судьбе его видится не злой его умысел, а скорее жизненная драма. Он, пожилой уже человек, полжизни проработал в деревне — был председателем колхоза, директором МТС, директором пункта Заготзерно, затем опять председателем. Работал много, таскал свою нелегкую ношу изо всех сил. А недавно колхозники попросили его «сдать печать». Мотивы — грубость, администрирование, зажим критики и то, что дела в хозяйстве идут все хуже. То есть не то чтобы хуже сегодня, чем вчера. Нет. Просто соседи, которые прежде были в отстающих, обогнали его колхоз, считавшийся всегда сравнительно крепким.

Привычно было видеть его энергичным, властным, а теперь он как-то обмяк, осел, словно весенний подтаявший снеговик. Втиснувшись грузным телом в узкое для него

кресло, он курил папиросу за папиросой и рассказывал. Как много лет сряду вставал раньше всех в деревне и успевал до наряда побывать на фермах, а потом до глубокой ночи трясся по полям на двуколке или верхом. Сколько праздников встречал вот так, в степи, и только ночью уже, вернувшись домой, перед тем как лечь спать, выпивал положенную праздничную стопку... Что, говорил он, для себя все это? Хоромы тем наживал?

Заставлял, конечно, людей работать. А не заставлял бы?.. Помнишь, сколько времени раньше сеяли? По месяцу! Не носился бы по полям, не гонял бы и бригадиров и трактористов, не вышибал бы у снабженцев детали (он оживился и пристукивал каждое слово тяжелым кулаком по широкому колену) — черта с два тогда отсевались бы вовремя! А так заканчивали почти всегда первыми в районе!

Нет, последнее время полегче было. В чем-то легче, в чем-то тяжелее. Деньги на счету, конечно, совсем другие, оплата тоже другая. А люди все равно: есть, что работают, как положено, есть, что только языком трепать на собраниях мастера. Посылаешь, бывает, женщину на ферму, а она тебе: не пойду, там придется с утра до ночи в навозе возиться. А кому-то возиться надо? Как на нее не накричишь? А накричишь или приструнишь — она в райком, а то и письмо в редакцию. Раньше мог, например, участка лишить, сенокос не дать, свет, бывало, обрезали — все в твоих руках было. А теперь — все нельзя! Вот и разболтались люди. Теперь не лентяя — тебя самого прижимают за невежливое, видишь ли, обращение с тем лентяем. На собрании чего только не вспомнили! А то забыли, для чего все делалось.

Почему же так вышло? Разбирались мы потом. Человек для колхозников вроде бы старался, а те против него проголосовали? Почему колхозники стали будто придирчивее к своим руководителям, не прощают теперь многого из того, что прощали раньше?

И опять один из нас вспоминал случаи. Как-то весной, лет пятнадцать назад, на Алтае пришлось ночевать в одном колхозном доме. Утром, только поднялось солнце, вся семья вышла на огород, чтобы вскопать его и посадить картошку. Но вскоре пришел председатель колхоза, стал у забора, кричит:

— Семен, на работу пора!

— Отстань, картошку сажать надо, — спокойно ответил хозяин.

Но председатель, видно, слышал сегодня такой ответ не в первый раз и сразу сорвался «на голос». Началась перепалка, председатель увещевал и грозил, а потом плюнул с досады и ушел.

Другой, может быть, грозил бы меньше, увещевал бы убедительнее. Но суть-то оставалась одна: председатель пытался оторвать колхозника от той работы, которая кормила семью, а вот сколько придется на трудодень, колхозник не знал. Можно, конечно, сказать: человек, мол, попался несознательный. Нет, он войну прошел, отмечен медалями, значит, умеет переносить лишения, когда понимает необходимость этого во имя высших интересов. Но тут было уже другое, о чем не надо, наверно, подробно говорить, о чем уже партия сказала веское слово в своих решениях. И председатель для колхозника в этой ситуации, какой бы ни был, все равно только начальник, обладающий властью, и если бы Семен все-таки пошел на работу, то главным образом потому, что не хотел иметь лишних неприятностей. Короче говоря, колхозник был порой просто равнодушен: все равно, какой председатель, десятки их перебивало, а трудодень прежний.

А недавно мы ездили по полям Тамбовщины с секретарем райкома партии. В одном колхозе он обратил наше внимание на примечательную деталь.

— Посмотрите: с одной стороны дороги земля колхозная, общая, а с другой приусадебная. Отгадайте, где какая?

И там и тут почва была замечательно разделана, выровнена, очищена от сорняков, и мы не могли уже найти отгадку, ориентируясь на старые представления. Случайность? Думается, нет. Причина в том, что соотношение доходов колхозной семьи от приусадебного хозяйства и от участия в общественном производстве коренным образом изменяется.

И вот тут-то он, колхозник, начинает иначе смотреть на своего председателя (как и на бригадира, на специалиста). Для колхозника теперь очень важно, хорошо ли глава артели ведет хозяйство, все ли делает, чтобы взять от земли максимум возможного и на продаже продукции государству, ставшему платить намного щедрее, заработать побольше. И хочет колхозник видеть в председателе не просто начальника, который только умеет собирать людей на работу — на работу он и без того сам идет, — а единомышленника, товарища по труду, озабоченного тем же, чем и сам колхозник, внимательного к его советам, предложениям, стоящего во главе коллектива лишь постольку, поскольку сам коллектив счел этого человека наиболее опытным, знающим, умелым. Вот с таким представлением о руководителе администрирование, грубость, неуважение к общественному мнению уже и не вяжутся. И чем более возрастает интерес колхозника к общественному хозяйству, тем выше его требования к руководителю во всех отношениях.

Нельзя не учитывать и другого фактора: администрирование, субъективизм, произвол осуждены партией в ее последних решениях, морально дискредитированы в нашем обществе. Утверждение ленинских норм в общественной жизни создает атмосферу, которой чуждо неуважение к человеку, его правам, к коллективу и его мнению. И чувствуя, зная это, каждый колхозник (так же, как и рабочий) хочет, чтобы в его коллективе все этой атмосфере соответствовало. Характерно, что колхозники сами, по своей инициативе, освободили председателя, и никто его «сверху» не защитил. Понимая, что почва уходит из-под ног, такие руководители любят, как наш знакомый, посетовать, а иные и покричать в людном месте, пострадать: «Дисциплина ослабла, разболтались люди, что теперь будет?!» Их голоса нельзя недооценивать, потому что в каких-то случаях и в каких-то пределах могут они создавать атмосферу, мешающую движению нового. Но выбор уже сделан, к старым методам возврата нет, и кто того не поймет, неизбежно потерпит моральное банкротство.

Не так-то просто положение руководителя, который по должности — распорядитель и администратор, но в то же время избирается коллективом и подотчетен ему. Особенно теперь не просто, когда и выборность и подотчетность все более становятся не формальностью, а реальностью. И процесс в своей логике характерен, пожалуй, уже не только для колхоза. Ведь директор совхоза, хоть его не избирают, тоже не может не считаться с общественным мнением, с волей коллектива и по сути дела тоже подотчетен ему. А требования рабочих совхоза к своим руководителям, думается, тоже имеют тенденцию возрастать, особенно в связи с тем, что переход на новые формы хозрасчета ставит благополучие каждого в большую зависимость от конечных результатов производства. И сама реформа обостряет вопрос о развитии демократических начал в управлении производством.

Не менее важна и другая сторона дела, связанная с экономической реформой: если раньше от руководителя требовалось в основном умение организовать людей на решение уже поставленных кем-либо целей, средства достижения которых были тоже predeterminedены и хорошо ли, плохо ли обеспечены, то теперь, с переходом от формального хозрасчета к полному, картина оказывается иной. Мы не хотим этим сказать, что раньше руководителю было легко, что все ему так и шло само в руки. Нет! Но сейчас меняется само содержание понятия «руководство предприятием». Руководитель, коллектив все в большей степени становятся ответственными за формулирование целей развития предприятия, за выбор средств их достижения. И чем разумнее будут решения в этой области, тем выше поднимется тут оплата труда, тем больше средств отчислят на культурно-бытовые нужды. Переход на полный хозрасчет — это повышение ответственности руководителя за судьбу развития производства и за материальное благосостояние людей.

В последнее время мы побывали в крымском колхозе «Дружба народов», которым руководит Герой Социалистического Труда И. А. Егудин, в таджикском колхозе «Москва», который десятилетиями возглавлял недавно умерший дважды Герой Социалистического Труда Санд-Ходжа Урун-Ходжаев, в костромском колхозе «XII лет Октября», во главе которого уже многие годы стоит Герой Социалистического Труда П. А. Малинина. Мы познакомились со многими другими хозяйствами, имена руко-

водителей которых менее известны в стране, хотя это совсем не значит, что их мастерство, их заслуги меньше. Часть успехов этой славной плеяды колхозных руководителей относят иногда за счет «звездной ренты». Но это, пожалуй, отвлекает внимание от того в их работе, что достойно подражания, чему предстоит научиться еще многим и многим хозяйственникам. Они выстояли в самые трудные времена, их талант особенно ярко проявляется теперь, в новых экономических условиях, значит, сегодня для каждого, кто хочет овладеть искусством руководства, современными его методами, важно прежде всего присмотреться к их опыту.

Присмотревшись, приходишь к выводу: несмотря на колоссальное различие в индивидуальных качествах руководителей — темпераменте, уровне образования, — несмотря на существующее, к сожалению, неравенство экономических условий, в которых им приходится работать (но не об этом сейчас речь), есть много, очень много общего в том, как строят они свою хозяйственную деятельность, свои взаимоотношения с коллективом.

Почему в «Дружбе народов», «Москве», «XII лет Октября» и в других им подобных хозяйствах дела идут лучше, чем у соседей? Может быть, их руководители более грамотные специалисты? Формально нет. Бывший учитель, военный, партийный работник... — казалось бы, им трудно противостоять человеку с дипломом Тимирязевской академии. Но противостоять! И попробуйте сказать коллективу, что, скажем, надо им перейти на другую работу!.. Они пользуются огромным уважением, авторитетом, доверием людей.

Невольно задумываешься в связи с этим над одной ленинской формулой, которая, хоть и прозвучала впервые чуть не полвека назад, все более представляется очень современной и важной: «способность привлекать к себе людей».

Что же это за качество?

Просто талант, природное обаяние или же комплекс методов работы?

Впечатления от наших последних поездок на Тамбовщину очень свежие, и, раздумывая, мы вспоминаем председателя ржаксинского колхоза «Рассвет» Сергея Ивановича Панкратова. После общего собрания здесь был концерт, и председатель читал со сцены стихи. Нам рассказали, что он еще выступает с балалайкой. А Прасковья Андреевна Малинина?.. Одному из нас довелось видеть ее в «Грозе» А. Островского в роли Катерины. Хорошо? Думается, очень. Не случайно и в одном и в другом колхозе замечательная самодеятельность. Ведь как это важно, что председатель и в духовной жизни, в нерабочие часы — вместе с коллективом, близок к нему. И, наверное, это одна из привлекательных черточек их характера. Но если после чтения стихов Панкратову бурно аплодировали, то, видимо, надо отнести это отнюдь не только за счет его декламаторского мастерства. Представляете, если бы председатель был плохим хозяйственником, как обыграли бы местные острословы и чтение стихов и особенно балалайку?

Запомнился эпизод собрания в другом колхозе. Здесь обсуждение вопроса об изменениях в оплате труда вызвало бурю. Собрание так расходилось-разволновалось, что председатель по-настоящему сорвал голос. Встал секретарь райкома, заговорил, и как-то быстро все успокоилось.

Нам трудно передать его слова буквально, но сделал он вроде бы совсем немного. Не настаивал сразу на своем мнении, а прежде всего заявил: не я же буду принимать решение, а вы, без вас в колхозе никто ничего решить не может, а теперь послушайте, какое у меня мнение... И без всяких выкрутасов, просто и откровенно рассказал, что думает, потом выслушал оппонентов и в конце концов предложил вариант решения, который всех устраивал.

Здесь примечательно то, что сделано по сути и как сделано.

Способность привлекать людей — это и есть, как нам кажется, прежде всего умение находить такие решения, которые обеспечивают гармонию интересов государства, предприятия, каждого отдельного труженика. Не заставить, а заинтересовать материально и морально, точнее — вскрыть, доказать всем и каждому эту тройную выгоду от намечаемого мероприятия: для своего государства, для своего предприятия, для каждого работающего на нем. И этим советский хозяйственник отличается от капита-

листического «менеджера», все искусство, мастерство которого сосредоточено на том, чтобы любимыми средствами, именно за счет интересов трудящихся добиться максимальной прибыли для владельца предприятия. И одно дело быть «менеджером», искусным плантатором, который управляет наемными работниками, равнодушными к конечным результатам производства, стремящимися, по словам В. И. Ленина, «освободиться от лишней тяготы», «урвать хоть кусок у буржуазии», другое дело руководить свободными производителями — хозяевами производства, которые работают на себя и благополучие которых зависит от собственного труда, от конечных его результатов.

Секрет успеха наших передовых руководителей, замечаешь, как раз и состоит в том, что в своей работе они главное внимание сосредоточивают не только и даже не столько на технологических проблемах, а на работе с людьми. Понять нужды коллектива, каждого отдельного члена его, узнать характер и склонности тех, кто расставлен на места, решающие судьбу хозяйства, уметь вовремя помочь человеку, особенно тому, малейшее отвлечение которого от порученного дела грозит благосостоянию всех, — вот ничтожная часть вопросов, которые приходится решать руководителю хозяйства в этой области. И каждый промах, неумение понять человека больней бьет по производственным показателям, чем отсутствие знаний у руководителя по той или иной технологической проблеме.

Нам приходилось видеть сложнейшую технику, проставившую в самое горячее время на полях, пока механизатор литовкой косил для своей коровы сено, и рядом встречали хозяйства, где руководитель обеспечивал сеном тех, от каждого часа работы которых зависел успех работы всего коллектива.

Но важнее всего, видимо, умение определять очередность в постановке целей и обеспечить таким образом постоянную гармонию интересов трех партнеров, о которой мы говорили.

— После избрания председателем колхоза, — рассказывает один из видных организаторов колхозного производства, руководитель узбекского колхоза «Политотдел» товарищ Хван, — правление, партийная организация ставили последовательно три задачи: сделать работу в общественном хозяйстве основным источником доходов для колхозников, помочь колхозникам в жилищно-бытовом устройстве, что закрепляет кадры, развернуть работу художественной самодеятельности, физкультурных организаций, построить для этого соответствующие объекты, уравнивающие положение колхозной и городской молодежи.

Ясно, что осуществить такую программу возможно лишь на базе быстрого роста производства, но поскольку рост этот сопровождается реальным выигрышем для коллектива, для каждого колхозника в отдельности, дела в хозяйстве пошли в гору.

— Мы хорошо платим не потому, что богаты; богаты оттого, что платим хорошо, — говорит товарищ Хван.

Казалось бы, нет ничего хитрого в этих рассуждениях. И все же нередко можно встретить хозяйства, где оплата труда еще низка, а председатель, правление уже торопятся не отстать от передовиков, затевая дела, которые еще явно не по плечу их хозяйству, забывая о более насущных нуждах.

Говоря об этом, нельзя хотя бы мимоходом не коснуться вопроса о соотношении цели и средств ее достижения. По поводу, например, «елочек» и «каруселей» в последнее время было сказано немало горьких слов. Но все-таки в одних хозяйствах видишь, что новшества привились и дали эффект, а в других, кроме раздражения и чрезмерных и лишних затрат, ничего не получилось. И чаще всего опять-таки дело удалось у тех наших выдающихся руководителей, которые за него брались, а брались они чаще всего уже тогда, когда видели, что новшество поможет достичь поставленную ранее цель, поможет в конечном итоге достижению главного результата — повышению эффективности производства. Здесь цель и средства ее достижения не меняются местами, средство не становится самоцелью, как случалось, к сожалению, нередко. Начиная новое дело, эти люди видят перспективу, знают, с чего начать и чем кончить, знают, чему будет служить, что даст выполнение намеченного. И не в плане маниловских прекраснорудных мечтаний, а на основе строгого расчета и опыта тех,



кто брался за то или иное новое дело. Если эта черта в стиле руководителя покажется малозначимой, то можно вспомнить о кладбищах многих добрых начинаний. Бездействующая силосная башня, запущенный пруд, на строительство которого ушло много денег, неиспользованная техника... В передовых хозяйствах таких «холмиков» насчитывается непоставимо меньше.

Практика наших лучших руководителей показывает, что важно не только ясно сформулировать цель, увидеть ее в связи с общим ходом развития производства. Нужно, чтобы она стала целью всего коллектива, каждого работника в отдельности, чтобы каждый был действительно убежден в выгоде намечаемого мероприятия, большого или малого, для государства, для предприятия, для себя. Без этого трудно добиться синхронности в работе отдельных участков производства.

Вот тут-то и встает вопрос: а как это сделать?

Разумеется, рецептов на каждый случай нет. Но важно, чтобы руководитель всегда отдавал себе отчет: навязать свое решение — одно, выработать его вместе с коллективом — совершенно другое. Нам рассказали любопытный в этом отношении случай из практики председателя известного украинского колхоза Михаила Васильевича Кавуна. Два других председателя проходили у него нечто вроде стажировки. Однажды Михаил Васильевич попросил их поехать на поле, где посевы озимых оказались изреженными, и определить, нужно пересевать пшеницу или нет. Съездили стажеры, оба пришли к выводу: пересевать необходимо.

— Как вы теперь будете действовать? — спросил Кавун.

— Скажу бригадиру, трактористам, чтобы поехали и все сделали, — ответил, недоуменно пожимая плечами, один.

Другой, почувствовав, видно, подвох, рассудил иначе:

— Приглашу агронома. посоветуемся с ним, а он уж потом распорядится.

Вроде бы подчеркнул, что в полеводстве хозяин — специалист.

А сделано все было так.

На соседнее с поврежденным поле послали работать очень опытных и авторитетных в селе механизаторов. К концу рабочего дня приехал к ним агроном и заинтересовался, не заглядывали ли они на тот изреженный участок. Заглядывали, говорят, плоха там пшеничка, надо бы, наверно, пересеять. Агроном сказал, что у него такое же мнение, и предложил вынести этот вопрос на заседание правления артели с активом.

На заседании трактористы выступили первыми. Их авторитетное слово, доказательства агронома убедили всех, что пересев оправдан, экономически целесообразен. Никто в селе потом не сомневался, что принятое решение наилучшее, единственно правильное. А стажерам был дан хороший урок.

— Если бы каждый руководитель четко формулировал цель всей деятельности, если бы об этой своей цели информировал все предприятие и каждую его часть, доведя ее до сознания каждого служащего и рабочего, то организация предприятия в смысле использования человека, слаженность всего коллектива могла бы стать такой же замечательной, как в футбольной команде, — говорил один из опытных руководителей. Сравнение, пожалуй, удачное. Болельщикам, любящимся слаженностью игры, это особенно понятно. Но если бы на футбольном поле изобразить такую «слаженность» некоторых хозяйственных маневров: колхоз покупает племенной скот, а кормовая база в расчете на него не расширена, разбивает новые сады, а сбыт фруктов не продуман...

Пусть не упрекнут нас в том, что говорим все о заинтересованности, но умалчиваем об ответственности, о дисциплине. Конечно же, без дисциплины не может быть производства. И в новых условиях она должна стать даже большей, чем прежде. Но главное в том, на чем она держится: только на угрозе наказания или, употребляя слова В. И. Ленина, это «сознательная дисциплина», происходящая из понимания, что, нарушая установленный порядок на производстве, наносишь автоматически, даже если никто не заметит, сам себе и другим вред. Если уж самому все безразлично, то коллективу отнюдь нет, и он найдет эффективные средства воздействия на такого человека. Речь, собственно, идет о самодисциплине коллектива.

В работе с людьми руководитель, разумеется, не одинок. С ним рядом партийная организация, профсоюз, комсомол.

Обратите внимание и на то, кем окружают себя те руководители, хозяйства которых добиваются замечательных успехов. Рядом с С. Урун-Ходжаевым стоит такой человек, как Д. Набиев, рядом с А. Чухно — Ю. Бочарников и т. д. По деловым качествам ближайших помощников можно еще правильнее судить об организаторском таланте председателя. О каждом из них можно сказать столько же хорошего, что и о первом руководителе, каждый из них дополняет его, делает более многосторонним и гибким в сложной деятельности по руководству коллективом. Не случайно в передовые хозяйства обращаются райкомы и обкомы партии с просьбой отпустить, скажем, заместителя председателя, агронома возглавить колхоз, совхоз. Подбирая себе помощников, председатель вместе с тем думает и о будущем, придирчиво высматривает и готовит более молодого человека на замену себе, такого, который с успехом продолжит дорогое ему дело; тот, кто не заботится о смене, как бы сам себя отрицает, потому что созданное им на земле может быть загублено случайным человеком.

Настоящий руководитель, замечая, что подавляет талантов и способностей окружающих, а помогает им полнее раскрыться. В слабом хозяйстве слабый председатель, как правило, и в помощники норовит подобрать себе людей своего калибра. Обидно как-то, чтобы заместитель был умней, энергичней тебя, — если не осознанно, то интуитивно считает он. Один разумный человек, очень успешно руководивший большими делами, на вопрос, что советует он делать на его месте преемникам, ответил:

— Пусть на надгробном моем камне выгравировут слова: «Здесь покоится прах человека, который умел подобрать к себе на работу людей лучших, чем был сам».

Этим искусством по многим причинам овладеть трудно, но тот, кто им овладел, может чувствовать себя уверенным в самых сложных начинаниях. Когда знакомишься с нашими ведущими хозяйственниками, наглядно в том убеждаешься.

С этим качеством прямо связано еще одно. Порой кажется странным, когда на некоторые вопросы, важные для судеб колхоза, совхоза, опытный, старый руководитель не может ответить, не знает, казалось бы, положения дел в той или иной области хозяйства. Потом подмечаешь: не знает-то потому, что в этой области все в порядке, ответственные за нее люди хорошо делают свое дело, и его голова об этом не болит. Но вот возникли трудности в сбыте овощей или наметилась тенденция в снижении урожайности какой-то культуры. Тревога! В мозгу председателя включаются все сирены, и по обилию переработанной в его голове информации, по знанию мельчайших деталей (где достать дощечки для ящиков, кто и почему не дает вагоны, кому и сколько грузов надо послать) он может смело соревноваться с любой вычислительной машиной, с запоминающим устройством. Умение отвлечься от деталей, когда в них нет необходимости, умение, наоборот, вникнуть и разобраться в тончайших мелочах там, где «заедает», — завидная черта в руководителе.

Приезжая в колхоз, совхоз, прежде чем попасть на поля и фермы, побываешь обязательно в конторе, клубе, пройдешь по сельской улице. Крепкое, по-настоящему культурное хозяйство, как правило, заявляет себя сразу. Колхозы «Москва», «Политотдел», «Дружба народов»... Перед правлением — клумбы с цветами, в конторе чисто, деловито и на всем печать собранности и порядка. Что это опять-таки: следствие достатка, больших доходов или одна из причин нынешнего экономического состояния этих колхозов? Вернее, последнее. С мелочей и начинается создание того самого делового ритма, который проникает на все, самые отдаленные участки, подчиняя себе работу коллектива. Единство стиля — неторопливый порядок, эффект которого во сто крат выше, чем очумелая гонка, суета, кажущаяся горением на работе, — важное преимущество хорошо поставленного хозяйства. И цветочные клумбы, и вымытые окна в конторе, и чистые халаты на ферме, рабочие костюмы у механизаторов — это не прихоть, не «показуха». Таким путем задается тон в работе. Там же, где видишь расхлябанность в гигиене труда, там почти всегда и в самом производстве нет нужного порядка, а это ведет к потерям.

Можно было бы привести много других наблюдений за стилем работы наших лучших руководителей, но важнее еще раз подчеркнуть, какая большая ценность и

редкость — настоящий «хозяйственник», какой особый и многогранный талант несет он в себе. И оттого он требует бережного и уважительного отношения. Долгое время на хозяйственного руководителя — директора, председателя — град взысканий различного рода сыпался больше, чем на кого-либо другого. Не будем пугать статистикой, ведь это довольно известный факт. Да и сейчас не везде и не полностью изменилось еще отношение, а измениться должно.

По мере дальнейшей нормализации условий хозяйствования роль руководителя в успехах того или иного предприятия будет не уменьшаться, а увеличиваться. Поэтому уже сейчас надо обратить большое внимание на подготовку кадров для работы по-новому. Нельзя сказать, чтобы сейчас их не учили. Существуют курсы подготовки и повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов. Чаще всего они действуют на базе сельскохозяйственных высших учебных заведений, и слушатели их, как правило, имеют высшее образование, опыт руководящей работы.

Чему же их учат?

Всему понемногу: сельскохозяйственной статистике, бухгалтерскому учету, основам советского права, плодоводству и овощеводству, животноводству и строительству, охране здоровья и семеноводству...— всего 944 учебных часа (шесть месяцев). Судя по типовому учебному плану и программе, утвержденным Главным управлением высшего и среднего сельскохозяйственного образования Министерства сельского хозяйства СССР, руководитель должен знать понемножку все то, что в полном объеме знает специалист, работающий в хозяйстве, следящий за специальной литературой. Специальных знаний, необходимых именно руководителю предприятия, пока, к сожалению, не дается. Архитектор, инженер-строитель, приступая к своей работе, глубоко разбирается в свойствах тех материалов, с которыми ему придется иметь дело. Он точно знает, как различные виды дерева и камня реагируют на сырость, на высокие температуры, какую нагрузку способны выдержать и т. д. Без этих знаний ни один специалист не решится взяться за дело вслепую. Руководитель предприятия, приступая к своей работе, вооружен сейчас менее чем скромными знаниями о человеке, о его индивидуальной и общественной природе, об исторических и культурных традициях тех, с кем работает, от кого зависит успех всей деятельности предприятия. Из-за этого происходят часто досадные и труднопоправимые ошибки, подтачивающие авторитет руководителя, нарушающие систему нормальных отношений в коллективе. Подготовка руководящих кадров для села страдает академизмом. Учащиеся не вовлекаются в активный процесс освоения знаний. Та «игра», о которой было рассказано вначале, — исключение, а не система, а ведь при ней у человека вырабатывается самостоятельность и острота реакции — качества, крайне необходимые в новых условиях.

Как провести общее собрание, как наладить взаимодействие с бригадами, руководителями отдельных производственных участков? Что надо знать председателю колхоза, директору совхоза, чтобы построить правильные отношения с людьми? Эти и тысячи подобных вопросов встречаются на пути руководителя, и, сталкиваясь с ними, особенно в работе на селе, не каждый, даже самый лучший специалист находит для себя правильный ответ. А он бывает очень нужен. Ведь речь идет об искусстве формирования правильных отношений в коллективе.

Богатый опыт наших передовых руководителей существует пока сам по себе, и он еще не стал предметом специального изучения, не превратился в науку управления социалистическим сельскохозяйственным предприятием. Однако необходимость подойти к подготовке хозяйственных руководителей по-новому настойчиво стучится в двери сельскохозяйственной науки. Повышенные требования к руководителю, новые условия, которые создаются сейчас в связи с переходом на полный хозрасчет, заставляют серьезно задуматься над этим.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

И. КОН

★

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

США — цитадель мирового капитализма, охраняющая его устои во всех углах земного шара. И именно в США разворачивается в последнее время все более мощное и массовое движение протеста против агрессии во Вьетнаме, против расовой дискриминации, против социального и политического неравенства. Застрельщиком этого движения выступает интеллигенция — студенты, писатели, профессура. Чем объяснить это оживление в стране, где так сильны традиции антиинтеллектуализма, где процветают техницизм и культ житейского успеха? Какие общие проблемы волнуют политически активную часть американской интеллигенции? Именно эти вопросы составляют суть моих заметок, никоим образом не претендующих на полноту и систематичность. Однако, чтобы разобраться в проблемах, вставших ныне перед американской интеллигенцией, мне придется начать с более широкой исторической перспективы.

### 1

Что такое интеллигенция?

Согласно нашей «Философской энциклопедии», это «общественная прослойка, в которую входят люди, профессионально занимающиеся умственным трудом». Однако это определение не может считаться однозначным. Существуют четыре разных подхода при определении понятия «интеллигенция». Одни исходят из того, что интеллигенция — это особый социальный слой, и подчеркивают специфичность ее социального положения по отношению к основным классам общества. Другие связывают принадлежность к интеллигенции с содержанием трудовой деятельности (умственный труд) и соответствующим уровнем образования. Третьи — с выполнением определенных социальных функций: созданием и передачей культурных ценностей, осмысливанием текущих политических задач и так далее. Четвертые фиксируют внимание на присущих (или приписываемых) интеллигентам психологических свойствах — преобладании творческого интеллекта над практическим рассудком, способности стать выше непосредственного опыта и тому подобном.

Каждый из этих подходов по-своему правомерен, но соединить их вместе довольно трудно, да и внутри каждого из них есть немало противоречий. Межклассовые и внутриклассовые различия, составляющие основу социальной структуры общества, явно не совпадают (особенно в условиях развитого индустриального производства) с различиями в содержании физического и умственного труда.

Если под интеллигенцией понимать, как это было принято в прошлом веке, только лиц свободных профессий, то есть не работающих по найму, то эта категория окажется слишком узкой. Если же, напротив, зачислить сюда всех служащих, то понятие «интеллигенция» расширяется настолько, что вообще теряет смысл.

Определять интеллигенцию на основе разграничения умственного и физического труда также не вполне правомерно, потому что уже само это разграничение довольно условно, а по мере повышения образовательного уровня населения в целом к интеллигенции все чаще относят не вообще «образованных людей», а лишь специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование. Но формальный образовательный ценз не выражает ни конкретного социального положения, ни различия социальных функций, занят ли человек в сфере производства, управления, науки или культуры.

В свою очередь функциональный подход, который позволяет разграничить группы людей по выполняемым ими социальным функциям — создание высших духовных ценностей, духовное обслуживание материального производства, распространение знаний и обслуживание средств массовой коммуникации, обслуживание административно-управленческого аппарата и т. д., — также не совершенен. Он дает возможность разграничивать творческую, в частности художественную, интеллигенцию, ученых, инженерно-техническую интеллигенцию, работников управленческого аппарата, но это деление само по себе ничего не говорит о классовой структуре общества. Положение интеллигенции как социальной группы зависит не только от характера общественного разделения труда вообще, но и от природы конкретного социального строя. Кроме того, функции идеолога и, допустим, инженера настолько различны, что то и дело возникают сомнения в правомерности объединения их одним и тем же общим понятием.

Психологический же подход слишком субъективно оценочен. В отличие от социологических определений, классифицирующих безличные социальные функции и роли, он обращен к личным качествам интеллигентов. Но какие качества признать типичными? Здесь открывается широчайшее поле для произвольных обобщений. Одни видят в интеллигенции интеллектуальную элиту и совесть общества. Другие, напротив, подчеркивают такие черты интеллигенции, как беспомощность, непрактичность, неустойчивость. Видимо, стереотип «интеллектуала», сложившийся в общественном сознании, сам должен стать предметом социально-психологического исследования. И тогда станет ясно, что речь идет о р а з н ы х социальных группах, оцениваемых к тому же с разных позиций. Разве отрицательный стереотип интеллигента, распространенный в буржуазном обществе, не представляет собой синтез собственной интеллигентской самокритики и мещанской враждебности ко всему, что подрывает стабильность обыденной жизни?!

Трудности определения природы и функций интеллигенции отражают длительный и противоречивый процесс исторического развития. Несомненно, необходимым (но недостаточным) условием возникновения интеллигенции как особой социальной группы было отделение умственного труда от физического. Это произошло уже в глубокой древности. Но интеллектуальная элита античности и средневековья не тождественна современной интеллигенции. Ведь тогда сама интеллектуальная деятельность не была еще достаточно дифференцирована. Одна и та же социальная группа выполняла множество разнообразных функций: жрецы, например, были одновременно и хранителями накопленных знаний, и идеологами, и пропагандистами. И наоборот, одна и та же функция осуществлялась людьми разного разряда: так, роль социального критика выполняли и религиозные пророки, и юродивые, и придворные шуты. Интеллектуальная деятельность была монополией господствующего класса, часто возглавлявшего ее на замкнутую касту (индийские брахманы, средневековое духовенство). Эта замкнутость и «верхушечность» способствовали (и в свою очередь порождались ими) догматизму и схоластичности мышления. Нужно было представить большинству — как непреложные истины — систему готовых догм, доказательство которых, если оно вообще существовало, было доступно лишь немногим. Реальные жизненные конфликты отражались в них чаще всего в неузнаваемо трансформированном виде, что еще больше отдаляло идеологов от массы. Будучи сам по себе привилегией, умственный труд среди свободных людей рассматривался как форма досуга. По Аристотелю человек, который должен работать, чтобы жить, не может быть гражданином. Софисты, кото-

рые первыми в Греции стали брать деньги за обучение, были предметом жестоких насмешек аристократов. Появившаяся в поздней античности и в средние века свободная служивая интеллигенция находилась, по существу, в положении челяди. Социальное положение человека определялось не родом его деятельности, а его сословным происхождением.

Чтобы эти разобщенные интеллектуальные единицы превратились в автономный социальный слой со своим специфическим самосознанием, нужен был ряд предпосылок.

Прежде всего — уничтожение сословной иерархии, принципиальная возможность изменить свое социальное положение в зависимости от изменения вида деятельности. До тех пор, пока интеллигенция рекрутировалась из одного и того же верхушечного слоя, не могло быть и речи об ее автономии. Чем бы ни занимались эти люди, они обычно сохраняли верность своим сословным принципам и предрасудкам. Только формирование интеллигенции из разнородных слоев общества делает ее автономной от каждого из них в отдельности и рождает у нее собственное самосознание, выходящее за рамки старого чувства сословной принадлежности.

Второе условие, значение которого не требует доказательств, — это материальная возможность существовать за счет умственного труда в качестве, так сказать, самостоятельного работника, а не от щедрот знатного покровителя.

Это предполагает в свою очередь появление определенной культурной аудитории, публики, к которой интеллигенция могла бы апеллировать и в которой она могла бы черпать необходимую моральную и материальную поддержку. Такая публика появилась после изобретения книгопечатания.

И наконец, существование более или менее надежных и устойчивых средств коммуникации мыслителей друг с другом. Хотя интеллектуальная деятельность по природе своей в высшей степени индивидуализирована, она требует постоянного обмена мыслями и каких-то общих норм формирования. Без этого невозможно и групповое самосознание. Если в XVI—XVII веках основной формой связи ученых и философов оставалась частная переписка, то в XVIII веке в Западной Европе появляются новые, более широкие и подвижные формы обмена мнениями: французские салоны, где авторы могли встречаться друг с другом и с избранной публикой, и гораздо более демократичные английские кофейни, предшественницы современных клубов, английское Королевское общество, специально созданное в XVII веке для общения ученых, позже — политические кружки и тому подобное.

Как ни парадоксально это на первый взгляд, важнейшую роль в становлении интеллигенции как автономной социальной группы сыграла коммерциализация умственного труда.

Необходимость для писателя считаться со вкусами и требованиями аудитории (а уровень массовой аудитории всегда ниже уровня современного искусства) часто оценивается отрицательно, как зависимость и помеха творчеству. Писатели уже в XVIII веке жаловались на то, что их слава, престиж и доход зависят от вкусов темных, необразованных людей. Но как ни справедливы эти соображения, нельзя забывать, что коммерциализация умственного труда впервые освободила его от другой, еще более тяжелой зависимости: от знатного покровителя, князя, мецената. Это справедливо подчеркивал уже английский просветитель XVIII века доктор Джонсон. Вот запись его разговора с друзьями — Уотсоном и Босвеллом:

«Джонсон: — Теперь само образование стало ремеслом. Человек приходит к книгопродавцу и получает, что ему нужно. Мы покончили с покровительством. Когда просвещение было в младенческом состоянии, некоторых великих людей хвалили за покровительство ему. Это способствовало его распространению. Когда же оно становится всеобщим, автор оставляет великих и апеллирует к большинству.

Босвелл: — Постыдно, что теперь авторам не покровительствуют лучше.

Джонсон: — Нет, сэр. Если образование не может прокормить человека, если он должен сидеть с протянутой рукой, пока кто-нибудь не накормит его, это тоже плохо для него, и лучше пусть будет так, как есть. При покровительстве

сколько лести! Сколько лжи! Когда человек независим, он разбрасывает истину среди многих, чтобы они брали ее, как им угодно; при покровительстве же он должен говорить то, что приятно его патрону, и это с одинаковой вероятностью может быть как истиной, так и ложью.

Уотсон:— Но разве не получается сейчас так, что вместо того, чтобы лстить одному человеку, мы лстим веку?

Джонсон:— Нет, сэр. Мир всегда позволяет человеку высказать то, что он сам думает»<sup>1</sup>.

Конечно, Джонсон не совсем прав. В капиталистическом обществе писатель непосредственно зависим не от публики, а от владельцев соответствующих средств массовой коммуникации. Свобода художника, писателя, философа, который должен оглядываться на мнения издателей, продюсеров, редакторов, безусловно ограничена. Но все-таки она неизмеримо больше, чем свобода придворного поэта, ориентирующегося на личный вкус своего господина. Это зависимость уже не от определенного лица, а от господствующего класса. Но этот класс и его общественное мнение неоднородны; кроме того, по мере созревания и пробуждения рабочего класса общественная жизнь все сильнее пропитывается его стремлениями. Это дает интеллигенту достаточно широкий выбор для самоопределения, причем этот акт отнюдь не автоматический. И относительная автономия интеллигенции, и пестрота ее социального происхождения, и сама природа интеллектуальной деятельности делают интеллигенцию средоточием социальных драм и конфликтов. Объективно-исторические столкновения классовых интересов превращаются здесь во внутренние конфликты идей и принципов.

Эта особенность положения и социальных функций интеллигенции способствовала выработке у нее специфического самосознания, чувства своей исключительности, «элитарности». Конкретное содержание этого чувства может быть весьма различным. У одних оно выливалось в повышенное сознание своей ответственности перед народом, в стремление быть не только мозгом, но и совестью страны. У других «элитаризм», напротив, проявляется в пренебрежении к массам, снобизме и требовании для себя особых привилегий.

Но тот же самый социально-экономический прогресс, который в свое время создал автономную интеллигенцию, в последующий период, особенно в XX веке, нанес серьезный удар как этой автономии, так и связанным с нею иллюзиям.

В своих воспоминаниях о Резерфорде П. Л. Капица, говоря о прогрессе физики, элегически замечает, что «в год смерти Резерфорда безвозвратно ушла та счастливая и свободная научная работа, которой мы так наслаждались в годы нашей молодости. Наука потеряла свою свободу. Она стала производительной силой. Она стала богатой, но она стала пленницей, и часть ее покрывается паранджой»<sup>2</sup>. Мне кажется, что это касается, хоть и в разной степени, не только науки, но и вообще умственного труда. Уже профессионализация умственного труда, превращение его в формально организованный элемент общественного разделения труда, знаменовала начало конца прежней беззаботности. Дальнейшее развитие производства, политической надстройки, средств массовой коммуникации резко повысило роль умственного труда (и, следовательно, интеллигенции) во всех сферах жизни. Но рост влияния одновременно означает и рост зависимости: нельзя в одно и то же время участвовать в какой-то деятельности и стоять в стороне от нее. В науке эта «институционализация» умственного труда была особенно заметна. Сравните хотя бы значение слов «ученый» и «научный работник». Психологически первое звучит более масштабно, что ли: ученый — это человек, благодаря которому существует наука, а научный работник — тот, кто существует благодаря науке. Социологически же второй термин подчеркивает момент организованности, плановости, принадлежности к какому-то научному учреждению.

Развитие современного общества невозможно без повышения образовательного уровня населения, следовательно, без численного роста интеллигенции.

<sup>1</sup> L. Coser. Men of ideas. N. Y. 1965, p. 48.

<sup>2</sup> «Новый мир», № 8, 1966, стр. 215.

В 1900 году только один из шестидесяти американцев, достигших двадцати двух лет, имел образование в объеме колледжа. В 1963 году соотношение это было уже один к восьми, а в недалеком будущем оно станет один к четырем. Ныне в США насчитывается почти шесть миллионов студентов и преподавателей колледжей и университетов (из которых несколько сот тысяч негров и более миллиона выходцев из среды рабочего класса). Образованность хотя и не стала всеобщей — в 1960 году в США насчитывалось около трех миллионов неграмотных (2,4 процента населения старше четырнадцати лет) и около восьми миллионов человек, прouchившихся в школе меньше пяти лет, причем зависит это от имущественного положения, — но перестала быть редкой привилегией, стала более массовой<sup>1</sup>.

За количественными показателями стоят важные качественные сдвиги. Во-первых, изменился классовый состав интеллигенции; она рекрутируется теперь не только из состоятельных семей, но и из других слоев общества. Во-вторых, хотя значение образования возросло как никогда, оно, став массовым, уже не дает своим владельцам прежних исключительных привилегий. В прошлом, когда образованность была редкой, даже простое овладение грамотой приближало человека к господствующему классу. Разумеется, образование и сейчас дает определенные материальные и социальные преимущества. Сильно огрубляя цифры, можно сказать, что американец, окончивший колледж, зарабатывает в среднем вдвое больше, чем окончивший среднюю школу, а этот последний получает вдвое больше того, кто имеет лишь начальное образование. Престиж «белых воротничков» тоже стоит выше, чем «синих воротничков». Но разница не столь уж велика. Зарплата некоторых категорий интеллигенции, например школьных учителей, даже ниже, чем зарплата квалифицированных рабочих.

Исчезает и прежняя «социальная независимость». Еще в XIX веке большая часть интеллигенции принадлежала к так называемым «свободным профессиям» (адвокаты, врачи и т. п.). Это соответствовало общему преобладанию самостоятельного мелкого предпринимательства. В настоящее время подавляющая часть американской интеллигенции работает по найму в промышленных корпорациях или государственных учреждениях. Речь идет не только об инженерах, техниках, учителях, но и о творческой интеллигенции. Писатель, публицист, литературный критик в большинстве случаев (особенно если они ориентируются на серьезную публику) не могут жить только на литературные гонорары и предпочитают жертвовать своей «независимостью» ради более прочного материального положения. В двадцатых годах только 9 процентов авторов маленьких литературных журналов работали преподавателями. В пятидесятых годах уже 40 процентов таких людей были связаны с университетами и колледжами<sup>2</sup>. Но превращение интеллигентов в служащих заметно сближает их положение с положением рабочего класса. Еще Маркс писал об учителях, работающих по найму, что они «...могут быть в учебных заведениях простыми наемными рабочими для предпринимателя, владельца учебного заведения»<sup>3</sup>. В аналогичном положении оказываются и другие отряды современной интеллигенции. Не случайно большинство участников дискуссии о структуре современного рабочего класса на страницах журнала «Проблемы мира и социализма» склонялось к тому, чтобы включать значительную часть служащих и прежде всего инженерно-технический персонал в состав рабочего класса.

Изменились не только численность и социальное положение интеллигенции, но и удельный вес различных ее отрядов. В XIX веке под словом «интеллигенция» чаще всего понимали юристов, учителей, врачей. В XX веке наиболее быстро растущим слоем оказалась научно-техническая интеллигенция. Лорд Чарльз Сноу в своей нашедшей книжке «Две культуры» вспоминает, как в тридцатых годах физик Д. Харди с изумлением сказал ему: «Заметили ли вы, как употребляется теперь слово «интеллектуал»? Похоже на то, что это новое определение решитель-

<sup>1</sup> Цифровые данные см.: M. Gendell and H. L. Zetterberg, eds. A sociological almanac for the United States, 2-nd ed. N. Y. 1964, L. Coser, op. cit., p. 277.

<sup>2</sup> L. Coser, op. cit., p. 267.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. 1, стр. 421.



но не включает Резерфорда, Эддингтона, Дирака, Адриана или меня. Это кажется странным, не правда ли?» Рассеянный ученый не заметил, что это «новое» определение было на самом деле как раз традиционным, оно стало казаться странным только в свете выросшего влияния и престижа естественных наук. К слову сказать, физики обижаются, когда их не включают в число «интеллектуалов», но считают нормальным, когда к числу «ученых» не относят представителей гуманитарных дисциплин, например историков, литературоведов. Противопоставление двух культур — это прежде всего результат колоссального прогресса естественных наук, которые перестали быть чисто утилитарным знанием, превратившись в ведущую отрасль человеческой культуры.

Чтобы подойти к проблеме соотношения естественнонаучной и гуманитарной культуры научно, нужно прежде всего отрешиться от патриархально-романтических настроений. Романтически настроенные философы и социологи любят жаловаться на то, что, мол, в прошлом культура была более рафинированной, свободной от утилитарности, а теперь она превратилась лишь в совокупность средств, и отсюда все беды. Подобные представления совершенно иллюзорны. Верно, что в системе социальных ценностей античного мира и средневековья гуманитарные знания стояли выше естественнонаучных. Не только непосредственный физический труд, но и любые занятия прикладного характера считались там второсортными.

Значит ли это, что культура того общества была «чистой», «свободной» от выполнения практических задач? Отнюдь нет! Просто сами задачи были иными. Молодой человек из знатной семьи не должен был думать о производительном труде. За него работали другие, да и само производство было еще весьма примитивно. Наиболее «достойным» занятием считалась политическая или интеллектуальная (философская, художественная и т. п.) деятельность. Но для этой деятельности практически более важны были не естественнонаучные и тем более не технические, а как раз гуманитарные знания: юриспруденция, история, философия, риторика и т. д. Именно эта практическая, социально обусловленная направленность интересов определяла иерархию культурных ценностей и облик «культурного человека».

В новое время положение радикально изменилось. Современное производство, безотносительно к его социальной форме, основано на широком применении результатов и данных науки и требует технически грамотного, технически образованного работника. Естественно, что образование, ориентированное уже не на узкий круг привилегированных, а на широкие массы людей, тоже должно было перестроиться, изменить соотношение между гуманитарными и естественнонаучными элементами культуры в пользу последних.

Конечно, многое при этом теряется. Современная молодежь знает о физическом строении мира неизмеримо больше, нежели выпускники старой «классической» гимназии, но она не знает древних языков, многие библейские и мифологические ассоциации и образы остаются для нее мертвыми, непонятными. Это мешает восприятию не только древнего искусства, но даже искусства и литературы XIX века. Мы читаем, например, у Пушкина:

Кастальский ключ волною вдохновенья  
В степи мирской изгнанников поит.

А что такое Кастальский ключ? Сегодня даже хорошо образованному человеку, если он не филолог-классик, этот образ кажется неясным и, чтобы понять его, приходится заглядывать в мифологический словарь. Объем актуальной культуры всегда изменялся, новые знания, понятия и образы всегда вытесняли какую-то часть старых, делая их достоянием музеев и эрудитов. Сейчас этот процесс идет быстрее, чем раньше, но ничего трагического в этом нет. При всем почтении к истории, человеческое общество нельзя превращать в музей, да это и невозможно. В конце концов искусство, философия, гуманитарные науки суть различные формы самосознания общественного человека. Наивно думать, что жизнь меняет-

ся, а самосознание будет оставаться прежним. Классика сохраняет свое значение постольку, поскольку выраженные в ней идеи соответствуют в какой-то степени жизненной реальности современного человека. Но она не может выразить эту реальность полностью именно потому, что это новая реальность, требующая новых форм самосознания.

Есть и проблемы гораздо более серьезные. Техницизм, пренебрежение к историческому прошлому, потребительское отношение к высшим культурным ценностям — эти тенденции недаром волнуют лучших мыслителей современности. В Соединенных Штатах они особенно сильны и опасны.

Происходят традиционные сдвиги и в содержании традиционных гуманитарных профессий. Быстро растет количество людей, которые сами не создают духовных ценностей, а заняты техникой их распространения, популяризации и т. п. Это — пропагандистский аппарат, газетные работники, специалисты по рекламе, консультанты-психологи и т. п. Сам по себе рост этой группы — не такая уж новость, как это рисуют некоторые социологи, напуганные призраком «массовой культуры». Число людей, действительно выдвигавших новые идеи, никогда не было велико, и основная масса работников, так сказать, идеологических профессий всегда занималась преимущественно распространением и закреплением достигнутого. Приходский священник не развивал церковную догму, а только внедрял ее в сознание своей паствы, а профессора в средневековых университетах часто в буквальном смысле слова читали тексты, сочиненные их более одаренными предшественниками. Разница, однако, состоит в том, что в прошлом эта работа все же облакалась в индивидуальные формы, тогда как ныне она носит откровенно технический, организованный характер, не допуская ни малейших иллюзий насчет ее «самостоятельности». И когда она оценивается сквозь призму традиционных идеалов духовного творчества — таких, как независимость, свобода самовыражения, ответственность только перед собственной совестью и т. п. — это неизбежно вызывает неудовлетворенность.

Короче говоря, количественный рост интеллигенции и расширение (а следовательно, и внутренняя дифференциация) ее функций сделали решительно непригодными старые стереотипы, в которых интеллигенция осмысливала свою социальную роль. Интеллигенция перестала быть верхушечной элитой, стоящей где-то на периферии общества и в силу этого относительно автономной от него, пытающейся смотреть на него как бы «со стороны». Она является важнейшей составной частью общества внутри основных социальных классов и наряду с ними. Но при этом сильно стала сказываться ее собственная социальная неоднородность и неодинаковость выполняемых ею функций. Интеллектуальная деятельность утратила прежний ореол исключительности, из призвания стала профессией. Отдельные группы интеллигенции стали жить собственными обособленными интересами, порой весьма далекими и даже противоположными интересам остального общества (вспомним хотя бы бунт бельгийских врачей против развития государственной системы здравоохранения!). Модель интеллигента-идеолога, творца высших духовных ценностей, социального критика не может сегодня претендовать на универсальность.

Однако потребность в таких людях существует, и весьма насущная. Недаром в большинстве новейших американских работ «интеллектуал» определяется именно как мыслитель и «критик общества» (в отличие от техника или эксперта).

О них, об их отношении к господствующей политике и власти, и пойдет речь дальше.

## 2

Тема «Мыслитель и власть» издавна привлекала к себе внимание. Рассматривая и развивая ее, философы выдвигали самые разные принципы. Одни считали, что интеллектуальная элита сама должна осуществлять политическую власть (платоновская идея государства, возглавляемого философами). Другие полагали,

что мыслители, не претендуя на фактическое отправление власти, должны быть ее вдохновителями и советниками; третьи исходили из того, что волевые решения независимы от интеллекта, и задача мыслителя ограничивается осмыслением и обоснованием действий власти. Наконец, были и такие, которые утверждали, что власть по природе своей враждебна интеллекту, поэтому мыслитель должен держаться в стороне от нее, сохраняя свою моральную и интеллектуальную независимость, его главная функция — критика власти.

Беда таких абстрактных рассуждений в том, что они не уточняют ни природы власти, ни особенностей мыслителя. В истории общества представлены все четыре типа отношений власти и интеллекта, но соотношение их гораздо сложнее. Прежде всего налицо несовпадение теоретической мысли и практики. Реальная власть связана существующими условиями гораздо жестче, чем теоретический разум. Становясь практическим политиком, идеолог неминуемо должен видоизменять свою доктрину. И не всегда легко определить, где кончается закономерный перевод общих идей в более конкретные термины и где начинается беспринципный оппортунизм. Не усеян розами и путь советника и наставника власти. Историческое значение Гёте меньше всего определяется его деятельностью в качестве веймарского министра. Много ли приобрела Пруссия от дружбы Фридриха II с Вольтером или Россия от переписки Екатерины II с Дидро? Конечно, человечество прогрессирует не только благодаря политическим революциям, но и путем постепенных частичных реформ. Но роль философов-просветителей заключалась не столько в воспитании либеральных монархов, сколько в формировании общественного мнения, делавшего возможными и необходимыми те или иные реформы. И дело здесь не только и не столько в несовпадении теоретического и практического разума, сколько в классовой природе власти. Прогрессивные мыслители прошлого не могли долго уживаться с властью не из-за своей непрактичности, а в силу того, что их цели выходили за рамки существующего строя, который охраняла государственная власть. Государственная власть — даже самая просвещенная — всегда выражает интересы господствующего класса, и это ставит ей вполне определенный предел — таков суровый факт, с которым сталкивались все просветители и утописты.

Но, может быть, дело обстоит иначе, когда речь идет не о монархии, а о буржуазно-демократическом государстве? Разве не влияет на содержание и характер его политики интеллектуальный и образовательный уровень людей, стоящих у кормила власти? Несомненно, влияет. И так же несомненно, что этот образовательный уровень растет из поколения в поколение. Сегодняшний американский политик, а также и государственный служащий, не получает свой пост по наследству. Правда, он может его купить, пожертвовав крупную сумму в избирательный фонд правящей партии. Известный американский социолог Р. Гофштадтер приводит случай, когда президент Эйзенхауэр назначил послом США на Цейлон торговца М. Глака, который не только не имел опыта дипломатической работы, но даже не знал, кто премьер-министр этой страны. Зато он внес тридцать тысяч долларов в фонд республиканской партии<sup>1</sup>. Оправдывая это назначение, Эйзенхауэр ссылался на рекомендации «уважаемых людей», успешную коммерческую карьеру Глака и благоприятный отзыв о нем ФБР. Что касается его невежества, то это, по мнению генерала-президента, дело поправимое. Этот случай не единичен. Но все-таки, как правило, политическая карьера требует определенного образовательного ценза. В 1959 году 95 процентов всех руководящих работников федеральных учреждений США имели хотя бы частичное образование в объеме колледжа, а 81 процент окончили колледж<sup>2</sup>. В составе американского сената и палаты представителей почти 70 процентов — дипломированные специалисты, преимущественно

<sup>1</sup> См.: R. Hofstadter. Anti-intellectualism in American life. N. Y. 1963, p. 10—11.

<sup>2</sup> W. Lloyd Warner a. o. The American federal executive. New Haven. 1963, pp. 107—108.

юристы<sup>1</sup>. Было бы, однако, глубокой ошибкой ставить знак равенства между интеллигенцией и власть имущими.

«К середине XX столетия, — писал выдающийся американский социолог Райт Миллс, — американская элита превратилась в породу людей, совершенно непохожих на тех, кого можно было бы на сколько-нибудь разумных основаниях признать культурной элитой или хотя бы людьми, подготовленными к восприятию культуры. Знание и власть отнюдь не совмещаются в правящих кругах, и когда люди, обладающие знаниями, вступают в контакт с властью имущими, они приходят к ним не как равные, а как наемники»<sup>2</sup>. И это вовсе не случайность.

Буржуазный государственный аппарат не может функционировать без привлечения в самых различных формах — от штатной работы до эпизодических консультаций — разного рода специалистов. Но по сути своей он глубоко антиинтеллектуалистичен. Как показал Маркс уже в ранних своих работах, бюрократическое государство имеет своим основанием и следствием пассивность народных масс. Внушая им, что «начальство всё лучше знает», что об общих принципах управления «могут судить только высшие сферы, обладающие более всесторонними и более глубокими знаниями об официальной природе вещей»<sup>3</sup>. Эту иллюзию разделяют и государственные чиновники, отождествляющие общественный интерес с авторитетом государственной власти и убежденные в том, что «правители-де могут лучше всех оценить, в какой мере та или иная опасность угрожает государственному благу, и за ними следует заранее признать более глубокое понимание взаимоотношений целого и его частей, чем то, какое присуще самим частям»<sup>4</sup>.

Бюрократия превращает политические задачи в административные, а эти последние сводит к канцелярщине. Бюрократия — это предельно рационализированная иррациональность. Жесткий характер бюрократической структуры делает работу аппарата действительно бесперебойной. Однако формальный характер бюрократического управления неминуемо приводит в противоречие с содержательными целями организации, подрывая тем самым ее эффективность. Этим определяется и отношение бюрократического аппарата к интеллекту и интеллигенции.

Как замечает Ричард Гофштадтер, «типичный человек, стоящий у власти, нуждается в знании только как в средстве»<sup>5</sup>. Специалист привлекается только для того, чтобы подыскать средства осуществления политики, цели которой не подлежат не только критике, но даже обсуждению.

Принимая на себя функции эксперта, интеллигент считает, что таким путем он сможет конструктивно влиять на политику. Но, как показывает в своей работе известный американский социолог Льюис Козер, эти ожидания большей частью бывают обмануты. Интеллигент, оказавшийся на службе в аппарате, может рассматривать свою роль как чисто техническую и, не вникая в цели не им формулируемой политики, ограничивается поисками средств ее реализации. Такая установка типична для людей, стоящих на низших ступенях чиновной иерархии, и не отличается принципиально от психологии любого рабочего или служащего: я делаю свое маленькое дело, а что из этого получается, от меня не зависит, и я за это не отвечаю. Иначе обстоит дело с теми, кто попадает на высшие должности и пытается сочетать свое новое административное положение с прежними интеллектуальными установками, предполагающими известную независимость суждений, автономию и т. д. Первое, с чем сталкивается такой человек, это то, что, раз попав в аппарат, он должен ориентироваться уже не на «публику», которую он может сам до известной степени выбирать, а на своего непосредственного начальника и вообще вышестоящих. Как бы высоко ни было положение такого эксперта, общие цели поли-

<sup>1</sup> «A sociological almanac for the United States», p. 50.

<sup>2</sup> C. W. Mills. Power, politics and people. N. Y. 1963, p. 605.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 201.

<sup>4</sup> Там же, стр. 206.

<sup>5</sup> R. Hofstadter, op. cit., p. 428.

тики даются ему как нечто уже готовое. Он может выбирать и рекомендовать разные способы реализации этой политики и тем самым он действительно влияет на нее «изнутри», но он не может отвергнуть ее целиком. Советники президента Джонсона могут спорить между собой относительно масштабов или конкретных целей бомбардировок Вьетнама, но человек, который в принципе против интервенционистской политики, вообще лишний в этой среде.

Ограничения, обусловленные иерархической структурой бюрократического аппарата, затрудняющей (а то и вовсе уничтожающей) обратную связь между «верхами» и «низами», усугубляются узким практицизмом бюрократического мышления. Информация часто застревает в любом из промежуточных звеньев чиновной иерархии, она может быть похоронена в чем-то письменном столе или искажена до неузнаваемости. «Люди, принимающие решения,— пишет Л. Козер,— сами большей частью не склонны к рефлексии. Их рабочая нагрузка обычно очень велика, и простой недостаток времени уменьшает их способность размышлять над дальними перспективами. Плюс к тому необходимость быстрых действий, в сочетании с общей склонностью американцев мыслить инструментально и прагматически, заставляет людей, принимающих решения, делать это быстро. Поэтому они, в свою очередь, склонны требовать от своих советников не долгосрочных прогнозов, основанных на вдумчивом анализе тенденций, а фактической информации, приуроченной к требованиям момента»<sup>1</sup>. В итоге работа оказывается интеллектуально неинтересной и неприятной морально. Поэтому «большинство интеллектуалов, которые вначале идут в Вашингтон из чувства долга и преданности, как правило, скоро разочаровываются»<sup>2</sup>.

Козер тонко описывает переживания «разочарованных» интеллигентов, но он, как и сами эти интеллигенты, не отдает себе отчета в стоящих за этим разочарованием глубинных проблемах. Усложнение управленческой деятельности и увеличение числа и удельного веса работающих в государственном аппарате специалистов породило довольно острый конфликт между этими «интеллигентами-техниками» и теми, кого в США называют «старой гвардией», менеджерами традиционно-го типа. Не имея возможности пробиться на самый верх, интеллигенты-техники находят утешение в критике «некомпетентных» верхов, где, по их мнению, действуют не знания, а личные связи в сочетании с хорошо подвешенным языком. «Предполагается, что та или иная степень некомпетентности, соединенная с гладкой речью и подкрепленная «связями»,— это именно то, что выдвигает человека на вершину служебной иерархии»<sup>3</sup>. В противоположность этому «новые» бюрократы ставят на первый план принцип квалифицированного руководства: «Власть должна быть основана на знании», «управлять имеют право лишь специалисты». Эта критика «верхов» внутри административной иерархии часто бывает справедливой, но ее никоим образом нельзя смешивать с критикой социальной системы как таковой. Принцип «квалифицированного руководства», как это прекрасно показал Н. В. Новиков<sup>4</sup>, предусматривает лишь функциональное совершенствование бюрократической системы, не меняя ее буржуазной сущности. Но пороки этой системы, включая и субъективный произвол чиновников, не могут быть устранены функциональной рационализацией или повышением «компетентности» управляющих. Повышение в составе «властвующей элиты» удельного веса специалистов не меняет классовой природы государственной власти, а именно в этом суть дела.

Оценивая степень «эффективности» или «неэффективности» административной деятельности, американские технократы руководствуются лишь некоторыми внешними, очевидными критериями. При этом подразумевается, что организация служит именно тем целям, которые она провозглашает. Но такой подход по меньшей мере наивен. В свое время, когда капиталистические фирмы только начина-

<sup>1</sup> L. Cozer, op. cit., p. 321.

<sup>2</sup> Там же, стр. 323.

<sup>3</sup> Y. Benman, B. Rosenberg. Mass, class and bureaucracy. N. Y. 1963, p. 312.

<sup>4</sup> См. Н. В. Новиков. Технократические иллюзии в американской социологии. «Вопросы философии», № 7, 1967.

ли в широких масштабах финансировать и организовывать научно-технические исследования, они жестко ограничивали свободу научного поиска, опасаясь бесплодной растраты средств. Сейчас наиболее дальновидные менеджеры отказываются от такой политики и наряду с быстро окупающимися прикладными исследованиями охотно финансируют перспективный научный поиск, считая, что этот «риск» в конечном итоге себя оправдывает. Нечто подобное, хотя в гораздо более скромных масштабах начинается и в государственных учреждениях (работы по прогнозированию и планированию политики и т. п.). Следовательно, там, где это действительно выгодно, бюрократия способна проявлять, хотя и не сразу, необходимую гибкость. Почему же не меняются заведомо неэффективные административные формы? Да потому, что наряду с «явными» функциями, о которых пекутся «технари», буржуазный аппарат имеет более важные для господствующего класса «скрытые» функции, прежде всего подавление и отстранение от политической власти трудящихся. И то, что кажется нерациональным с точки зрения явных функций (например, громоздкость аппарата), оказывается вполне «рациональным» с точки зрения этой главной, но тщательно скрываемой задачи. Так же, как когда-то формула Тертуллиана «верю, потому что абсурдно» спасала от рационалистической критики религиозные догмы, «иррациональность» бюрократической машины скрывает ее классовую сущность и позволяет сочетать полный набор демократических аксессуаров с фактическим всевластием монополий. Человек, не понимающий этого и уповающий только на свои специальные знания, никогда не пробьется на самый верх подобной системы.

Проблема сочетания «конструктивного подхода» с «социальной критикой» затрагивает не только работников государственного аппарата, но и широкий круг ученых-обществоведов. Значение общественных наук неизмеримо выросло в последние десятилетия.

Правда, многие профессиональные политики все еще склонны пренебрегать наукой, думая, что они и так все знают. Как выразился один конгрессмен, «кроме меня самого, каждый, по-видимому, считает себя специалистом в общественных науках. Я-то знаю, что это не так, но все остальные, кажется, уверены, что сам бог дал им исключительное право решать, что должны делать другие люди. Средний американец не хочет, чтобы какие-то пронирыльные эксперты вторгались в его жизнь и его личные дела и решали за него, как он должен жить»<sup>1</sup>.

Несмотря на то, что такое отношение к обществоведению далеко не изжито и его престиж стоит ниже, чем престиж естествознания, его фактическая роль быстро растет. По заведомо неполным данным, одно только федеральное правительство США ежегодно расходует на социальные исследования свыше двухсот миллионов долларов<sup>2</sup>. Не меньше ассигнуют частные фирмы и корпорации. По данным переписи 1960 года, 56 580 специалистов в области общественных наук (в том числе 19 132 экономиста, 12 040 психологов, 21 885 статистиков и 3523 «прочих») работают вне академической сферы<sup>3</sup>. Это существенно меняет положение ученых. Возьмем наиболее близкую мне область — социологию. Еще в первые десятилетия XX века социология была по преимуществу теоретической дисциплиной, а в отношении фактов целиком зависела от истории и этнографии. Анри Пуанкаре острил, что социология — наука, которая ежегодно производит новую методологию, но никогда не дает никаких результатов. В наше время социология повсеместно стала одной из ведущих отраслей обществоведения и обрела обширные области практического применения — от рациональной организации производства до военно-политической стратегии включительно. Все большее число социологов совмещает работу в университетах с постами промышленных консультантов или выполняет специальные задания правительства. Практическая значимость и эффективность социологических исследований уже ни у кого не вызывает сомнений. Но проявляет-

<sup>1</sup> R. Hofstadter, *op. cit.*, p. 36.

<sup>2</sup> См.: «The American Behavioral Scientist». Vol. VII, № 9, May, 1964, p. 7.

<sup>3</sup> См.: «The American Behavioral Scientist». Vol. VII, № 6, February, 1964, p. 15.

ся при этом и обратная сторона этой эффективности — налицо все более тесное слияние американских социологов с капиталистической системой и ее отдельными учреждениями.

Эмпирическая социология зависит от финансового капитала гораздо больше, чем социологи-теоретики старого типа, живущие на свое профессорское жалование и литературные гонорары. Чтобы проводить крупные эмпирические исследования, необходимы специальные исследовательские центры и большие ассигнования. Эти средства может дать только правительство или крупная корпорация. Социолог, таким образом, попадает в непосредственную зависимость от капиталиста или бюрократического аппарата. Он работает уже не на «публику», а на «заказчика», «клиента». Но правящим кругам США социология нужна лишь как источник «деловой информации» об отдельных процессах жизни, информации, которую можно использовать для решения насущных практических задач данной фирмы или организации. В результате появляется новый тип социолога, который действительно сильно напоминает «социального техника». Социолог-эксперт принципиально отказывается от постановки общих вопросов мировоззрения, ограничивая свою задачу исследованием и, по возможности, решением специальных проблем. Сюда относятся многие серьезные исследования — как прикладные, так и теоретические, касающиеся проблем управления, теории организации, массовых коммуникаций, групповой динамики и т. д.

Возникновение прикладной социологии (и сама возможность практического применения социологических исследований), несомненно, свидетельствует о прогрессе науки. Было бы глупо отрицать это лишь потому, что результаты этих исследований служат буржуазии. Но это сталкивает ученых с новыми для них моральными проблемами. Прикладные исследования предполагают обязательное сотрудничество ученого с заказчиком. Но совпадают ли их цели?

По мнению одних авторов, они должны совпадать. «Прикладное исследование и консультации всегда определяются целями клиента, — пишет Ханс Зеттерберг. — Если социолог не разделяет этих целей, ему лучше сразу отказаться от работы»<sup>1</sup>.

Руководитель одной крупной компании так сформулировал свои требования к ученым:

«Во-первых, готовность принять положение, что бизнесмен выполняет в обществе полезную функцию и что его методы могут быть необходимы для осуществления этой функции...

Во-вторых, готовность принять культуру и порядки бизнеса как необходимые и желательные...

В-третьих, готовность извлекать личное удовлетворение из своего членства в команде-победительнице, даже из анонимного членства.

В-четвертых, готовность и способность применять известные ему принципы хороших человеческих отношений»<sup>2</sup>.

Но такая установка, как справедливо замечает американский исследователь Лорен Барниц, интеллектуально поработает ученого. Индустриальные психологи и социологи — несомненно, ученые. Они открывают новые факты, формулируют определенные закономерности и помогают решению практических проблем. Они, как правило, добросовестно, честно и скрупулезно проверяют свои гипотезы и выводы. Иначе и не может быть: ложная установка исключает возможность получения эффективных практических рекомендаций, которых ждут от ученых руководители фирмы и ради которых они расходуют на социальные исследования крупные суммы. Но — и именно в этом выражается классовая направленность подобных исследований — мышление ученых этого типа не выходит за рамки изучаемой «индустриальной системы» и не учитывает объективного антагонизма интересов труда и капитала.

Вряд ли можно отрицать научное и практическое значение тестов, применяе-

<sup>1</sup> Hans L. Zetterberg. Social theory and social practice. N. Y. 1962, p. 183.

<sup>2</sup> Цит. по Loren Baritz. The Servants of power. Middletown. Conn. 1960, p. 201.

мых индустриальными психологами для определения пригодности человека для той или другой должности; при всей их ограниченности эти тесты «работают». Но Уильям Уайт убедительно показывает, что тесты эти вместе с тем «тесты Лояльности или, точнее, тесты потенциальной лояльности»<sup>1</sup>. Поощряя конформиста, они направлены против потенциального «возмутителя спокойствия», который может нарушить установленный распорядок. Точно так же нельзя отрицать, что работающие в фирмах консультанты-психологи и психоаналитики своими советами помогают рабочим (иначе они не пользовались бы успехом). Но за этим стоит ложная и опасная идея, что едва ли не все проблемы, волнующие рабочего, можно «разговорить». Если рабочий недоволен своей жизнью — надо помочь ему приспособиться к ней, но не может быть и речи об изменении самой социальной реальности. Один промышленный консультант так выразил эту мысль: «По крайней мере половину трудностей среднего служащего можно облегчить, просто дав ему возможность «выговориться». Даже не требуется предпринимать по этому поводу каких-то действий. Все, что нужно, — это терпеливо и вежливо слушать, объясняя, когда это необходимо, почему у него ничего нельзя сделать... Чтобы удовлетворить рабочих, вовсе не всегда обязательно выполнять их желания»<sup>2</sup>.

Такой же служебный характер имеют исследования в области пропаганды, политической активности и т. п. Только в роли «заказчика» здесь выступает уже не частная фирма, а государственное учреждение или политическая организация.

Что же означает эта тенденция? Видный чикагский социолог Эдуард Шилз, осуждая «иконоборческие настроения» социологической критики, прямо пишет, что социолог не должен противопоставлять себя обществу. Нужно верить в жизненность и справедливость унаследованного социального строя, в разумность и честность его лидеров. «Политик или гражданин должен чувствовать доверие и убежденность в доброй воле стоящего к нему лицом к лицу социолога; социолог должен чувствовать то же самое в отношении доброй воли политика и гражданина»<sup>3</sup>. Социологи могут критиковать «отдельных лиц, отдельные группы лиц и отдельные учреждения», но не социальную систему в целом.

Такая «конструктивность» фактически превращается в апологетику, принятие и обоснование капиталистического порядка как «естественного», «единственно возможного». А это означает не только приспособленчество, но и искажение истины. Шилз думает, будто «истина всегда полезна для тех, кто стоит у власти, независимо от того, хотят ли они делить эту истину с теми, которыми они управляют»<sup>4</sup>. Но, как справедливо замечает другой влиятельный социолог Альвин Гоулднер, этот тезис весьма сомнителен. «Люди, стоящие у власти, не просто техники, озабоченные только поисками эффективных средств для реализации своих целей; это — политики, связанные с определенными морально окрашенными принципами и символами и стремящиеся, как и все прочие люди, к положительной самооценке»<sup>5</sup>. Они совершенно искренне неспособны понять то, что противоречит их интересам, так как это ослабило бы их сопротивляемость. Ученый, принимающий цели подобного «клиента», неизбежно порывает с принципом объективного исследования.

Социологи, не желающие «отождествляться» со своими заказчиками, пытаются занять нейтральную позицию. Бэрли Гарднер в статье о роли и проблемах промышленного консультанта выдвигает три принципа взаимоотношений социолога с клиентом: «1) Мы — аутсайдеры. Мы не являемся частью организации и можем быть независимыми и объективными в своей оценке ее или ее действий. 2) Мы обладаем суммой специальных знаний и умений. Мы мыслим не так, как другие менеджеры, потому что у нас есть специфический угол зрения и средства изуче-

<sup>1</sup> W. H. Whyte, Jr. *The organization man*. N. Y. 1957, p. 200.

<sup>2</sup> Цит. по L. Baritz. *The Servants of power*, p. 201.

<sup>3</sup> E. Shils. *The calling of sociology*, in: T. Parsons a. o. eds. *Theories of Society*. N. Y. 1961. Vol. II, p. 1441.

<sup>4</sup> E. A. Shils. *Social science and social policy*. «Philosophy of science». Vol. XVI (1949). pp. 222—223.

<sup>5</sup> Alvin W. Gouldner and S. M. Miller, eds. *Applied sociology. Opportunities and problems*. N. Y. 1965, p. 20.



ния проблемы и формулирования выводов. 3) Мы не несем ответственности за решения или за их осуществление. Мы можем только представить заключение или сделать рекомендации. Другие должны решать, принять их и действовать в соответствии с ними или нет»<sup>1</sup>. Но эти принципы довольно трудно реализовать. Консультант не может игнорировать интересы клиента. В конце концов, признает Гарднер, «мы пытаемся помочь менеджерам решать реальные проблемы и мы должны помочь им найти возможные способы действия, даже если эти возможные способы далеки от совершенства»<sup>2</sup>.

Но кто определяет границы возможного? Предположим, рабочие не удовлетворены своим трудом. Эту проблему можно решать по-разному. Можно пытаться изменить характер (или условия) труда, то есть приспособить деятельность к человеку. А можно наоборот, повлияв на психологию и ценностные ориентации рабочего, приспособить его к существующим условиям. С точки зрения фирмы, первый путь, как правило, кажется утопическим. А с точки зрения социолога? Это зависит от перспективы, в которой он рассматривает вопрос. Но можно ли считать, что, приняв точку зрения фирмы, социолог тем самым уже не отвечает за свои рекомендации? Такие вопросы встают не только перед социологами (вспомним хотя бы «Физиков» Ф. Дюрренматта). Но у социолога они органически вплетаются в его профессиональную деятельность.

Один американский автор берет такой гипотетический случай. Социолог убежден в необходимости отмены смертной казни, которая, по его мнению, аморальна и не предотвращает преступлений. Он думает, что большинство населения его штата разделяет его взгляды, и начинает исследование, чтобы доказать это. Однако, тщательно собрав и обобщив факты, он обнаруживает, что 65 процентов выборки за смертную казнь, 25 — против и 10 процентов не имеют определенного мнения. Как он должен поступить? Если вначале он собирался широко опубликовать свои данные, чтобы облегчить принятие соответствующего закона, может ли (должен ли) он теперь воздержаться от публикации? Ведь публикация нанесет ущерб законопроекту. Должен ли он предоставить собранные факты в распоряжение своих противников? Как вообще поступать с «неудобными» фактами? Подобные вопросы возникают перед социологом повседневно.

Роль «социального техника» не устраивает людей, критически относящихся к существующему обществу. Но возможно ли сочетать острую социальную критику с конструктивным подходом?

До недавнего времени социальная критика в США разворачивалась главным образом вне рамок профессиональной социологии, носила, так сказать, глобальный философский характер. Социологов, защищавших радикальные позиции, в частности покойного Р. Миллса, обвиняли (и порой не без основания) в недооценке эмпирических методов исследования, неопределенности понятий и выводов. Но в последние годы критическая струя проникает и в прикладные исследования. Особенно заметно это в исследовании так называемых «социальных проблем» (преступность, алкоголизм, наркомания и т. п.), которые все чаще рассматриваются не как частные, временные нарушения «социального равновесия», а как показатели общей дезорганизации и нерациональности общества.

А. Гоулднер прямо противопоставляет две концепции, две «модели» прикладной социологии — «инженерную» и «клиническую». Социолог-техник берет проблему такой, как она ставится его заказчиком, «клиентом». Он исходит из того, что клиент действительно хочет решить проблемы, на нерешенность которых он жалуется. Поэтому его задача ограничивается поисками средств, и нередко он настолько сживается с интересами реального или потенциального клиента, что даже начинает говорить его языком.

Но социолог может подходить к проблеме не как техник, а как врач. Врач не идет на поводу у пациента, который часто не сознает природы своего заболевания;

<sup>1</sup> Alvin W. Gouldner and S. M. Miller, eds. Applied sociology. Opportunities and problems, p. 80.

<sup>2</sup> Там же, стр. 81.

для него жалобы пациента — только симптом болезни, которую он диагностирует и лечит самостоятельно, иногда даже вопреки больному. «Социолог-клиницист» отдает себе отчет в том, что проблемы, которые выдвигает его клиент, могут быть лишь внешним, часто искаженным проявлением его действительных трудностей, которых он не сознает и в которых боится себе признаться. Отсюда — необходимость объективного исследования и ориентация не на просвещение клиента (хотя и это важно), а на исследование существа проблемы.

Разумеется, это противопоставление «инженерной» и «врачебной» практики достаточно условно. Существенно, однако, что социолог отказывается быть простым средством осуществления политики, а требует права на самостоятельность, на критическое отношение к клиенту. Это соответствует общему росту социального критицизма в Соединенных Штатах.

Но «клиническая модель» имеет и свои трудности. Трудность фактического порядка состоит в том, что если клиент — пациент не понимает своей болезни или не хочет с ней расстаться, социолог не может принудить его к этому; он сам от него зависит. Вторая, интеллектуальная трудность заключается в следующем. Чтобы лечить больного, врач должен иметь научно обоснованное представление о норме, к которой следует стремиться: нужно ли снизить кровяное давление или повысить, каков должен быть состав крови и т. п. В общественной жизни дело обстоит так же, но представление о нормальном и желательном здесь зависит от идеологических установок. Специальное научное исследование смыкается, таким образом, с более общей социальной философией, превращая социологию в арену (и одновременно инструмент) идеологической борьбы.

### 3

Оживление леворадикального движения в США имеет не только непосредственно политическое, но и большое принципиальное значение. Сороковые и пятидесятые годы были периодом заметного спада политической активности в стране. Этому способствовали и известное утомление войной, и подкуп верхушки рабочего класса, и частичное разочарование в социализме, о котором судили по догматическим образцам, и то, что пропагандистам «холодной войны» удалось на какой-то срок убедить часть американцев в реальности «советской угрозы». Именно под флагом борьбы против «внешней опасности» свирепствовали «охотники за ведьмами». Но на самом деле антикоммунизм был предлогом для самой широкой антидемократической кампании. Это была глобальная реакция, по всем линиям и направлениям.

Маккартизм особенно сильно ударил по интеллигенции. «Преподаватель мог быть обвинен в прошлой принадлежности к коммунистической партии или в сегодняшнем «антиамериканизме», в извращении взглядов католической церкви на чистилище или в подрыве морали своих студентов путем обсуждения социологии проституции»<sup>1</sup>. Конечно, не каждый обвиненный увольнялся. Благодаря старым университетским свободам многим удалось спастись (гораздо хуже пришлось творческой интеллигенции, не имевшей этой формы защиты). Но статистика увольнений не передает моральных последствий идеологического террора. «В этой стране пятнадцать миллионов негров: если бы пятнадцать из них линчевали, разве не абсурдно было бы говорить, что это только 0,0001 процента?»<sup>2</sup> — замечают по этому поводу социологи П. Лазарсфельд и У. Тиленс.

Лучшие представители американской интеллигенции активно боролись против маккартизма. Но многие были запуганы. Вот характерные ответы некоторых ученых на анкету Лазарсфельда и Тиленса: «Приходится быть осторожным в вопросах внутренней и государственной политики. Я избегаю их». «Я редко высказываю собственное мнение. Я излагаю признанную и общепринятую точку зрения».

<sup>1</sup> P. F. Lazarsfeld and W. Thielens, Jr. The academic mind. Social scientists in a time of crisis. N. Y. 1958, p. 46.

<sup>2</sup> Там же, стр. 72.

«Эти веяния заставляют людей больше заботиться о том, чтобы не отходить от общепринятых взглядов. Я чувствую, что я стал более осторожным в преподнесении новых идей. Мое сознательное отношение к этому: «Идите к черту!», но подсознательно это на меня влияет». Так говорили люди, которые по профессии своей призваны быть мозгом и совестью общества.

Атмосфера интеллектуального террора и отсутствие действенной новой идеологии привели к оскудению политической жизни, росту гражданской апатии. Многие, в особенности молодежь, утратили интерес к политике, ушли в мир своих частных интересов и переживаний. В социологических исследованиях пятидесятых годов на все лады варьируется тема пассивности, аполитичности, равнодушия американского студенчества. И это были не выдумки, а обобщение реальных данных, полученных из бесчисленных анкет, опросов, интервью. Поскольку аналогичные тенденции наблюдались и в Западной Европе, многие социологи заговорили о том, что это — всеобщее явление, что развитое «индустриальное общество» вообще несовместимо с широкой политической активностью, что политические идеи — любые — исчерпали свои возможности, что наступил «конец идеологии». Появилась идея, что главная беда современного общества — высокий уровень жизни, при котором человеку вроде бы и стремиться уже не к чему. Вот, мол, в Швеции самый высокий жизненный уровень в Европе — и самый высокий процент самоубийств (это, кстати сказать, фактически неверно: по данным официальной статистики за 1963 год, по количеству самоубийств на сто тысяч жителей Швеция «отставала» от Австрии, Западной Германии, Финляндии, Венгрии и Дании). Короче говоря, упадок политической активности стали возводить в ранг чуть ли не социологического закона.

На самом деле, однако, «конец идеологии» сам был формой идеологической реакции, замаскированным (или даже неосознанным) оправданием статус-кво на том единственном основании, что изменить его невозможно, да и некому.

Это умонастроение было прежде всего выражением кризиса буржуазной идеологии, потерявшей свое прежнее влияние. Никакая идеология не может существовать без веры в ее исходные ценности и символы. Вера, по остроумному определению нашего замечательного медика Н. Амосова, это экстраполяция правды через авторитет, бездоказательное восприятие словесной информации как истины. Но бездоказательность эта относительна. Вера живет лишь до тех пор, пока содержание соответствующей идеологии в общем и целом подтверждается жизненным опытом людей, пока ожидания, основанные на вере в незыблемость известных принципов, в общем и целом оправдываются практикой. Чем острее, однако, становятся противоречия общественного строя, «тем больше прежние традиционные представления этой формы общения, в которых действительные личные интересы и т. д. и т. д. формулированы в виде всеобщих интересов, опускаются до уровня пустых идеализирующих фраз, сознательной иллюзии, умышленного лицемерия. Но чем больше их лживость разоблачается жизнью, чем больше они теряют свое значение для самого сознания, — тем решительнее они отстаиваются, тем все более лицемерным, моральным и священным становится язык этого образцового общества»<sup>1</sup>.

Пропагандистский аппарат продолжает и даже усиливает свою деятельность, люди по инерции пользуются привычными идеологическими клише («свободный мир», «равные возможности» и т. д.), не сознавая (до поры до времени) их интеллектуальной несостоятельности, но эти клише уже лишены эмоциональной притягательности, они оставляют людей равнодушными или даже вызывают раздражение.

Разочарование в господствующей идеологии, инфляция идеологических ценностей прежде всего переживаются с отрицательной стороны, как чувство опустошенности, безыдейности, утраты перспективы, идейный разброд. Люди, не умеющие мыслить исторически, не видят в этом процессе разложения ничего положительного и с тоской оглядываются на прошлое. Но это разложение — необходимая

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 283 -- 284.

предпосылка рождения новых символов веры и деятельности. Разочарование (буквально: снятие чар) всегда мучительно, но только оно позволяет увидеть мир в его реальности, без мифологической повязки на глазах. Но этот процесс может оказаться затяжным. «Ницше и Достоевский спрашивали, может ли общество выжить, если оно верит в ложную теорию. В XX веке был поставлен более страшный вопрос: может ли существовать общество, если оно ни во что не верит?»<sup>1</sup> — так определяет нынешнее состояние умов в США американский социолог Майкл Гаррингтон.

Рождение новой идеологии — сложный процесс, который включает не только выработку какой-то системы взглядов, но и наличие общественной силы, готовой взять эти взгляды на вооружение. «Действительное воспитание масс никогда не может быть отделено от самостоятельной политической и в особенности от революционной борьбы самой массы, — писал В. И. Ленин. — Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю»<sup>2</sup>. При отсутствии массового революционного движения существующий строй невольно воспринимается как нечто незыблемое, вечное.

В пятидесятых годах такого движения в США не было, и социальные критики типа Миллса чувствовали себя одинокими. Но как только началась борьба за гражданские права негров, был дан мощный толчок леворадикальному движению вообще. Разумеется, американцы и раньше знали и о существовании нищеты, и о расовой дискриминации. Но для обеспеченных слоев населения это было чем-то посторонним, периферийным. Угнетенные воспринимались как объект соболезнования и благотворительности. Их существование не колебало общую модель «процветающего» общества. Но когда они сами выступили на борьбу, положение изменилось. «Вопрос о гражданских правах — ключевой, потому что он обнажает границы американской экономики и политики; он начинает возбуждать интерес бедняков; он стимулирует перестройку людей внутри рабочих, либеральных, религиозных и левых групп; это проблема, которая приводит в движение и воспитывает активных студентов»<sup>3</sup>, — писала группа студенческих лидеров в журнале «Труды левого движения».

Еще больше обострилась ситуация в связи с войной во Вьетнаме. В вопросе о гражданских правах негров официальная позиция правительства США была в целом — пока не начались кровавые расовые конфликты — положительной. Американские радикалы критиковали правительство за непоследовательность и уступки реакции, но в целом борьба велась в поддержку правительственной программы. Агрессия во Вьетнаме послужила куда более серьезным испытанием. Люди, выступающие против нее, выступают против главного направления правительственной политики. Это не может не наводить на размышления о причинах кризиса.

До сих пор педагоги и социологи, обсуждая проблемы молодежи, рассматривали ее главным образом как объект, сводя все к трудностям приспособления молодого человека к сложному и противоречивому обществу. Теперь оказалось, что не только молодежь не хочет приспосабливаться, но и сами воспитатели не уверены, нужно ли это делать и заслуживает ли это общество защиты. «Что-то действительно гнило в сегодняшней Америке, и это превращает некоторых наших молодых людей в Гамлетов, — пишет известный социолог Эдгар Фриденберг. — Это же превратило многих взрослых в Клавдиев и Гертруд, — они ведь тоже пытались, сколько могли, обращаться с Гамлетом, как если бы его поведение было проблемой психологического перенапряжения и душевного здоровья»<sup>4</sup>. Характерно, что «гамлетовская» ситуация была осознана, лишь когда молодежь уже начала переходить от пассивного неприятия действительности к активным политическим действиям.

<sup>1</sup> Michael Harrington. The accidental century. N. Y. 1965. p. 163.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 314.

<sup>3</sup> Paul Jacobs and Saul Landau. The New Radicals. A report with documents. N. Y. 1966, p. 269.

<sup>4</sup> «The New York Times Magazine», January 16, 1966.

Митинги протеста, демонстрации, «тич-ины» стали массовыми, охватили широкие слои не только студенчества, но всей американской интеллигенции.

Как всегда в подобных ситуациях, реакционные круги пытаются прибегать к силе, требуют «зажать», «запретить», «подавить»! Вьетнамская война дает для этого хороший повод: можно говорить об «антипатриотизме», «ударе в спину» и под этим предлогом расправиться не только с непосредственными противниками, но и с потенциальной оппозицией. Пока в бой не вступило организованное рабочее движение (сказывается влияние реакционных профсоюзных боссов), это в принципе возможно. Однако американская интеллигенция дает отпор подобным попыткам. В ответ на обвинения в разнузданности и безответственности, брошенные бывшим вице-президентом Никсоном американским студентам, выступающим против войны во Вьетнаме и нарушения академических свобод, крупнейший американский историк Генри Стил Коммаджер заявил: «Лучше избыток заинтересованности и активности, чем избыток апатии... В задачи университета вовсе не входит ворчать, как тетушка Полли, заниматься цензурой студенческих газет и спектаклей, одобрением того или иного клуба, отклонением того или иного оратора на студенческом собрании. Не дело университета — следить за личной жизнью студентов. Все это — дело самих студентов»<sup>1</sup>.

Репрессивные меры против студенчества, попытки подавить оппозицию при помощи драконовских законов вызывают возражения даже у тех, кто не сочувствует леворадикальному движению. Одни восстают против подобных мер во имя верности либеральным принципам, другие — из соображений политической и деловой целесообразности. Подавление демократических свобод, как хорошо известно из истории, начиная с французской революции 1830 года, как правило, дает обратный эффект, часто более сильный, чем первоначальная оппозиция. Маркс писал по поводу прусских цензурных законов, что из-за них на одном полюсе рождается политический самообман, а на другом — «политическое суеверие» и «политическое неверие», доходящие до полной апатии<sup>2</sup>. В сравнительно спокойные времена это может быть выгодно реакционному правительству, но в момент политического кризиса усиление репрессий лишь укрепляет силы сопротивления.

Крайняя реакция, как правило, не разбирается в «тонкостях» интеллектуальной и идеологической жизни. Она отвергает все, что не укладывается в рамки ее собственного примитивного мышления и, не умея и не желая доказывать, всюду апеллирует к силе. Ричард Гофштадтер приводит слова конгрессмена из штата Мичиган Джорджа Дондеро, по мнению которого такие художественные течения, как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм и т. д., непосредственно связаны с коммунизмом. «Искусство измов, — говорил он, — это оружие Русской революции, которое было перенесено в Америку, и сегодня, разложив и пропитав многие наши художественные центры, оно угрожает подорвать, разложить и осилить благородное искусство наших традиций и наследия. Так называемое новое или современное искусство в нашей собственной возлюбленной стране содержит все измы разложения, упадка и растления... Все эти измы — иностранного происхождения, и им поистине не должно быть места в американском искусстве... Все они — средства и орудия разрушения»<sup>3</sup>.

Но глобальное утверждение неизбежно рождает и глобальное отрицание. Попытки административно контролировать и направлять по собственному вкусу интеллектуальную и художественную жизнь в прошлом достигали лишь того эффекта, что переводили сравнительно безобидную, не затрагивавшую интересов широких масс интеллектуальную оппозицию в гораздо более опасную (с точки зрения властей) оппозицию политическую. «Было бы абсурдно приписывать отчуждение многих авангардных авторов XIX и XX столетий исключительно битве с цензорами, — пишет Л. Козер, — но можно уверенно утверждать, что эти битвы в немалой степени способствовали такому отчуждению. Для этих авторов цензор стал главным

<sup>1</sup> «Saturday Review», August 27, 1966.

<sup>2</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 69.

<sup>3</sup> R. Hofstadter, op. cit., pp. 14—15.

символом филистерства, лицемерия и низости буржуазного общества... Многие авторы, вначале аполитичные, перешли к американской политической левой, потому что левые были в авангарде борьбы против цензуры. Тесный союз художественного авангарда с авангардом политического и социального радикализма объясняется, по крайней мере отчасти, тем фактом, что в сознании многих людей они в конце концов слились в единой битве за свободу против всякого угнетения, все равно — сексуального или политического»<sup>1</sup>.

В нашей печати сообщалось немало фактов о новом левом движении в США. Приводились они и в «Новом мире»<sup>2</sup>. Я не собираюсь их повторять, моя тема — не история политического радикализма в США, а состояние американской интеллигенции. Пока прогрессивное движение в США разворачивается вокруг нескольких непосредственных целей: гражданское равноправие, прекращение войны во Вьетнаме. Цели эти, несомненно, значительны. Но перерастет ли эта борьба в устойчивое, длительное движение? Любые близкие цели рано или поздно либо бывают достигнуты, либо теряют свою остроту. Большое политическое движение требует и большой, перспективной программы. Но как раз с этим дело обстоит очень плохо.

Правда, под влиянием кризиса официальной идеологии среди американской интеллигенции заметно усилился интерес к марксизму<sup>3</sup>. В последние годы в США все чаще проводятся симпозиумы, посвященные марксизму, о нем говорят и пишут в положительном духе. Широкий отклик в стране вызывает деятельность молодого американского Института марксистских исследований. Растет и популярность Коммунистической партии США.

Однако ни марксистская теория, ни коммунистическая идеология не пользуются пока решающим влиянием среди американской интеллигенции.

Молодая интеллигенция отвергает существующий строй, но не знает, ни чем его заменить, ни как это сделать. С одной стороны, она боится раствориться в массовом движении, потерять свою автономию в жестких организационных формах политической партии. «Многообразие и децентрализация новой левой — одно из ее величайших преимуществ, которое нужно всячески поощрять и поддерживать», — писали редакторы журнала «Труды левого движения»<sup>4</sup>. С другой стороны, они понимают, что без массового движения интеллигенция бессильна, ее протест не будет замечен. «Трудно быть социальным критиком внутри общественного движения и трудно — без него», — замечает социолог С. М. Миллер<sup>5</sup>.

Критически настроенная интеллигенция горячо осуждает обывательский конформизм и приспособленчество. Но существуют скрытые формы конформизма. Например, интеллектуальная всеядность. Ценнейшее качество интеллекта — способность смотреть на вещи под разными углами зрения, умение стать на чужую точку зрения легко превращается в собственную противоположность, в беспринципный эклектизм.

Сейчас, в век массового производства духовных ценностей, когда с разных сторон человек получает огромное количество самой разнообразной информации, которую он не в состоянии самостоятельно переварить, эта опасность особенно велика. Речь идет не только о трудности выработки подлинно индивидуального стиля, образа мышления, вкуса: страшно равнодушно-потребительское отношение к идеям. То, что какая-либо серьезная книга или фильм имеет успех, еще вовсе не доказывает, что они оказывают влияние. «Успех, потерявший свою реальность, хуже, чем неудача», — замечает Гофштадтер. — Широкая либеральная публика среднего класса, от которой зависит этот прием, теперь подходит к труду интеллектуалов с мягкой, поглощающей терпимостью, которая совершенно отлична от жизненного отклика. Писателю, который только что выпотрошил их образ жизни и их

<sup>1</sup> L. Coser, op. cit., pp. 95—96. Разрядка Козера.

<sup>2</sup> См.: Р. Орлова. Молодые левые. «Новый мир», № 6, 1967.

<sup>3</sup> См. об этом подробнее: Герберт Аптекер. Некоторые тенденции в идеологической жизни США. «Проблемы мира и социализма», № 10, 1966.

<sup>4</sup> «The New Radicals», p. 279.

<sup>5</sup> A. Gouldner and S. M. Miller. Applied Sociology, p. 454.

беспринципные компромиссы, читатели теперь говорят: «Как интересно!», или даже иногда: «Как верно!» Такая пассивная терпимость может только бесить писателя, который интересуется не только размером своих гонораров и надеется действительно оказать какое-то влияние на ход событий или внести определенную лепту в моральное сознание своего времени»<sup>1</sup>.

Принцип терпимости, который в свое время был выдвинут как оружие против господствовавшего религиозного фанатизма, в руках консерваторов и обывателей превращается в скользкое и аморфное оправдание «статус-кво». Именно против такого понимания направлена замечательная книга Роберта Вольфа, Баррингтона Мура и Герберта Маркузе «Критика чистой терпимости», утверждающая право угнетенных меньшинств «сопротивляться с помощью внезаконных средств, если законные оказались неэффективными»<sup>2</sup>.

Эта опасность существует не только в сфере потребления, но и в сфере производства идей. Далеко не всякий нонконформист представляет действительную угрозу для правящих кругов. Нонконформисты были в любом обществе, и не все они подвергались преследованиям. В первобытном обществе человек, непохожий на других, мог стать шаманом, и тогда его специфическое видение мира воспринималось как нечто само собой разумеющееся. В средние века его либо сжигали, либо он становился юродивым, и тогда к нему относились со смешанным чувством страха, почтения и пренебрежения; его социальная роль давала ему право на необычность, исключая возможность массового подражания. В буржуазном обществе существует немало писателей, художников, философов, поэтов, которых с полным основанием можно назвать хорошо оплачиваемыми нонконформистами. Нет, они не приспособляются к господствующим вкусам, они даже оскорбляют их. Но производимый ими шум не потрясает реальных устоев общества, а только щекочет нервы обывателя. «В Америке, — пишет писатель Норман Мейлер, — мало кто поверит в вас, если вы не непочтительны». «Но, — добавляет социолог Кристофер Лэш, — правда состоит в том, что больше всего вам доверяют, если вы прикинетесь бунтарем»<sup>3</sup>. Такая спекуляция возможна и на «левых» идеях, утрачивающих при этом всякую серьезность.

Развитый интеллект позволяет человеку выходить за рамки своей непосредственной групповой принадлежности и заставляет его чувствовать не только свою собственную, но и чужую боль. Но тот же интеллект способен объяснить и оправдать любую гнусность: ведь в конце концов все на свете относительно... Ирония скрывает неудовлетворенность и внутреннюю боль; люди, которые по-настоящему больны ею, стремятся прорвать эту стену, мешающую выражению подлинных чувств. «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами»<sup>4</sup>, — писал Александр Блок. Но кроме трагической иронии, существует ирония самодовольная, которая позволяет, ничего не делая, пользуясь всеми благами мира, чувствовать себя выше окружающей среды и которую Генрих Бёль метко назвал наркотиком для привилегированных<sup>5</sup>.

В отличие от других общественных слоев, у которых социальный протест, пока он носит стихийный характер, как правило, связан с конкретными материальными интересами, интеллигентский протест имеет характер обобщенный и выражается прежде всего в моральных терминах. В этой обобщенности — его сила, поскольку моральный призыв обращен ко всем и каждому. Но в ней же и его слабость. Отвлеченно-моральная критика общества рискует оказаться романтической и чисто негативной.

Американские «критические» социологи исключительно ярко описывают про-

<sup>1</sup> R. Hofstadter, op. cit., pp. 418—419.

<sup>2</sup> См.: R. Wolff, B. Moore, Jr. H. Marcuse. A critique of pure tolerance. Boston, 1965.

<sup>3</sup> C. Lasch. The new radicalism in America. N. Y. 1967, p. 343.

<sup>4</sup> А. Блок. Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 5, М.—Л. 1962, стр. 349.

<sup>5</sup> Г. Бёль. Бильярд в половине десятого. М. 1961, стр. 94.

цесс разрушения человеческой личности, бессилие человека перед лицом военно-бюрократической машины, стандартизацию культурных ценностей и т. п. Свою неудовлетворенность миром они пытаются выразить в какой-то одной общей формуле. «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль!..» — что может быть понятнее и естественнее этого желания, особенно, если единственное «практическое мероприятие» состоит в том, чтобы «бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль»? Но если вы хотите не просто выразить свою неудовлетворенность и тоску, а и разобраться в ее причинах, — одного слова, пожалуй, недостаточно. Иначе оно на ваших глазах превратится в очередное бессодержательное клише.

Именно это происходит со знаменитым понятием отчуждения, которое стало, пожалуй, центральным символом веры левой интеллигенции, символизируя все беды и злключения человека и общества.

Эта исключительно емкая философская категория несет в себе богатейшее социально-критическое начало, выражая неудовлетворенность существующей социальной действительностью с позиций (по-разному понимаемого) гуманизма. Недаром она была отправной точкой социально-исторических построений молодого Маркса, да и сейчас играет важную роль в марксистской литературе. Но термин этот в высшей степени многозначен. Что же конкретно обозначает он в новейшей американской социологии и философской публицистике? Отчуждение, пишет Джеральд Сайкс в предисловии к составленной им одноименной двухтомной антологии, — это «смутная, но реальная беда, которая уже овладела каждым, кто не почувствовал красоты на странице 936, ужаса на странице 52, мудрости на странице 688, пафоса на странице 568, страсти на странице 581. Учебное определение дается на странице 67. Желание сразу же посмотреть эти абзацы свидетельствует только о тяжелом случае отчуждения. Полное отсутствие интереса к ним было бы еще хуже»<sup>1</sup>. Допустим, что это шутка. Но и в специальной литературе этот термин обозначает все, что угодно.

Одни авторы подразумевают под отчуждением переживания отдельного индивида, не чувствующего себя свободным в своей жизнедеятельности, другие — объективный процесс отстранения определенных социальных групп от тех или иных общественных ценностей (отчуждение рабочего от средств производства, власти — от управляемых, и т. п.). Одни выводят отчуждение из всеобщих условий человеческого существования, другие — из конкретных социальных условий, таких, как частная собственность или общественное разделение труда, третьи — из индивидуально-психологических факторов. Я не собираюсь давать здесь собственную трактовку проблемы отчуждения, тем более что уже писал об этом в другой статье<sup>2</sup>. Я хочу только подчеркнуть, что понятие это обозначает целую совокупность столь же значительных, сколь и различных проблем. Одно дело — объективная закономерность общественного развития, другое дело — стихийность, неуправляемость социальных процессов. Одно дело — необходимость труда вообще, другое дело — его подневольность, принудительность. Одно дело — всеобщая зависимость людей от природных условий или наличного уровня производительных сил, другое дело — социальное неравенство, когда одни люди присваивают себе труд других или обладают монополией на политическую власть. Обозначение всего этого одним и тем же термином отнюдь не облегчает понимание конкретных социальных процессов и возможных способов воздействия на них.

Интеллигенция должна не просто аккумулировать и выражать общественные настроения, но и анализировать, объяснять то, что за ними кроется. Опасно фетишизировать существующее общество, принимать его за единственно возможное. Но не менее опасны социальные утопии, иррациональный активизм, не ведающий, что творит.

Глобальная «критика общества» часто грешит абстрактностью и романтизмом. Описывают, например, отрицательные последствия урбанизации, трудности

<sup>1</sup> Gerald Sykes, ed., *Alienation. The cultural climate of our time*. Vol. I. N. Y. 1964, p. XIII.

<sup>2</sup> См.: «Иностранная литература», № 5, 1966.



жизни в каменных джунглях гигантского города-спрута. Но при этом не задумываются над тем, можно ли остановить рост городов и каким образом. Говорят об одиночестве человека в большом городе и о том, как индустриализация подавляет индивидуальность, и забывают о страшной тирании мещанского общественного мнения в маленьких общинах, о которой Джон Чапмен писал, что по сравнению с ней «старомодная тирания Медичи, пап или Австрии — детская игрушка»<sup>1</sup>. Справедливо критикуют «коммерческое искусство», возмущаются низкими интеллектуальными критериями и т. д., но при этом не умеют разграничить процессы, обусловленные тем, что культура действительно становится массовой, а средства ее распространения индустриализируются, от процессов, обусловленных превращением духовных ценностей в товар; не учитывают историчности самих эстетических критериев; бесосновательно говорят о деградации всей современной культуры.

Глобальная критика, при всей своей напряженности, часто играет двойственную социальную роль. Она рождает неудовлетворенность, но не указывает реальных путей деятельности. Чтобы перевернуть мир, нужно все-таки иметь точку опоры. Тотальное же неприятие по самой сути своей иррационально, и то, что кажется безобидным и даже привлекательным на уровне теоретических рассуждений, становится страшным, воплощаясь в действии.

Сделаем небольшое отступление.

Из примитивных историко-философских книжек, где есть только два цвета — черный и белый, трудно понять, почему Ницше, оказавшийся идейным предтечей фашизма, был одно время кумиром многих прогрессивных мыслителей, таких, как Генрик Ибсен, Альберт Швейцер или Томас Манн. Но откройте сочинения Ницше, и загадка рассеется. Немецкий философ отнюдь не был «охранительным» мыслителем. Наоборот, он резко обрушивался на пошлость буржуазной жизни и обосновывавший ее рассудок. Цивилизация идет от победы к победе, самодовольно вещали позитивисты. Нет, отвечал Ницше, наше время — время распада, «нет ничего, что бы стояло на ногах крепко, с суровой верой в себя: живут для завтрашнего дня, ибо послезавтра сомнительно. Все на нашем пути скользко и опасно, и при этом лед, который нас еще держит, стал таким тонким; мы все чувствуем теплое и грозящее дыхание оттепели — там, где мы еще ступаем, скоро нельзя будет проходить никому»<sup>2</sup>. Ницше пишет об обесценении традиционных высших ценностей, об убыли достоинства человека в его собственных глазах. Вместе с тем он отвергает философию глобального пессимизма. «Современный пессимизм есть выражение бесполезности с о в р е м е н н о г о м и р а, — не мира и бытия вообще»<sup>3</sup>. Он осуждает объективизм и гелертерство господствующей культуры, которая заполняет ум человека впечатлениями, не стимулируя его собственной активности. Осуждая отрыв познания от потребностей практического действия, Ницше обращается к человеку, субъекту, личности.

Была ли эта критика общества, морали и науки XIX века справедливой? Да, очень во многом, и именно это привлекало к Ницше передовые умы его времени. Эти люди хорошо понимали иронию Ницше, его полемические преувеличения. Они видели в нем не разрушителя, а продолжателя гуманистической традиции и не придавали значения его филиппикам против интеллекта, адресуя их исключительно буржуазному рассудку. Но если некоторые радикальные мыслители конца XIX — начала XX века видели в ницшеанском «сверхчеловеке» выражение символического протеста против отчужденного и обезличенного мира буржуазной собственности, то идеологи фашизма с не меньшим основанием нашли в нем свой собственный прообраз, образ человека-зверя, «освободившего» свои скованные культурой животные инстинкты и призванного «омолодить» человечество своим своим варварством. Индивидуализм Ницше только казался отрицанием буржу-

<sup>1</sup> Цитирую по R. Hofstadter, op. cit., p. 411.

<sup>2</sup> Фридрих Ницше. Полное собрание сочинений, т. IX. М. 1910, стр. 43.

<sup>3</sup> Там же, стр. 24.

азности, но никогда не был им на деле. И хотя Томас Манн возражал против отождествления взглядов Ницше с фашизмом, он не мог не признать их идейного родства. «...Не лучше ли было бы воспитывать в массах уважение к истине и разуму и самим научиться уважать их требования справедливости, чем заниматься распространением массовых мифов и вооружать против человечества орды, одержимые «могучими иллюзиями?»<sup>1</sup>, — писал он на основе исторического опыта.

О том, куда приводит «невинный» на первых порах антиинтеллектуализм, нельзя забывать и сегодня. Идеологи движения, лишенного четкой положительной программы и определенной организационной структуры, легко приходят к апофеозу стихийности. Само преодоление отчуждения мыслится многими как разрушение любых «заданных» форм и рамок, как торжество самопроизвольного начала.

Конечно, революционное движение не может обойтись без разрушения. Всякая социальная критика является одновременно критикой конкретных форм рациональности, свойственных данной социальной системе, делающих ее не хаотическим нагромождением институтов, а именно упорядоченным целым. Невозможно, например, критиковать капитализм, не ставя под вопрос систему мышления, основанную исключительно на принципе взаимной выгоды (хотя рациональность и эффективность этой системы доказаны опытом капиталистического хозяйства). Но плохо, если бунт против капиталистической рациональности, против рациональности рынков и прибылей становится бунтом против самого разума и организации, как таковых.

Человек, разуверившийся в разуме, не видящий путей рационального решения своих проблем, неизбежно впадает в отчаяние; для него типичны чувства беспомощности, растерянности, страха и озлобленности. В индивидуально-психологическом плане это превращается в невроз, а в социальном — рождает стихийный анархический бунт против всех и всяческих общественных норм, против социальной дисциплины и организации, как таковых. Этот анархический бунт легко подчиняют своим целям фашистские демагоги.

В фашистской пропаганде нередко варьируются те же мотивы, что и в лево-радикальной критике: обезличенность общества, всеислие бюрократии, холодность и жестокость мира. Но вместо разумного анализа действительности фашизм апеллирует к эмоциям. Место теоретической программы занимают иллюзии. («Человек может умирать лишь за ту идею, которой он не понимает», — говорил Гитлер.) Общественная жизнь рисуется как сеть заговоров со стороны врагов (коммунистов, негров, интеллигентов), которых надо разоблачать и уничтожать. «Зримый враг», против которого надлежит сплотиться, дополняется столь же зримым «вождем», носителем благодати, каждое слово которого — откровение. Тот факт, что не все воспринимают это откровение, только усиливает фанатизм его приверженцев, доказывая их «избранность», — ведь только они видят «истинный свет», скрытый от непосвященных. Жесткая дисциплина, не допускающая индивидуальных вариаций, создает ощущение психологической надежности, устраняет сомнения, снимает проблему личной ответственности. Разумеется, все это не вечно. Фанатизм нужен, чтобы сломать существующий порядок. Затем, как видно хотя бы из истории фашистской Германии, положение меняется. Слишком «беспокойные» штурмовики подлежат уничтожению. Бюрократический аппарат становится жестче, чем когда бы то ни было, энтузиазм сменяется рутинной и принуждением. От широкообещательных обещаний ничего не остается, а всякий инакомыслящий становится «внутренним врагом». Но — дело уже сделано, власть захвачена и свергнуть ее не так-то легко...

Фашизм, увы, не только история. Обстановка политического кризиса, в котором оказались Соединенные Штаты, способствует консолидации не только демократических, но и крайне правых сил. Идеологам американских «левых» приходится думать не только о том, куда пойдут они сами, но и о том, каков социальный эффект их влияния на другие слои общества, особенно на молодежь.

<sup>1</sup> Томас Манн. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. Ю. М. 1961, стр. 364.

## 4

По сравнению с прошлым веком заметно изменилась и сама интеллигенция, и ее социальная роль. Многие проблемы теперь формулируются по-новому. Но и старые истины не потеряли своего значения. Как и раньше, «служенье муз не терпит суеты». Коллективные методы работы, все шире распространяющиеся в науке и технике, не отменяют необходимости творческого уединения, отключения от практических задач не только для поэта, но и для физика или математика. Профессионализация умственного труда рационализирует использование интеллектуальных ресурсов общества, но не уничтожает ни бескорыстных творческих поисков, ни труда «по призванию», хотя то, что раньше мыслилось как отношение между интеллигенцией и «остальными», теперь все же чаще выступает как отношение между разными группами внутри интеллигенции («идеологи» и «техники», «физики» и «лирики»).

Пока интеллигенция была сравнительно узким верхушечным слоем, ее влияние на повседневную жизнь было ограничено. Даже понимая необходимость слияния с народом, она опасалась, что будет отвергнута, что тонкий слой культуры не выдержит напора здоровой, но невежественной массы. «Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», — летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель», — говорил в своем докладе «Народ и интеллигенция» (ноябрь 1908 года) Александр Блок<sup>1</sup>. Интеллектуальная свобода понималась в этих условиях прежде всего как свобода от внешних ограничений, цензурных запретов, вмешательства извне. Бессилие же изменить реальные условия интеллигенция воспринимала как свою трагическую вину перед народом; это чувство было особенно развито у многих дореволюционных русских интеллигентов.

Сегодня интеллигенция стала составной органической частью общества, проникла во все звенья социального механизма. И это значит, что колоссально возросла ее ответственность. Не затворничество в башне из слоновой кости, а активная борьба за реализацию передовых идей — вот путь лучших представителей современной интеллигенции. Свобода как слияние с прогрессивными силами общества не означает отказа от критического созерцания и самоанализа. Сила философа как философа не в том, что он умеет стрелять. Но когда восьмидесятилетний Бертран Рассел участвовал в сидячей демонстрации, это был не только политический акт, а свидетельство серьезности и искренности его убеждений. Если интеллектуалы не просто торгуют идеями, но сами живут идейной жизнью, они не могут уклоняться от борьбы за их реализацию.

«Я требую от вас не чувства вины, а чувства ответственности» — эти слова писателя и драматурга Артура Миллера становятся сейчас моральной нормой лучших людей Америки.

Это трудно, очень трудно. Когда кругом торжествует варварство и нужно заботиться лишь о том, чтобы как-то сохранить для будущих поколений хотя бы фрагменты культуры, уже простое признание господствующей тенденции и несотрудничество с нею становится подвигом. Однако в обстановке политического кризиса простого неучастия недостаточно. Старый вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — приобретает новую остроту. Как никогда в «мирные» периоды, в условиях кризиса проявляется социальная неоднородность интеллигенции, одна часть которой уже сейчас объективно принадлежит к рабочему классу, другая же верой и правдой служит буржуазии. Политически это требует размежевания буржуазно-либеральных и левосоциалистических течений. Американские либералы могут выступать за равноправие негров и против бомбардировок Вьетнама, но они целиком остаются на почве буржуазного общества. Напротив, леворадикальное движение стремится (это стало особенно заметно в последние месяцы) «связать свою

- А. Блок. Собрание сочинений, т. 5, стр. 328.

оппозицию к войне с общей критикой американского капитализма», «перевести демократические ценности в социалистические термины»<sup>1</sup>.

Получится ли это и насколько значимы будут эти социальные идеалы? На этот вопрос едва ли кто-нибудь может ответить. Темп событий в США нарастает. Я не успел закончить статью, как пришло извещение, что «Труды левого движения» перестали существовать. Одна часть редакции решила сосредоточиться на практических вопросах политической тактики, другая больше заинтересована в вопросах теории. Возможно, что к тому времени, как эта статья выйдет в свет, обе группы уже выпустят первые номера своих новых журналов. Растет и массовость политического движения, причем в него постепенно, хотя и медленно, включаются вопреки сопротивлению реформистского руководства отдельные профсоюзы. Это особенно важно, так как одна интеллигенция, даже если бы она была гораздо более политически сплоченной, не может одержать победу, без поддержки рабочего класса ее протесты задохнутся. Именно неверие в революционные потенции рабочего класса делает пессимистами многих левых теоретиков вроде Герберта Маркузе. Уровень политического классового сознания американских рабочих действительно оставляет желать лучшего. Но агрессивная политика американского империализма, требующая все больших средств, оборачивается новыми материальными тяготами для трудящихся, способствуя росту всеобщего недовольства... Не стоит, конечно, питать иллюзий. При всей напряженности политической атмосферы в США, это далеко еще не революционная ситуация. Но важно то, что с американского общества сброшена маска стабильности и благополучия. Революционный интеллект можно временно подавить, его можно усыпить, но его нельзя уничтожить.

<sup>1</sup> «Studies on the Left». Vol. 7, № 1, 1967, pp. 17, 14.



---

---

В. БЕРКОВ

★

## ИСЛАНДИЯ—БЕЗ ГЕЙЗЕРОВ

*Очерк*

**К**азалось бы, об Исландии писать нетрудно. Действительно, разве сложно начать рассказ хотя бы так.

Исландия, Страна льдов, — это огромный остров, затерявшийся в холодных водах Атлантики. Здесь бьют струи гейзеров, недра земли изрыгают из зияющих скважин столбы пара, сверкают (или: сквозь разрывы бешено несущихся по небу облаков проглядывают) ледники (а можно и еще красивее: глетчеры), насколько хватает глаз тянутся бескрайние лавовые поля и иссиня-черные пески. Населяют страну суровые и молчаливые потомки викингов, невозмутимо попыхивающие прокуренными трубками. Когда эти белокурые гиганты слушают автора путевых заметок, их обветренные лица теплеют, и беседа неизменно заключается крепким мужским рукопожатием. Если еще упомянуть, что в Исландии есть фьорды, пони, траулеры, вулканы, оранжереи, работающие на горячей воде гейзеров, национальные блюда «скир», «свид», «кяйва» и «хаукадль», национальные костюмы, ну, может быть, еще что-нибудь, то и получится весь тот необходимый ассортимент аксессуаров, без которого, как правило, не обходится большинство путевых очерков об Исландии на самых разных языках и который, к сожалению, нередко выдается за главное в Исландии. К сожалению, потому что главное в Исландии — это, конечно, исландцы. Не те гиганты викинги, а совсем обычные и вместе с тем совсем особые люди.

О людях писать трудно — гораздо труднее, чем о фьордах и пони, о гейзерах и национальной кухне.

Автор этих строк не литератор, и если он рискует ступить на скользкую стезю писания путевых заметок, то делает это потому, что давно питал большую симпатию к исландцам, занимаясь их языком, а съездив в ноябре 1966 года — впервые — в Исландию, проникся к ним еще большей симпатией. Он делает это потому, что народ Исландии не может не внушать к себе глубокого уважения. Автор счел бы свою задачу выполненной, если бы эти заметки сумели передать читателю хотя бы часть этого его уважения к подвигу исландского народа — уважения, на которое исландцы имеют полное право претендовать.

Этот очерк, таким образом, не об Исландии вообще, а об исландцах.

\* \* \*

То, что больше всего поражает в Исландии — это противоречие между дикой и совершенно, казалось бы, не приспособленной для человеческой жизни природой и современной цивилизацией, проникшей в самые отдаленные уголки страны.

В тридцатые годы норвежский писатель Сигурд Хуль написал очерк с парадоксальным названием: «Следует ли людям жить в Норвегии?», в котором как бы в шутку доказывал, что его родина настолько сурова, настолько малоплодородна, настолько бедна дарами природы, что людям жить в ней не следует. Действитель-

но, в Норвегии для сельского хозяйства может использоваться только около четырех процентов территории, огромные пространства покрыты каменистыми горами, люди селятся по долинам и узкой прибрежной полосе.

В Исландии люди селятся тоже только по узкой полосе между морем и горами да по долинам — максимум на несколько десятков километров от моря. Вся огромная внутренняя часть страны абсолютно не населена — она называется по-исландски «оубигдир», то есть «нежилые места». Но в отличие от Норвегии в Исландии нет никаких полезных ископаемых. В отличие от Норвегии, давно уже широко использующей свои гигантские запасы гидроэнергии и благодаря этому занимающей с начала века первое место в мире по количеству электроэнергии, производимой на душу населения, — в отличие от нее в Исландии запасы гидроэнергии значительно скромнее. В Исландии нет ни одной пашни, весь хлеб привозной, средняя температура июля в Исландии 11 градусов. В Исландии нет лесов — если не считать искусственных насаждений.

Основное богатство Исландии не в Исландии, а возле Исландии. Это — рыба.

В Исландии самая маленькая в Европе плотность населения: около двух человек на квадратный километр.

Это очень бедная и очень суровая земля.

Вы переваливаете через горы и въезжаете в исландский город. Город в Исландии — это населенный пункт, где больше пятисот человек. Бетонные дома, асфальт, бензоколонки, магазины с огромными витринами и современными товарами. В двухстах метрах от центра города — лавовое поле; в полукилometре, в другую сторону, — отвесные скальные сбросы высоких черно-коричневых гор. И ни деревца. Только камень.

Вы выходите в начале ноября из гостиницы в плаще и без шапки — ведь на дворе пять градусов тепла, светит солнце, на небе ни облачка. Заходите в кафе и выпиваете чашку кофе, а когда вновь оказываетесь на улице, вам в лицо хлещет мокрый снег, хлопьями валяющийся с безнадежно серого неба. И так порой несколько раз в течение дня. «Наша погода, — сказал мне один из моих исландских друзей, — похожа на женщину в итальянской опере: «*La donna è mobile...*». А в общем, жить в таком климате совсем не весело.

Чтобы поселиться в такой стране, требовалось большое мужество. Прожить в ней тысячу с лишним лет, выстоять при всех невзгодах — иноземном иге, стихийных бедствиях, неурожаях, — создать высокую современную цивилизацию, а главное, сохранить свою неповторимую культуру — это уже героизм.

Каковы же современные исландцы, потомки героев-первопоселенцев?

Если хочешь понять нынешнего исландца, необходимо все время помнить два момента: во-первых, как сурова природа страны, а во-вторых, как мало исландцев.

Сейчас в стране живет около двухсот тысяч человек.

В Исландии сравнительно высокий жизненный уровень, хотя он и несколько ниже, чем, например, в Норвегии или Дании, не говоря уже о Швеции. Вместе с тем цены на самые важные товары — продукты питания и одежду — в среднем в полтора-два раза выше, чем в континентальной Скандинавии при примерно таком же уровне заработной платы.

За счет чего же исландцы достигли своего относительно высокого жизненного уровня? Ответ на этот вопрос прост: исландцы очень много работают. Вряд ли будет преувеличением сказать, что почти все исландцы либо работают сверхурочно, либо являются, выражаясь нашим современным языком, «совместителями», либо занимаются и тем и другим одновременно. Сверхурочная работа оплачивается в два-три раза выше, и очень многие работают по девять—одиннадцать часов в день. Часы пик на улицах — это 6—7 часов вечера. «Совместителей», людей, работающих на двух и более должностях, в Исландии много. Причины этого, по-видимому, состоят в том, что в стране с таким небольшим населением, с одной стороны, попросту не хватает людей, а с другой — небогатая страна не может позволить себе роскошь иметь в ряде случаев специальных работников. Есть ведь много должностей, где человеку на весь день дела не хватит, и в таком случае, рассуждают исланд-

цы, зачем же, спрашивается, платить ему полную ставку? Пусть он получает половину, треть, четверть обычной ставки и работает те несколько часов в день, которые ему нужны, чтобы справиться и с этой обязанностью.

Вот несколько примеров. За роман среднего объема исландское издательство платит автору шестьдесят — восемьдесят тысяч крон, то есть примерно столько, сколько составляет ставка рабочего невысокой квалификации за полгода (без сверхурочных). Но такой роман за полгода не напишешь, и поэтому профессиональных писателей в Исландии — считанные единицы. Издательства и при желании не могли бы платить авторам больше: в стране ведь всего двести тысяч жителей, и средний тираж такого романа — тысяча — полторы, от силы две тысячи экземпляров. Книги наиболее известного и читаемого писателя Исландии — Лакнесса (кстати, правильнее писать по-русски Лакхнесс) — выходят на его родном языке тиражами в три-четыре тысячи экземпляров. Превосходный писатель Оулавюр Йоухан Сигурдссон<sup>1</sup>, неоднократно переводившийся на русский язык (осенью 1966 года у нас был издан сборник его рассказов «Ладья Исландии»), прирабатывает — может быть, и зарабатывает на жизнь — правкой корректур для издательства. Другой писатель, автор четырех сборников рассказов (один рассказ переводился в свое время на русский язык) Эйнар Кристьяунссон, работает в городе Акюрейри смотрителем, или, попросту говоря, завхозом начальной школы, а поскольку ставка завхоза не очень высока, подрабатывает уборкой школы и двора, то есть работает сразу и завхозом, и уборщицей, и дворником, и сторожем. Недавно он выпустил прекрасный сборник рассказов.

Исландцы не гнушаются черной работы, и мне никогда не приходилось замечать у них пренебрежительного отношения к людям, занятым «черной» профессией. Человека оценивают прежде всего по тому, что он собою представляет именно как человек, а не по его должности. Пожалуй, наиболее пренебрежительные отзывы я слышал об одном человеке, занимающем сравнительно высокий пост. Мне вспоминается в этой связи еще один пример. Зайдя в субботу часов в 6—7 вечера в контору адвоката Верховного суда Торвальдюра Тоураринссона, я застал хозяина в перепачканных масляной краской старых джинсах: вместе с маляром он ремонтировал помещение. Надо при этом сказать, что адвокаты Верховного суда — довольно высоко оплачиваемая по сравнению с другими группами категория населения.

Но, пожалуй, лучше всего я могу проиллюстрировать тот факт, что исландцы очень много работают и не гнушаются разной работы, примером своего друга и коллеги Аудни Бёдварссона. Ему сейчас сорок три года, у него семья — жена и двое детей. Последнее время Аудни работает главным редактором Исландской энциклопедии. (В редакции этой энциклопедии всего три штатных единицы, а сама редакция размещается в трех комнатах старого деревянного жилого дома, так что где-то рядом со входом в нее вход в чью-то кухню.) Аудни, кроме того, читает лекции в двух училищах в Рейкьявике. Два раза в неделю вся Исландия слышит его голос — он выступает с передачами о правильности и чистоте исландского языка. Аудни — единственный автор превосходного большого толкового словаря исландского языка, соавтор исландско-эсперанто словаря и мой соавтор по исландско-русскому словарю. Его перу принадлежит книга по фонетике исландского языка, множество статей и т. д. и т. п. Излишне говорить, что он член нескольких редколлегий, где работы тоже хватает. Активно участвует в работе общества МИР (Меннингартейнгсль Исландс ог Раудстёуднаррикьянна — Общество культурных связей между Исландией и СССР), был некоторое время председателем столичного отделения этого общества. Словом, ученый-энтузиаст, по горло занятый научной, педагогической и общественной работой.

Так вот, в дополнение ко всем своим многогранным и многотрудным обязанностям Аудни уже несколько лет еще и комендант одного из двух университетских

<sup>1</sup> Все исландские имена имеют ударение на первом слоге. В очерке употребляется передача имен, максимально близкая к исландскому звучанию: она кое-где расходится с употреблявшейся у нас.

общежитий. Он живет со всей семьей в нижнем полуподвальном этаже общежития, у него ключи от всех комнат; кроме всего прочего, ему приходится успокаивать загулявших студентов, а иногда и выводить слишком шумных или слишком поздних гостей, следить за тем, чтобы студенты своевременно вносили плату за комнаты и т. д. и т. п., и даже открывать своим ключом двери незадачливым обитателям общежития, случайно захлопнувшим замок.

Никто его за это не осуждает: все понимают, что эта дополнительная должность его вызвана материальной необходимостью. Кстати, за эту работу он пользуется только бесплатной квартирой: зарплата коменданту не положена. Как-то в воскресенье я застал Аудни в коридоре общежития за следующим занятием: он кроил дорожку из большого куска зеленого поролона. Мимо проходили студенты, многие из которых наверняка нередко пользуются словарем, составленным Аудни. Это было в воскресенье; в понедельник же Аудни был в гостях у Лакснесса, а во вторник — на приеме у министра культуры.

Итак, исландцы работают очень много. Норвежские учителя начальных школ жалуются — и справедливо — на большие перегрузки: норма у них тридцать три урока в неделю. А вот преподаватель физики в гимназии в Акюрейри Йоун Хафстейдн Йоунссон имеет в неделю сорок четыре часа! Бьёдн Торстейнссон, безусловно лучший историк современной Исландии, автор ряда очень интересных и глубоких книг и десятков статей по истории Исландии и Гренландии, преподает историю в гимназии и на женских курсах — около тридцати пяти — сорока часов в неделю.

При этом надо иметь в виду еще одно очень важное обстоятельство, упомянутое мною вскользь: исландцы очень много времени отдают общественной работе. Людей в стране мало, а организаций очень много, — собственно, есть все, что имеется в «большой» стране. Есть четыре политических партии, в Исландии выходит пять крупных ежедневных газет, есть множество различных обществ самого различного характера (начиная от обществ дружбы — причем не только с такими странами, как СССР, Чехословакия, Англия, Норвегия, но и с малыми: если мне не изменяет память, есть даже общество «Исландия — Марокко» — и вплоть до обществ трезвенников и союза больных туберкулезом). Поэтому получается, что один и тот же человек и участвует в работе своей партии, и пишет в газету, и состоит в нескольких обществах.

Естественно, что исландцы всегда заняты, вечно торопятся, времени им не хватает, спать ложиться приходится поздно, вставать нужно рано. Люди очень устают. По воскресеньям (так во всяком случае было в ноябре) страна отсыпается. Часов до 10—11 утра в воскресенье в городе почти не видно ни прохожих, ни автомобилей.

В Исландии очень много читают.

Я бывал в десятках семей, но не видел дома, где бы не было хотя бы пяти полок книг и на них, разумеется, всех «Саг об исландцах» — родовых саг. Саги — именно родовые саги, такие, как «Сага о Ньяле», «Сага об Эгиле», «Сага о Греттире», «Сага о людях из Лаксдаля» и другие, — фактически знают все. Это совсем не то, что принято называть обязательной литературой, просто люди с детства воспитаны на чтении саг; у нас так знают разве что хрестоматийные стихотворения классиков, например Пушкина. Исландия — уже много веков страна сплошной грамотности, и саги всегда были излюбленным чтением исландцев. В одном описании путешествия по Исландии конца прошлого — начала этого века есть такой эпизод: путешественник зашел на исландский хутор, на стук никто не откликнулся, и он прошел внутрь. В доме царил невероятный беспорядок, никого не было видно. Пройдя в кухню, он наконец увидел хозяйку: она сидела на столе, читала «Сагу о Ньяле» и была настолько поглощена чтением, что даже не заметила пришельца. Она начала утром перечитывать книгу и забыла обо всех своих обязанностях — о кухне, о скоте, словом, обо всем. В одном учебнике исландского языка есть фраза: «Каждый год я перечитываю «Сагу о Ньяле».



Такой интерес и любовь исландцев к сагам — в первую очередь родовым — объясняется тем, что, во-первых, эти произведения — несомненно, вершина исландской литературы — драматизмом повествования и цельностью характеров героев близки и понятны человеку любого времени, а во-вторых, они повествуют о «золотом веке» Исландии, о свободной стране, населенной сильными и независимыми людьми. На протяжении многих веков, когда страна была под властью Дании и народ порой находился на грани вымирания, исландцы черпали мужество в сагах, в рассказах о прошлом величии страны. Впрочем, об исландских родовых сагах превосходно говорится как в предисловии профессора М. И. Стеблин-Каменского к русскому переводу четырех родовых саг («Исландские саги». М.—Л. 1956), так и в его очень интересной книге «Культура Исландии», которая недавно вышла в свет.

Книги в Исландии очень дороги, значительно дороже, чем, например, в Дании или Норвегии, где они тоже очень дороги. Объясняется это в первую очередь очень небольшими тиражами. Тем не менее у меня сложилось впечатление, что, как правило, в доме среднего исландца книг больше, чем в доме другого среднего европейца. Люди, в общем, следят за современной литературой — как исландской, так и зарубежной.

В частных библиотеках немало количество книг на иностранных языках. Безусловно, большая часть населения Исландии в той или иной степени владеет хотя бы одним иностранным языком, а многие и двумя-тремя. Знание иностранных языков в Исландии жизненно необходимо: при таком маленьком читательском рынке страна просто не имеет возможности издавать специальную литературу в переводах. Если мы, например, можем издать книгу «Теплообмен в радиоэлектронных устройствах» тиражом в 10 500 экземпляров, то в Исландии такую книгу издать вообще невысказано: вспомним, что население СССР примерно в 1100 раз больше населения Исландии, и, значит, тираж такой книги в Исландии должен был бы составить около десяти экземпляров. По ряду специальностей в Исландии вообще невозможно получить высшее образование, и множество студентов учится за границей — в скандинавских странах, Германии, Англии, США и других. Отсюда очень простая установка: если хочешь получить высшее образование, ты обязан знать иностранные языки, причем не «для экзамена», а для себя. Даже если ты будешь учиться не за границей, а в университете в Рейкьявике, то ты все равно должен будешь пользоваться учебниками на иностранных языках. Впрочем, иностранные языки нужны, конечно, не только тем, кто стремится получить высшее образование: Исландия лежит на воздушных и морских путях из Европы в Америку, страну посещает множество туристов, внешняя торговля играет в экономике Исландии огромную роль, масса товаров, механизмов и прочего — иностранного происхождения, и знать языки нужно очень многим.

Однако вернемся к любви исландцев к книге. Исландия занимает одно из первых мест в мире — если не первое — по количеству печатной продукции на душу населения. По статистике в среднем исландская семья получает минимум две ежедневные газеты. Не имею точных статистических данных, но, по моим подсчетам, исландская семья должна покупать в год в среднем около десятка книг. В стране около двухсот издательств, то есть по издательству на каждую тысячу человек. Правда, некоторые из этих издательств крохотные и высукают в год лишь по одной книге; самые же крупные издают двадцать — двадцать пять названий в год. Всего в Исландии публикуется ежегодно около четырехсот названий книг: если учесть, что переводной литературы издается много меньше, чем оригинальной, то это значит, что по крайней мере каждый семисотый исландец каждый год выпускает по книге.

Пишут многие, но профессиональных писателей, как уже говорилось, считанные единицы. Одна известная и много печатающаяся писательница — крестьянка. Кстати, среди крестьян довольно много поэтов. Вообще поэтов в Исландии множество, искусство стихосложения имеет в стране многовековую традицию, идущую еще от древних скальдов. Правила исландского стихотворения очень сложны: по-

мимо рифмы, необходимо соблюдать строгие правила аллигерации, словом, исландская поэзия, по удачному выражению М. И. Стеблин-Наменского, — это «поэзия в квадрате».

Любовь к поэзии, способность сочинять стихи, в которых изощренная форма будет сочетаться с архаичными поэтизмами, можно сказать, в крови у исландцев. Как-то в Ленинграде один исландец простудился, и я принес ему какие-то невинные таблетки. Через некоторое время он прочитал мне стихотворение, посвященное этому драматическому событию: я воспевался в нем в самых изысканных выражениях, по сравнению с которыми слова вроде «исцелитель недуга» — грубые прозаизмы... Вспоминается другой случай. В 1959 году покойный Хадльбьедн Халльдоурсон забыл в Эрмитаже шляпу и обнаружил это спустя минуту в машине. Пока мы с ним ходили в гардероб, двое его спутников по делегации уже вовсю сочиняли стихи, начинавшиеся словами «Хадльбьедн хитти хаттинн» («Хадльбьедн нашел шляпу»). Обратите внимание на аллитерацию!

Складывается впечатление, что занятия благородным искусством стихосложения, помимо своего обычного назначения, являются в Исландии еще и чем-то вроде национального спорта. Каждый исландец помнит десятки — если не сотни — так называемых лёйсависур, или висур — четверостиший, сочиненных по какому-то определенному поводу, порой очень давно. Имена авторов таких стихов известны. В воскресенье можно услышать радиопередачу, где читаются стихи — порой фантастически искусные по форме, — сочиненные за прошедшую неделю самыми разными людьми. Среди авторов много крестьян, или, как более принято говорить в середине двадцатого века, фермеров. Пожалуй, это вполне естественно: у фермера больше свободного времени для обдумывания какой-нибудь неполучающейся концовки четверостишия, чем, например, у бухгалтера.

Важно в этой связи помнить то обстоятельство, что исландская культура до самого недавнего времени была культурой исключительно крестьянского общества. Города в современном понимании возникли совсем недавно: еще лет сто назад в столице Рейкьявике едва ли жила тысяча человек. В первой половине прошлого века в Акюрейри, ныне насчитывающем около девяти с половиной тысяч жителей и являющемся центром севера страны, проживало всего полсотни человек. И то, что Исландия до самого недавнего времени была страной крестьян и рыбаков<sup>1</sup>, чувствуется во многом. Большая часть людей лет тридцати пяти — сорока и старше, живущих сейчас в Рейкьявике, родилась в деревне, точнее — в сельской местности, потому что деревень в Исландии нет, а есть только хутора. Все эти люди выросли на хуторах, с детства знакомы с крестьянским (тогда еще именно крестьянским, а не фермерским) трудом, с нуждами и чаяниями крестьянина, воспитаны в традициях народной крестьянской культуры. Они учились читать по томам родовых саг, обязательно имевшимся на каждом хуторе, они с детства запомнили со слов деда или бабушки длинные поэмы «римы», удачные «висы», сочиненные порой за несколько веков до этого.

Кристинн Андрьессон, литературовед и критик, автор ряда книг и, в частности, исследования «Современная исландская литература 1918—1948», переведенного также на русский язык, директор одного из крупнейших в стране издательств, член ЦК Единой социалистической партии, заместитель председателя общества МИР, рассказывал, что вырос на хуторе, где было около трехсот овец, и что он не только помнил каждую овцу, так сказать, в лицо (точнее, по-видимому, сказать: в морду) и по имени, но и родителей каждой овцы. Адвокат Верховного суда Торвальдюр Тоураинссон (тот самый, что субботним вечером красил свою контору)

<sup>1</sup> В последние десятилетия резкие изменения в структуре экономики Исландии привели к тому, что кардинальным образом изменилось распределение рабочей силы по разным отраслям народного хозяйства. Из самостоятельного населения сейчас в промышленности занято 27,5 процента (из них в рыбообрабатывающей — 9,3 процента), в сельском хозяйстве — 14,7 процента, в строительстве — 11 процентов, в рыболовстве — 6,5 процента (!), в торговле и обслуживании — 13,9 процента, на транспорте — 9,5 процента, служащие составляют 16,2 процента, прочие — 0,7 процента.

тоже родился и вырос на хуторе и уже в пять лет всюду читал вслух по вечерам всей семье саги, причем его уже совсем потерявший зрение дед по памяти исправлял его, когда мальчик читал неправильно. Мой друг Аудни Бёдварссон тоже, конечно, родился на хуторе — неподалеку от Гуклы — и даже не учился в гимназии, а сдал экзамены экстерном. Один из его братьев и сейчас фермер, и родители живут с этим братом. У очень и очень многих горожан — деятелей науки, культуры, политических и общественных деятелей — близкие родственники живут в деревне. Это, несомненно, является причиной тесной связи города и деревни, уважения горожан к труду крестьянина и его культуре. Исландский крестьянин, со своей стороны, не чувствует в горожанине представителя какой-то иной, чуждой культуры, это просто как бы он сам, попавший в иные условия. Исландский крестьянин держится всегда с большим достоинством и естественностью.

Такая тесная связь горожанина с крестьянином, отсутствие антагонизма между представителями физического и умственного труда могут быть проиллюстрированы одной рассказанной мне историей, типично исландской по своему юмору. В октябре, то есть уже в позднее осеннее время, человек катит по улицам Анюрейри ручную тележку с несколькими мешками картошки. Знакомые спрашивают его, почему он выкопал картошку так поздно. «Это не моя, а брата», — отвечает он. «А что же брат сам не выкопал ее вовремя?» — задают ему вопрос. «Он другим делом занялся», — отвечает брат фермера-отступника. — Он сейчас министр иностранных дел». Меня уверяли, что это реальный случай, но даже если это и не так, то в этой истории несомненно отражается черта, характерная для исландского общества.

Одним из внешних проявлений патриархального демократизма, все еще свойственного современной Исландии, является очень ограниченное употребление личного местоимения «вы» (в обращении к одному человеку). Многие в Исландии вообще против употребления местоимения «вы», считая его «неисландским». Например, на «ты» обычно обращаются друг к другу покупатель и продавец, незнакомые люди на улице, школьники и учителя и т. д. Может быть, иностранцы иногда переоценивают демократизм и фамильярность этого «ты». Если вы спрашиваете в аптеке лекарство, его не оказывается и аптекарь, взглянув на часы, говорит: «Слушай, сейчас еще не поздно, сходи к врачу, может, он выпишет тебе что-нибудь другое, что у нас есть», — то не следует это симпатичное «ты» воспринимать как русское или, скажем, немецкое «ты»: оно более нейтрально. Исландское «ты» соответствует, таким образом, и нашему «ты», и нашему «вы», а исландское «вы» скорее соответствует нашему «уважаемый товарищ». Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что в исландском парламенте — альтинге — все депутаты обращаются друг к другу на «ты» и, например, в прениях могут сказать: «Ты, Хаукон, продаешь интересы нашей страны...» Впрочем, обращение «вы» обычно при разговоре с незнакомыми иностранцами или когда беседе умышленно хотят придать оттенок официальности или же холодности. Однажды секретарь общества МИР Эйюльвюр Ауднасон и я ехали на машине Эйюльвюра в Коупавогюр, город-спутник или даже скорее пригород Рейкьявика. На обочине дороги мы увидели какую-то даму в меховом мантио, стоящую, вытянув руку: дама «голосовала». Оказалось, что в машине кончился бензин и дама просит подвезти ее. Когда она уселась на заднее сиденье и начала болтать, Эйюльвюр без особой на то необходимости сказал, указывая на меня: «А этот человек из Ленинграда и говорит по-исландски». Дама что-то хмыкнула и за всю дорогу больше не открыла рта. Когда она доехала до нужного ей места, она вежливо сказала Эйюльвюру: «Благодарю вас» — и что-то буркнула мне. Это «вы» означало как бы: «С людьми, которые возят ленинградцев на своей машине, я разговариваю только официально». Впрочем, это был первый и последний случай недоброжелательства к советским людям, свидетелем которого я был в Исландии. Да и то, может быть, я ошибаюсь.

Патриархальный демократизм Исландии, где люди в основном на «ты» друг с другом, оттеняется еще и тем, что в стране — за очень немногочисленными исключениями — фамилии неупотребительны. Обычно у исландца есть только имя и отчество, например Йоун Гвюдмюндссон (Йоун, сын Гвюдмюндюра) или Сигридюр

Ауднадоуттир (Сигридюр, дочь Аудни). Сын Йоуна Гвюдмюндссона по отчеству уже будет Йоунссон, а дочь — Йоунсдоуттир и т. д. Поэтому, между прочим, неправильно, как это нередко делается и у нас, и в других странах, заменять имя исландца инициалом (например, Э. Йоунссон): это примерно то же, как если бы мы написали по-русски «И. Владимирович Павлов» или просто «И. Владимирович». В обращении обычно употребляется просто имя. В газете можно увидеть заголовок: «Гильви Т. говорит, что...» Это имеется в виду Гильви Т. Гисласон, министр культуры. Фамилии (то есть не отчества, а именно фамилии) имеют очень немногие исландцы<sup>1</sup>. Изредка встречается при имени обозначение места происхождения; по функции это, конечно, вроде фамилии: Стефаун фрау Квитадаль (то есть Стефаун из Квитадалюра; фрау, ур — из), Йоун ур Вёр, Бенедихт Гисласон фрау Хофтейи и т. п.

Раз уж я упомянул Бенедихта Гисласона фрау Хофтейи, то, может быть, стоит сказать о нем несколько слов. Бенедихт — фермер, а свободное время посвящает изучению древнейшей истории Исландии. Несколько лет назад он выпустил книгу «Исленда». Правда, идеи, которые он развивает в этой книге, вряд ли разделяются хотя бы десятком историков: Бенедихт пытается доказать, что когда викинги в конце девятого века открыли Исландию, там уже существовали многочисленные кельтские (ирландские) поселения, была своя сложившаяся общественная структура и культура. Однако дело в данном случае не в теории Бенедихта, а в самом факте, что фермер вместе с тем и историк, издающий монографии.

В этом очерке я пытаюсь дать портрет современного исландца среднего возраста. Я говорил о том, что исландцы очень много работают и очень много читают, что они любят и знают свою древнюю литературу, что у них нет четких сословных границ, что они поэтому, в общем, очень демократичны, что даже внешне это подчеркивается употреблением местоимения «ты». Исландцы держатся просто и естественно, открыто и дружелюбно. Вообще традиционный штамп «молчаливый, суровый скандинав» мне кажется совершенно неоправданным — по крайней мере для двадцатого века: среди исландцев есть и разговорчивые, и неразговорчивые, и болтливые, и молчаливые, а больше всего, пожалуй, обычных людей, которые говорят столько, сколько в среднем говорят норвежцы, чехи, русские, эстонцы или немцы. (Пожалуй, один из самых разговорчивых людей, с которыми я встречался в жизни, был датский журналист, который, встретившись со мной, чтобы взять интервью, почти не дал мне раскрыть рта, проговорив полтора часа сам.)

Однако есть еще несколько черт, свойственных характеру современного исландца. Одна из них — глубокий и живой интерес к Исландии. Лакснесс сформулировал это в разговоре еще резче: «Исландца интересует прежде всего Исландия и исландцы». В стране выходит, как я уже говорил, несколько ежедневных газет и ряд журналов. Иностранному сообщению обычно уделяется, в общем, сравнительно немного места, и понятно, что внутренняя жизнь Исландии освещается очень подробно — ведь страна очень невелика, поэтому многие события, которым в других странах скорее всего не было бы уделено ни строки, являются предметом пристального внимания прессы.

Исландцев особенно интересуют исландцы. Их все-таки двести тысяч, но часто кажется, что все знают всех, во всяком случае, у любых двух исландцев всегда окажется несколько общих знакомых, я в этом глубоко убежден по собственному опыту. Обычно разговор с незнакомым человеком начинается именно с выяснения общих знакомых. Это — специфика небольшого народа, где люди на виду. Если молодые люди вступают в брак, то объявления об этом и портреты молодоженов публикуются во всех газетах. Кто бы ни умер — крупный ли политический деятель, писатель, ученый, рабочий, крестьянин или домохозяйка, — в газетах обязательно появится большой некролог, очень часто со стихами, посвященными памяти

<sup>1</sup> Лакснесс как раз одно из этих исключений.

умершего. Потому что в представлении маленького исландского народа любой человек — это частичка того коллектива, именуемого Исландией, принадлежность к которому все исландцы ощущают очень живо... Что с того, что покойная была простой домохозяйкой, рассуждает исландец: она была достойной женщиной, любящей женой и матерью, она воспитала трех детей, ставших хорошими исландцами, она самоотверженно трудилась по хозяйству с утра до вечера, она прекрасно пела, сочиняла стихи и т. д.

Если, может быть, все всех и не знают, то наиболее заметные (о знаменитых и говорить нечего) исландцы известны всем. Как-то в разговоре я употребил один «данизм» (исландское выражение, являющееся буквальным переводом с датского). Мне тут же была рассказана история об Йоуне Хельгасоне, исландском профессоре, возглавляющем уже много лет в Копенгагене редакцию словаря древнеисландских рукописей. Один молодой исландец, новый сотрудник этой словарной редакции, употребил в разговоре с Йоуном Хельгасоном это же выражение, и профессор, великолепный знаток языка и блюститель его чистоты<sup>1</sup>, услышав этот варваризм, сказал: «Тот, кто здесь будет употреблять это выражение, будет убит». Потом я уже из озорства употреблял это выражение, чтобы увидеть реакцию слушателей, и не обманулся в ожиданиях: я выслушал историю о воинственном пуристе профессора еще несколько раз.

Не так давно молодой исландский языковед Фридрих Тоурдарсон, уже много лет живущий в Осло, где он работает в университете в Классическом институте (его основная специальность греческий язык), выпустил исландский перевод «Дафниса и Хлон». Минимум пять человек обратили мое внимание на то, что перевод сделан великолепным исландским языком, и советовали прочесть книгу, очень точно рассказывая при этом, кто такой Фридрих Тоурдарсон (в точности рассказа я мог убедиться лично, так как давно переписываюсь с Фридрихом и встречался с ним в Осло<sup>2</sup>). А уж историю о том, как в конце зимы позапрошлого года в Рейкьявике потерялся семидесятишестилетний исландский писатель Тоурбергюр Тоурдарсон, знает вся Исландия. Правда, о том, что он пропал, объявляли по радио. Тоурбергюр, конечно, нашелся: он просто заболтался со знакомым, проговорил часов шесть-семь (не заботясь о том, что это не к лицу «суровому и молчаливому потомку викингов»).

И, по-видимому, именно потому, что исландцы так хорошо знают друг друга, что их так мало, в Исландии рассказы всегда конкретно связаны с определенным человеком или местом. Впрочем, тут еще, наверное, играет роль традиция, идущая от родовых саг, которые всегда начинаются с родословных героев, скрупулезно точны в отношении времени, места. На это обратил впервые мое внимание М. И. Стеблин-Каменский. Даже народные сказки очень часто начинаются не просто, как у большинства народов, словами «Жили-были старик со старухой, и была у них корова», а «На хуторе таком-то жили-были старик со старухой...».

В Исландии до сих пор очень популярен жанр сказок о привидениях. Трудно предположить, что современный исландец верит в привидения, но считается как бы признаком хорошего тона делать вид, что веришь. Как-то речь, естественно, зашла о привидениях — ведь невозможно, чтобы за три недели пребывания в Исландии привидения не стали предметом разговора. В беседе участвовали пятеро: Йоунас Б. Йоунссон, ведающий всеми школами Исландии (по-нашему, то ли министр просвещения, то ли заведующий облоно), его помощник, ректор педагогического института Бродди Йоуханнссон, Аудни Бёдварссон и я. Бродди начал рассказывать последнюю, самую свежую историю о привидении, которое за два меся-

<sup>1</sup> Кстати, Йоун Хельгасон — прекрасный поэт, и очень жаль, что его стихи неизвестны советскому читателю.

<sup>2</sup> Между прочим, Фридрих Тоурдарсон на выпускном экзамене в Осло получил высший балл, который когда-либо выставлялся студентам классического отделения. В последние годы он, помимо основной специальности, очень серьезно занялся осетинским языком. Работы наших осетиноведов он читает, конечно, в подлиннике — по-русски и по-осетински.

да до этого, в сентябре 1966 года, появилось в пединституте: двое студентов сидели в фотолаборатории и проявляли, как вдруг услышали в темноте крадущиеся шаги, хотя дверь была заперта и в помещении, когда они вошли туда, никого не было. Слушателей прежде всего заинтересовало, кто были эти студенты, как их звали, кто их родители, откуда они родом. Ведь история должна быть конкретна!

Йоунас стал рассказывать другую историю, случившуюся полтора года назад летом в горах и состоявшую в том, что с перевала люди увидели в глухой, необитаемой долине двух всадников, непонятным образом попавших туда. На минуту всадников закрыло облаком, а когда туман рассеялся, они бесследно исчезли. В общем, самая обычная история о привидениях. Когда Йоунас назвал долину, Аудни принялся расспрашивать его, в какой именно части долины это было, на каком перевале были путники, увидевшие призраков, каково было расстояние между путешественниками и привидениями, и т. д. — до тех пор, пока он не смог себе совершенно наглядно представить, как все это происходило.

Подобная конкретность рассказа понятна: в стране, где всегда было очень мало народа и люди в основном знали все места, по-видимому, просто невозможен рассказ о происшествии, случившемся неизвестно с кем и неизвестно где. Такой рассказ будет сразу восприниматься как выдумка. Все это очень похоже на альпинистские рассказы: слушатель, как правило, знает, хотя бы понаслышке, все места и очень многих людей, поэтому среди альпинистов рассказы вроде «Шла одна группа на одну вершину, и тут один проваливается в трещину...» тоже невозможны; рассказ должен быть таким: «Шла в 1953 году четверка из ЦСЖА под руководством Виктора Некрасова на Восточный Домбай — по тому пути, где годом раньше сорвался Слава Лубенец...»

Есть еще одна черта у исландского народа — это любовь и интерес к родному языку. Язык и литература — это то, что на протяжении многих веков сплачивало народ. О колоссальном богатстве исландского языка писалось много. Много писалось и об исландском пуризме — стремлении не допускать иностранные слова в язык. В исландском почти нет иностранных слов; то, что в других европейских языках выражается интернационализмами, здесь обозначается словами, созданными из средств родного языка. Для таких понятий, как, например, революция, социальный, техника, космос, мутация, калория, спектр, стадион, автобус, кинофильм, атом, факультет, энергия, фотоаппарат и для тысяч и тысяч других понятий современный исландский язык использует свои слова, не прибегая к заимствованиям. При бурном развитии современной науки и техники, когда буквально каждый день приносит новые понятия, такая борьба против иностранных слов, конечно, очень нелегка. Но пока — трудно сказать, что будет дальше. — повторяю, пока борьба ведется довольно успешно. Это очень интересный и поучительный процесс, причина которого кроется в стремлении очень маленького народа сохранить в чистоте то, что он считает одним из своих величайших национальных достояний — язык.

В университете в Рейкьявике уже много лет ведется работа над многотомным словарем исландского языка. Когда можно ожидать появления первого тома, никто не знает: работа идет крайне медленно, так как из-за нехватки средств в редакции сейчас всего четыре штатных сотрудника — три научных и один технический. Однако у этой маленькой, самоотверженно работающей редакции очень много добровольных помощников: люди со всех концов страны — фермеры, рыбаки, рабочие, служащие, словом, все — шлют сотни и тысячи писем со списками различных редких слов и выражений, употребляющихся или употреблявшихся ранее в их говорах. Можно долго листать пухлые папки с этими трогательными свидетельствами исландского патриотизма. Но при исландской занятости писать письма не всегда есть время, и люди прибегают к более современному способу коммуникации: звонят по телефону в редакцию. При простоте исландских нравов это все очень несложно — вы прямо звоните главному редактору д-ру Якобу Бенедиктссону и говорите: «Якоб, здравствуй, говорит Гвюдмюндюр Йоунссон, парикмахер.

Слушай, ты знаешь такое слово?..» У Якоба на столе рядом с телефоном наготове стопка карточек, на которые он записывает все эти сообщения. За неделю новых карточек набирается немало. Я провел в редакции словаря полтора часа, и за это время Якобу Бенедиктссону звонили три раза.

Тринадцатого ноября 1966 года, в воскресенье, в университете один профессор читал лекцию о своей теории происхождения исландских географических названий. Лекция прошла при полном зале, собрав самую разнообразную аудиторию.

Один исландец с восторгом рассказывал: «Как-то я приехал на хутор к бабушке. В разговоре она употребила старое слово, которого я не знал. И представь себе, через пять минут мы слышим по радио, как Якоб Бенедиктссон спрашивает слушателей, не знает ли кто-нибудь это же самое слово!» Излишне говорить, что письмо в редакцию словаря было сразу же отправлено. Кстати, один из наиболее активных корреспондентов словарной редакции — крестьянин, виноват, фермер, если не ошибаюсь, с севера страны, регулярно присылающий большие списки редких слов и выражений, бытующих в тех местах, — конечно, с примерами из разговорной речи и фольклора.

Выше много говорилось о любви исландцев к своей стране, ее культуре, языку, обостренном их интересе ко всему, что касается Исландии. Исландцы, безусловно, горячие патриоты своей красивой и бедной, величественной и суровой страны. Однако было бы большой ошибкой считать исландцев националистами. Исландцам совершенно чуждо пренебрежительное или враждебное отношение к другим народам и иной культуре. Исландцев всегда было очень мало, на протяжении многих веков они были лишены национальной свободы, и их существование в качестве самостоятельного народа находилось под угрозой. Вспомним, что независимое государство Исландия появилось на карте только в 1944 году. Но с 1941 года на территории Исландии размещаются иностранные войска, и сейчас, через двадцать три года после провозглашения независимости, политика страны в значительной мере определяется ее членством в НАТО.

В Исландии, как уже отмечалось в начале очерка, довольно высокий уровень жизни, правда, достигнутый ценой очень напряженного труда. В Рейкьявике, например, на восемьдесят тысяч жителей около двадцати тысяч зарегистрированных автомобилей. Однако исландцы знакомятся не только с приятными сторонами современного западного прогресса — автомашинами, нейлоновыми рубашками, газовыми зажигалками, десятиствольными шариковыми ручками и прочими свидетельствами поступательного движения человечества. На экранах кино идут преимущественно довольно слабые американские фильмы, переводится — пока еще, правда, в довольно умеренных количествах — весьма посредственная развлекательная западная литература со всеми обязательными атрибутами: насилием, сексом, культом сильных мужчин и пышногрудых блондинок. И если те исландцы, которым посвящен этот очерк, а именно труженики среднего и старшего возраста, относятся ко всему этому более чем сомнительному прогрессу в области культуры иронически-скептически, то с молодежью дело сложнее и серьезнее.

Вряд ли верно всегда видеть в женских прическах парней и мужских прическах девушек-подростков прямое свидетельство их духовной нищеты, распущенности и прочих грехов, в которых, — к сожалению, нередко с основанием — винят часть нынешней молодежи на Западе. Но думается, можно отличить, когда открытые, скажем мягко, выше колен ноги у девушек и ковбойские наряды у молодых людей — простая дань моде и когда это — выражение мировоззрения. Мне не раз приходилось видеть, как компания подростков где-нибудь в крохотном городке часами болтается у бензоколонки, жует резинку, сосет кока-колу и с безразличными лицами слушает несущиеся из транзисторов вокальные эскапады биттлзов. В кино эта незрелая публика бурно выражает восторги, когда очередной симпатичный американец с великолепной мускулатурой и белоснежными зубами успешно соблазняет ослепительную красавицу с идеальным экстерьером или оставляет в

дураках дегенеративного вида негодяя, который, разумеется, выполняет задание одной восточной державы.

Молодежь более избалована, чем их родители. Она в значительной степени не прошла той суровой школы крестьянского труда, которую прошли их отец и мать.

В Исландии принято, чтобы летом молодежь работала — на разделке рыбы или на ферме. Это очень хорошо, но тут возникла новая проблема: молодые люди прилично зарабатывают, деньги эти родители обычно им оставляют, а наличие денег на руках у не очень устойчивого подростка без особых интересов порой к хорошему не приводит.

Молодые люди уже, как правило, гораздо хуже знают древнюю культуру Исландии. Они уже не перечитывают каждый год «Сагу о Ньяле», многих из них гораздо больше привлекает кино или телевизор.

Кстати, о телевидении в Исландии. Несколько лет назад на американской военной базе в Кеблавике, городе километрах в сорока от столицы, был создан телевизионный центр для военнослужащих США и их семей, передачи которого хорошо принимались в Рейкьявике. Излишне говорить о характере телепрограмм, рассчитанных на развлечение американских военных чинов. Это событие вызвало широкую акцию протеста против американизации исландской культуры. В движении против американского телевидения приняли участие многие выдающиеся деятели политической, научной и культурной жизни страны. В одной из газет был помещен снимок приемной телеантенны с подписью: «Виселица исландской культуры». В результате массового движения в Исландии создано свое собственное телевидение, прежде всего — в противовес американскому в Кеблавике. Осенью 1967 года американцам было предложено ограничить радиус действия телевизионной станции районом Кеблавика.

Угроза американизации духовной жизни страны не может не вызвать серьезной тревоги у всех тех, кому дорога исландская культура, национальная самостоятельность страны. «Мы выстояли и сохранились как народ, несмотря на семь веков иноземного гнета, — говорили мне исландские друзья, — и не хотим, чтобы теперь, когда мы наконец стали свободной нацией, наша культура уступила место самому скверному, что создано западной цивилизацией. Было бы горькой иронией судьбы, если бы именно теперь, обретя политическую независимость, мы перестали существовать как нация».

И именно поэтому исландцы так обостренно чувствительны к проявлениям интереса к их культуре и языку. В иностранце, изучившем их язык, знающем их литературу, они видят человека, ценящего то, что ценят они, видят своего союзника в борьбе за сохранение исландской культуры. Зная исландцев, я, честно говоря, предполагал, отправляясь в Исландию, что меня встретят хорошо. Однако тепло, с которой меня действительно встречали, мне в Ленинграде и не снилась. Особенно импонировало исландцам то, что в Советском Союзе, стране, население которой в 1100 раз больше населения Исландии, имеется интерес к их языку и литературе. Представляя меня незнакомым, мои друзья обычно говорили: «Вот человек из Ленинграда, он составил исландско-русский словарь и переводил «Сагу о Ньяле», а звучало это так, словно говорилось: «Смотри, какой хороший человек!»

В Исландии я несколько раз выступал с лекциями и докладами, где рассказывал о работе наших ученых, изучающих скандинавские языки, и в особенности исландский, о работе наших переводчиков исландской литературы. Интерес аудитории был неизменно очень большим, реакция — самой благожелательной. Нам действительно есть чем гордиться в этой области. Впрочем, на мой взгляд, можно было бы переводить и больше.

То, что такие, казалось бы, специфические темы, как исследования советских грамматистов и фонологов в области исландского языка и переводы исландских авторов на русский язык, так живо принимались исландцами, объясняется, конечно, не только особой чувствительностью исландцев ко всему, что касается Исландии. Очень важным здесь был именно тот момент, что речь шла о работах советских ученых и о переводах на русский язык.



И это вполне понятно. Исландцы, не избалованные ни щедрой природой, ни легкой историей, пожалуй, лучше, чем многие другие народы, могут понять истинную цену подвига нашего народа.

Нам тоже легче, чем многим другим народам, понять подвиг исландцев.

...Осеннее исландское утро. Еще совсем темно, но на улицах уже редуют вереницы автомобильных огней — люди добрались на работу. Вышли в море траулеры. Портовые краны в гавани Рейкьявика подняли первые грузы из темных трюмов пароходов. Аудни Бёдварссон, перечитав текст своего сегодняшнего выступления по радио и напомнив двум студентам о том, что пора платить за общежитие, идет в редакцию энциклопедии. Его брат-фермер закончил утреннюю дойку, отвез на тракторе бидоны с молоком к помосту у дороги (их позднее заберет кооперативный грузовик, идущий на молокозавод) и может наконец позавтракать. Раздается первый телефонный звонок в редакции словаря: Якобу Бенедиктссону сообщают о редком исландском слове. Лакнесс вставляет в пишущую машинку чистый лист. В школах начались занятия. Йоун Хафстейдн Йоунссон ведет свой первый из сегодняшних восьми уроков физики, а Эйнар Кристьяунссон, который уже давно вымел школьный двор и отпер классы, ушел в свой кабинет писать новый рассказ.

Исландия работает...



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. БУРТИН

★

## О ЧАСТУШКАХ

1  
Частушку в России знают все. С конца прошлого столетия и до наших дней она была и остается одной из характернейших примет народного быта, в особенности сельского. Сошлемся на свидетельства современных писателей — знатоков деревни.

Ефим Дорош, «Деревенский дневник»: «Долго тянется воскресный день летом в деревне. На травке возле изб сидят старухи с внучатами. Тут же и женщины помоложе. Появился первый гармонист, лениво растягивая гармонику, прошелся серединой улицы. Вышли и девчата, сперва — подростки, а за ними — невесты...

Появился еще один гармонист, и начался «елецкий», весьма распространенный по деревням танец. Танец этот состоит в том, что две или четыре девушки, выйдя в круг, принимаются медленно кружиться и отчаянно топотать ногами. Руки у них при этом безвольно опущены, лица — нарочито бесстрастные. От времени до времени какая-нибудь из девушек пронзительно выкрикивает частушку, выкрикивает с какой-то серьезностью, с подчеркнутой деловитостью:

Нас и хаят и ругают,  
А мы хаяны живем,  
Мы и хаяны — отчаянны,  
Нигде не пропадем!..

До поздней ночи топчет под окнами «елецкий».

Александр Яшин, «Вологодская свадьба»: «Галя (невеста.— Ю. Б.) плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодница, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все

вадргнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходящие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж  
За немилрого дружка,  
Лучше в реченьку скатиться  
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,  
Замужем неловко жить:  
С половицы на другую  
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже я едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно».

Петр Ребрин, «Головырино, Головырино...». По ночной деревне идут девушки и поют «страдания»:

«Где ж ты, милый,  
Где ж ты та-а-ма,  
А я здесь с тоски про-па-ла...

Вот платочек — сини коймы,  
Утирайся, меня помни...

Они двигались по улице, в которой была пропасть лунного света. Ядреный морозный воздух, перехватывавший горло, звенел их молодыми голосами. Они были, наверно, слышны и за оврагом и на всех улочках и в закоулках этой нескладно разметававшейся по кособорью деревни».

Ни один из процитированных авторов не занимается частушкой специально, но, рисуя современные деревенские картины, не может не упомянуть о ней. Впрочем, ее можно услышать и во дворе городского

многоэтажного дома: переселяясь в город, сельская молодежь привозит ее с собой.

Частушка — один из немногих живых жанров русского фольклора. Собственно, только она да еще анекдот (короткий устный рассказ сатирического или юмористического содержания) и представляют современное устное художественное творчество. Но анекдоту пока не везет. Его не собирают, не издают, не изучают. А между тем среди сотен и тысяч нынешних анекдотов немало поистине талантливых произведений, великолепных образцов современного народного юмора<sup>1</sup>.

Частушка в этом смысле оказалась несравненно счастливее. Ей посвящаются книги и диссертации, ее исполняют по радио, то и дело издают — за годы советской власти в центральных и местных издательствах появилось несколько десятков частушечных сборников. Беда, однако, в том, что до самого последнего времени научное и художественное качество таких публикаций сильно уступало их количеству.

Когда один за другим просматриваешь сборники частушек, изданные в течение двух-трех последних десятилетий, то при некоторых «внешних различиях (объем, оформление и т. д.) почти все они обнаруживают большую степень внутреннего сходства — в построении своем, в принципах отбора и организации материала.

Начать с названий. Обычно они звучат так: «Колхозные частушки», «Советские частушки», «Частушки наших дней» и т. д. В любом из этих заглавий уже заложено, как видим, определенное — тематическое или временное — ограничение состава публикации. Впрочем, само по себе такое ограничение еще не вызывает возражений. Наряду с полными публикациями частушечных записей без разделения материала по тем или иным временным, социально-историческим и прочим признакам вполне законны и могут иметь немалую ценность публикации более узкие, так сказать специализированные. Они могут быть вполне добротными, в полной мере отвечающими научным

принципам фольклористики и достаточно «представительными» с точки зрения изучения народной жизни. К тому же если употреблять приведенные заглавия («колхозная частушка», «советская частушка» и пр.) в их точном значении, то любое из них оказывается весьма широким и емким.

В самом деле, что такое, скажем, «советская частушка»? При простом и естественном взгляде на вещи это едва ли не всякая частушка, сложенная советскими людьми, родившаяся на почве советской жизни, то есть всей жизни нашего общества в ее разнообразии, сложности и противоречивости. Это совместная, но отнюдь не одинаковая жизнь большого числа различных социальных слоев и групп, иные из которых довольно далеко отстоят друг от друга по своим интересам, бытовому укладу, материальной обеспеченности и культурному уровню. Взятая в разрезе историческом — это большая, героическая и трудная судьба нашего народа со всем, что в ней было: с комсомольским энтузиазмом первых пятилеток и с очередями за хлебом и ситцем, с победами и противоречиями коллективизации, с тридцать седьмым, сорок первым и сорок пятым годами, с великими стройками коммунизма и трудным бытом послевоенной деревни, с XX и XXIII съездами партии, с космическими успехами и многообразием наших ежедневных земных забот. Вполне понятно, что, произрастая на такой почве, частушка не может не быть явлением весьма пестрым и разнообразным.

Надо сказать, в двадцатые годы такое отношение к советской частушке было вполне обычным. Но впоследствии этот термин стал все больше приобретать иное значение, гораздо более узкое. И если мы обратимся к высказываниям наших фольклористов тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, то увидим, что для них это понятие — «советская частушка» (равно как и другие подобные ему: «колхозная», «современная» и пр.) — очерчивалось уже гораздо более строго.

«Современная советская частушка, — писал, например, В. Сидельников, — красочна, жизнерадостна и интересна по своему содержанию. Она поет: о партии, о Ленине и Сталине, о политическом и культурном росте трудящейся молодежи, об огромных культурных сдвигах в деревне, о новом, социалистическом отношении к труду, о Кон-

<sup>1</sup> О широте распространения и одновременно неизученности жанра современного «бытового и политического анекдота, существенно отличающегося от традиционных сказок-анекдотов», см., например, в учебнике П. Г. Богатырева, В. Е. Гусева и др. «Русское народное творчество». «Высшая школа». М. 1966 стр. 326, 334.

ституции и т. д.»<sup>1</sup>. Мысль о том, что принцип зачисления тех или иных частушечных текстов в «современные советские» должен быть строго избирательным, весьма рельефно выразила и А. Мореева. Характеризуя частушки, звучавшие на деревенской улице в начале тридцатых годов, она писала: «...если внимательно прислушаться к тому, что поют и как поют, можно убедиться, что не все в этом обильном песенном репертуаре одинаково ценно как с идеологической, так и художественной стороны. Бездарная халтура, пережитки буржуазного сознания, а порой и явные вылазки классового врага — вот отрицательная сторона частушечного репертуара в деревне, с которой победоносно борется жизнерадостная, остроумная советская частушка». И далее: «Вредной старой частушке наша передовая, комсомольская молодежь противопоставляет радостные песни, в которых органически сочетаются мотивы любви, труда и борьбы за лучшую жизнь строителей социалистического общества»<sup>2</sup>.

Как можно видеть, «советская частушка» и «частушечный репертуар» тогдашней советской деревни для В. Сидельникова и А. Мореевой далеко не одно и то же. К советской фольклористы относят здесь только ту частушку, которая, во-первых, жизнерадостна и остроумна, во-вторых, свободна от каких-либо «пережитков буржуазного сознания» и отражает лишь совершенно определенный круг общественных тем, да и поет ее не кто иной, как «передовая, комсомольская молодежь». Словом, тут уже перед нами такое сужение жанра, которое определено чисто нормативными, оценочными критериями. Речь идет здесь уже о некоей, так сказать, «идеальной» советской частушке.

Впрочем, даже и такой принцип отбора еще можно как-то оправдать, если бы речь шла, например, о составлении карманных сборничков в помощь сельским пропагандистам и коллективам художественной самодеятельности. В конце концов сама по себе задача отобрать из частушечного репертуара советской деревни только то, что может

проиллюстрировать какие-то черты нового быта, нового отношения к труду, комсомольского энтузиазма и т. д., вполне уместна при составлении подобного рода сборников.

Но, во-первых, в те времена, к каким относятся приведенные высказывания, подобный принцип отбора превращался уже в некую общую методологию, действие которой распространялось и на публикации, явным образом претендовавшие на представительность и научность. А во-вторых, отделяя «современную советскую частушку» от ее невоспитанного окружения, возводя ее в некий высший идейно-художественный ранг, наши фольклористы начинали уже предъявлять соответствующие требования и к самим творцам частушки. Им предлагалось нечто вроде производственного плана. «Задачи современной частушки, — читаем мы в одной инструктивной брошюре конца тридцатых годов, — показать яркие образы новых героев труда... энтузиазм и героизм всесоюзного социалистического соревнования».

Глубокая дружба народов СССР, моральное и политическое единство советского общества, советский патриотизм и вопросы обороны также должны занять почетное место в тематике частушки»<sup>1</sup>.

Наряду с такими постоянными задачами определены были и временные. «Мы должны, — говорилось в той же брошюре, — мобилизовать творческую активность массы частушечников на художественную пропаганду исторических решений XVIII съезда ВКП(б), на борьбу за реализацию важнейших задач Третьей пятилетки»<sup>2</sup>. Подобным образом представляли себе общественную функцию современной частушки и многие другие фольклористы этого периода.

И вот примерно с середины тридцатых годов частушка стала предметом особого внимания. О ней заговорили, ее начали усиленно и повсеместно издавать. Собирались районные и областные семинары частушечников, устраивались смотры и конкурсы. Была выдвинута новая для фольклористики идея — о «руководстве частушечной самодеятельностью масс»<sup>3</sup> и вообще фолькло-

<sup>1</sup> Вик Сидельников. О частушке (в кн.: «Русская частушка». «Советский писатель». М. 1941. стр. 7).

<sup>2</sup> А. Мореева. За советскую художественную частушку (в кн.: «Частушки», изд. «Крестьянской газеты». М. 1935, стр. 3, 4).

<sup>1</sup> А. Мореева, В. Воков, А. Големба, Н. Терновская, И. Чнаников. Как работать с частушкой. М. 1939, стр. 4.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 3.

ром<sup>1</sup>. Правда, как показал опыт, на само народное творчество, на реальный «частушечный репертуар» деревенской улицы подобные мероприятия не оказали почти никакого влияния, зато во всем, что касалось печатных публикаций, какой бы то ни было «самотек» был начисто устранен.

## 2

Прежде всего здесь действовал принцип строжайшего отбора. Не случайно большинство частушечных сборников как в областях, так и в центре выходило в виде тошненьких книжечек небольшого формата. Свидетельства самих составителей на этот счет весьма красноречивы. «В распоряжении издательства,— говорилось, например, в предисловии к саратовскому сборнику,— было около десяти тысяч частушек. Из них включено в сборник менее одной десятой части»<sup>2</sup>. А вот свидетельство, более близкое к нашему времени. Оно принадлежит К. Ф. Яковлеву, составителю сборника, изданного в 1959 году в Ярославле. Сообщив, что «в сборнике более трех с половиной сотен частушек», он поясняет: «Разумеется, не все собранное могло быть включено в эту книжку. Так, студентка Татьяна Соколова представила более тысячи частушек... несколько тысяч — в тетрадях любителя народного творчества Ивана Васильевича Белозерова»<sup>3</sup>.

Почему же нельзя было все это напечатать? Ответ весьма примечателен. Оказывается, составителя интересовали по преимуществу те частушки, которые «отмечены духом нашего времени» — в таком сугубо конкретном его понимании: «Новое дыхание времени сразу же чувствуется в первом разделе, который обозначен двустижием:

Семилеточки шаги  
По всей стране протопают»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Самотек в фольклоре больше нельзя уже терпеть», — заявлял, например, В. Чичеров в статье «Фольклор как средство агитации и пропаганды». В качестве организации, которая, по мнению исследователя, должна была следить за тем, как «выпрямляется линия развития устного творчества», он называл политотделы МТС («Советское краеведение», № 8, 1934, стр. 22, 23).

<sup>2</sup> «Колхозные частушки». Саратов. 1937, стр. 4.

<sup>3</sup> «Частушки наших дней». Ярославль. 1959, стр. 3. 4.

<sup>4</sup> Там же, стр. 4.

Подобные критерии отбора не были, конечно, изобретением К. Ф. Яковлева. К моменту выхода его книжки они давно и, казалось, нерушимо царили в издательской практике. Легче всего попадали в сборник частушки с общественно-производственным содержанием, «жизнеутверждающие» по своему настроению и смыслу. Частушки любовные встречали на своем пути плотный фильтр, сквозь который большинство из них не могло проникнуть. Что же касается так называемых «самокритических» частушек, то на этот счет в известной нам инструктивной брошюре содержалось следующее строгое указание: «Самокритические частушки на местные темы (возможность самокритических частушек на общие темы вообще не предусматривалась.— Ю. Б.) имеют ценность только в пределах создавшего их производственного или общественного коллектива, за его пределами они теряют свое художественное значение (?) и могут даже приобретать искаженный смысл в силу обобщающего характера образа частушки как жанра». В стенгазете их публиковать не взбраняется, «но ни в коем случае (!) такие частушки не следует печатать в районной или областной газете и тем более в сборниках»<sup>1</sup>.

Итак, отбор. Но при такой строгости отбора возникала уже опасность, что подлинно народного частушечного материала, способного удовлетворить предъявляемым ему требованиям, окажется слишком мало. Поэтому широко пошли в ход частушки, которые З. И. Власова и А. А. Горелов именуют «самодельными». К этой категории относятся частушки, сложенные в коллективах художественной самодеятельности и профессиональной эстрады, а порой и просто сочиненные местными литераторами.

Изготовление таких частушек не требовало большой затраты умственных сил и, судя по всему, нередко носило характер крупносерийного производства. Взять, к примеру, в поминавшемся саратовском сборнике раздел, который озаглавлен: «Мы в колхозе зорким глазом за границей следим». На странице 48 читаем:

Гляну, гляну я на запад,  
Гляну, гляну на восток,  
Мой миленок лучший снайпер —  
Ворошиловский стрелок.

<sup>1</sup> А. Мореева и др. Как работать с частушкой, стр. 33.

Чуть ниже эта тема варьируется так:

Хороши девчата наши —  
Это знает все село.  
Лучше всех моя Параша —  
Ворошиловский стрелок.

Переворачиваем страницу:

У Сережи есть пригожий  
Светлой кожи пиджачок,  
Подруженьки, нам дороже  
Ворошиловский стрелок.

На той же странице 49 безвестный автор убеждает сомневающихся:

В саду яблоки поспели,  
Где четыре, где пяток,  
Мой миленок в самом деле  
Ворошиловский стрелок.

Ворошиловские стрелки встречают нас и на следующей, 50-й странице:

На мне платье кружевное  
И батистовый платок,  
Полюбил меня Афоня —  
Ворошиловский стрелок.

Но сколько можно находить новых рифм и словесных фигур? Волей-неволей начинаешь повторяться:

Моего миленка знает  
Все колхозное село,  
Он селькор и лучший снайпер,  
Ворошиловский стрелок.

На страницах саратовского сборника распылан целый взвод ворошиловских стрелков — мы могли представить читателю только часть из них. Подобные «крупные серии» легко обнаруживаются и в других разделах книги. Вот, уже без всяких комментариев, несколько выписок из «самокритического» раздела:

Я к Семену не пойду (?),  
Мне Семен не нравится,—  
Час работает на поле,  
День без дела шляется (стр. 99).

Посмотрите на Акима:  
Он без дела шляется.  
Не гуляю я с takim,  
Лодырь мне не нравится (стр. 100),

Я к Даниле не ходила (?),  
Лодырь мне не нравится,  
Он уборкой урожая  
Плохо занимается (стр. 114).

Не хочу гулять с Борисом,  
Лодырь мне не люб такой,

У Бориса тракториста —  
В поле каждый день простой  
(стр. 108).

Распроцуся я с Ермилом,  
Лодырь мне не люб такой,  
Он работает лениво,  
Час — на пашне, два — простой  
(стр. 112).

И т. д. и т. п. Почерк, как видим, везде один и тот же.

Нельзя сказать, чтобы подобные «литературные» частушки отличались большими художественными достоинствами. Напротив, им, как правило, свойственны такие черты, как «убогость языка, отсутствие чувства внутренней формы слова, дидактизм, унылая унисонность...»<sup>1</sup>. Однако они были хороши тем, что обычно оказывались вполне «на тему» публикации.

Правда, тут возникало одно деликатное обстоятельство, которое не так-то просто было обойти: «самодеятельные» частушки — с их индивидуальным авторством, с их предназначенностью для печати или для сцены — не подходили под понятие «фольклор» ни по каким признакам, кроме жанра. Признать подобные частушки фольклором — значило опрокинуть основные постулаты фольклористики: коллективность создания, изустность распространения, безыскусственность и др. Не признать — значило закрыть для них дорогу в сборники народной частушки.

В этом трудном положении на выручку практике пришла, как и полагается, теория. Поскольку прямо отстаивать фольклорный характер «самодеятельных» частушек было невозможно, вопрос ставился несколько иначе: какие частушки следует считать подлинно народными? Лукавство такой постановки вопроса заключалось в том, что к вопросу о подлинности частушки как произведения фольклора («народного творчества») незаметно примешивался вопрос ее «народности» как произведения искусства вообще. Здесь-то и совершалась едва уловимая подмена понятий: теоретик, делая вид, будто отвечает на поставленный вопрос, незаметно переводил разговор в эстетическую плоскость рассуждений о народности. «Подлинно народной частушкой

<sup>1</sup> А. Л. Горелов. Русская частушка в записях советского времени (в кн.: «Частушки в записях советского времени». «Наука» М.—Л. 1965, стр. 16).

будет та, которая отвечает запросам и вкусам населения»<sup>1</sup>. «Частушка — независимо от того, кто ее сочинял — колхозник или профессионал-литератор, — будет подлинно народной, если она реалистически правдиво отражает жизнь народа, его мысли, чувства, его трудовую энергию, героизм в борьбе с внутренними и внешними врагами социалистического общества»<sup>2</sup>. Всякая разница между настоящей частушкой и «самодеятельной» при таком способе рассуждения стиралась начисто.

Но вот предварительная подборка материала проведена, остается расположить его в книжке. «За последние годы, — писал А. Гуревич, автор вступительной статьи к сборнику, выпущенному в 1939 году в Улан-Удэ, — мы встречаемся с новым методологическим принципом опубликования частушек. Принцип этот рожден нашей замечательной советской действительностью»<sup>3</sup>. Здесь автор не вполне точен: принцип, о котором он говорит, применялся и в некоторых дореволюционных изданиях. Новым было лишь то употребление, которое получил он в сборниках, подобных улан-удинскому. Что же это за принцип? «Составители сборников берут тематически связанные между собой частушки, объединяют их одним ведущим заголовком, который выражает мысли и чувства всего советского народа. Заголовок каждой темы, как правило, берется из того или из другого обобщающего, ведущего частушечного текста»<sup>4</sup>.

Речь идет, таким образом, о тематическом принципе публикации. А своеобразие его использования применительно к современной частушке заключается в том, что составителя интересуют только такие частушки, которые выражают — ни много ни мало — «мысли и чувства всего советского народа». Предполагается, что эти самые «мысли и чувства» известны составителю заранее и потому он может без труда отделить «обобщающие, ведущие (!) частушечные тексты» от рядовых, обыкновенных.

Просматривая сборники частушек один за другим, встречаешь, как правило, одни и

те же тематические разделы. В улан-удинском сборнике они озаглавлены так: «Мы живем теперь в колхозе по уставу Сталина», «Каждый знает, каждый любит Сталинского сокола», «Стала женщина в почете бесконечно высока», «Смычку города с деревней закрепляет наш заем», «Кулаку колхозным строем мы всадили в сердце нож» и т. д. (всего тринадцать разделов).

Что бросается в глаза, когда рассматриваешь этот перечень? Прежде всего его дробность. Почему бы, кажется, не свести воедино, скажем, все частушки на общественно-политические темы? Соображения тут, по-видимому, были самые простые. Например, тема Красной Армии. Важная это тема? Безусловно. Достояна ли она, по важности своей, специального раздела в сборнике? Разумеется, достояна. И напротив: удобно ли, правильно ли будет, если столь важная тема не получит в сборнике специального раздела? Нет, конечно, неправильно и неудобно. Создается раздел о Красной Армии. А Советы? А Конституция? А антирелигиозная пропаганда? А подписка на заем? Да, конечно, отсутствие в сборнике любого из таких разделов нельзя не рассматривать как серьезное упущение...

Но поскольку раздел создан, его нужно достойным образом «укомплектовать». Неудобно, если в нем окажется слишком мало частушек, — это может скомпрометировать важную тему. Вот и приходится к одной подлинной частушке прибавлять пяток «самодеятельных», брать материал из вторых, из третьих рук, пренебрегать его художественным качеством и т. д. Это с одной стороны. А с другой — всячески сжимать и просеивать тот раздел, где материала всегда в избытке, — раздел частушек о любви, — иначе другие разделы будут в соседстве с ним выглядеть слишком бедными. К тому же любовь — чувство личное, а личное, как известно, не может занимать в нашей жизни слишком много места... Быть может, люди, занимающиеся изданием частушки, не всегда рассуждали в точности таким образом, но поступали-то они именно так.

Заданность, заданность, заданность. Она проявлялась и в том, что тематика публикации выводилась не из наличного материала, а из неких априорных соображений; и в том, что открывали сборник всегда разделы с общественно-производственным содержанием (располагавшиеся тоже, как правило, по ранжиру — по убывающей значи-

<sup>1</sup> «Частушки колхозной деревни», составитель И. В. Карнаухова. Л. 1937, стр. 14.

<sup>2</sup> А. Мореева и др. Как работать с частушкой, стр. 22.

<sup>3</sup> Александр Гуревич. О частушках (в кн. «Частушки наших дней». Улан-Удэ. 1939, стр. 44).

<sup>4</sup> Там же.

тельности затрагиваемых предметов), «личное» же вообще загонялось в конец, в хвост; и в том, наконец, что каждый заголовок не только обозначал границы темы, но и полностью предопределял ее решение. В самом деле, трудно себе представить, чтобы под рубрикой «Стала женщина в почете бесконечно высока» могла найти себе место такая, скажем, частушка:

Бабы сеют и боронят,  
Огороды городят.  
Мужики сидят в правленье,  
Папиросами чадят (1182).

Частушки, помещенные в улан-удинском сборнике под этой рубрикой, выдержаны, понятно, в совершенно иной тональности:

Бригадирша Иванова  
На собрании сказала,  
Что ударница Купцова  
Тысячу снопов связала (стр. 183).

Или:

Мы избрали Ольгу  
Депутаткою в Совет.  
Пусть она в Москву поедет,  
Передаст вождю привет (стр. 185).

Таким образом, в условиях, когда частушке отводилась чисто иллюстративная роль, применение тематического принципа только увеличивало разрыв между подлинным «частушечным репертуаром» деревни и его печатными отражениями.

Не были в этом смысле исключением и те частушечные сборники, где наряду с записями советских лет представлены и дореволюционные. Они строились по принципу противопоставления: в прошлом — беспросветное горе и мрак, в настоящем — радость и веселье. Такое однолинейное противопоставление в сочетании с тематическим принципом публикации частушек, по-видимому, особенно стимулировало издательскую «самодетельность».

Вот, например, частушка:

Ты, машина, ты, машинушка,  
Железные тяжи!  
Увезешь меня, машинушка,  
Далеко ли, скажи?

В сборнике «Русская частушка» («Советский писатель». М. 1941) мы находим ее в дореволюционном отделе под рубрикой

«Рекрутчина и солдатчина» (стр. 25), и поначалу у нас не возникает сомнений в том, что место ей отведено в сборнике правильно. Действительно, по своему настроению, по чувствам (грусть прощания с родными местами перед отъездом в неизвестность и даль) она созвучна многим старорекрутским частушкам и не выделяется в окружающем контексте.

Правда, если бы присмотреться чуть внимательнее, можно было бы заметить, что ничего специфически рекрутского в этой частушке нет. Вместо рекрута ее мог в те времена сложить, скажем, переселенец или просто человек, отправляющийся в дальние края на заработки. Нельзя с полной уверенностью утверждать даже и то, что это мужская частушка: разве не могла ее спеть девушка, по той или иной причине вынужденная покинуть родной дом?

Но даже если бы такие соображения и приходили в голову при чтении, степень вероятности рекрутского происхождения этой частушки оставалась бы все-таки достаточно высокой. И вдруг, просматривая в конце книги «Указатель использованных источников», мы, к изумлению своему, узнаем, что и эту и ряд других частушек, помещенных в том же разделе, составитель сборника В. М. Сидельников записал... в деревне Носово Коммунистического района Московской области в 1931 году!

Конечно, и при этих условиях догадка составителя могла оказаться правильной: частушечный «век» бывает иногда довольно долгим. Но степень ее вероятности теперь во много раз меньше. Во-первых, если частушка эта в самом деле «рекрутская», то почему не мог ее сложить призывник 1929-го, 30-го, 31-го года? Или чувство грусти при расставании со своей деревней, с родными и близкими было ему уже неведомо? Во-вторых, разве только призывника ждала в те годы — в годы первой пятилетки, в годы коллективизации и ликвидации кулачества как класса — дальняя дорога, «машинушка, железные тяжи»? А самое главное — никакую, даже гораздо более обобщенную догадку составитель и издательство не имели ни малейшего права выдавать за факт.

Эпизод, рассказанный нами, к сожалению, не был исключением. Если мы откроем книгу «Русские частушки» (Гослитгиздат, М. 1956, составители Н. И. Рождественская и С. С. Жислина), один из наиболее объе-

<sup>1</sup> «Частушки в записях советского времени». В скобках — порядковый номер текста.



мистых и претендующих на солидность частушечных сборников последнего тридцатилетия, то здесь подобных «вольностей» можно обнаружить еще больше. Есть тут, к примеру, частушка:

Не завидуйте, подружки,  
Что мы в городе живем.  
Вы с постелюшки встааете,—  
Мы с работушки идем (стр. 49).

Она помещена в отдел «Частушки о старой жизни» под рубрикой «Работа крестьянская» (?), хотя, как выясняется из такого же «указателя источников», записана Н. И. Рождественской не ранее 1928 года. Как будто после революции у нас уже не было ночных смен или работа в них перестала быть тяжелой!

Еще пример. В том же дореволюционном отделе, под рубрикой «Женская доля»:

С неба звездочка упала,  
На земле растаяла.  
Рано-рано меня мама  
Сиротой оставила (стр. 83).

Ты, подруга моя Аня,  
Горю не давайся.  
Хотя горе, хотя два,  
Ходи — улыбайся (стр. 90).

(Записи С. С. Жислиной, 1938 год)

Вновь остается только развести руками. На каком основании эти частушки объявлены «старыми»? Разве в 1938 году люди не оставались сиротами и у них не могло быть горя? И опять-таки: почему в этих частушках, особенно в первой из них, усматривается именно «женская доля»? До сих пор считалось, что сиротами бывают люди обою пола.

Но пусть перед нами действительно дооктябрьская частушка, которая не забылась и была записана через двадцать пять — тридцать лет после своего рождения. Можно ли просто взять и зачислить ее в разряд «частушек о старой жизни»? Ведь если частушка живет, то не означает ли это ее современности, созвучности каким-то бытующим настроениям и чувствам?

И напротив: если уж исходить из возможности длительного бытования частушки, то почему не распространить эту возмож-

<sup>1</sup> Мы исключаем, понятно, тот очевидный случай, когда в частушке говорится о каких-то конкретных исторических обстоятельствах: отруба, земство, японская и первая мировая война и т. п.

ность и на частушки мажорного, так сказать, звучания? Почему, скажем, частушка, записанная Н. И. Рождественской в 1933 году:

Я не стану к барабану,  
Стану веялку вертеть,—  
Стану веялку вертеть,  
Про милого песни петь (стр. 299),—

должна быть занесена непременно под рубрику «Социалистический труд»? Разве не могла она возникнуть в недалекие еще тогда доколхозные (а то и дооктябрьские) времена?

То же самое и в сборнике В. М. Сидельникова. Под рубрикой «Новый труд» читаем:

Солнце ходит высоко —  
Уж весна не далеко.  
К севу времечко идет —  
Поле скоро позовет (стр. 69).

Или:

Я косила осенью,  
Любовалась озимью,  
Вот так озимь, вот так рожь,  
Урожай будет хорош! (стр. 74).

Почему бы, справедливости ради, не предположить, что и эти частушки, записанные составителем в 1936 году, сложены в каком-нибудь 1895-м или 1910-м? Разве и в те времена не звало к себе поле крестьянина и разве не радовала его мысль о будущем урожае?

Впрочем, как бы убедительно ни звучали подобные доводы (а они, надо думать, приходили в голову фольклористам и двадцать и тридцать лет назад), в практической деятельности все равно руководствовались не ими. Принцип тут был другой: частушки, говорящие о дурном и неприглядном, независимо от времени записи, зачислялись по ведомству «старой жизни»; в современном же отделе, как и в специальных сборниках «советской частушки», царил сплошной мажор. Грусть допускалась здесь только в «любковых» разделах, да и то в порядке исключения, а критические ноты были выверены по особому камертону со строгим соблюдением таблицы о рангах: можно было посмеяться над колхозным бригадиром, в крайнем случае над председателем колхоза, но уже, скажем, директор МТС был как бы выше частушечной критики.

Конечно, и в сборниках, составленных по такому принципу, всегда был определенный процент подлинного материала, на нем при

чении отдыхаешь душой. Например, в советских разделах того же сборника «Русская частушка» под редакцией В. М. Сидельникова можно встретить действительно народные тексты, заключающие в себе живые приметы нового общественного сознания и быта:

Куплю Ленина портрет —  
Золотую рамочку.  
Вывел он меня на свет —  
Темную крестьяночку (стр. 59).

Или:

Что ты, милый, редко ходишь,  
В пятидневку восемь раз,  
Если кажется далёко,  
Приходи, живи у нас (стр. 114).

Но, к сожалению, не такие частушки опережают впечатление от сборника. Скорее напротив: своей непродуманностью и живостью они контрастируют с общим обликом этого и многих других подобных изданий, лишь резче оттеняя их характерные недостатки.

### 3

Каковы методы, таковы и результаты. Сейчас, когда один за другим пересматриваешь частушечные сборники, изданные в тридцатые и последующие годы, диву даешься, как неполно, приблизительно, а порой и просто неверно отражало содержимое этих сборников подлинную жизнь народа.

Взять, например, послевоенный период. Известно, в каком тяжелом положении находилась тогда наша деревня. А на страницах частушечных сборников, вышедших в это самое время, текли молочные реки в сельских берегах. Послевоенная деревня выглядела здесь краем всеобщего довольства, процветания и ничем не омраченной радости:

Широки поля колхоза,  
Высоки у нас дома.  
Нет на свете нас счастливей:  
Хлебом полны закрома.

Старый месяц на исходе,  
Новый нарождается.  
Кто живет теперь в колхозе,  
Ни в чем не нуждается.

В вечность канули тревоги,  
Жизнь прекрасная течет;  
Молодым везде дорога,  
Старикам везде почет<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Приспособление к основному частушечному размеру — четырехстопному хорю — известных строк Б. Лебедева-Кумача.

Эти частушки выписаны нами из вологодского сборника 1952 года<sup>1</sup>; в других сборниках читателя ждали точно такие же райские кущи. Частушечные публикации представляли собой в этом смысле полную параллель произведениям тогдашней «бесконфликтной» беллетристики; иллюстративная фольклористика была родной сестрой иллюстративной литературы. Они росли из одной почвы.

Не следует думать, однако, что вся беда была в «лакировке действительности». Крайности сходятся: попытки приукрасить жизнь и мнения деревенского жителя то и дело оборачивались в частушечных публикациях обидным и несправедливым поклепом на него же самого.

Это может показаться странным, так как обвинение в «поклепе» обычно связывается с подозрением в очернительстве и скептицизме. Все дело в том, однако, что и похвальное, бодряческое слово может восприниматься как поклеп и несправедливость. Чем, если не поклепом, была попытка выдать за народное творчество, за непосредственное выражение народной души эти десятки страниц бездарного славословия, эти бестелесные, лишённые всякого живого чувства, отупляюще-однообразные поделки редакционных стихоплетов? А сама эта попытка представить всю жизнь русского крестьянина со времен двадцатых годов как сплошное благоденствие? Разве не была она обидным преуменьшением трудового и ратного подвига народа?

Но это еще не все. Во многих частушечных сборниках деревенской девушке и парню приписаны такие общественные добродетели, которые даже с точки зрения элементарной человеческой нравственности представляются весьма сомнительными.

Вот некоторые примеры. Они взяты из трех одноименных сборников, почти одновременно вышедших в Куйбышеве, Иванове и Саратове. В куйбышевском сборнике, который, кстати сказать, в одном солидном фольклорном издании удостоился похвалы за «значительную представленность» в нем «политически проверенной частушки»<sup>2</sup>, есть, например, такая частушка, долженствующая

<sup>1</sup> «Частушки», составитель С. Видулов. Вологда. 1952, стр. 167, 169, 180.

<sup>2</sup> А. Н. Лозанова. Колхозные частушки (в кн. «Советский фольклор. Сборник статей и материалов» Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1936, стр. 395).

шая, очевидно, иллюстрировать классовую сознательность советского крестьянина и его способность поставить общественное выше личного:

В саду яблонька кудрява,  
Ей название — анис.  
Ты лишенка, я — колхозник,  
За мной больше не гонись<sup>1</sup>.

Столь же строго блюдет свою социальную чистоту «лирическая героиня» ивановской частушки:

Не пойду замуж за Петю,  
Сколько бы ни сватали:  
Как негодичка в газете  
Петю пропечатали<sup>2</sup>.

Особенно изобилует примерами подобной «сознательности» саратовский сборник.

Я не знаю с Аришкой,  
Нету смысла (!) **знать**ся с ней,  
У Аришки в трудовничке  
Лишь пятнадцать трудовней.

Брошу лодыря я Прова —  
Я не парочка ему.  
Выйду замуж за другого,  
За стахановца Фому.

Любовь и семейное счастье здесь столь же прямо зависят от трудовых успехов, как в будущем «производственном романе» конца сороковых — начала пятидесятих годов. В других частушках любовь поставлена в зависимость от иных, но не менее конкретных условий.

Я гуляю с Ермолаем,  
Провожу с ним вечера,  
Он задолженность по займу  
Ликвидировал вчера.

Уходи-на, милый мой,  
Рядом не присаживай (ся?).  
Облигацию купи,  
А потом ухаживай.

Альтернатива проста: любовь или облигация. Но, оказывается, можно упростить отношения еще больше:

Парни, ежели гулять  
С нами вы хотите,  
Облигаций новеньких  
Нам приобретите<sup>3</sup>.

Если верить цитируемым книгам, деревня тридцатых годов населена была бездумными и послушными пошляками, для которых не существовало ни совести, ни доброты, ни великодушия, ни любви.

Сам по себе факт существования подобных пошляков оспорить трудно: ведь кто-то составлял эти сборники, кто-то сочинял для них материал, кто-то их редактировал, цензурировал, издавал, кто-то даже произносил по их адресу похвальные слова в печати. И нельзя сказать, чтобы частушки вроде тех, что приведены были выше, не выражали вообще никакой нравственности. Нет, они выражали, и довольно точно выражали, ту особую мешанско-бюрократическую «нравственность», которая складывалась на основе известной концепции, низводившей рядового человека на роль «винтика». Но при чем здесь народная частушка?

Пожалуй, единственное, о чем можно составить сколько-нибудь достоверное представление по частушечным публикациям тридцатых—пятидесятих годов,—это всякого рода «текущие кампании», проводившиеся в деревне<sup>1</sup>. По сборникам, выходившим за эти годы, легко проследить, какие темы занимали в разное время нашу печать.

Ой, подруга, запевай,  
Сколько хватит голоса!  
Про защиту урожая,  
Про лесную полосу<sup>2</sup>.

Или:

Запоем, подруги, песню  
Не в один, в три голоса,  
У Лысенко есть пшеница  
Не в один — в три колоса<sup>3</sup>.

Это, можно не сомневаться, конец сороковых — начало пятидесятих годов, эпоха полезащитных лесонасаждений, сельских электростанций и каналов.

Печатные частушки конца пятидесятих годов многократно воспроизводят памятный лозунг:

<sup>1</sup> Здесь уместно привести еще одно место из брошюры «Как работать с частушкой»: «Надо гесными узами связать творческую работу частушечников с клубной работой... и привлечь их к художественному обслуживанию (!) политических кампаний» (стр. 45).

<sup>2</sup> «Русская частушка», малая серия «Библиотеки поэта». Подготовка текста и примечания В. Вокова. Л. 1950. стр. 357.

<sup>3</sup> «Частушки Воронежской области. Записи 1949—1953 гг.», составил С. Г. Лазутин. Воронеж. 1953, стр. 59.

<sup>1</sup> «Колхозные частушки». Москва — Куйбышев. 1935, стр. 47.

<sup>2</sup> «Колхозные частушки». Иваново. 1936. стр. 45.

<sup>3</sup> «Колхозные частушки». Саратов. 1937, стр. 110, 114, 33, 34.

Мы дадим Отчизне тонны  
 Мясa, масла, молока.  
 Мы Америку догоним,  
 Говорим наверняка!

Как же этого добиться? Частушечные сборники отвечали и на этот вопрос — ясно и твердо:

Будут яйца, будет сало,  
 Будет масло через край (?),  
 Только лишь животным вдоволь  
 Кукурузы выдавай!

«Животные», которые благодаря кукурузе не только обеспечивают салом и маслом, но и приобретают способность нести яйца, производили, наверное, сильное впечатление на читателя, особенно деревенского. Вскоре выяснилось, однако, что свою чрезвычайную миссию кукуруза одна выполнить не в состоянии. Началась короткая, но яркая эпоха бобовых культур и — одновременно — повсеместного изгнания овса и трав:

Травополку осудили,  
 И никто не пролил слез.  
 Травопольщики молили  
 На поруки взять овес!

О частушках, которые незадолго перед тем (в порядке «художественного обслуживания» тогдашних кампаний) прославляли и восхваляли ту же самую «травополку», — теперь уже не вспоминают. Но и самоновейшим частушкам о горохе, о бобах и о скептиках-маловеерах предостало очень скоро обнаружить свою эфемерность.

Таким образом, в большинстве частушечных публикаций последних десятилетий наша жизнь, наша история отразилась очень неравномерно, по преимуществу своей внешней стороной. Видеть в этих «кукурузных» и тому подобных частушках сколько-нибудь подлинное выражение трудового опыта народа, его дум о хлебе и о земле, конечно, не приходится. Что по ним действительно можно изучать, так это приемы и методы иллюстративной фольклористики, ее «теорию» и издательскую практику.

Несправедливо было бы умолчать в этом обзоре о том, что протесты против фальсификаций, допускаемых при издании частушек, раздавались уже давно. Горячо и резко говорил об этом Артем Веселый. В предис-

ловии к составленному им сборнику «Частушка колхозных деревень» читаем: «К сожалению, к этому интереснейшему делу уже налетели тучи халтурщиков: вместо того, чтобы записывать из уст народа подлинную частушку, они «сочиняют» свою собственную, — чаще всего сидя в редакции районной газеты, — мутным потоком подобной халтуры пытаюсь подменить настоящую народную частушку»<sup>1</sup>.

Несколько позднее, в 1939 году, с энергичным протестом против засилия в частушечных публикациях всякого рода подделок выступил поэт Виктор Боков. Он констатировал: «...из семи изданий последних лет — саратовский, курский, куйбышевский, иваново-промышленный, донской, кубанский, северный сборники и, наконец, капитальный выпуск Гослитиздата — не выберешь ни одного подлинно народного сборника, отражающего современное творчество. Ни один из них не обошелся без обилия частушек поддельных, иногда опошляющих политические темы исключительной важности». И далее: «Массовое появление фальсификаторских частушек и пренебрежение к частушке подлинной заставляет вынести этот вопрос на суд широкой общественности»<sup>2</sup>.

Можно привести, наконец, сравнительно недавнее высказывание В. Базанова, относящееся уже не только к частушке: «Не следует забывать, что и фольклор и фольклористика оказались под влиянием теории бесконфликтности (не столько, конечно, фольклор — в подлинном значении этого слова, — сколько именно фольклористика. — Ю. Б.), той ходульно-воспевательной ритори-

<sup>1</sup> Артем Веселый. Частушка колхозных деревень. ГИХЛ. М. 1936, стр. 8.

Кстати, сборник, которому предпосланы были эти слова, во многих отношениях выгодно отличался от других подобных изданий своего времени. Правда, он также был построен по тематическому принципу, но тем не менее в нем преобладают записи, подлинность которых не вызывает сомнений. Можно пожалеть о том, что в связи с арестом писателя этот сборник вскоре после своего выхода в свет на многие годы оказался под запретом и сейчас представляет собой библиографическую редкость.

<sup>2</sup> Виктор Боков. О народной частушке, ее издателях и фальсификаторах («Литературный критик», 1939, кн. 8—9, стр. 237—238). К сожалению, в дальнейшем в собственной своей деятельности по изданию современной частушки В. Боков не всегда оставался верен той правильной позиции, которая была им заявлена в этой статье.

<sup>1</sup> «Частушки наших дней». Ярославль. 1959, стр. 20.

<sup>2</sup> «Частушки». Сборник. «Советская Россия». М. 1959, стр. 27.

<sup>3</sup> «Частушки». Вологда. 1962, стр. 35.

рики, которая поддерживалась и насаждалась в годы культа личности... В дальнейшем предстоит внимательно разобраться в ворохе фольклорных публикаций, установить, что действительно принадлежит народной поэзии, а что относится к случайным опытам сказителей или является сознательной фальсификацией и несомненно должно быть исключено из поэтической летописи нашей эпохи<sup>1</sup>.

Во всех таких предостережениях был, однако, тот недостаток, что они указывали на следствие, не касаясь причин явления. Поэтому и в практических своих пожеланиях цитируемые авторы шли не слишком далеко. О том, чтобы записывать и публиковать «частушечный репертуар» деревни сколь возможно полнее, они, как правило, и не помышляют. Между тем уже сам по себе отбор (хотя бы и из безупречного в своей подлинности материала), оставляющий за бортом публикации все, что не соответствует некоему априорно принятому тезису, прозлит в большей или меньшей степени исказить картину народного творчества. И когда мы в этом смысле говорим о недостатках многих частушечных сборников, то нужно отдавать себе отчет в том, что зло было не только в «сочинении» частушек взамен их собирания (это всего лишь одно из естественных следствий иллюстративного подхода к фольклору), но прежде всего — в самом этом сугубо избирательном, чисто иллюстративном подходе, по природе своей враждебном всякой подлинной науке.

В самом деле, если с науки о фольклоре мы перенесем взгляд на другие, смежные области народоведения (особенно в той его части, которая занимается изучением советского периода), то и там в недалеком прошлом увидим немало похожего.

XX съезд положил начало оживлению и подъему всей нашей общественной науки. Успехи ее весьма разительны. Тем не менее и в наши дни иллюстративный принцип все еще неохотно сдает свои позиции, — читатель мог убедиться в этом на примере частушечных сборников, изданных в 1959 и в 1962 годах.

Не представляет в этом смысле исключения и довольно объемистый сборник «Частушка», недавно вышедший в Большой се-

рии «Библиотека поэта»<sup>1</sup> и составленный в основном на базе прежних публикаций. Правда, в нем преобладают подлинно народные тексты, и располагаются они не по тематическому, а по хронологическому признаку: «Частушки эпохи революции и гражданской войны», «Частушки двадцатых годов» и т. д. Однако в остальном его составитель В. С. Бахтин идет проторенным путем: принцип отбора текстов (в особенности текстов общественно-политического содержания) носит чисто иллюстративный характер.

## 4

Наше повествование о современной печатной частушке было бы, пожалуй, слишком печально, если бы не сборник «Частушки в записях советского времени», выпущенный два года назад Институтом русской литературы (Пушкинским домом) в Ленинграде<sup>2</sup> (выше нам уже приходилось на него ссылаться). Он так разительно не похож на все то, чем на протяжении нескольких последних десятилетий потчевали читателя издатели современного фольклора<sup>3</sup>, что заслуживает особого обстоятельного разговора.

Само назначение сборника другое: дать читателю сколь возможно более полную и достоверную картину частушечного творчества за годы советской власти в русской деревне (а отчасти и в городе) северных и северо-западных областей Союза<sup>4</sup>. Этим определяется уже объем публикации. Книга, изданная Пушкинским домом, представляет собой самый большой частушечный сборник из всех, когда-либо выходивших в России. В нем 8230 частушек, тогда как в лучшем

<sup>1</sup> «Частушка». Большая серия «Библиотеки поэта». Издание 2-е. «Советский писатель». М.—Л. 1966.

<sup>2</sup> Издание подготовили З. И. Власова и А. А. Горелов. Вступительная статья (кстати сказать, чрезвычайно богатая мыслями и прекрасно написанная) Ал. Горелова. Ответственный редактор Б. Н. Путилов.

<sup>3</sup> Об этом уже говорилось в печати (см. рецензию И. Правдиной «Летопись народной души» — «Вопросы литературы», № 11, 1966).

<sup>4</sup> В книгу вошли записи, сделанные с 1917 по 1963 год в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карельской и Коми АССР, а также на Карельском, Калининском, Белорусском фронтах и в германских концлагерях периода Великой Отечественной войны.

<sup>1</sup> В. Базанов. Фольклористика и современность («Русская литература», № 2, 1964, стр. III—IV).

дореволюционном сборнике Елеонской<sup>1</sup>— 6020, а в наиболее полных советских изданиях и того меньше: в книге Артема Веселого «Частушка колхозных деревень» — 3203, в сборнике «Русские частушки» 1956 года — 2883, в «Частушке» 1966 года — 3576.

Второе, еще более важное обстоятельство состоит в том, что весь материал сборника взят из первых рук. На протяжении последних тридцати лет стало обычным широко включать во вновь составляемый сборник тексты, уже побывавшие в печати, опубликованные не только в газетах или журналах, но и в ранее изданных сборниках. З. И. Власова и А. А. Горелов нарушают эту «традицию». В их книге весь материал свежий, впервые публикуемый и подлинный, он целиком взят из рукописных коллекций, хранящихся в архиве Пушкинского дома. Все это настоящие народные частушки — в том простом и ясном смысле, что сложены и поются они в самом народе, независимо от всех тех форм общения и творчества, которые связаны с книжной культурой. Поэтому стоит в любом, первом попавшемся месте открыть эту книгу — и вы сразу окунетесь в «живую жизнь» народа со всем многообразием, пестротой и неожиданностью ее красок и оттенков.

Разумеется, и здесь имел место отбор — об этом прямо говорится в предисловии Ал. Горелова. Но, во-первых, «строгость» такого отбора была иной, нежели при составлении прежних сборников, куда из подлинных записей, насчитывавших сотни и тысячи частушек, нередко попадали только единицы. А во-вторых, — и это главное — другими были сами принципы отбора. «Отбирались, — пишет Ал. Горелов, — тексты, обладающие наибольшими художественными достоинствами либо интересными, характерными для песенной миниатюры художественными чертами (образность, рифмовка, лексические «фокусы»)»<sup>2</sup>. Что же касается содержания, то хотя, как сообщает составитель, «предпочтение отдавалось текстам, отражающим народную психологию в типичных ее социальных и индивидуальных проявлениях»<sup>3</sup>, это вовсе не вело к какому-либо схематизму и односторонности. Дело, по-видимому, в том, что сами представления

о типическом оказались у З. И. Власовой и А. А. Горелова — не в пример многим их предшественникам — гораздо более научными и свободными от предвзятости<sup>1</sup>. Не потому ли на страницах книги мы нередко встречаемся с частушками, не только контрастирующими, но и полностью противоположными по своему смыслу? (Для прежних сборников это вещь абсолютно невозможная.)

Вот, например, совсем рядом, на одной и той же странице, две частушки о пьяницах, записанные в 1940 году в одном и том же Боровичском районе Новгородской области:

Чего сидишь, чего глядишь,  
Чего ты добиваешься?  
За тя я замуж не пойду,  
Что пьяный напиваешься? (7086).

С неба звездочка упала —  
Я за пьяницу попала.  
Ай, ничего, что пьет вино, —  
Пойду я замуж за его! (7090).

Или такая пара частушек, записанных уже в послевоенные годы:

В Ленинграде жизнь хороша —  
Меня дряля известил.  
Я уехала бы, девушка, —  
Колхоз не отпустил (835).

Мой залетка в Ленинграде —  
И меня зовет туда.  
Я в ответ ему писала:  
Из колхоза — никуда! (7504).

Уже эти взятые наудачу примеры показывают, что отбор, произведенный сотрудниками Пушкинского дома, не был тенденциозным, не улучшал и не ухудшал действительности.

Стремление дать возможно более полную и достоверную картину частушечного творчества сказалось и на самом расположении материала в ленинградском сборнике. Его составители отказались от тематического принципа публикации, как в большой мере субъективного, «огрубляющего лирическое содержание» частушки. Вместо него был принят принцип хронологически-областной, обеспечивающий наиболее естественную

<sup>1</sup> В этой связи опять-таки стоит обратить внимание на само название книги — «Частушки в записях советского времени». Оно академически суховато, но зато безукоризненно по своей научной точности и объективности. Четко очерчивая временные границы публикации, такое название вместе с тем не задает никаких ограничений ее содержанию.

<sup>1</sup> «Сборник великорусских частушек» под редакцией Е. Н. Елеонской. М. 1914.

<sup>2</sup> «Частушки в записях советского времени», стр. 26.

<sup>3</sup> Там же.

группировку материала: частушки располагаются по месту и времени их записи. Вместе с тем сборник снабжен чрезвычайно подробными и удобными указателями: тематическим, жанровым<sup>1</sup>, географическим, именным, предметно-терминологическим<sup>2</sup>. Взявши в этом отношении за образец сборник Е. Н. Елеонской, наиболее богатый по оснащенности научным аппаратом, составители ленинградского сборника пошли еще дальше. Если у Елеонской тематический указатель включал лишь пять рубрик, то здесь он удачно детализирован и дает несравненно более конкретное представление о содержании частушек. Значительно более полон и предметно-терминологический указатель. Помогая читателю ориентироваться в книге, находить интересующие его тексты, З. И. Власова и А. А. Горелов в то же время не предпринимают ни малейшей попытки навязать ему свое понимание и свою оценку их смысла или поэтических достоинств.

Таким образом, мы имеем дело с научным изданием высокого класса.

Своим содержанием, своей внутренней структурой, принципами отбора и организации материала книга «Частушки в записях советского времени» полемизирует с иллюстративными частушечными публикациями, «отменяет» их. Такая «отмена» совершается сама собой, и ей вовсе не противоречит очевидное отсутствие у состава

<sup>1</sup> Он охватывает частушки, которые обладают какими-либо типовыми особенностями формы: «страдания», «Семеновна», «некладушки» и др. В особую рубрику выделены здесь и немногочисленные «самодельные» частушки, встречающиеся в книге.

<sup>2</sup> Можно пожалеть лишь о том, что указатели недостаточно тщательно отредактированы. Так, например, в тематическом указателе под рубрику «Лесозаготовки. Лесорубы» попала частушка № 343:

Колокольчики забрякали,  
Затопал вороной.  
— Ты готова ли, желанная?  
Приехал за тобой.

Подобные примеры, к сожалению, не единичны, равно как и случаи явных пропусков. Так, под рубрикой «Жизнь в колхозе» почему-то не оказалось текста № 6577:

Говорят, в колхозе худо,  
А в колхозе хорошо:  
К покрову дали поллуда,  
К рождеству дадут еще.

Впрочем, все это погрешности не слишком значительные.

вителей каких-либо полемических намерений. С другой стороны, эта книга продолжает прерванные в свое время добрые традиции русской фольклористики, как дореволюционной, так и советской. Традицию уважительного и серьезного отношения ко всему тому, в чем находит отражение реальная современная жизнь народа, его характер, его сознание, его многообразный опыт; традицию тщательного собирания, строго научного опубликования и непредвзятого исследования всех и всяких проявлений непосредственного поэтического творчества масс; традицию нетерпимости к каким бы то ни было фальсификациям и подделкам фольклора. Все это делает книгу «Частушки в записях советского времени» принципиально важным явлением не только в фольклористике, но и во всей современной общественной науке.

И в этом, конечно, отразились те черты нынешнего времени, то доверие к серьезной науке, которое все более утверждается у нас сейчас и мало-помалу берет верх над догматической и волюнтаристской тенденциями. А это, между прочим, означает не что иное, как восстановление ленинских принципов в обществоведении.

«В области явлений общественных,— замечал Ленин,— нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное... Факты, если взять их в их *целом*, в их *связи*, не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже». И далее: «...необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без *единого* исключения, ибо иначе возникнет подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их *целом* преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает... чаще, чем кажется»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 350—351.

Эти прекрасные слова имеют, как нам представляется, прямое отношение к предмету нашего разговора.

## 5

Одно из первых и самых сильных впечатлений, возникающих при чтении книги, выпущенной Пушкинским домом, есть впечатление яркой талантливости народа, ее коллективного автора. Конечно, в том частушечном море, которое разлило по ее страницам, найдется сколько угодно текстов, в художественном отношении ничем не примечательных, а то и наивных, слабых. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что в создании частушек участвуют не какие-то избранные единицы, а тысячи, десятки и сотни тысяч людей, не только далеких от какого бы то ни было профессионализма, но и не ставящих перед собою никаких сознательных эстетических задач. Напротив, можно лишь изумляться тому, как часто в таком действительно массовом и совершенно стихийном творчестве блещут искры подлинно высокого искусства.

Кажется, где тут и развернуться большой поэзии, в этих четырех коротеньких строчках, вмещающих в себя одну-две фразы, десять — двенадцать слов? Правда, попадают и частушки, отступающие от традиционного четверостишия или двустышия. Подобная коэтическая вольность становится иногда интересной художественной находкой:

Ягодиночка зачесывает  
Набок волоса,  
Закрывает свои рыжие,  
бесстыжие,  
зеленые,  
в полосочку —  
Не высказать, товарочки,  
Какие у миленочка  
Веселые глаза! (2457).

Или другой пример:

Все я лето не работал,  
Сенокоса не косил — жарко!  
Попросил у папки денег,  
Папка рожу искосил — жалко! (2485).

Но такие случаи — редкость; как правило, частушка укладывается в свой обычный размер. И тем не менее она — самостоятельное, внутренне завершенное произведение, нередко весьма и весьма богатое по мысли и по чувству.

Талантливой и своеобразной оказывается подчас уже сама стиховая форма обычной четырехстрочной частушки. То поражает свежая рифма:

Меня дроля изменил,  
Я сказала: «Ох ты!  
У тебя одна рубаха,  
Да и та из кофты» (3022).

То богатство и разнообразие внутренних созвучий:

Посмотрю в большо окошко,  
Что там дроля делает:  
В лапотицах по назмищу  
С фонарищем бегаёт (460).

Девушка — не травушка,  
Не вырастет без славушки,  
Только та без славушки,  
Котора хуже бабушки! (1404).

У подружки два Ванюшки,  
У меня — ни одного.  
Поклонюсь подружке в ножки:  
«Дай Ванюшку одного!» (5852).

Но главная сила частушки — в выразительности ее языка. Частушка предельно непосредственна и безыскусственна; ее автор поет так же, как говорит:

Вон идут, вон идут,  
У забора свищут.  
Давай погасимте огни,  
Пусть беседу ищут (4374).

Или:

Меня хаять — не нахаять,  
Хвалить — не нахвалить.  
Дроля знает боле вашего,  
Отстаньте говорить! (3021).

Эта повседневная речь народа так остра и образна, что в ней чуть ли не на каждом шагу попадают самоцветы поэзии. Взять хотя бы традиционный частушечный параллелизм:

Это тоже не растопочка —  
Осиновы дрова.  
Это тоже мне не дролечка —  
Домой хожу одна (544).

А каковы сравнения! Вот «мужская» и по-мужски грубоватая частушка:

Хорошо товарищ пляшет,  
Хорошо и дробанул.  
Где ты взял такие ноги,  
Не у лося ли стянул? (4906).

А вот «женская»:

С своим Сашей расставалась —  
Белым камушком каталась,



Три дня поясом плелась,  
Неделю пташечкой вилаась! (7463).

Знает частушка и яркое поэтическое преувеличение:

Вспомни, дроля дорогой,  
Как ты уговаривал,  
Под ногами белый снег  
До земли растаивал (2723).

Я по милочке соскучил,  
Я горазд к ней захотел —  
Лес и горы не держали,  
Из-под ног огонь летел! (5138).

Образность частушки органична, основана на вековом крестьянском опыте, отсюда особая убедительность частушечного образа.

Ягодиночка обзарился  
На рост высокой:  
Сено мелкое зелено  
Не сравнишь с осокой! (798).

Превосходство мелкой, с листочками травы над длинной, но почти несъедобной для скота осокой хорошо известно любому деревенскому жителю — на этом и строится забавная аналогия, доказывающая, что высокий рост соперницы отнюдь не достоинство. Другой пример — отповедь на насмешки:

Не смеяться вам над нам,  
Голикам над веникам,  
Щелоком не париться,  
И вам не зубоскалиться! (962).

(Голик — тот же самый веник, но уже старый, обшарпанный, об него на крыльце обтирают сапоги.)

Не следует, однако, думать, будто в основе частушечной поэтики лежат непременно «мелочи быта». Читателю ленинградского сборника может встретиться и такой по-былинному могучий образ:

Широка моя постеля —  
Мезень матушка-река!  
Высоки мои сголовица —  
Крутые берега! (1145).

Вообще нужно сказать, многие частушки обнаруживают в их создателях такую смелость поэтического воображения, какой может позавидовать профессиональная поэзия. Вот некоторые образцы:

Девушки, любовь горячую  
Храните под платком!  
Я хранила под косыночкой —  
Раздуло ветерком! (1296).

Или:

У товарки дроля — сочень,  
У меня — овсяный блин.  
Давай, товарочка, осердимся  
И дроличек съедим (2802).

Или такая просьба:

Мимо дролиного домика  
Не ходят ноженьки.  
Отнесите этот домик  
Дальше от дороженьки (4831).

Особенно много выдумки — в юмористических частушках. Частушечный юмор может быть и беззаботно-веселым:

Никому так не обидно,  
Как Ванюше-сироте:  
Проглотил живую рыбу,  
Шевелится в животе (1001).—

и немножко грустным:

Слава богу, понемногу  
Стал я разживаться.  
Продал дом, купил ворота,  
Стал я запираяться! (7265) —

и насмешливым:

У меня миленок маленький,  
Как зернышко в овсе.  
Дал колеечку на семечки,  
Сказал: «Купи на все» (4989).

Читатель уже, наверное, заметил, что комический эффект в частушке обычно строится на несоответствии второго ее двустишия первому. Первое в таких случаях бывает с виду вполне серьезным, иногда даже печальным или ласковым, и вдруг — нечто совсем неожиданное. Но лукавство деревенской девчонки может простирается еще дальше — порой она заманивает свою жертву вплоть до последней, четвертой строки:

Не стой, милый, у ворот,  
Заходи к нам в хату,  
Я сегодня пекла хлеба —  
Оближи лопату! (3000).

Талантливыми, художественно совершенными бывают, разумеется, не только частушки мажорного, легкого настроения. Сборник Пушкинского дома содержит немало текстов, с большой поэтической силой выражающих серьезное чувство, и в том числе все оттенки печали — от грустной задумчивости до безысходной тоски:

Рыли милушке могилушку,  
Укладывали в гроб.  
Настоялся, нарвелся  
У ее холодных ног (344).

Напишу письмо слезами,  
Запечатаю тоской.  
Отошлю письмо родителям  
По почте городской (347).

Снежки белые, пушистые  
Покрыли все поля,  
Не покрыли только думушку  
На сердце у меня (3410).

Когда читаешь эти и многие другие частушки, живо ощущаешь их связь с давними поэтическими традициями нашего народа, с его характером, с веками его истории, со всем тем родным и кровно близким, что для всех нас входит в понятие — Россия. В лучших своих образцах частушка верно хранит многие устойчивые черты национального художественного сознания, неисчерпаемые богатства народной речи. Вместе с тем она ничуть не консервативна и охотно вбирает в себя слова и выражения, принесенные новым временем:

Подарила я платочек —  
Милый требует картуз.  
У меня не кооперация,  
Не райпотребсоюз! (1393).

На горочке крутой  
Горит электричество.  
Теперь не качество ребят —  
Было бы количество (6912).

Эх, мальчишки вы, мальчишки,  
Что это за нация!  
По двадцать девушек любить —  
Это спекуляция! (6918).

В кладовые русского слова частушка входит не бедной родственницей, а веселой молодой хозяйкой, которая без трепета берет в руки старые драгоценности, сдувает с них пыль, вертит так и этак:

Мой миленок — и з д и в л е н о к,  
И з д и в л ю ш е ч к а м о я.  
Притворялся, и з д и в л я л с я  
На коленях у меня (55).

Супостатка! у ворот  
Во всю головушку орет.  
Не ори, в е р т и г о л о в а я,—  
Никто не отобьет (2499).

Мы с товарочкой тропиночку  
Т р о п и л и з а о д н о,  
Она т р о п и л а и з - з а д р о л е ч к и,  
А я и з - з а к о г о ? (3023).

На гулянку не явился  
Мой большенный о с л о у х,—  
Взял большенную дубину,  
По избе гоняет мух! (8016).

<sup>1</sup> То есть соперница (в ряде других текстов — «лиходеечка», «конкуреночка», «свояничка» и т. д.).

Как тут не вспомнить некрасовских строк о сильном и метком крестьянском слове, «какого не придумаешь, хоть проглоти перо!». Сколь бесцветными и пресными выглядят рядом с подобными живыми созданиями народного языка, народной поэзии те стерильно-«правильные» сочинения «в жанре народной частушки», конми заполнялись прежние иллюстративные сборники!

Можно было еще много говорить о талантливости народных частушек, о том, какие богатства поэзии вобрал в себя ленинградский сборник, но довольно и этого. Интересованного читателя отошлем ко вступительной статье Ал. Горелова, где выразительные возможности и поэтический строй частушки получили весьма разностороннюю, убедительную и тонкую характеристику, а также к специальным исследованиям в этой области. Сами же коснемся теперь другой, не менее важной стороны рассматриваемой книги — жизненного, социально-бытового содержания включенных в нее частушечных текстов.

## 6

Мысль о том, что частушку можно рассматривать как материал для изучения народной жизни, высказывал еще Глеб Успенский, присутствовавший, так сказать, при самом ее зарождении. «Собрав эти «частушки» с такою же тщательностью, как собираются статистические сведения обо всяких мелких подробностях хозяйства в крестьянском дворе, можно было бы,— замечал он,— иметь поучительный материал о широте духовной народной жизни»<sup>1</sup>. И в дальнейшем мысль о большом жизнепознавательном значении частушек не раз звучала в устах фольклористов самых различных направлений, вдохновляя их собирательскую и издательскую деятельность. Ведь и те иллюстративные сборники, о которых говорилось выше,— они тоже предлагались читателю не иначе, как в качестве непосредственного выражения чувств и мнений самих народных масс, объективного свидетельства о состоянии народной души. Неосновательность этой претензии сегодня вполне ясна, но этим никак не отменяется возможность использовать сборник часту-

<sup>1</sup> Г. И. Успенский. Новые народные песни (Из деревенских заметок). Полное собрание сочинений, т. 12. Издательство Академии наук СССР. М. 1953, стр. 46.

шек, правильно, научно составленный, для социологического анализа современной деревни. Сборник Пушкинского дома впервые за долгое время дает такую возможность, причем даже более широкую, нежели лучшие из дореволюционных и советских изданий подобного типа.

Правда, тут кое в чем необходимо сразу же оговориться.

Подходя к частушечному сборнику как к источнику народоведения, нужно полностью отдавать себе отчет в том, что в этом смысле может и чего не может он дать.

Во-первых, надо учитывать тот простой факт, что частушка, эта крошечная четырехстрочная песенка, как бы ни была она лаконична, плохо приспособлена к тому, чтобы нести слишком большое количество информации. Во-вторых, это песенка по преимуществу деревенская, крестьянская, почти не затрагивающая жизни большинства других общественных слоев и групп. В-третьих, это песенка почти исключительно молодежная; частушки, сложенные людьми старших возрастов, не составляют, наверно, и десятой доли «частушечного репертуара» деревни. Нет нужды доказывать, что это обстоятельство сильно сужает круг чувств, переживаний, мыслей, интересов, жизненных фактов, опыта и т. д., выражаемых в частушке. Более того: это песенка даже не просто молодежная, но в основном девичья. Частушек, которые поются парнями, сравнительно немного. К тому же частушки парней и до сих пор в какой-то своей части «хулиганские», то есть или похабные, или же связанные с такими «пережиточными» явлениями, как пьянство, драки, божовщина. Первые по понятным причинам совсем не попадают в частушечные публикации, вторые попадают лишь изредка.

Далее, в-четвертых, народная частушка — это песенка в огромной массе случаев интимно-лирическая. Главная ее тема — отношения между девушкой и парнем, реже — отношения внутри семьи. Вопреки распространенным в свое время утверждениям<sup>1</sup>, частушки на общественные темы, хоть и не столь редки, как в дооктябрьские времена,

<sup>1</sup> «Если в имеющихся у нас записях старых частушек — писала, например, И. В. Карнаухова, — общественно-политическая частушка играла сравнительно с любовной ничтожную роль, то сейчас они заняли равное положение» («Частушки колхозной деревни». Л. 1937, стр. 12). Это была заведомая неправда.

тем не менее и в наши дни не составляют большинства. По справедливому замечанию Ал. Горелова, социальное выражается в частушке не столько прямо, сколько косвенно, «просвечивая сквозь индивидуальное». Поэтому некоторые стороны колхозной жизни никак не отразились в частушках, другие запечатлены очень неравномерно. Это, повторяем, определено именно естественными границами и особенностями жанра, интимно-лирического в первую очередь. Наконец, в-пятых, далеко не каждая частушка позволяет понимать ее буквально; эмпирическая конкретность, фактографичность частушечного высказывания обычно сочетается в ней с теми или другими формами поэтической условности.

Кроме таких внутренних, можно сказать — жанровых, ограничителей познавательного значения частушки приходится иметь в виду и такое внешнее, но не менее важное обстоятельство, как неполнота, случайность и относительная малочисленность всех имеющихся записей (а тем более публикаций) по сравнению с теми мифическими частушками, которые постоянно и повсеместно рождаются и исчезают<sup>1</sup> в современной русской деревне. Дело осложняется еще и тем, что в один ряд с частушками, находящимися в живом, активном употреблении, фольклористы нередко без всяких оговорок помещают тексты, которые по их просьбе приписываются людьми старшего поколения, — такой способ записи сильно затрудняет исторический анализ содержания частушек.

Переоценивать народоведческое значение частушки, таким образом, не следует. И все-таки это значение очень велико. При всех сделанных нами оговорках, можно смело сказать, что с частушкой в этом смысле не конкурирует никакой другой из жанров русского фольклора, как традиционного, так и современного.

Сила частушек — в их количестве. Когда у нас в руках десяток частушек, они значат

<sup>1</sup> Принято думать, что забвению подвергаются лишь малосодержательные и художественно слабые тексты. Эта точка зрения, тем более столь категорически высказанная, не кажется убедительной. Практика бытования частушек такова, что забывается и не доходит до печати, конечно, большинство всяких — и талантливых и неталантливых — частушек; последние, может быть, в среднем, несколько чаще и раньше, чем первые, — только и всего.

немного: это десяток разрозненных штришков и фактиков, ничего или почти ничего не доказывающих. Но когда их, скажем, сотня, становится уже возможным как-то сгруппировать их по темам, по настроению и т. д. Тысяча, две, три тысячи настоящих народных частушек — это уже довольно солидный народоведческий материал, позволяющий с большой степенью обоснованности судить о тех или иных явлениях и тенденциях деревенской жизни. Представительность, репрезентативность подобного собрания оказывается сравнительно высокой. Что же сказать о книге Пушкинского дома, в которой, как мы помним, помещено свыше восьми тысяч добротных текстов? Едва ли найдется сегодня какая-либо другая книга (и не только в фольклористике), которая давала бы читателю столь же обширный и безупречный в своей достоверности народоведческий материал.

Возьмем для примера и перелистаем хотя бы те разделы ленинградского сборника, где помещены частушки, записанные в первые десять—двенадцать лет после революции.

Они переносят читателя в доколхозную пору, в недра стародеревенского уклада. Мы погружаемся в быт, в ежедневное течение жизни крестьянской молодежи северных и северо-западных областей (тогда еще называвшихся по-старому — губерниями). Днем работа в поле или по дому, а вечерами в какой-нибудь избе собираются «посиделки», «вечеринка», «беседа» — одно из основных мест исполнения (и самого действия) частушек.

Включенные в книгу записи позволяют весьма живо представить себе обстановку «беседы». Горит керосиновая лампа. Вдоль стен стоят лавки, на них садятся девушки («Мне досталось местечко — у шестка скамеечка» — 52), обычно с работой. К ним подсаживаются парни — рядом или прямо на колени. Приходят подчас и молодые женатые мужики, но их здесь не жалуют и весело гонят прочь:

Уходите, жоначи,  
Постеля дожидается.  
А мы рады — на радё:  
Угол опростается (170).

Народу в самом деле хватает и без них:

Что у нас на вечеринке  
Весело-превесело:  
Кавалеров у нас много,  
Девушек — до лешего (188).

Девушки работают — прядут или вышивают. Однако в присутствии парней их работа идет не слишком успешно. «Кавалера» порой приходится унимать:

На палец нитки не мотай —  
Это не катушка.  
Больше меня не целуй:  
Я ведь не игрушка! (1892).

Но, с другой стороны, всем понятно, что работа на «беседе» — отнюдь не самое главное. «Беседа» — это вид любовной игры, поэтому ни девушке, ни парню совсем не безразлично, с кем они будут «сидеть»:

Не любой сидит у прялочки,  
Любой пошел домой.  
Покатились горючие  
По кофте голубой (1886).

На «беседе» выясняются отношения, тут ссорятся и мирятся:

Не садись, хороший, рядом  
С выговорами ко мне!  
Супостатка через девушку,  
Садись подле неё (5683).

Молодые люди обмениваются здесь подарками — мотив, повторяющийся в десятках частушек этого периода, причем девушка дарит парню чаще всего платок или кисет, вышитый ею, парень же в свою очередь приносит ей «гостинцы» — угощает конфетами или пряниками. Эти гостинцы и подарки нередко составляют предмет веселого торга между «беседниками», взаимных угворов, упреков, насмешек, маленьких хитростей:

Перестань, дроля, сидить,  
Перестань и говорить:  
Много требуешь подарков,  
Где — у лешого — дарить! (79).

Я сидела на обман,  
Руку сунула в карман,  
Все гостинцы обрала,  
Ротозем назвала (1909).

Дорогого моего  
Ломало и ковернало.  
Его ломало за платок,  
Ковернало за зеркало (5740).

Но, конечно, «сидят» здесь не только «на обман»: на «беседе»-то чаще всего и завязываются узелки будущих брачных связей. Частушка говорит об этом со свойственной ей простодушной откровенностью и многообразием оттенков:

Я по бережку хожу,  
По самому навесу.

Не для замужняца сижу,  
Сижу для антиресу (65).

Дроля, то — либо иное,  
Ли приканчивай дела;  
Не сижу без антиресу.  
Вай: противна, ли мила? (116).

«Беседа» — принятый, «законный» способ ухаживания; за нею, если девушка согласна, должно последовать сватовство, также по всей форме:

На беседушке сиди,  
На улке не захватывай!  
Своим умом взамуж иду,  
У батюшки высватывай (186).

И вот сваты едут! Едут не как-нибудь: «кразукрашены саночки» (3910). «сбруя светла, конь гнедой» (143); едут — даже в том случае, если невеста живет в той же деревне и можно легко прийти пешком.

Сваты едут, сваты едут  
Прямо ко крылечку.  
Мама топнула ногой:  
— Да зажигайте свечку! (2159).

В избе поднимается суматоха, но в конце концов все будет сделано «по обычаю», «как следует», «не хуже, чем у людей»...

В частушечных записях двадцатых годов нашли чрезвычайно широкое отражение все детали и этапы сложного стародеревенского свадебного обряда: обручение, смотрины, обсуждение приданого, венчание, наконец сама свадьба. Вместе с тем в них запечатлены и многие другие устойчивые черты быта тогдашней деревенской молодежи:

С наряженыма ходила  
Под скатеркой биленькой.  
Посмеялся надо мной  
Принародно миленькой (97).

Милый на ногу ступает,  
Ума-разума пытается.  
Ничего, что молода,  
У мян не выпытать ума (1997).

До чего обидно нам:  
Наперед не ходят к нам.  
Все деревни обойдут,  
К нам досиживать идут (2105).

Скоро, девки, масленица,—  
Кто нас покатает?  
У дроли новы саночки:  
«Садитесь, таличаночки!» (5710).

Число подобных текстов было бы легко умножить, но и тех, что были приведены, наверное, достаточно, чтобы у читателя возникло то впечатление, которое остается едва ли не самым сильным при чтении разделов

сборника, занятых записями доколхозных лет: впечатление уклада жизни. На страницах книги — вся деревенская жизнь того времени: плотная, осязаемая, со всех сторон и в каждой своей мелочи освоенная и обжитая, обросшая привычками и обычаями. Во всем, что ее составляет, — какая-то тягеловатая, но неоспоримая убедительность. Здесь есть, как будет показано ниже, свои противоречия, весьма глубокие и острые, но здесь нет ничего искусственного, выдуманного, случайного: все органически вырастает из того общего корня, каким является само жизненное положение крестьянина, экономическая сущность его хозяйства, решающие особенности земледельческого труда.

Записи двадцатых годов дают хорошую возможность проследить всестороннюю связь с этим корнем всего внешнего и внутреннего облика старой деревни, делают осязаемым самый механизм такой связи.

В том натуральном или голунатуральном хозяйстве, каким по большей части было тогда хозяйство крестьянина-единоличника, труд на земле был прямой и очевидной основой его существования. Если оставить в стороне факт найма рабочей силы, кстати сильно сократившегося в деревне после революции, то можно сказать, что это была работа непосредственно на себя: посеянный и убранный крестьянином хлеб весь ложился в его же закрома. От количества труда, вложенного им в землю, прямо зависело благосостояние его семьи. Земля и работа на ней сохраняли поэтому в глазах крестьянина свой изначальный жизненный смысл. Революция, которая уже своим первым декретом отдала крестьянству всю землю и освободила его от помещичьей эксплуатации, не разрушила, а, наоборот, можно думать, обновила и укрепила в нем чувство хозяина, любовь к земле и уважение к своему труду. Нет ничего удивительного, что мотивы земледельческого труда особенно обильно представлены в частушечных текстах, записанных в двадцатые годы.

Такой мотив составляет, как правило, содержание первого, «вспомогательного» двустишия частушки, реже — всего текста в целом. Обычно это простое сообщение о той или иной работе сельскохозяйственного цикла: «У новой байны лен броснула» (3), «Я ходила и окашивала кустик у реки» (49), «Милой паше и орае землж дерноватую» (83), «За овином боронила, карька за повод водила» (2113); «Молотить не моло-

тили, только копны почали» (5158), «Поразросся куст малины — я ходила связывать» (5536), «Жала девушка овес, в снопочки вязала. Идет милаша по межи, кричит: «Снопочки завяжи!» (5406) и т. п. В ряде других частушек не просто названа какая-либо трудовая операция, но так или иначе выражен связанный с нею многовековой крестьянский опыт: «Котора елка суковата — на топор тяжелая» (1893), «Вы не пойте холодянкой карюшка усталого» (3838), «Не коская, не резкая травка заовинная» (5584) и другие.

Немало в записях первого советского десятилетия и таких частушек, в которых отношение молодого крестьянина к земле предстает как живое, интимное чувство. С отрадой смотрит он на свое поле, любит и гордится им, радуется хорошему урожаю: «Наше полюшко красиво, в поле травушка густа» (15), «Наше поле шире, доле, рожь поколосистее» (1910), «В нашем полюшке овес от ветру кулыбається» (2211), «У кого какая рожь? У меня ядреная!» (6733) и т. д. И без того сильная, «власть земли» над человеческой душой особенно остро и больно обнаруживалась в момент разлуки:

Вы прощайте, поженки,  
Все пути-дороженьки.  
Поженки не кашивать,  
Дороженькам не хаживать (2256).

Не последне ли я лето,  
Не последний ли я раз  
Распахал во поле пашенку.  
Родители, для вас? (3845).

Эта любовь к земле и крестьянскому труду, это чувство хозяина принадлежат, без сомнения, к числу самых основных и определяющих черт в социальной психологии деревни. И это чувства естественные, здоровые, без них невозможно хозяйствовать сколько-нибудь успешно, без них, попросту говоря, нет крестьянина, а есть в лучшем случае добросовестный, исполнительный, «материально заинтересованный» и т. п. «работник сельского хозяйства»...

С глубинными основами крестьянского существования связаны были в доколхозной деревне и формы семьи, многие стороны и семейных отношений. Обычно это была большая семья, в которой согласно поговорке семеро по лавкам.

Батька баенку построил —  
Косяки еловые.  
Матна деток наносила —  
Все белоголовые (2183).

В семье царит, как правило, строгая дисциплина; власть родителей над детьми, в том числе и взрослыми, весьма велика. Жалобы на эту родительскую строгость — один из постоянных мотивов тогдашней частушки:

Я сегодня при обиде.  
При большой досадушке:  
На беседу не спустили,  
Не дали лошадушки (2089).

Поживите-ка, подружки,  
У моего-то тяти:  
Попросилась на беседки —  
Послал на полати (5283).

Отец — глава семьи. Семью и всех ее членов знают и именуют обычно по отцу: если он Петр, то и детей, назависимо от фамилии, зовут Петровы, если Василий — Васильевы. Видимо, по той же причине девушка в те времена нередко называла своего милого по отчеству (впоследствии эта форма в общении молодых людей становится все менее употребительной):

Задушевная и милая  
Товарочка моя,  
Люби Ивановича дрюлю,  
Николаевича — я (21).

Особое положение отца в семье, конечно, не случайно. Он — основной работник, выполняющий в поле и по дому самые важные, самые тяжелые работы; он — главный кормилец. Если отец умирает, семье может грозить бедность.

...Хорошо ли тебе, тятенька,  
В сырой земле лежать?  
Без тебя, родимый тятенька,  
Не будут наряжать! (5225).

Неся на себе обязанности основного работника, отец (а если его нет, то мать или старший сын), естественно, выступает и как распорядитель хозяйства, организатор производства в рамках семейного трудового коллектива. Взаимоотношения его с детьми приобретают при этом подчас характер прямо-таки «производственных отношений»:

Попросила я у тятеньки  
Пяти рублей на шаль.  
«Поработай, дочка, лето —  
Двадцати пяти не жаль!» (6608).

Отсюда, из этого естественно сложившегося разделения труда, как раз и происходит власть отца (и вообще родителей) в крестьянской семье, простирающаяся решительно на все стороны ее жизни, закреплённая и освященная многовековой традицией.

Едва ли не главное приложение родительской власти — брак детей. Женят и выдают замуж родители, им тут принадлежит решающее слово:

Дорогой, не свагайся,  
 Нам с тобой не сладиться:  
 Ваша мать не хочет брать,  
 Моя не хочет отдавать (3839).

Соображения родителей, как правило, чисто деловые: породнившись с зажиточной семьей, упрочить состояние собственного хозяйства, освободиться от лишнего «рта», взять в дом работницу:

Меня, молодца, женили  
 По большой неволюшке  
 Стало некому работать  
 Во широком полюшке (2184).

Эта «неволюшка» вызывает, конечно, протест молодежи, все более усиливающийся по мере пробуждения в крестьянине чувства личности. На пути хозяйственных соображений то и дело оказывается любовь. Несовпадение «делового» родительского выбора с тем выбором, который уже сделали либо хотели бы сделать сын или дочь, порождает конфликт, запечатленный во множестве частушечных текстов:

Дроля милой, дроля милой,  
 Не жените дролю силой.  
 Дайте годичек ему —  
 Невесту выбрать самому (221).

У милашечки на задворке  
 Талешенька земля.  
 Взял бы, взял бы тебя замуж —  
 Не позволила семья (1865).

За каждой из этих и многих других подобных частушек — чьи-то горькие слезы, чья-то несчастная судьба. Однако если мы хотим оценить институт патриархально-крестьянского брака с научной объективностью, мы должны вспомнить, что в основе такого брака лежала не чья-то злая выдумка, не самодурство корыстных стариков, а жизненная необходимость: он сложился в той тяжелой борьбе за существование, которую русскому крестьянину пришлось вести в течение столетий, и представлял собой закономерный и необходимый элемент в системе хозяйственно-бытового уклада старой деревни. Это во-первых. А во-вторых, не следует преувеличивать оппозицию этому браку со стороны крестьянской молодежи — даже в двадцатые годы, когда она уже имела все советские права. Жалуюсь на тот или иной конкрет-

ный случай произвола, иногда даже дерзко протестуя, автор частушки редко выступает против родительского права вообще. В то же время в книге, составленной З. И. Власовой и А. А. Гореловым, мы находим и тексты, доказывающие силу патриархальных понятий в сознании определенной части тогдашней деревенской молодежи. Вот как говорит она порой о свободе, о праве собственного выбора:

Спасибо, татенька и маменька,  
 Меня поберегли.  
 Большую волю не пустили —  
 Молодой не выдали (1820).

Встречается даже такая просьба:

Я молоденькая девушка —  
 Молоденький умок.  
 Подержи, родимый батюшка,  
 Во строгости годок! (3837).

Эта привычка к «строгости», привычка беспрекословно повиноваться некоей внешней силе, воспитанная в русском крестьянине патриархальным укладом и веками крепостного права, была поколеблена, но не устранена революцией. Она продолжала сказываться и в наше время, и не только в сфере семейных отношений, — факт, неоднократно засвидетельствованный нашей литературой.

Наряду с частушками, говорящими о решимости девушки уйти из родительского дома «самоходочкой», не раз повторяется и мотив противоположный:

Самоходной уговаривал —  
 Была бы я за им.  
 Бесчестья этого не сделаю  
 Родителям своим (2141).

Самоходкою уйти  
 Я не согласилась:  
 По деревне с узелком  
 Идти постыдилася (5793).

Тема «стыда», «бесчестья», недоброй «славушки» довольно часто появляется в доколхозных частушках. Однако, как показывают сами тексты такого содержания, дело тут вовсе не в каком-то особом падении нравов — во всяком случае на современный взгляд. Скорее напротив: эти тексты говорят о том, сколь требовательным и непререкаемым было общественное мнение деревни, сколь разветвленным и твердым — ее неписанный нравственный кодекс:

У меня батюшко такой —  
 Не любит славы никакой.

Чуть маленько веселенько:  
— Ты ступай, дочка, домой! (147).

Во своей деревне было,  
Было униженьице.  
Раньше хаяли меня,  
Теперь — уваженьице! (5585).

Включенные в книгу записи двадцатых годов позволяют составить некоторое представление и о самом содержании этого «кодекса», о том, за что же, собственно, уважали и за что не уважали человека в тогдашней деревне. Наиболее показательна в этом смысле сатирическая частушечная галерея, записанная в 1917—1922 годах в деревне Конашёвская Тарногского района Вологодской области. Высмеиваются девушки нескольких окрестных деревень. Приводим отсюда тексты, заключающие в себе именно нравственные оценки:

Как черниченски девицы  
Вышивать не мастерицы,  
Ихня пряжа на мешки,  
К ним не едут женихи (3810).

Как демидовски девицы  
Бога сбросили с божницы.  
Это бога-то — ничто,  
Так богородицу за что? (3811).

Уж как тюпрянки стряпухи —  
В пирогах частенько мухи,  
Голикам в печи метут,  
Неудачи все пекут (3814).

Пятовлянки-то форсисты,  
Одеваться любят чисто,  
По-«масковски гаварят»,  
Приманили всех ребят (3815).

Подкняцинские девахи —  
Настоящие неряхи:  
В избах сор не убирают,  
Через год белье стирают (3817).

Бойки девки буковлянки,  
Им дались одни гулянки,  
Не пахать, не боронить,  
Ребят в соломе хоронить (3818).

Отметим здесь прежде всего критику излишней «бойкости» — как в отношениях с богом (3811), так и с «ребятами» (3818). Это мотив, характерный для старой русской деревни, нередко предпочитавшей смелости, вольнодумству и озорству — верность обычаям, тишину и скромность. Впрочем, тут же следует заметить, что не менее характерен, особенно для «мужских» частушек, и мотив противоположный. Во всяком случае если «бойкость» порой осуждалась, то не любили в деревне и «недотеп»:

Дроля долгой, мотоватой —  
Только веники ломать,—  
На беседушку спроводил,  
Не сумел поцеловать (256).

Знаменательны и другие мишени частушечных обличений: неряшество — с одной стороны (3814, 3817), «форс», то есть бахвальство и щегольство, — с другой (3815): Что касается последнего, то особенно неодобрительное отношение вызвало соединение щегольства с бесхозяйственностью:

Папа курит папиросы —  
Ребятишки ходят босы.  
Самоваришко кипит —  
Мама с торбочкой катйт! (5822).

На дворе одна корова —  
И галоши на ногах.  
До покрова только хлеба —  
А тальяночка в руках (5830).

Легко заметить, что критерии, на которых в вышеприведенном частушечном цикле строится большинство оценок, взяты из сферы труда. Равным образом осуждаются здесь два порока: лень («им дались одни гулянки», «в избах сор не убирают, через год белье стирают») и неумелость, неловкость в работе («ихня пряжа на мешки», «неудачи все пекут»). Обе эти темы встречаются и в ряде других тогдашних записей. Вот, к примеру, две частушки про шитье:

Шила милому кисет —  
Вышла рукавица.  
Мне мой миленький сказал:  
«Шить не мастерица» (1889).

Про меня товарка судит,  
А сама-то какова:  
Две недели пришивала  
К белой кофте рукава! (5606).

Трудовая основа нравственного кодекса деревни обнаруживается тут с большой очевидностью. В нем, как и во всем том хозяйственно-бытовом укладе, в недрах которого он постепенно складывался на протяжении длительного времени, все было жизненно и «непридуманно», органически взаимосвязано и цельно.

«Цельно», разумеется, отнюдь не в смысле некоей внутренней гармонии. Частушки, записанные в двадцатые годы, дают довольно точное представление о разнообразных противоречиях в жизни доколхозной деревни, о многих темных ее сторонах.

Взять хотя бы только область социально-имущественных отношений. Крестьян-



ская девушка тех лет хорошо ориентирована в этой области:

Полюбила, да и скаялася:  
Много братовой;  
Тебе не то что, дроля, дому,—  
Не достанется дверей! (5468).

Точно и конкретно фиксирует частушка имущественное неравенство в деревне:

Все хороши при галошах,  
А форсисты при часах.  
Мой от милой пришарашился  
В подшитых сапогах! (5210).

Сплошь и рядом это неравенство разделяет и самих влюбленных. Переноса социальный конфликт в свою заветную вотчину — в сферу отношений между девушкой и парнем,— частушка не ослабляет его остроты. Напротив, в этой сфере он становится особенно напряженным, а денежный расчет кажется особенно грубым:

Что к товару приценяться.  
Нам которого не брать!  
Что за этаким гоняться.  
За которым не бываты! (5597).

Пойдемте, девки, по домам,  
Кавалеры не по нам:  
Богатые да не тые.  
Бедняков не надо нам (2083).

За богатыми часто «гоняются», им позволяют то, чего не простят бедняку:

Я не дам тому смеяться,  
Кто дешевле (!) меня:  
Одна серая рубаха,  
Нету смены никогда! (1883).

У миленочка калоши,  
А мене не нашивать.  
Побогатее меня —  
Придется поухаживать (2213).

Бедняку же приходится терпеть унижения, обидные насмешки. «Сидеть» с ним можно лишь по ошибке или «для смеху»:

Я сидела с им за шутку,  
Разговаривала — смех!  
Четыре брата — одна шляпа.  
Перекидывай на всех (258).

Вечерочек посидела,  
Думала, что генерал.  
Утром рано посмогрела —  
Он коровушек погнал (5394).

Эти и подобные им тексты производят на современного читателя почти столь же невыгодное впечатление об их авторах, о нравах и понятиях доколхозной русской дерев-

ни вообще<sup>1</sup>, как и некоторые «самодеятельные» частушки из прежних сборников. Но если там мы явно имели дело с унылыми творениями бюрократической музы, то здесь перед нами тексты, в подлинности которых усомниться невозможно.

Правда, рядом с ними есть достаточно много частушек противоположного содержания, говорящих о бескорыстии, великодушии, о том, что любовь оказывается сильнее материальных расчетов. Скажем, такая:

Маменька, отдай, отдай,  
Приданое налаживай!  
Дом худой, мужик любой —  
Отдай, не разговаривай! (1862).

Но подобные частушки не отменяют, не опровергают выписанных выше. Те и другие существуют бок о бок, доказывая лишь то, что к народной жизни и народному характеру, как, впрочем, и ко всякому иному сложному жизненному явлению, неприложимы (вернее — приложимы, но всегда недостаточны) какие бы то ни было однозначные оценки.

Приходит в голову и такое соображение: а может быть, все эти неприятные, корыстные мотивы в частушках, эти насмешки над беднотой и ухаживания за богатыми объясняются попросту тем, что в книгу попали тексты, сочиненные кулаками?

Такая возможность, вообще говоря, не исключена: авторы частушек по большей части неизвестны; что же касается содержания, то попробуйте по нему установить «социальное происхождение» хотя бы того текста, которым открывается сборник:

Я рябинушку ломала,  
Вешала на огород.  
Думала, любовь навеки,  
Вышло все наоборот (1).

Можно ли утверждать, что огород в этом случае был непременно беднячко-средняц-

<sup>1</sup> Указанное впечатление оставляет и ряд частушек, не относящихся прямо к сфере социальных отношений. Взять хотя бы такие «родственные» пожелания и надежды:

У колодца вода сохнет,  
У милого мамка сдохнет.  
Сдохнет лютая змея —  
Потом просватают меня (1900).

Кисни, кисни, кислый квас —  
У свекрови вырви глаз.  
Ты повыкисни, кислой,—  
У свекра вылопни другой! (2056).

кий? Или другая частушка на той же странице книги:

Я по дролечке ревела,  
Все таилася людей;  
Всю подушечку смочила,  
Сарафанчик до груди (12).

Разве не могли эти слезы девичьей любви, столь простодушно и сильно высказанной, пролиться и в кряжистом пятистенке богатого крестьянина? По-видимому, могли. Но если это так, то таких частушек в сборнике, наверное, довольно много.

Однако, с другой стороны, имеем ли мы право утверждать, что тот или иной текст, даже малопривлекательный для нас по выраженным в нем социальным чувствам, есть текст непременно кулацкий? Очевидно, нет, достаточно вспомнить справедливое замечание Ленина о том, что в каждом крестьянине живут одновременно «две души»: душа труженика и душа собственника. И если мы говорим о чувстве хозяина, которое заставляло крестьянина-единоличника старательно и любовно трудиться на своем поле, то нельзя забывать и о том, что в жизни к этому здоровому, доброму чувству нередко примешивался больший или меньший элемент собственнического эгоизма, зависти, жадности и злобы — свойств и качеств, которые столь же неизбежно вытекают из самой природы единоличного хозяйствования. В той же самой мере, в какой частушка «Я по дролечке ревела...» выражает чувства и переживания общечеловеческие, заявления вроде: «Бедняков не надо нам» — несут в себе некоторые широко распространенные в доколхозной деревне понятия и оценки. И очень хорошо, что З. И. Власова и А. А. Горелов, отбирая материал для своей публикации, не пытались разделить неразделимое, не ставили перед собой надуманных вульгарно-социологических проблем.

Что же касается действительно кулацких частушек, то есть той части текстов, сложенных в упомянутом пятистенке, которая выразила именно особенности мировоззрения и общественно-политической позиции кулачества, то таких частушек, «частично известных из публикаций 20-х годов и произведений советских писателей», в сборнике нет<sup>1</sup>. И можно добавить: жаль, что

нет. Ведь кулацкие частушки — это тоже какая-то грань доколхозного фольклора и какое-то историческое свидетельство, пусть из лагеря, нам враждебного. Сегодня, через три с половиной десятилетия после ликвидации кулачества, когда эти частушки давно утратили всякую политическую актуальность и действенность, нет решительно никакого резона оставлять их за бортом таких научных, академических публикаций, как сборник Пушкинского дома.

Частушка первых лет Октября многосторонне отразила революционную новь. В ней нашел отзвук грохот падающих тронов:

Царь Николашка —  
Вверх батарашки,  
Вниз головой —  
С престола долой! (5160).

По Германии проклятой  
Революция прошла.  
Убежал Вильгельм жестокий  
На голладские края (2281).—

и две войны, из которых одна едва успела закончиться, как началась другая: «Шестой годичек воюют наши ягодиночки» (5313); Частушка поет о возвращении измученного войной солдата:

Ой, не мой ли ягодиночка,  
Не мой ли дорогой —  
Эполетники оторваны —  
Совсем идет домой? (5388) —

и о дезертирах, которые скрываются по лесам:

Дезертир перебегает  
Яровое полюшко.  
Красна Армия — в деревню.  
Дезертиру — горюшко (5861).

В числе персонажей тогдашней частушки мы встречаем и другие характерные для того времени лица: председатель комбеда, комиссар, балтийский матрос. Эти люди полны революционной энергии, иногда она даже бьет через край:

Ничего, что голы, босы,  
Зато балтийские матросы.  
Кто наступит на носки,  
Того разрежем на куски! (6703).

Много частушек о коммунистах и комсомольцах, и среди них — такие, которые с несомненностью свидетельствуют о том, что

<sup>1</sup> А. Л. Горелов. Русская частушка в записях советского времени, стр. 7—8. В качестве примера частушечной публикации, которая включала текст, родившийся на

противоположных полюсах социального конфликта, назовем «Современную частушку» Д. Семеновского («Красная новь». № 1, 1921).

звания члена партии и Союза молодежи пользовались в деревне двадцатых годов немалым уважением:

С неба звездонька упала  
С высоты на самый низ.  
Мой товарищ — агитатор,  
Я — партийный коммунист (5219).

Мне не надо серьги, бусы,  
Теперь девушка не та:  
Записалась в комсомолки,  
Беспартийным не чета (5420).

Правда, родители сердятся:

Меня любит комсомолец,  
Дома слушать не хотят.  
Тятя с мамой обожают  
Больше верущих ребят (5416).

Но молодежь тянется к новому, неизведанному, непохожему на то, что она привыкла видеть вокруг себя:

Деревенские не в моде —  
Нынче в моде писаря,  
Комсомольцы да приезжие,  
Еще учителя (2099).

Там чьи, чьи идут?  
Чьи-то незнакомцы.  
Брюки — клеш, галифе,  
Это комсомольцы! (5429).

С приезжающими из города комсомольцами в темноту деревни проникают лучи цивилизации, порой очень забавно преломляющиеся в частушке:

Не умела я читать,  
Милые родители,  
Да, спасибо, научили  
Новые правители (6723).

Еще жуковские девки  
Очень тилигентные:  
Умеют под руку гулять  
И по-культурному кашлѣть (5787).

Образуются новые этические понятия. Если раньше добродетелью считалось «тихое» поведение, послушание, скромность, то теперь в ход пошли активные, «бойкие» люди, и бойкость стала восприниматься как положительное качество:

Говорят, милаша боек,  
Буду бойкого любить.  
Нынче смирные не в моде,  
Не умеют говорить (5421).

Все эти новые явления и факты, новое направление молодых умов вызывает характерный для деревни двадцатых годов конфликт «отцов и детей». Неуважение к

«отцам», к их взглядам и законам становится порой даже предметом гордости и бравады:

Сами, сами комиссары,  
Сами председатели.  
Никого не почитаем —  
Ни отца, ни матери! (6702).

И в иных случаях родителям приходится уже примириться со своеволием детей:

За комсомол-то меня маменька  
Ругала и кляла.  
Отступилася родимая,  
Мне волюшку дала (5430).

Впрочем, частушки такого содержания в те годы еще сравнительно немногочисленны. Как ни сильны были новые веяния, процесс размыwania патриархальной деревни, ее быта и отношений к концу первого революционного десятилетия прошел еще не слишком далеко. Да он и не мог пройти особенно далеко, поскольку сохранялась экономическая основа старокрестьянского быта — хозяйственная система, базирующаяся на единоличном землепользовании и в известной мере даже укрепленная революцией (отмена помещичьего землевладения, осереднячение деревни). Как констатировала в своей резолюции XVI партийная конференция (апрель 1929 года), «мелкое хозяйство далеко еще не исчерпало и не скоро исчерпает имеющиеся у него возможности»<sup>1</sup>.

Однако не пройдет и года, как деревня — со всем своим хозяйственно-бытовым укладом, со всеми своими понятиями, обычаями, нравственными правилами — вступит в полосу грандиозной революционной ломки. Начнется новая история советской деревни — теперь уже общественной, колхозной. Появятся и новые частушки, где в своеобразном, свойственном этому жанру преломлении выразится многое из того, чем будет жить наш народ на протяжении последующих десятилетий, столь важных в его исторической судьбе.

Уже из рассмотренного примера, из анализа одного только периода пятидесятилетней истории советской частушки можно, таким образом, видеть, какой интересный и богатый материал для познания русской

<sup>1</sup> «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». изд. 7-е. часть II. Госполитиздат. М. 1954, стр. 579.

деревни дает добросовестно, по-научному составленная фольклорная публикация.

Но частушки, записанные в двадцатые годы, которыми мы воспользовались в качестве такого примера, составляют лишь небольшую часть из общего числа текстов, вошедших в сборник Пушкинского дома. Остальные, то есть значительное большинство, записаны в тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы. Эти несколько тысяч настоящих народных частушек многое могут рассказать о том новом, что принесла в деревню коллективизация, о тех социально-нравственных процессах, которые происходили и продолжают происходить в жизни советского крестьянства.

Взять хотя бы такую пару текстов, составляющих вместе как бы разговор девушки и парня:

Заиграла венка весело  
На тоненький мотив.  
Собирай, милаша, тряпочки.  
Поедем в коллектив! (3722)

Помилаша в коллективе,  
Приглашает и меня.  
Рада, рада бы, миленочек,  
Да воля не своя (3720).

Разве эти и подобные им частушки не являются объективным свидетельством того, что значительная часть деревенской молодежи встречала колхозную новь с живым интересом, оптимизмом и верой? Тот, кто интересуется этим периодом, найдет для себя в тогдашних частушках немало любопытного — вплоть даже и до такой, например, частушечной параллели к переживаниям Лушки и Тимофея Рваного из «Поднятой целины»:

Мы с товарочкой ходили  
Выселенцев провожать.  
Наши милые ревели —  
Не хотели уезжать (2371).

А частушки, родившиеся в тридцатые годы уже на почве колхозной жизни!

Нас узнать-то очень просто,  
Мы не хитрых манер.  
Из Хмелинушки-деревенки,  
Колхоза «Пионер» (2413).

Пятилеточке работаю,  
Работаю на ять.  
Кабы нам не пятилеточки —  
На курсах не бывать (285).

Говорят, что лесорубки,—  
Мы не лесорубочки!

Ну каки мы лесорубки —  
По колено юбочки! (471).

Хорошо бы лес возить,  
Тяжело наваливать.  
На навалке дроли нету —  
Не с кем разговаривать (453).

Ягодиночка-то мой  
На тракториста учится,  
Его бедная головушка  
Горазно мучится (3644).

Гляньте, бабы, веселее,  
Нынче не об чем скучать,  
За седьмого за ребенка  
Будем тыщи получать (2891).

Председатель золотой,  
Секретарь серебряный,  
Отпустите погулять,  
Сегодня день неведренный (3651).

Парни дрались, ругались  
С осени до осени.  
В комсомольцы записались —  
Хулиганить бросили (3695).

Можно ли сомневаться в том, как много способны дать для познания чувств, настроений и самих фактических обстоятельств жизни деревни первого колхозного десятилетия несколько сотен таких частушек?

Среди частушек, затрагивающих общественные темы, особенно большое место в книге занимают тексты, связанные с Великой Отечественной войной. И это естественно: пожалуй, ни одно событие нашей истории не было пережито всем народом и каждым советским человеком в отдельности столь глубоко и лично, как эта война. Многие частушки военного времени и сегодня невозможно читать без глубокого сердечного волнения.

У милого на груди  
Видно орден впереди,  
Да ноженька погублена.  
Как березка срублена (659).

Ягодиночка, из армии  
Пиши, пиши, пиши!  
Не жалея места бумаги —  
Пожалей моей души! (4191).

С оборонные работушки  
Не буду убежать.  
Дроля борется за родину.  
Я буду помогать (3202).

Неужели пуля злая  
Ягодиночку убьет?  
Пуля, влево, пуля, вправо.  
Пуля, сделай перелет! (7412).

Не запить мне своего горюшка  
Ни пивом, ни вином.

Не забыть своих сыночков  
Мне ни ночью, ни днем! (7405)<sup>1</sup>.

Ты, лядиночка, лядиночка,  
Волотная вода,  
В партизанах ягодиночка —  
И я пойду туда (588).

Партизаны, где вы были,  
Где вы находились?  
Немец деревню жег с народом —  
Вы не заступились! (7347).

Не дожидаться тех минут,  
Когда с Германии придут.  
Папирсочки засвистят,  
Тальянки запоют (1782).

И вот, наконец, великий праздник Победы:

Девушки, у нас веселье,  
На границе тишина.  
Сорок пятого, девятого  
Закончилась война (4189).

Война закончилась уже двадцать два года назад, и за это время наша деревня перевернула не одну важную страницу своей истории. Записи послевоенного периода составляют примерно треть объема всей книги — сколько там интересных, талантливых, социологически-содержательных текстов!

По-стахановски работа,  
По-стахановски еда,  
По-стахановски с ребятами  
Гуляли до утра! (3288).

Говорят, что не гуляю,—  
Удивительного нет:  
У нас всего четыре мальчика  
На целый сельсовет (4378).

Дроля, серенькую кепочку  
Когда оденете?  
Школу среднюю окончите,  
Куда поедете? (4897)<sup>2</sup>.

На беседушке невесело,  
Егорушка один.  
Давайте, девушки, Егорушку  
Под лавку закатим (4998).

Мой кудрина в Ленинграде  
Управляет ротою.  
Я, девчоночка, в колхозе  
На быках работаю (6910).

<sup>1</sup> В редакционном примечании сообщается, что у исполнителя этой частушки Л. Н. Потехина (семидесяти семи лет) в годы Великой Отечественной войны погибли два сына на фронте.

<sup>2</sup> В тридцатые годы та же частушка звучала в более скромном варианте:  
...Семилеточку окончили —  
Куда поедете? (2530).

Встань-ка, маменька, пораньше  
Посмотри на зорюшке:  
Дочь на тракторе вспахала  
Все колхозно полюшко! (7071).

Ягодиночке-то надо,  
Чтобы в шляпочке была,  
С редикульчиком ходила,  
Говорила все на «а» (1226).

Скоро, скоро я уеду,  
Скоро я смотаюсь,  
Заберу свои лохмотки,  
На Алтай отправлюсь (7547).

Нам кажется, что даже по этим немногим текстам, приведенным без особого выбора и системы, можно почувствовать, что те несколько тысяч настоящих колхозных частушек, которые вошли в сборник Пушкинского дома, представляют собой с точки зрения науки подлинное богатство. Социологу, этнографу, историку, литературоведу просто грех было бы им не воспользоваться.

С другой стороны, можно надеяться, что работа по научной публикации частушки будет продолжена и читатель в скором времени получит еще многие тысячи добротных текстов. Это тем более желательно, что «заданный объем» ленинградского сборника ограничил его состав частушками, записанными, как мы помним, только в северных и северо-западных областях европейской части Союза — факт, в известной мере локализирующий познавательное значение книги. Между тем, по сообщению Ал. Горелова, в том же архиве Пушкинского дома имеются записи и по ряду других областей. Среди них «необходимо в первую очередь назвать уникальную сибирскую коллекцию М. В. Красноженовой — около двух тысяч частушек Красноярского края (1889—1935 гг.)», а из послевоенных записей «куйбышевское собрание Егорова — около пяти тысяч номеров, бузулуцкое П. Завьяловского — более двух тысяч» и другие. Подобные собрания, порой весьма обширные, хранятся также и во многих других архивах. «Издание первого тома записей частушек советской эпохи... могло бы, — пишет Ал. Горелов, — положить начало систематическим публикациям частушек из архивохранилищ СССР». Это предложение хочется всячески поддержать.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**К. Рудницкий.** Пьесы и сценарии Александра Володина.— **И. Травкина.** Естественность прозы.— **А. Наркевич.** Поэзия науки.— **Ник. Смирнов.** Книга о Бунине.— **Л. Зонина.** Особые приметы.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Тихомиров.** Общество, управление, наука.— **Г. Водолазов.** Эстетическое наследие Грамши.— **В. Ерманов.** Уроки истории.— **А. Некрич.** Англия: между прошлым и будущим.— **Наталья Соколова.** Загадки сфинкса будут разгаданы.— **Ф. Светов.** Глазами «футуролога».

## Литература и искусство

### ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

**Александр Володин.** Для театра и кино. «Искусство». М. 1967. 310 стр.

Сценический дебют Александра Володина состоялся примерно десять лет назад— его первая пьеса, «Фабричная девчонка», была замечена Н. Погодиным и опубликована осенью 1956 года в журнале «Театр», а в 1957 году поставлена театрами многих городов страны. Изданный сейчас сборник пьес и сценариев Володина может, следовательно, рассматриваться как своего рода отчет писателя о работе за целое десятилетие. Если это действительно так, если Володин «подводит итоги» — пусть даже первые,— то в требовательности к себе и в самоограничении ему никак нельзя отказать. Легко понять, почему не включена в сборник сравнительно слабая пьеса «Пять дней», трудно понять, почему в составе книги нет «Фабричной девчонки», которая вызвала в свое время бурные и длительные споры, но пользовалась успехом. Еще труднее понять, почему остался за пределами сборника недавний сценарий «Звонят, откройте дверь!», успех которого был несомненным.

Тем не менее книга, которая впервые вводит давно уже известного драматурга теат-

ра и кинематографа в непосредственный контакт не со зрителем, а с читателем, дает достаточно полное представление об особенностях его творчества.

Читая подряд его пьесы и сценарии, еще раз убеждаешься в том, что взгляд Володина всегда падает на людей, как будто ничем особенно не примечательных, что постоянная задача его — искать и находить существенное там, где его не видно наблюдателю торопливому и невнимательному.

В ином хорошо налаженном и упорядоченном литературном «хозяйстве» какая-нибудь Тамара («Пять вечеров»), или Резаева Надя со своим дядей Уховым («Старшая сестра»), или некрасивая Настя («Происшествие, которого никто не заметил») могли бы в лучшем случае оказаться мало-заметными фигурами житейского фона. Такие персонажи согласно традиции могут, голпясь и сбиваясь в кучу, создавать окружение подлинным героям. Люди, затертые в театральных массовках, лица, мелькающие на кинематографических общих пла-

нах, — вот предмет настойчивого внимания Володина. Их обыкновенность predetermined очевидной скромностью их жизненных целей, внешней ординарностью их устремлений. Сперва кажется, что все их интересы замкнуты в пределах быта. Быт заводского общежития. Быт маленькой квартиры. Быт небольшого учреждения. Быт районной поликлиники. Такие вот миниатюрные мирки (из которых — постараемся об этом не забывать! — составляется большой мир нашей жизни) окружают володинских героев.

В критике странная склонность Володина к слишком уж обыкновенным людям вызвала поначалу множество недоразумений. Героиню «Фабричной девчонки» Женьку Шульженко (хотя бы Женей звалась, а нет — просто Женька!) Евгений Сурков охарактеризовал так: «Интересы ее узки, а кругозор беден, убог». Критик писал о «культурной отсталости Женьки, незрелости, даже примитивности ее умственных интересов». Надо думать, Александр Володин и сам прекрасно понимал, что Женька не годится в героини философской или хотя бы интеллектуальной драмы. Но в самой обыкновенной, заурядной фабричной девчонке, каких многие тысячи, он увидел незаурядные духовные силы, способность противостоять казенщине, формализму, «показухе». И Женька Шульженко завладела сценами многих театров именно потому, что стремление к правде, к естественности человеческих отношений, отвращение к суесловию стали повседневностью жизни.

Володинский герой и володинская героиня никогда не противостоят своей среде, своему кругу. Конфликты, возникающие в володинских пьесах, это классические конфликты «между своими». С частного разногласия начинаются — и трещинами расходятся по гладкой поверхности давно налаженных отношений — противоречия, которые вдруг, неожиданно-негаданно, становятся непримиримыми. Кто-то оказывается не способен на привычный, всеми многократно повторяемый и ему самому недавно еще прекрасно знакомый компромисс.

Володинские герои никогда не бросаются в бой против лжи и фальши из-за того только, что ложь и фальшь в принципе им противны и ненавистны. Нет, они терпят до поры, до времени. Но когда ложь и фальшь накатываются на них, мешают им жить, тогда они отбиваются.

Вот почему я не разделяю довольно распространенное мнение, будто володинские герои — чудаки, жаждущие перестроить мир по некоему своему, пусть даже неприменимому к реальности идеалу, что они — современные донкихоты, живущие согласно собственному оригинальному и особенному нравственному закону. Ничего чудаческого, донкихотского и оригинального я в них не нахожу. Люди, подобные володинским героям, встречаются нам везде: в метро и в трамвае, в любой очереди.

Вот живут в Ленинграде сестры Резаевы. Отношения сестер гармоничны, приближения драмы не видно. Правда, старшая, Надя, которая работает учетчицей на заводе, очень уж хочет, чтобы младшая, Лидия, стала знаменитой актрисой. Страстно этого хочет. Напористо этого добивается. И хотя именно Надя говорит: «Хорошо, когда человек умеет радоваться тому, что есть», хотя именно она утверждает: «Вечером, когда я ложусь спать, мне каждый раз немножко жалко: вот еще один день прошел, осталось на один день меньше...» — то есть дает ни много, ни мало формулу счастья, все же мы догадываемся, что она, Резаева Надя, несчастлива. Работа неинтересная. Любви нет. До такой степени нет, что — на манер горьковской Насти из «На дне» — Надя придумала себе роман. Только Настя в мечтах своих видела шикарного Рауля: «дрожит весь и — белый, как мел», с громадным револьвером в руке («заряжен десятью пулями»).

А Резаева Надя, скромная душа, нафантазировала любовь куда более прозаичного, женатого «товарища Огородникова из Стройуправления», и Огородников в самых дерзких видениях Нади всего только приглашал ее в Таллин, возил на машине и вошел в ресторан.

Во время приемных экзаменов в театральном вузе оказывается, что у Лиды актерского таланта нет. Тут же совершенно случайно выясняется, что Надя, которая хотела сделать актрисой сестру, — сама прирожденная актриса (вот откуда «реализм» ее выдуманного адюльтера!) и ей открыты пути к шумной славе.

Ну вот мы и добрались — вместе с автором — если не до настоящей драмы, то во всяком случае до происшествия. Выводы из случившегося могут быть разные. Володин насчитал таких выводов три. И все три с подкупающим простодушием предста-

вил нам в трех вариантах своего произведения.

Пьеса «Моя старшая сестра», которая шла в Большом драматическом театре в постановке Г. Товстоногова, была пьесой о неминуемом торжестве таланта, который рано или поздно прорвется, утвердится, победит. Надю Резаеву играла Т. Доронина. К концу спектакля она — в радостном блеске красоты, в обаянии расцветающей женственности, с обнаженными плечами, в роскошном платье пушкинской Лауры — повелительно говорила: «Слушай, Карлос! Я требую, чтоб улыбнулся ты!»

Все было очень красиво. победоносно, солнечно. Что касается младшей сестры, Лиды, то она. бесталанная, как-то незаметно оттеснялась на второй план. Автор небрежно и торопливо внушал зрителям: старшая тоже не сразу себя нашла, придет время — и жизнь младшей устроится самым распрекрасным образом...

Потом происшествие было истолковано по-иному, и пьеса Володина появилась в Москве на сцене театра «Современник» со слегка измененным названием: не «Моя старшая сестра», а просто «Старшая сестра», в постановке Б. Львова и в новой редакции. Финальная нарядная сцена, происходившая в театре, была отменена. Слова Лауры: «Я требую, чтоб улыбнулся ты!» — Надя произносила уже не со сцены, в сиянии славы и успеха, а просто в разговоре с сестрой. Фраза блистательно сыгранной роли стала всего лишь цитатой, трижды повторенной в разговоре. Тема актерского таланта, такая важная для постановки Товстоногова, гуд. в спектакле «Современника», в новой редакции пьесы, а главное, в трудном и горестном рисунке роли, который, словно полемизируя с Дорониной, предлагала Л. Толмачева, как бы отталкивалась. Ставилась не пьеса о таланте, но пьеса о доброте. Искусство — всего лишь искусство. Важнее искусство жить, творить добро.

В этом втором варианте пьесы оставался все же горестный вопросительный знак. Володин очень хотел его снять, а еще лучше бы — разгнать, превратить в знак радостного восклицания. Когда Надя трижды повторяла: «Я требую, чтоб улыбнулся ты!» — то она, в сущности, этим и занималась, разгибала вопросительный знак, снимала вопрос. Формально ей это удалось, Лида улыбнулась. «То-то ж!» — радостно

вскричала Надя под занавес. Но улыбнулась ли судьба ее сестре?

При всех изменениях драмы в ней сохранялась ситуация, когда старшая сестра и дядя заодно, вместе, твердо выступили против младшей, сломали ее волю, заставили Лиду поступить так, как оба они — дядя и Надя («обывательская уравновешенность» и «талант, ломающий все привычные нормы» согласно точным определениям Р. Беньяш) — считали правильным поступить.

У Лиды была любовь. Кирилл, которого Лида любила, ошарашивал дядю Ухова и даже Надю мальчишеской крайностью мнений. Потом, через два года, он увлек Лиду в лыжный поход «через тундру, через болото», сам ногу сломал и Лиду простудил. Возмущенные Надя и Ухов дружным, единым натиском выгнали Кирилла из дому. Надя по этому поводу объяснилась с сестрой.

«— Ты не сердись за Кирилла. Я думаю, так будет лучше.

— Может быть, лучше.

— И дядя так считает.

— Может быть, он прав.

— Плохого я тебе не хотела. Ты веришь?

— Я верю.

— Я хочу тебе голько счастья...»

Конечно, Надя хочет для Лиды счастья. Конечно, Володин понимает и дает нам почувствовать в коротких, печально падающих репликах Лиды ее, Лидину, боль. Но коварная фраза: «И дядя так считает» — в двух первых вариантах пьесы была незначительной, проходной, просто дополнительным аргументом. В третьем, окончательном варианте она стала ударной и решающей уликой против Нади. Она соединила Надю с Уховым цепью общей вины.

Когда Кирилла выгнали из дома Резаевых, он погоревал, потосковал, а потом женился. На Шуре, учительнице. А прошло еще какое-то время, и старая любовь к Лиде снова занялась, и они — Кирилл и Лида — оказались любовниками. Жена Кирилла об этом узнала. Скромная, несчастная женщина, она пришла ненароком к Резаевым, посидела недолго, все поняла и ушла. Что теперь делать? Надя, которая забыла уже свой выдуманный роман с товарищем Огородниковым, решает действовать твердо. «Больше, — говорит она сестре, — он сюда не придет». Он — это Кирилл, чужой муж, любовник. В своем праве решать — не



за себя, за Лиду — Надя не сомневается. Еще бы, она ведь старшая сестра.

Но происходит осечка. Именно в такой, казалось бы, всякому ясной ситуации (кто не знает, что жить с чужим мужем — нехорошо?) Лида вдруг яростно, дико, нелепо взбунтовалась. Вдруг воспротивилась благородной заботе старшей сестры, вдруг вознегодовала против героической готовности Нади разрубить те узлы, которые она же, Лида, непутевая и бесталанная, запутывает... Хуже того, Лида впервые дерзко соединила Ухова и Надю — «стихи и прозу, лед и пламень» — одной обобщающей и отвергающей фразой: «Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему».

Любопытно, однако, что в двух первых вариантах пьесы это многозначительное «по-вашему» проскальзывало мимоходом. Ибо дальше автор прилагал все усилия, чтобы примирить сестер и внушить зрителям: все будет хорошо. Старшая сестра, как известно, блистает в роли Лауры. У младшей сестры тоже дела идут на лад — личные по крайней мере: жена Кирилла «оказалась благородным человеком. Никаких сцен, никому ничего не сказала, взяла и уехала». Может быть, и свое призвание Лида тоже скоро сыщег. «Я требую, чтоб улыбнулся ты». Улыбнулась? Вот и финал!

В третьем варианте, опубликованном в сборнике, никакой Лауры нет и в помине. Никто не требует улыбки ни у Лиды, ни у зрителей. Вот как выглядит теперь концовка произведения:

«С коротким стоном, словно у нее подкопились ноги, Надя рухнула на кровать. Сжав виски, она качает головой и повторяет все одно:

— Что делать? Ну что делать? Ой, ну что же делать?..»

«Старшая сестра» в последнем ее варианте — не о таланте и не о доброте. А о том, что нельзя свои представления о жизни, свое понимание ее смысла и назначения навязывать силой никому. Даже сестре. Даже младшей. Даже из самых лучших побуждений. Иначе произойдет непоправимая беда.

Володин больше не обещает Лиде ни сверхъестественной кротости жены Кирилла, ни скорой свадьбы, ни производственных успехов. Он оставляет жизнь Лиды в том состоянии, которое — в конечном счете — явилось результатом неусыпной и деятельной заботы старшей сестры. Состояние

это может быть кратко обозначено одним словом: разруха.

В конце Надя повторяет на все лады свою крохотную роль в одну реплику: «Доброе слово и кошке приятно». Эта сентенция звучит с горькой иронией. Володин отказывается теперь от «добрых слов» и неуверенных обещаний. Обещано было, что обе сестры выйдут замуж, а теперь, в окончательном варианте произведения, младшей оставлена только краденая любовь, старшей никакой любви не дано.

Володину понадобилось немало времени, чтобы избавиться от напластований, которые закрывали истинный смысл происшествия, им самим рассказанного. Жажда гармонии у него была столь сильна, что дисгармония, скрытая в сюжете, не могла себя выразить. Воля драматурга сглаживала острые углы.

Стремление к просветленности для Володина глубоко органично, оптимистический прогноз скрывается в замысле всякой его вещи. И если он не сбывается, этот прогноз, если он не подтверждается непогрешимо правдивым саморазвитием выхваченной из жизни ситуации, тогда для Володина наступает мучительная пора переделок. Он переделывает неохотно. Но он все-таки переделывает. Это доказано судьбой «Старшей сестры».

Когда Володин начал работать для кино, перед ним неожиданно открылись новые возможности. Первое, что он сразу тут заметил и чем сразу же воспользовался, может быть сформулировано очень просто: он увидел, что в кино легко творить чудеса. Способность кинематографа создавать полнейшую иллюзию реальности, изображать жизнь без всяких театральных условностей, как говорится, «в формах самой жизни», Володин сразу же и без колебаний вывернул наизнанку. В его сценариях стали происходить события, невозможные в действительной жизни. Достоверность экранных изображений была подчинена фантастике.

В «Похождении зубного врача» молодой Сереза Чесноков может совершенно безболезненно удалять зубы. Никакой анестезии, никаких врачебных хитростей. Просто такой талант у человека: возьмет шипцы, сделает одно движение — и говорит больному: «Все». «А я и не почувствовал!» — удивляется больной. И с недоверием смотрит на зуб, зажатый в шипцах.

В «Проществии, которого никто не за-

метил» некрасивая девушка Настя в одно прекрасное утро просыпается красавицей.

А герой «Загадочного индуса» — просто фокусник. Чудеса, пусть мелкие, — его профессиональное занятие.

Прежде чем ответить на вполне резонный, естественно возникающий вопрос — зачем Володину все эти фокусы и чудеса понадобились и что он хочет сказать, когда освещает внезапным светом волшебства самую обыденную жизнь, — вспомним, что сюжет «Назначения», пока что последней вещи, написанной Володиным для театра, тоже, в сущности, начинается с чуда.

Чудо состоит в том, что начальником назначают А. Ю. Лямина. С тем же успехом можно было бы отдать начальственную должность, допустим, Женьке Шульженко или Наде Резаевой. С тем же успехом потому, что все они — как и Лямин — ни психологически, ни биографически, вообще никак не подготовлены к «назначению», к положению «начальства». Все это люди другого жизненного амплуа.

Чудо задумывается и ставится как эксперимент. А что, если?.. А что, если начальником будет Лямин, «в прошлом рядовой советский человек, каких тысячи»? Заглянем, кстати, в ляминскую «объективку»: коль скоро свершается назначение, она неизбежно должна быть составлена. «Скромный человек». «Такой простой». «Не спортсмен». По собственному его мнению, «не приспособлен к руководящей деятельности». По мнению сослуживцев, ему надо «развивать волевые качества». По мнению отца, — «безвольный человек». Главное же — и это показано во многих вполне конкретных случаях, — «склонен к уступкам».

А теперь подумайте сами — вот к вам на стол ложится такая характеристика. Риснете вы назначить этого скромного, простого, безвольного, склонного к уступкам человека начальником ну хоть небольшого учреждения? Начальником на д л ю д ь м и? Отдадите во власть ему дело и судьбы человеческие?

Согласитесь по крайней мере, что вопрос этот не прост. Но Володин, который устраивает Лямину назначение вопреки всякой житейской логике и вопреки общепринятым нормам («В жизни так не бывает!» — действительно не бывает), знает о Ляmine нечто, не выразимое языком бюрократических ведомственных «объективов»: Лямин — честный, душевный, сердечный человек.

Как Чесноков, зубной врач, способный творить чудеса. Как внезапно похорошевшая Настя. Как фокусник Виктор Васильевич.

Чудеса происходят только с хорошими людьми. Несимпатичным Володину людям нет входа в сферу волшебных превращений и фантастических возможностей.

Условность «чуда» в драматургии Володина — способ показать нечто гораздо более чудесное, нежели умение рвать зубы без боли или возможность неожиданно похорошеть или столь же неожиданно возглавить учреждение. Все силы волшебной условности внезапных метаморфоз и неожиданных назначений служат одной цели: раскрытию огромных духовных ценностей внешне заурядного человека.

Когда с володинским персонажем совершается чудо, он не меняется. Он не становится другим. Безвольный Лямин не «развивает волевые качества». Застенчивый Чесноков не становится гордым, хотя весь город восхищен его поразительным даром. Настя-красавица душевно ничем не отличается от Насти, какой она была, пока не похорошела. Напротив, Володин твердо настаивает на том, что все они верны себе, своим слабостям и своим достоинствам. Он только в одном убежден — в том, что слабости их несущественны, а достоинства — огромны. Волшебная условность, к которой он прибегает, высвобождает великую энергию этих достоинств, в реальной жизни часто скрытую, открывает простор для деятельности людей, обычно — или, если угодно, нередко — неспособных себя выразить.

Как только назначение Лямина становится свершившимся фактом, он подряд допускает целую серию ошибок.

Олег Ефремов, который играет Лямина в «Современнике», заставляет нас остро почувствовать и озабоченность и встревоженность героя. Лямин сам понимает, что делает все не так, что надо бы иначе. И он готов поступать иначе. Но только при одном условии — не изменяя себе. Речь идет не о каких-то специально выработанных правилах поведения, а об особом строе души, который неосознанно и тем не менее вполне категорично заставляет героев Володина жить согласно их собственной душевной структуре. Они не умеют быть грубыми, не умеют быть бестактными, не умеют быть жестокими. Это бы еще полбеда. Беда в том, что они не могут избавиться от собственной неискоренимой деликатности.

И вот Лямин неожиданно для себя самого первый же день пребывания на ответственном посту завершает тем, что уводит с собой собственную секретаршу Нюту и проводит с ней ночь. Хуже того, наутро он объявляет Нюте и своим родителям, что намерен на ней жениться. И действительно женится!

Может показаться даже, что Нюта придумана Володиным специально, чтобы скомпрометировать Лямина. Только послушать ее: «Знаете, женщина без телефона — это не женщина. Ехать к ней — еще неизвестно: дома ли она, стоит ли? Так что, если женщина и похуже, но с удобствами, лучше уж позвонят ей». Проведя ночь с Ляминим, эта «женщина без удобств» преподносит еще одно обобщение: «Из того, что между нами произошло, я не делаю никаких выводов, это мое правило. Это никого ни к чему не обязывает».

Вдумайтесь только: «Это мое правило». Значит, не просто единичный случай, не просто «бес попутал», нет — перед нами определенный образ жизни и свой «кодекс чести».

Коварство же Володина состоит в том, что женщину, которую моралисты готовы назвать «падшей» и, следовательно, нетипичной, драматург вводит в пьесу и в жизнь Лямина вовсе не для того, чтобы показать пагубную ошибку героя, а для того, чтобы показать, что Лямин не ошибся, напротив, прекрасно поступил. Ибо Нюта — замечательный человек. Среди расчетливых охотниц за мужьями, проницательных устроительниц собственной жизни или циничных ее прожигательниц Нюта — с ее принципиальной ненавязчивостью, с ее простотой — бесспорно заслуживает любви и счастья.

Конечно, то, что Нюта встречается с Ляминим, и то, что Лямин сразу же делает ей предложение, в ее жизни такое же невероятное и неожиданное — Володиным организовано — чудо, как и назначение Лямина. И точно так же как «безвольный» Лямин оказывается прекрасным руководителем, «аморальная» Нюта оказывается чудесной женой.

Фантазерство, которому предается Володин в своих пьесах и сценариях — особенно увлеченно в сценариях, — меньше всего предполагает отвлечение читателя или зрителя от обыденной реальности, от будничной повседневности. Напротив, володинские чудеса и фокусы только привлекают присталь-

ный и заинтересованный взгляд к зауряднейшей жизненной прозе, и в ней, в душах людей самых обычных, тех, с которыми мы всякий день встречаемся, открывают поэзию и красоту.

Принцип этот наиболее явно виден в «Похождениях зубного врача» — вещи, которая кажется мне самой характерной для Володиной. Здесь, в этом произведении, происходит не только чудо, но и отмена чуда. Волшебство совершается — и волшебство исчезает. Автор наделил своего героя простым, но необыкновенным даром — безболезненно вырывать зубы, а потом герой этого дара лишился. Почему? А потому, что талант Чеснокова, как всякий талант, принес радость и избавление от боли одним, но вызвал зависть, раздражение и ненависть у других.

Пересказывать драматическую и горестную историю Чеснокова я не стану. Кому интересно, тот прочтет, а может быть, увидит в кино эту неприятательную притчу о скромном талантливом человеке, с которым не пожелали «сработаться», которого стали проверять комиссия за комиссией, которого стали ретиво и назойливо защищать «борцы за прогресс», способные только шуметь и «гражданственно поглядывать на встречаемых». Подробности все удивительно точны и прелестны неотразимой жизненностью. Не в них, однако, суть. Суть в очень простой и очень емкой формуле, которая легко из всех драматических перипетий и подробностей жизни Чеснокова выводится.

А формула такая. Недоброжелательность убивает талант. Неприязнь способна уничтожить самое чудо. В условиях неприязни чудеса невозможны.

Переверните эту формулу, и вы увидите, что володинские чудеса и фокусы — всего-навсего приглашение к доброжелательности.

Взгляните на Лямина доброжелательно, без предвзятости, и вы убедитесь, что человек этот имеет моральное право быть руководителем. Взгляните на Нюту внимательно и тепло, без предубеждения, и вы поймете, что женщина эта прекрасна, что в ней — великий талант любви и нерастроченная нежность. Посмотрите пристально на ту же некрасивую Настю: как хороша!

Этой формулой Володин руководствовался всегда. Даже тогда, когда еще обходился без фокусов и чудес. Так было с Женькой Шульженко. Так было с Тamarой и

Илиным в «Пяти вечерах». Как правило, выбор Володина оказывался безошибочным и герои, самое право которых выйти на подмостки или показаться на экране оспаривалось, его не подводили. Одна только Резаева Надя подвела. Быть может, потому, что, как замечено самим же Володиным, «чувство любви, которое может стать радостью человеческого существования», иной раз «не отказывает себе в праве поиздеваться».

Можно в заключение заметить, что жизнь далеко не всегда так щедра, как это кажется

ся Володину. Что отнюдь не все скромные, заурядные, встречающиеся на каждом шагу люди обязательно хороши. Что есть среди них — и во множестве — персонажи пострашнее Юры Бибичева из «Фабричной девчонки», или дяди Ухова из «Старшей сестры», или завистницы Ласточкиной из «Похождений зубного врача». Но указывать Володину мишени для обличительной сатиры и негодующих сарказмов — напрасный труд. У всякого таланта свой закон.

**К. РУДНИЦКИЙ.**



## ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ПРОЗЫ

**Евгений Носов. За долами, за лесами. Рассказы и повесть. «Советская Россия». М. 1967. 188 стр.**

«На рассвете меня будили журавли. Я просыпался в пепельном полусвете северного утра...» — так начинает Е. Носов один из лучших своих рассказов, давший название сборнику.

Но рассказ ли это? Само — из сказки — его название «За долами, за лесами» так и просится, чтобы его продолжили нараспев: «жили да были...!» Северная деревушка увиделась писателю как «мир полузабытых сказок детства» — тех, что в степной России остались только в памяти людей да в книжках, а здесь продолжали жить.

Но это и рассказ тоже. Потому что, приехав в эту деревушку и пожив в ней какое-то время, писатель узнал там реальных людей с их реальными заботами и рассказал нам о них. Так и получилось, что из-под его пера вышла сказка-быль — сказочная, как сама реальность, включающая в себя поэзию народной жизни; реальная, как сама сказка, вышедшая из этой народной жизни.

«Где-то на болотах кричали журавли... — продолжает Е. Носов свое повествование. — Я глядел из окошка своей избы, слушал журавлей и думал, что, конечно же, не в степной соломенной Руси рождались сказки моего детства — про медведя, у которого березовая нога, про колобок, который выставили поостыть... про репку, сладку и крепку, которую «тянут-потянут — вытянуть не могут»... про сестрицу Аленушку и ее братца Иванушку и про то, как жили-были дед да баба и как у них была курочка-ряба...»

Они и сейчас живут здесь: дед Михайла да баба Евдокия; и сестрица — только не

Аленушка, а Верушка-сорожка с братцем Митькой и при них курочка-ряба с цыплятами; и их отец — колхозный бригадир, и мать — телятница; и еще Марья — всего восемь душ на двенадцать изб.

Вот вам и реальность с ее проблемами — одна из северных деревень, от жителей которой не один раз укрупняемый колхоз «все уходил и уходил куда-то», «как уходит вода, оставляющая после себя пересыхающие бочажки с кое-какой рыбешкой». Одни обитатели деревни «перебрались поближе вслед за непоседливым, кочующим колхозом», другие, «оказавшись на мели, разъехались», и остались в ней эти самые восемь душ.

Льетса, течет сказка, и мы все больше проникаемся ею, ее интонацией, ритмами и повторами («А дождик все сеялся, и по-прежнему печально выкликали кого-то за лесом журавли»), северным говором ее героев («Спи, Митька. Чего кукси-то? Будешь ревить — по горох не возьму», «Принесла я тебе... батюшко... иконку-то... раз любопытно... И вареньица принесла дак...»), изображенной в ней природой, неотделимой от живущих в этой природе людей («Рыжие маслята толпами высыпали из-под мелкого ельничка, будто тоже хотели посмотреть, кто и куда идет по лесу...»).

Льетса, течет сказка — и вплетается в нее быль. Вот идет по лесу писатель с главной героиней своей Верушкой-сорожкой, и идут они в деревню Маслючиху в сельповский магазин покупать Верушке куклу. А продавщица в магазине не сразу даже понимает, что им нужно: кукол в магазин не завози-

ли — «неходовой товар». «Вы, гражданин, наперво детей нарожайте,— почему-то объялась продавщица,— а потом и предъявляйте претензии к магазину».

Очень хороша у Е. Носова деревенская девушка Верушка-сорожка! Как, впрочем, и другие дети и подростки в других рассказах, таких, как «В чистом поле за проселком», «Шуба», «Подпасок», «Варька». Ребята эти привлекательны своей чистотой, естественностью и непосредственностью, своим бесконечным трудолюбием.

«Варьку на птичнике называли приبلудной. Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях... К концу лета утки надоедали ей до крайности... Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибежала к озеру... И все начиналось сначала. Вот уже третье лето».

В рассказе «Подпасок» пастушонок бедного колхоза Митька «в бессильной обиде за своих односельчан» лезет в драку с подпасками соседнего состоятельного колхоза, когда те дразнят его: «Все вы там голыпы!»

А в рассказе «Последний день осенней выставки» молоденькая доярка Клавдюха, сбежавшая из колхоза в официантки, все тоскует о своих коровах, о деревенской своей жизни и работе.

Сбежала! Рассказывая о том, как это случилось, писатель художнически исследует причины деревенских бед в не столь уж давние времена, и, как это всегда бывает, когда литература настоящая, изображенный им единичный случай дает пищу для более широких ассоциаций и обобщений.

Было это, когда луга распахивались под кукурузу, а скотина «бродила по кустарниковым неудобям, дожидаясь, пока кукуруза вырастет и будет дозволена к скармливанню». «В это-то время великого коровьего поста ихний председатель Иван Тихонович и распорядился поддерживать коров мучной болтушкой. Приказ был такой: за каждый надоенный литр — сто граммов муки... Такая была заведена коровья сдельщина: кто не доится, тот не ест». Клавдюхины коровы не доились, и она надумала подливать разведенный мел в молоко. Хоть делала она это не корысти ради, а коров жалеючи — думала для них мучной болтушкой разжиться,—

когда раскрылось это, пришлось ей бежать из колхоза.

С Иваном Тихоновичем автор знакомит нас, когда тот, доживший до более благополучных времен, пирует в ресторане в последний день сельскохозяйственной выставки. Знакомит сначала, так сказать, со спины, но уже и этот «портрет» достаточно выразителен: «Виднелась похожая на мучной куль туго обтянутая спина Ивана Тихоновича. Он разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, утыканная, как иголочная подушка, короткими серебристыми волосками, все время вздрагивала, набегая складкой на ворот пиджака».

Когда просили этого самого Ивана Тихоновича в то «время строгое», чтобы Клавдюхиным коровам дали мучицы, он говорил: «У меня план трещит, а я тут буду с дармодами нянчиться. Пусть она на таких учится. На заводе ученику тоже не сразу хороший станок дают». Не дали Клавдюхе «хороший станок», не оценили ее «преданности» коровам, не посмотрели на нее отдельно — от других людей, от «трещавших планов», от проблем, не разглядели, что она самая что ни на есть проблема,— и потеряли ее.

Лучшие страницы книги отданы писателем не только деревенским детям и подросткам, но и женщинам, на которых держится деревня. «Нехитрая машина — баба, простая в обращении, на еду не привередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудодня берет, хоть и со сменщиком работает, а она без всякой сменны и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо».

Одна из таких женщин — другая героиня рассказа «Последний день осенней выставки» — доярка Анисья Квасова, которая не умеет сидеть, «руки связавши», ходит за своими коровами, как за сиротами малыми, делит со своими односельчанами все перипетии их судьбы. Такой должна была стать и Клавдюха.

Их антипод — один из самых, пожалуй, интересных типов, созданных Е. Носовым, — объездчик Игнат из рассказа «Объездчик».

Вернувшись с войны, старшина казачьего эскадрона не захотел остаться в разоренной деревне и устроился неподалеку от нее охранять степь-заповедник. Бывший старшина успел вкусить сладость привилегий, пусть

и крошечных, власти, пусть и мизерной, и готов теперь на все, чтобы получить обратно «потерянное». Став объездчиком, он выделился, так сказать, на хутор («Срубил крепкую дубовую избу, выложил камнем погреб, на вольные сена завел корову, поставил во двор казенную лошадь, купил батареинный приемник, индюков расплодил») и охраняет от бывших односельчан по существу не казенную степь, а себя, свое имущество, а еще больше свое право «тащить и не пущать». Он забивает насмерть нарушителя — маленького, узкогрудого мужичка Яшку не только за то, что Яшка косит сено в запретном месте, а больше за то, что тот сказал ему правду в лицо: «Разве ты степь стерегешь? Ты себя стерегешь... Логово свое в овраге ружьем оберегаешь».

Пусть Игнат — птица редкостная. Заслуга писателя в том, что он разглядел в жизни и такое порождение прошлых — да и только ли прошлых? — времен.

Все ли произведения Е. Носова, собранные в рецензируемом сборнике, обладают такой органичностью, целостностью, завершенностью, как те, о которых говорилось выше? Нет. Не все.

Естественная и вполне законная приверженность писателя к единственной — крестьянской — теме, к единственным — крестьянским — героям (он их всех, наверное, ощущает своими односельчанами) иногда подводит его. Иногда его любовь к деревне, перелившись, так сказать, через край, незаметно для него самого трансформируется в умиленность, в некую даже коленопреклоненность перед «чистотой» деревенской жизни в отличие от «греховности» жизни городской.

И тогда явственно ощущаемая в лучших рассказах Е. Носова сверхзадача, которая ведь всегда в том, чтобы художнически исследовать жизнь в ее реальных противоречиях, как бы размывается: герои и ситуации неоправданно «подслащаются», а что-то из рассказанного им перестает быть обязательным.

Этот «перебор» можно уловить, например, в рассказе «Шуба». Он построен на контрасте. Две колхозницы, мать и дочь, приезжают в город, чтобы купить дочери зимнее пальто. Долго все это обговаривалось, долго копились деньги, и вот наконец они приобретают прекрасное пальто за 693 рубля с копейками. А рядом некая дама выкладывает за шубу «два серых кирпичика сотенных, перехваченных бумажной лентой»...

Но ведь мы про эту даму ровно ничего не знаем, не знаем, как она заработала эти «кирпичики сотенных». Поэтому из поведенного нам факта мы еще не можем извлечь той нравственной оценки людей, к которой нас так настойчиво толкает автор.

Необязательность, о которой говорилось выше, особенно наглядна в повести «Затмение луны». В ней есть прекрасно написанные сцены, например сенокоса — праздника крестьянской работы, отлично сделанные портреты, но любовь молодой одинокой бабы Анфиски и председателя колхоза Павла Чепурина воспринимается как заранее заданная, она не индивидуализирована и идилична. Идилличен и кажется знакомым по ранее читанным произведениям других писателей и тот фон, на котором происходят события повести.

А вот в рассказе «Варька» нет умиленности героиней, а есть очарованность ею. И от этого и сама Варька, и ее первое, пугающее ее самое чувство к цыганенку Сашке получились и достоверными и поэтическими. Е. Носов так сумел нарисовать эту девочку в ее начинающейся юности, что читатель воспринимает как совершенно реальное это «безбровое, большеботое, обгоревшее до сизой шелухи существо с голыми, искусанными комарами коленками. Мы радуемся угаданной писателем красоте и тогда, когда Варька, взбудораженная сборами старшей подруги на свидание, где та, наверное, даже будет целоваться, оставшись одна, смотрит на себя в зеркало и «ненавидяще, со злобой растяжкой» говорит себе: «У, зан-н-туда!» И тогда, когда она, окончательно разочаровавшись в своей внешности, бежит к озеру, и, забыв свои недавние томления и горести, окунается в воду и как бы недвижно парит «в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками», а потом кричит «для одной только себя, не стесняясь своей безголосости: «Кавказ подо мною. Один в вышине...».

Варьку невозможно оторгнуть от окружающего ее мира природы: он живет в ней — так же как и она в нем.

То же самое можно сказать и о многих других героях Е. Носова. Его описания природы, зверя, времени года, крестьянских работ — не сопроводительный аккомпанемент к человеческим судьбам и отношениям: они органически связаны с ними.

И что бы ни рисовал Е. Носов — сухой ли подсолнух на обочине дороги, кивающий путникам «непокрытой растрепанной головой»; суслика ли, который «сварливо заверещал, юркнул в дырку, мелькнув светло-желтыми подштанниками»; летний ли знойный день, когда «дрожит, зыбится горячий воздух и снуют в нем с медным, зудящим гулом остервенелые оводы»; косьбу ли, при которой косы «будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами», —

все это обладает отчетливо воспринимаемой подлинностью.

Для Е. Носова деревня со всеми ее бедами и радостями, печалью и очарованиями, с ее людьми — и корневыми и неустойчивыми — не экспонат. Он знает ее изнутри. Он ее видит, слышит, осязает. И поэтому мысль, которая пронизывает его творчество, значительна и передана точными и емкими словами.

**И. ТРАВКИНА.**



## ПОЭЗИЯ НАУКИ

**Александр Ивич. Поэзия науки. О литературе научно-популярной и научно-художественной. «Книга». 1967. 176 стр.**

Научная популяризация возникла тогда, когда стал ощутимым разрыв между собственным языком науки и общелитературным языком. Галилей, Гюйгенс, а позднее Фарадей, Столетов, Тимирязев, Умов, Ферсман, С. Вавилов, Эйнштейн испытывали потребность рассказать о своей науке общедоступным языком. Вспомним и то, что популярное изложение теории Коперника было опубликовано за три года до издания его основного труда, эпиграфом к которому стало: «Да не входит никто, не знающий математики».

Положение заметно осложнилось в наши дни. Покойный Р. Оппенгеймер считал, что разрыв невосполним: «Наука... ускользает от всеобщего понимания... она уже не входит в общую культуру». А биограф Оппенгеймера М. Рузе формулировал его взгляды так: «Единство познания устранено навсегда: оно напоминает огромное зеркало, разбитое на мелкие кусочки, каждый из которых по-своему отражает мир».

Практика советской литературы о науке, насчитывающей, кроме самих ученых, ряд блестящих представителей научно-художественной литературы, не подтверждает этот пессимистический прогноз. Самые абстрактные и сложные области знания могут быть изложены на несобственном языке науки. Советским авторам принадлежат превосходные книги о таких нелегких вещах, как теория относительности, квантовая механика, неэвклидова геометрия.

Теория и история этого жанра заметно отстали от практики. Были опубликованы отдельные интересные статьи, написанные самими авторами научно-художественной

литературы, выходили сборники их работ, но не было ни одной книги об одной из самых читаемых и популярных разновидностей советской литературы.

Одна или две разновидности? Научно-популярная и научно-художественная литература — существуют ли различия между ними? Оказывается, есть теоретики, отрицающие существование научно-художественной литературы. Отрицают на том основании, что нет единого критерия разграничения познавательной литературы на два вида. Приводятся иногда и вовсе курьезные аргументы. А. Ивич, написавший первую в нашем литературоведении книгу о научно-познавательной литературе, правильно отвергает эти утверждения. Он цитирует Белинского, доказавшего, что искусство не есть «своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова», что границы литературных жанров подвижны, между ними нет стены, но это не порождает самого принципа разделения. Автор высказывает мысль, что у близких родственников — научно-популярной и научно-художественной литературы — задача одна, литературные методы различны. Точнее было бы, учитывая на практике все сложности и трудности отнесения произведений к тому или иному жанру, сказать, что и задача не совсем совпадает. У научно-художественной литературы она глубже. Ее творцы, не ограничиваясь популяризацией знания, создают его поэзию и романтику, открывают далекие перспективы и обобщения науки, выходящие за пределы данной познавательной темы.

А. Ивич начинает свое изложение со времен далекой древности, когда Лукреций создал философскую поэму «О природе вещей». Правда — это важное обстоятельство не отмечено автором, — античность была эпохой почти целиком недифференцированного, неспециализированного знания. Не только Лукреций, но и Ксенофан, Парменид, Эмпедокл писали свои философские трактаты гекзаметрами. «Прозаическая форма философского трактата, — пишет историк античной литературы И. Тронский, — была новшеством, которое не сразу привилось повсеместно».

В центре внимания автора — литература о науке XIX—XX веков: Фарадей, Герцен, Л. Толстой, Тимирязев, известные советские популяризаторы. Как признает сам автор, выбор примеров отчасти произволен, его книга — не путеводитель по литературе о науке. Ее цель иная — раскрыть «секрет» мастерства, продемонстрировать его важнейшие элементы, показать, каким основным требованиям должна удовлетворять литература о науке. Анализы и характеристики автора точны и тонки. Сказывается, что А. Ивич не только литературовед, но и автор талантливых книг о науке и технике.

В чем же состоит искусство писать живо, популярно и интересно о вещах, часто совсем не легких? Шаг за шагом А. Ивич подводит читателя к ответу на этот основной вопрос. Разумеется, он не сводится к единой формуле, но анализ различных образцов жанра дает достаточный материал для выводов. Приведем те примеры, которые кажутся нам особенно ценными и плодотворными.

О научных исследованиях нужно рассказывать как о цепи возникающих и разрешаемых противоречий, как о раскрытии тайны. Даже термин «роман тайн» применяет автор, и это не кажется натяжкой, потому что речь идет о сюжетно-увлекательном ходе изложения, посвященного размышлению клубка тайн природы.

Давать не только конечные результаты достижений науки, а вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, делая его соучастником труда ученого и показывая развитие науки и техники как арену борьбы и научных исканий, как схватку идей и преодоление рутины.

Можно применять любой ритм фразы, но обязательно соблюдать неторопливость повествования, не забывать о том, что попу-

лярное изложение не допускает той быстроты в раскрытии темы, которая уместна в чисто научном труде.

Исходить не из предположения, что читатель обладает специальными знаниями, а ориентироваться на его любознательность, общее высокое умственное развитие и готовность проявить хоть немного внимания и воображения. Те ученые, которые пишут для популярных изданий, увлекаясь расчетами и формулами, обычно затемняют для читателей основную идею, общую картину, тонушую в подробностях и деталях.

Так автор раскрывает поэтику и эстетику литературы о науке. Чьи же это мысли? Это хор голосов, звучащих почти в унисон, — Фарадея, Герцена, Писарева, Л. Толстого, Бекетова, Тимирязева, Горького, Ферсмана, Эйнштейна. А. Ивич либо приводит непосредственные высказывания авторов, либо формулирует итоги своих наблюдений над их произведениями. Их требования к писателю, пишущему о науке, в сущности, едины и в то же время настолько гибки, что остается широчайший простор для проявления творческой индивидуальности.

В целом А. Ивич дает вполне убедительные ответы на возбуждаемые им вопросы. Встречаются, однако, и в его ясном и четком изложении недоговоренности. Это и понятно: тема достаточно сложна и не всегда можно дать однозначное решение возникающих проблем.

Возможна ли, например, научно-художественная литература без науки? Автор дает положительный ответ на этот вопрос, хотя уже тот факт, что упоминаемые им книги М. Ильина, В. Арсеньева, Н. Михайлова им самим зачисляются в разряд научно-художественных, заставляет думать, что наука в них, пусть в менее явной форме, все же присутствует как метод познания. Односторонне и утверждение А. Ивича, что «драма идей», которую Эйнштейн назвал основной чертой истории науки, может быть описана лишь в биографическом повествовании. Писатель (как это, допустим, сделал Д. Данин в «Неизбежности странного мира») может, не превращая свою книгу в биографию, ввести в свой рассказ населенные людьми эпизоды. А может пойти и дальше: сделать «драму идей» предметом авторского размышления — так поступает Б. Агапов.

Совет писателям пропагандировать только проверенные научные теории благоразу-



мен, по традиции русских популяризаторов естествознания было смело выступать в защиту передовых научных идей (в частности, дарвинизма) в то время, когда их еще опровергали с университетских кафедр и на страницах специальных изданий. Не только то, что освящено вековым авторитетом, но и перспективы науки, то, что еще не устоялось, но, может быть, станет ее завтрашним днем, должно привлекать писателей. Конечно, издержки, возможный риск при этом намного повышаются, но слишком благоразумные полководцы редко выигрывают сражения.

Попадают в книгу и неточности. Маловероятно, что Л. Толстой в работе над Азбукой интуитивно предвосхитил теорию относительности. Это смелое утверждение автор не потрудился подтвердить. На мой взгляд, недооценена оригинальность философской мысли Герцена. Далее, на странице 105 А. Ивич пишет: «Надо еще философски обосновать, что эти процессы (наглядно непредставимые физические процессы.— А. Н.) ни в чем не колеблют диалектический материализм. Данину это удаюся». Диалектический материализм не надо представлять себе в виде карточного домика, которому в чем-то опасны веяния прогрессирующей науки, как известно, он — метод познания, сам обогащающийся и развивающийся по мере развития науки. При всей положительной оценке заслуг Данина, едва ли правильно считать его спасителем диамата.

А. Ивич — хороший стилист, умеющий найти точные и выразительные слова для своих наблюдений. Его изложение яркое, ясное и четкое. Поэтому особенно странно обнаружить у писателя, столь остро ощущающего чужие стилистические промахи, такие эпизоды из копилки курьезов:

«...экскурсии, как будто уводящие в сто-

рону от главной темы; на самом деле они работают на тему». «Они работают на сверхзадачу... Но бытовые жесты, бытовые словечки в научном споре физиков... вовсе не работают», «...долговременно действующие опорные сравнения отлично работают», «Понски хорошо работают в сравнений», «Умение так отобрать детали, чтобы они работали сразу в нескольких направлениях», «Традиционные аксессуары, вроде кресла и свечей, здесь не работают». И даже: «Бабочка работает на нескольких страницах с полной нагрузкой». Удивляет приверженность автора к этому неуклюжему обороту речи из современного литературного жаргона. Не доставляет радости и пристрастие А. Ивича к слову «состояться», с которым он обращается очень неэкономно: «...общедоступность книги не состоялась», «...достаточно ли дает автор материала для того, чтобы переживание могло состояться», «...книга как популярная просто не состоялась», «Могла ли состояться повесть...» К счастью, подобных пассажей, когда чувство слова и языковой вкус вдруг изменяют автору, в книге не много.

Все наши отдельные замечания не колеблют ценности книги А. Ивича. Автор говорит об одном выдающемся произведении о науке: «Книга построена свободно и в то же время с внутренней собранностью, ясной устремленностью». Эти слова можно отнести и к данной книге. Очерк, цель которого — раскрыть, в чем состоит мастерство ясного рассказа о сложных вещах, демонстрирует нам мастерство самого исследователя. Читать его книгу приятно и поучительно.

А. НАРКЕВИЧ.



## КНИГА О БУНИНЕ

О. Н. Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества. «Наука». М. 1967. 174 стр.

В предисловии к своей книге О. Михайлов, отвечая на вопрос, «насколько важна и современна» может быть сейчас книга о Бунине, пишет: «По своему художественному мышлению, изобразительности, психологическим открытиям Бунин на удивление современен — вот что позволяет читателю сопереживать с самыми далекими на

первый взгляд бунинскими героями». Эти стороны творчества Бунина О. Михайлов и ставит в центре своего исследования.

Книга О. Михайлова, насыщенная большим и интересным фактическим материалом, дает отчетливое представление и об основных вехах биографии писателя, и об эволюции его творческого пути.

Не задерживаясь подробно на раннем творчестве Бунина и отмечая лишь наиболее существенные его стороны, которые — так или иначе — определили характерные черты зрелого творчества писателя, автор главное внимание уделяет времени написания «Деревни», «Суходола», цикла знаменитых крестьянских рассказов («Веселый двор», «Худая трава», «Захар Воробьев» и др.), «Господина из Сан-Франциско», «Братьев», то есть времени расцвета бунинского таланта.

Определенное место отводит О. Михайлов и слабо еще разработанной теме — Бунин и Толстой, и разбору философской книги Бунина «Освобождение Толстого».

Особая глава посвящена Бунину-поэту. В противовес многим критикам О. Михайлов считает поэзию Бунина очень большим явлением, приближаясь здесь в какой-то мере к оценке Горького, который в 1916 году писал Бунину: «Ведь Вы для меня великий поэт, первый поэт наших дней».

Из эмигрантски-зарубежного творчества Бунина О. Михайлов выделяет главным образом роман «Жизнь Арсеньева», дав глубокий, рельефный и тонкий его анализ.

Вполне закономерно здесь, в частности, сравнение бунинского романа с эпопеей М. Пруста «В поисках утраченного времени» (чего не отрицал и сам Бунин). Однако эта общность преимущественно тематическая (потребность еще раз пережить, хотя бы в слове, ушедшее), но никак не стиливая: отточенная простота и музыкальное изящество стиля Бунина ничем не напоминают изысканное, причудливое «барокко» прустовского стиля.

Из других эмигрантских произведений О. Михайлов коснулся — более или менее детально — «Митиной любви» и «Темных аллей», истоки которых опять-таки надо искать в творчестве Толстого (в таких рассказах, как «Дьявол», «Отец Сергей», «Крейцера соната», «Не играй с огнем — обожжешься» и др.).

Писательская биография Бунина длилась почти семьдесят лет. Он был младшим современником Толстого и Чехова, ровесником Горького и Куприна, старшим современником Блока, он знал и ценил произведения советских писателей Паусговского, Катаева, Твардовского...

Пожалуй, самое привлекательное в книге О. Михайлова — постоянное стремление автора рассматривать своеобразное творчество

Бунина в этих живых связях с современными ему художественными явлениями.

Автор постоянно держит в поле своего зрения сложную общественную и литературную обстановку, окружавшую и формировавшую Бунина как писателя.

Говоря о творческих взаимоотношениях Бунина с Толстым, Чеховым, Горьким, Куприным, об отношении Бунина к общественным событиям и новым явлениям в литературе, автор не пытается при этом «выпрямить» и облегчить сложный и противоречивый путь писателя.

И в таком историческом контексте понятными становятся и социальная позиция Бунина, которую автор удачно назвал «двухцветной», и его по-своему трагическая судьба, и, наконец, своеобразие истоков его поэтики.

Тонкие сопоставления стиля Бунина с творчеством ряда писателей, в частности Толстого, Чехова, Куприна, показывают, какой сложной была литературная «родословная» Бунина. Ее корни надо искать не только и даже не столько в творчестве прямых предшественников Бунина, в том числе Чехова, как это принято считать по установившейся еще с дореволюционных времен традиции. Сложно сочетавший и в своих вкусах, и в манере повествования черты архаизма и новаторства, Бунин, как показывает О. Михайлов, продолжает тургеневскую и дотургеневскую прозу, в частности Гоголя. Но этот ряд литературных предшественников Бунина не ограничивается только магистральной линией русской литературы. Он ведет и к «периферийным линиям»: это, «с одной стороны, плеяда «чистых» «дворянских лириков» — Фет, Майков, Полонский, А. К. Толстой, Жемчужников; с другой — прозаики и поэты сугубо демократического или народнического толка — И. Никитин, Т. Шевченко, Н. Успенский, Левитов».

Книга О. Михайлова — результат не только глубокого и пристального изучения творчества Бунина, но и плод самостоятельной мысли, всегда острой, но иногда, впрочем, весьма спорной.

Нельзя, например, согласиться с утверждением О. Михайлова о «своеобразном неославянофильстве» Бунина в десятые годы: Бунин, наоборот, считал тогда себя «гражданином Вселенной», и самый дух славянофильства был не только чужд, но и ненавистен писателю.

Не прав критик и в приписывании Бунину «некоего духовного провинциализма». Бунин — один из немногих русских писателей XX века, умевший по-настоящему постигать и родную древность («Аглая», «Святые», «Лирник Родион» и др.), и жизнь и быт зарубежных стран и людей («Храм Солнца», «Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Воды многие»). Время и пространство были близки, понятны и доступны Бунину во всей их широте и глубине.

Мнение о «духовном провинциализме» Бунина критик основывает на том, что писатель прошел мимо театра Чехова и поэзии Блока. Но это дело индивидуального вкуса Бунина: Блок, таланта которого он не отрицал, был ему внутренне не созвучен, а театр Бунин вообще не любил. Ведь и Толстой, кстати, отвергал не только пьесы Чехова, но и Шекспира и прошел мимо Чайковского, Рахманинова, Шалапина и Блока.

Думается, что О. Михайлов делает излишний упор на дворянское происхождение Бунина, приписывая этому обстоятельству все прегрешения писателя — вольные и невольные, все его беды и заблуждения. Дело здесь глубже: в эмиграции Бунина огромную роль сыграла духовная связь писателя

со старым миром, с вековым бытовым укладом, с былой культурой (хотя, как известно, Бунин политически императорской России не сочувствовал: он был представителем критического реализма в литературе). Да и мало ли было среди писателей-эмигрантов «разночинцев» (Куприн, Арцыбашев, Андреев, Шмелев, Саша Черный, Чириков, Алданов, Сургучев и другие)?

Не надо забывать и того, что Бунин, никогда, между прочим, не бывший политиком, к концу жизни вообще «перегорел»: для позднейших изданий он вычеркнул почти все политические и публицистические отступления того или иного злободневного характера. Только отдельные произведения («Окаянные дни» и некоторые главы из «Воспоминаний») остались данью писателя воинствующе-эмигрантской идеологии.

Книга О. Михайлова, несмотря на свою частичную спорность, принадлежит к числу таких, мимо которых нельзя пройти равнодушно. Она отличается серьезным знанием предмета и умением высказываться коротко, определенно. Она, наконец, написана с несомненным литературным изяществом.

Ник. СМЕРНОВ.

★

## ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Хуан Гойтисоло. *Особые приметы*. Роман. Перевод с испанского Л. Синянской и П. Глазовой. «Иностранная литература», №№ 8 и 9, 1967.

Объектив фотоаппарата или кинокамеры (стекло, металл) — холоден, объективен. Но направляет линзы человек — его страсть или корысть, нежность или ненависть, преклонение или презрение. Двуделимость искусства здесь очевидна, наглядна, и, возможно, именно в этой наглядности причина того, что в последние годы фотограф — свидетель и маг — часто становится героем романов и фильмов, где раздумья об искусстве слиты с раздумьями о человеке, истории, прошлом, настоящем и будущем.

Альваро Мендиола — герой последнего романа Гойтисоло — фотограф.

В фильме Алена Рене «Война окончена» испанский коммунист подпольщик Диего должен сообщить жене товарища о том, что ее муж попал в руки полиции Франко. В этот миг трагического накала сценарист — Хорхе Семпрун — требует от камеры, чтобы она оглядела комнату в парижском пригоро-

де Иври, комнату, которая тридцать лет служит убежищем эмигрантов, ни на минуту не прекращавших борьбы за то, чтоб вернуться на родину, — чтобы она оглядела эту комнату «взглядом трезвым и в то же время исполненным нежности», чтобы она прочла скудость быта и страстную безмерность надежд, затанчившихся в томиках книг, в шеренге пестрых русских матрешек.

Трезво и в то же время с нежностью, трезво и в то же время с ненавистью — так написан и роман «Особые приметы».

В споре об «ангажированной» и «неангажированной» литературе, который возгорается и гаснет на горизонте Запада с регулярностью мигалки, Хуану Гойтисоло, как и другим испанским поэтам и прозаикам его поколения, не к чему было даже принимать участия. Слишком свежи и болезненны были исторические рубцы на теле его родины, слишком неотвязно ныли у сыновей ра-

ны, нанесенные отцам, чтоб можно было отвлечься от социальной действительности, уйдя в «чистую» литературу. Легко было во Франции апологетам нового романа рассуждать о том, что факты и события общественные — это, мол, достояние журналистики, дело документального кино. Франкистская Испания глала в газетах, фальсифицировала действительность на экране. Молодая испанская литература в пятидесятые годы выплеснулась криком боли и гнева, врезалась в жизнь социологическим скальпелем.

Воздуха.  
Разве в Испании  
нет воздуха?  
Воздуха! Воздуха! —

кричал молодой Хесус Лопес Пачеко в своей первой книге «Положив на Испанию руку». Литература стала требовательным голосом народа, прерывистым, задышающим, но незаглушимым.

«В трудные периоды задача писателя состоит в том, чтоб обнажать подлинное лицо общества и отражать его противоречия», — утверждал Хуан Гойтисоло, и его романы обнажали лицо испанского общества, отражали его противоречия. Они были правдой об Испании — о нищих, голодных, бесправных крестьянах Нихара, о жалкой старости и поруганной юности барселонских предместий, о лицемерии церкви, армейской муштре, о перерождении тех «идейных» борцов фаланги, которые к зрелым годам порастратили убеждения, зато приобрели солидное положение в обществе. Ненависть к фасадной империи Франко вела «объектив» Гойтисоло, и он фиксировал картины жизни больного, насквозь прогнившего, пораженного гангреной строя. И наконец взгляд, обозревший широкую панораму, с бескомпромиссной требовательностью и ожиданием обернулся к двойнику писателя, к его подобию.

Альваро Мендиола, разумеется, не автопортрет, роман — не автобиография. Однако трагизм мироощущения Мендиолы и его жестокая придиричивость к себе близки писателю, прожившему, подобно герою, долгие годы в добровольном изгнании и не избывшего любовь к ненавистой отчизне.

Как жить, когда все кажется безнадежным, когда душит, сжимает сердце ощущение собственной слабости перед всемогуществом государственной машины, перед агрессивностью и самодовольством буржуа,

наконец-то начавших «догонять Европу», перед трусливой неподвижностью мещанина, которому несть числа?

В те несколько дней, описанных в романе, когда Альваро, пораженный тяжким недугом, с обостренной ясностью, с пронзительностью, которая дается только одиночеством перед лицом смерти, — страшным и плодотворным для художника, — пересматривает свою жизнь — ее истоки, ее слагаемые, ее радости и непоправимые ошибки, — он обзревает не только свой внутренний мир, свои «особые приметы», но и «особые приметы» эпохи, его воспитавшей. Внутренний монолог (Гойтисоло выделяет его ломкой строки, отбрасывая знаки препинания, чтоб подчеркнуть стремительность мыслей, их текучесть, слитность), воспоминания Альваро пестрым коллажем накладываются на звуковой фон туристской болтовни, вавилонский бред пошлости; подлинные переживания, истинные чувства Альваро сплетаются со злобной чувью, источаемой по его адресу так называемым «общественным мнением» франкистской элиты. Рассказ о жизни Альваро и его друзей, как она видится им самим, дополняется полицейскими донесениями, программами официальных торжеств.

В октябре 1952 года Альваро Мендиола уехал из Барселоны в Париж, чтобы дышать воздухом свободы.

Десятки тысяч его соплеменников, «пережившие двадцать пять, тридцать, а то и тридцать пять лет голода и лишений, исходившие весь Пиренейский полуостров в поисках работы и жилья», искали за границей не воздуха, а хлеба. В гамбургском порту, на вокзалах Женевы и Франкфурта, в дешевых бистро и барах Парижа и Амстердама встречает фотокорреспондент «Франс суар» Альваро Мендиола «Хуанов и Хуан», предлагающих свои самые дешевые руки в Европе.

Альваро в хлебе насущном не нуждается. Потомок астурийских идальго, ставших предприимчивыми купцами, правнук работодателя — кубинского плантатора и сахарозаводчика, внук барселонского буржуа, сын помещика, убитого в 1936-м восставшими крестьянами, он мог бы, как его дядья и кузены, существовать безбедно, respectfully и законопослушно, слегка меняя оттенки политических надежд и привязанностей в соответствии с модой эпохи. Но эти — классовые — корни Альваро обрубил, сознательно, бесповоротно. Детство, проведенное

в атмосфере сентиментального мистицизма, отрочество в стенах иезуитского коллежа, все, что было заложено в отпрыска рода Мендиола, оказалось потрясено и сдвинуто встречей с батраком Херонимо, ставшей для Альваро вторым — нравственным — рождением, началом сознательного пересмотра основ.

После нескольких каникулярных месяцев дружбы с Херонимо, оборвавшихся трагически, когда Херонимо (а может быть, его звали вовсе не Херонимо) ушел на рассвете из поместья, отстреливаясь от жандармов, и, наверно, погиб, так и не добравшись ни до маки, одним из вожаков которого он был, ни до спасительной границы,— после этих недолгих месяцев оказалось невозможным просто вернуться к скучным урокам и покаяниям в интернате коллежа святого Игнасио. И хотя о Херонимо ему больше никогда не довелось услышать, щедрый дар этого человека, «умершего за всех и каждого», в том числе и за него, пробудил в мальчике нравственные и духовные запросы, отрезавшие его от касты, к которой он принадлежал по рождению. Пробудил в нем любовь к народу.

Однако путь к народу — в народ — не прост, не прям. Образ Херонимо сиял путеводной звездой, история утверждала подвиг народа-героя, в симпатиях к униженным и оскорбленным не было недостатка, но контакта не получалось. «Всепожирающая любовь к своему народу», которую Альваро испытывал, была любовью высокой и чистой, она требовала столь же незапятнанной чистоты и высоты объекта, но личные встречи с народом неизменно разочаровывали и раздражали Альваро. И после ряда попыток глубже проникнуть в жизнь испанских эмигрантов, разобраться в их нуждах, трудностях и надеждах, после долгих волнующих разговоров за рюмкой испанского коньяка в грязных барах или в его собственной мансарде на улице Вьей-дю-Тампль в Париже Альваро стал избегать своих соотечественников, покинувших родину в поисках хлеба, «кizo всех сил желая навсегда забыть о самом их существовании, хотя полностью это никогда ему не удавалось».

Десять лет добровольной эмиграции, десять лет опьянения свободой и нарастающего похмелья, подточили ту «общность с собственным племенем», к которой стремился интеллигент Альваро. Такова была плата за воздух.

Его друзья пошли иным путем. Они избрали борьбу. Жестокий опыт тюрем и ссылки дал им зрелость, закалку, которой не было у Альваро, судьба их слилась с судьбой народа. У Альваро же, поскольку он не действовал, его «пиренейские корни» отсыхали, продолжая болеть,— как болят ампутированные конечности. И боль достигла той остроты и нестерпимости, когда стало — либо умереть, либо вернуться домой и исполнить свой долг. А долг этот был в том, чтобы оставить свидетельство.

Сравнительно проста задача историка и художника, вступающего в спор с фашистской историографией, с явной и неприкрытой ложью. Сравнительно легко восстановить для потомков то, что преднамеренно замалчивается и что ты еще помнишь. И нетрудно назвать тех, чьи тела покоятся под немymi могильными плитами, серое безмолвие которых должно способствовать забвению героических подвигов. Труднее вступить в спор с теми, кто тебе близок, с легендой, что, как надежда, живет и в твоём собственном сердце.

Но если ты свидетельствуешь о прошлом ради настоящего и будущего, нельзя идти на компромиссы даже с самим собой.

Роман Гойтисоло пропитан горечью правды.

Пылкий прием, оказанный молодому барселонскому интеллигенту в прогрессивных салонах Парижа, быстро оборачивается пустопорожней левой фразой. За революционной болтовней в уютных кабинетах (книжные шкафы, мягкие кресла, божолé или виски) скрывается, в сущности, равнодушие. На смену страстному желанию помочь «испанским радикальным силам» через неделю приходит еще более горячее желание содействовать еще более радикальному движению в Венесуэле или на Мадагаскаре. Через несколько лет Альваро перестает обольщаться, узнает подлинную цену этому бездумному и негнущему огню.

Не может внушить оптимизма и кафе мадам Берже с его «напластованиями» испанской эмиграции, местничеством, академическими спорами и самозабвенным погружением в мифологизируемое прошлое. Отрыв от родной земли никому не проходит даром.

Однако горше всего видеть, как бесплодно истощаются молодые силы Испании. Как национальное самосознание перерождается, выпячиваясь уродливыми наростами «мест-

ного колорита», иберрийской достопримечательности, оплачиваемой туристами в иностранной валюте. В этом смысле сцены эньерро в Йесте, перемежающиеся повествованием о восстании крестьян и лесорубов, утопленном в крови на два десятилетия раньше тут же, в Йесте,— ключевые для романа.

Всего лишь плащом тореро оказывается красное знамя в Йесте; Альваро только чудится «прекрасный символ» свободы и великих надежд — красное знамя далеких лет, знакомых ему только по документальным лентам Ивенса и Кармена.

Дети героев Гвадалахары и Бельчите, Брунете и Гандесы хорохорятся, показывая храбрость, издеваются над затравленным, растерянным бычком, и гнусность этой травли, запечатленной на пленке Альваро Мендиолы, отрицает романтизацию тавромахии как символа испанского национального духа, восстает против литературно-туристической моды на испанца, которому, дескать, нет ничего дороже боя быков. Эти парни могли бы быть революционными милисианос, думает Альваро и грезит наяву об Испании настоящей.

Гойтисоло-художник многим обязан Хемингуэю. Но в романе «Особые приметы», где элегическая жалоба героя на нелепость собственного существования перерастает в беспощадное самобичевание, в отчаянный поединок с собственной безответственностью, слышится не только эхо хемингуэевских тем, но и полемический на них отклик. Не восхищение прекрасной мужественностью, а чувство нестерпимого стыда вызывает новильяда в Йесте, суррогат иной, революционной возможности приключения молодых сил. Спор о сравнительных достоинствах матадоров вкладывается в уста полицейских палачей, для которых он прелюдия к очередной пытке, и «милая шутка» заключается в том, что заключенному, едва очнувшись после избиений, предлагается «выбрать», кого из соперников он предпочитает: именами матадоров названы два особенно умелых мастера заплочных дел.

Ненависть к открыточным Пиренеям с сегодильями и хабанерами, быками, солнцем и красотками — ко всему, чем франкистская Испания прикрывает свои язвы, выставляясь напоказ туристам, ко всему, что является предметом национального самодовольства,— была и в прежних романах Гойтисоло. Ост-

рота боли в «Особых приметах» усилена режущим чувством стыда: Альваро казнит себя за то, что смотрит на жизнь народную со стороны, что он пока ничего не сделал, чтоб изменить положение.

Тема свидетельства как деяния в «Особых приметах» утверждается с яростью, она выношена и выстрадана.

В упомянутом фильме Хорхе Семпруна и Алена Рене «Война окончена» Диего, возвратясь в Париж из Мадрида, с яростью кричит товарищам по работе, когда ему кажется, что они не хотят посмотреть правде в глаза, заслоняются от нее прошлым: «...Четырнадцать миллионов туристов проводят каникулы в Испании. Только и осталось от Испании, что мечта туриста да легенда о гражданской войне... Я не был... ни под Террузелем, и на фронте у Эбро тоже не был. И те, кто сейчас делает дело в Испании, делает что-то серьезное, тоже там не были. Им по двадцать лет, и движет ими не наше прошлое, а их собственное будущее...»

Для Альваро Мендиолы, как и для Диего, всегда будет жива память о гражданской войне, но прошлое не должно мешать трезвому пониманию настоящего, не должно превращаться в «лирическое самооправдание». Альваро хочет и должен свидетельствовать о настоящем, а значит, и о прошлом. Преодолевая кризис самоотрицания, отмечая лукавые подкаски слабости, толкающей его на привычный путь наименьшего сопротивления («лучше жить в чужой стране среди людей говорящих на чужом для тебя языке чем среди земляков которые каждодневно простируют твой родной язык

склоняют голову перед силой  
и говорят

плетью обуха не перешибешь

хотя дело идет о бесчеловечном общественном порядке который отказывает им в праве на существование высасывает из них единственное и невосстановимое их достояние их жизненные силы»), Альваро Мендиоло чувствует, как «властная, непрерываемая, почти исступленная разгорается» в нем «жажда свидетельствовать». И вместе с героем романа читатель понимает: только став правдивым свидетелем — а значит, соучастником народа,— интеллигент может спасти себя от смерти. Иначе ему грозит удушье. Ибо если нет в Испании воздуха, воздухом чужбины голода не утолить.

**Л. ЗОНИНА.**

Политика и наука

## ОБЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, НАУКА

Научное управление обществом. Выпуск I. Под ред. проф. В. Г. Афанасьева. «Мысль». М. 1967. 350 стр.

А. А. Годунов. Введение в теорию управления (Система промышленного производства). «Экономика». М. 1967. 199 стр.

Образное определение Марксом общества и управления им как оркестра и дирижера давно уже, кажется, приобрело значенные аксиомы. И это действительно так, ибо сложную общественную жизнь трудно представить без управления, без согласования и координации всех общественных проявлений. Развиваясь и все более усложняясь, жизнь настойчиво и повседневно напоминает: управление в интересах народа должно основываться на науке.

Всюду: и на заводе, и в лаборатории, и в министерстве — можно слышать разговоры о научной организации труда и управления. Это не мода — это потребность общественного развития.

Вот почему внимание многих читателей привлекут две новые книги по вопросам управления. Одна из них, под редакцией проф. В. Г. Афанасьева, подготовлена кафедрой научного коммунизма Академии общественных наук при ЦК КПСС. Другая написана доцентом Ленинградского университета А. А. Годуновым. Обе книги объединяет стремление глубже осветить природу управления и его роль в различных сферах общественной жизни. Правда, нужно сразу сказать, что такой замысел удался не полностью. В обеих книгах, особенно в первой, слишком много общих положений, разговор о должном подчас подменяет анализ реальных процессов, протекающих в действительности. И еще: рассмотрение технико-экономических сторон управления заслоняет иногда социально-политическое содержание проблемы.

Рассмотрим подробнее некоторые вопросы. А. А. Годунов правильно пишет, что обособление труда по управлению вызывается прогрессирующим обобществлением труда, увеличением размеров кооперации. При социализме это общественно полезный труд, который объединяет трудящихся, соединяет их со средствами производства, обеспечивает планомерность и согласованность развития всего социального, производственного организма. Конечно, он не предполагает для работников, занятых в этой

сфере, каких-либо социальных преимуществ. Разумеется, жизнь сложнее формул, и преждевременно было бы утверждать, что некая замкнутость «управленцев» уже до конца у нас преодолена. Как известно, она устраняется по мере развития социалистической демократии и привлечения масс ко все более активному участию в общественных делах.

Социалистическое общество является сознательно управляемым обществом — таков ведущий тезис книги под редакцией проф. В. Г. Афанасьева. Научное управление обществом означает проведение правильной реалистической политики, основанной на строгом учете объективных законов общественного развития, соотношения социальных сил, международных условий. Оно призвано выражать научно обоснованную политику партии, интересы всех классов и слоев общества. По словам В. И. Ленина, «мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ создает».

Перед государственным аппаратом стоит, таким образом, двуединая задача: полнее отражать объективные потребности и общественное мнение. Причем эта задача именно единая, ибо в условиях социализма интересы масс совпадают с прогрессивным ходом общественного развития, оптимальность управления не противоречит природе его социальных институтов. Политический подход к решению вопросов не существует где-то «рядом» с экономическим, а органически сливается с ним. Забвение этого обстоятельства не раз приводило в прошлом к ошибкам и просчетам, например, в руководстве сельским хозяйством. Вполне понятно поэтому внимание, которое в обеих книгах уделяется таким важным условиям оптимальности управленческих решений, как полнота и достоверность используемой информации, социологический анализ и эксперимент.

В статье Ж. Т. Тошенко (сборник АОН) подробно рассматривается сущность социального планирования. Назначение этого метода управления состоит в том, чтобы на

основе глубоко научного познания социальных процессов, их направления, тенденций, темпов и т. п. предвидеть и направлять развитие событий. В нашей стране накоплен немалый опыт социального прогнозирования, составления общих и отраслевых, а также территориальных планов. Автор прав, утверждая, что социальные аспекты всякого планирования сейчас особенно важны. Жаль только, что сам он в конкретном разговоре оставляет многие из них без внимания. В равной мере это касается и статьи Н. В. Паницкова, где разговор о значимости социального эксперимента мало подкреплён показом его практических возможностей.

Выработка правильных, научно обоснованных решений и их последовательная реализация зависит от степени участия масс в управлении. Дело не сводится, понятно, к выяснению общественного мнения. То, что власть принадлежит народу, позволяет ему самому определять организацию управления государственными и общественными делами. Управление производством — функция собственника средств производства. Соединение трудящихся со средствами производства, пишет А. А. Годунов, означает создание таких отношений, когда работники управления находятся в тесной связи с трудящимися, выполняют волю народа, осуществляют его интересы. Общество уполномочило их управлять принадлежащим ему производством.

Важно, чтобы масса оказывала решающее воздействие на подбор кадров управления путём последовательного внедрения выборности, конкурсного замещения должностей и т. д. Равным образом необходимо, чтобы сменяемость и отчетность должностных лиц в полной мере стали незыблемым правилом. И правильно отмечается в книге «Научное управление обществом», что необходимость привлечения масс к управлению диктуется самим характером крупного социалистического производства, которое без хозяйской заботы о нем рядовых рабочих, служащих, колхозников попросту не может развиваться нормально.

При социализме трудящиеся сочетают участие в управлении с непосредственно производительным трудом. Создает ли научно-технический прогресс более благоприятные условия для этого или затрудняет привлечение широкой общественности к решению усложняющихся управленческих за-

дач? Авторы обеих книг отвечают на этот вопрос в положительном смысле. Рост автоматизации и механизации ведет к преодолению «прикованности» работника к своему рабочему месту, требует от него понимания всего производственного процесса. Повышается материальный и культурный уровень граждан, что также облегчает решение ими управленческих задач. Поэтому развитие демократии в наших условиях не противоречит усложнению и специализации управления. К сожалению, этот аспект проблемы в обеих книгах рассматривается лишь в самом общем плане.

Много внимания уделяют авторы характеристике ленинских принципов управления: демократического централизма, личной материальной заинтересованности, учета и контроля. В практике нашего государственного строительства были случаи одностороннего увлечения централизмом и недооценки демократических форм управления. Партия осудила эти ошибки, правильно подчеркивая, что демократия является мощным ускорителем социально-экономического развития.

Каков механизм управления? Как метко подметил А. А. Годунов, в организации общественного труда есть ступенчатая соподчиненность, обеспечивающая единство всех видов управления. Оно как бы делится на ряд концентрических кругов — управление обществом, государством, народным хозяйством, производством и иными сферами, отраслями, подотраслями, предприятием и т. д. Следуя дальше по этому пути, авторы книг могли бы показать реальную связь всех этих процессов управления, их взаимопроникновение. Однако возобладал другой подход: отдельные процессы управления рассматриваются как циклические и относительно замкнутые.

Этим объясняется известная недооценка власти и государственного механизма. Их «сфера» очерчивается весьма узко — поддержание порядка, правосудие, администрация и т. п. Все, что касается производства, подпадает только под экономическое регулирование. Но ведь административно-правовые методы плохи не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они приходят в противоречие с экономикой. Такое противоречие, сколь бы часто оно ни встречалось на практике, нельзя считать неустрашимым. Более того: подлинно широкая самостоятельность производственных коллективов обеспечи-



вается именно благодаря демократичности государственной организации.

Управляющие органы составляют широкую и сложную систему — это правительства Союза ССР и республик, плановые, финансовые органы, министерства, их главки, объединения. Между ними складываются иерархические и весьма динамические связи. Однако практика управления остается вне поля зрения авторов. При этом в иных случаях (особенно в книге А. А. Годунова) заметна тенденция к несколько механистическому описанию управленческих процессов, которые порой оказываются сведены к отношению «команда — исполнение». При таком чисто кибернетическом подходе многосложные социальные и организационные связи явно упрощаются.

Проводя различие между государственными и технико-экономическими методами управления, А. А. Годунов стремится соответственно «расчленить» и самый государственный аппарат. Хозяйственные органы у него относятся к базисной категории, а социально-культурные — к надстройке, хотя в действительности их социальная природа и

назначение одинаковы. С другой стороны, своего рода «суммарный» подход к аппарату в книге под редакцией проф. В. Г. Афанасьева ведет в ряде случаев к стиранию особенностей между Советами, аппаратом управления и общественными организациями. Но ведь в действительности это не просто «набор» органов, а стройная их система с различными подсистемами, взаимодействием центральных и местных звеньев и т. п. В наших исследованиях как раз и не хватает сейчас показа всего механизма управления, а не только связей его отдельных хозяйственных органов с предприятиями. Наука управления требует всестороннего и комплексного подхода к явлениям общественной практики.

Мы коснулись только некоторых из тех проблем, которые рассматриваются в рецензируемых книгах. Обе эти книги отражают нынешний уровень науки об управлении обществом и в известной мере способствуют ее дальнейшему развитию.

**Ю. ТИХОМИРОВ,**

*кандидат юридических наук.*

★

## ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГРАМШИ

**Антонко Грамши. О литературе и искусстве. Перевод с итальянского. Вступительная статья А. Лебедева. «Прогресс». М. 1967. 264 стр.**

Выдающийся марксистский теоретик, новатор и руководитель Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши, погибший тридцать лет тому назад в фашистских застенках, оставил творческое наследие, до сих пор живое для прогрессивных людей всего мира. Издание работ А. Грамши на русском языке всегда становилось общественным событием. Можно не сомневаться, что с таким же интересом будет встречен советским читателем и вышедший в издательстве «Прогресс» сборник А. Грамши «О литературе и искусстве», где собраны статьи, заметки и рецензии, дающие более полное, чем раньше, представление об эстетических взглядах выдающегося итальянского марксиста.

Вопросами литературы и искусства Грамши занимается не просто как литературный критик (хотя у него есть немало страниц, которые украсили бы любую литературно-критическую статью). Он занимается ими и не как искусствовед или ученый-эстетик

(хотя многие его мысли сделали бы честь любому специалисту). К вопросам литературы и искусства Грамши подходит в первую очередь как политический деятель, как руководитель пролетарской партии, ответственной за экономическое и культурное будущее страны. Знакомясь с работами А. Грамши, мы можем заметить, что это тот угол зрения, под которым Грамши вообще рассматривал любой вопрос, становившийся объектом его внимания, — будь то вопрос философский или экономический, исторический или социальный. Об этом своеобразии его теоретической деятельности очень точно сказал Тольятти: Грамши, «несомненно, был наиболее глубоким исследователем вопросов, относящихся к существованию, характеру и деятельности политических партий».

А. Грамши любил вспоминать мысль Маркса: прежде философы лишь объясняли мир, дело же заключается в том, чтобы изменить его. Но он никогда не принадлежал

к «марксистам» того типа, которые совершают ныне «культурную революцию» в Китае и готовы немедленно приступить к изменению мира, не затрудняя себя его объяснением.

Грамши был революционером, и был великим революционером, готовым к жестоким боям. Однако он отнюдь не видел в насилии «универсальное средство», хорошо понимая всю его ограниченность как метода общественного преобразования, как метода созидания социалистического общества. Грамши подчеркивал, что с помощью насилия революционеры могут уничтожить власть сопротивляющихся буржуа и, совершив переворот, прийти к власти сами — это так. Но «революция,— писал Грамши,— не является (обязательно) пролетарской и коммунистической только потому, что она ставит своей задачей и осуществляет свержение политической власти буржуазного государства». Революция еще «не является пролетарской и коммунистической, даже если волной народного восстания у власти поставлены люди, называющие себя (и притом искренне) коммунистами». Революция бывает пролетарской и коммунистической, говорил Грамши, только тогда и только в той мере, когда и в какой «ей удается помогать и содействовать развитию и организации пролетарских и коммунистических сил, способных вести терпеливую и методическую работу, необходимую для построения нового порядка...». В полном соответствии с идеями Маркса, жестоко критиковавшего тех, кто хочет поставить свою волю на место объективных законов, Грамши писал, что «марксистам-коммунистам должна быть присуща психология, которую можно назвать «майэвтической»<sup>1</sup>.

Для Грамши борьба с сектантской идеологией, с доктринами «вульгарного коммунизма» была не просто «внутренним» делом марксизма. «В известном отношении,— писал Грамши,— против некоторых тенденций философий практики<sup>2</sup> (как раз самых вульгарных и потому наиболее распространенных) следовало бы обратиться к той же критике (или тот же тип критики), которой современный историзм (то есть марксизм.— Г. В.) подверг старый критический метод...»

<sup>1</sup> М а й э в т и к а — дословно: родовспомогательное искусство (греч.).

<sup>2</sup> То есть, по терминологии Грамши, приспособлявшего свою лексику к обстановке, в которой писались его «Тюремные тетради», — марксизма.

Грамши ясно понимал, какими бедами грозит революционным завоеваниям «преобразовательная деятельность», желающая, по выражению Герцена, «шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора все, что попадется на дороге». «Пролетарское государство не может быть создано по мановению волшебной палочки,— не уставал повторять Грамши,— это процесс, требующий времени, подготовительной работы», ибо «рабочее правительство не может существовать, если рабочий класс весь целиком не в состоянии сделать исполнительную власть», не в состоянии «следить» за выполнением законов рабочего государства. В противном случае, пишет А. Грамши, не спасет никакой энтузиазм, никакая преданность рабочих масс делу революции, и развитие событий может пойти в таком направлении, что понадобятся «новые, еще более чудовищные жертвы, чтобы обеспечить утверждение государства пролетариев...»

Мощное развитие производительных сил, доведение до высокого уровня культуры и цивилизованности народа — вот что, по мнению Грамши, лежит в основе социалистического строительства, а этого нельзя достигнуть ни прыжком, ни рывком, это достигается лишь «терпеливой и методической работой». Вот почему именно вопросы культуры (наряду и в связи с вопросом о производительных силах) являются, по мнению Грамши, главными, основными вопросами социалистической революции, и вот почему проблемы культуры и культурной революции занимают в творческом наследии Грамши особо важное место.

Нетрудно заметить, насколько близок здесь А. Грамши к Ленину — на новом историческом этапе, применительно к условиям своей страны, он утверждает и развивает те важнейшие положения, которые составляли самое существо ленинского учения о социалистической революции в России, о ее созидательных задачах.

Вопросы эстетического воспитания, вопросы, связанные с развитием литературы и искусства,— существенная и очень важная составная часть этого главного круга проблем, занимавших А. Грамши. О том, какое значение придавал их разработке А. Грамши, свидетельствует и рецензируемый сборник.

Обращаясь к литературе и искусству, Грамши прежде всего ставит перед собой

задачу «определить взаимосвязь между политикой и литературой»; его интересует, «как можно подготовить и вести борьбу, как можно содействовать движению за новую культуру или цивилизацию».

Что же думает Грамши по этому поводу, как, по его мнению, политическая партия может содействовать развитию культуры, литературы и искусства?

Чтобы в полной мере оценить всю глубину ответа Грамши, всю важность его вывода, нужно вспомнить тот период в истории Итальянской коммунистической партии, когда в руководстве партии преобладали «левые» сектанты и догматики. В те годы партия представляла собой, как писали Марчелла и Маурицио Феррара, организацию «почти военного типа. Не допускалось никаких внутрипартийных дискуссий... От членов партии требовалось только одно — выполнять исходящие из центра директивы и ничего больше. Все, следовательно, становилось бюрократическим до предела. Секретарь партии проводил большую часть своего времени за пишущей машинкой, печатал длиннейшие послания с инструкциями для местных организаций, еще более длинные и трудные для переваривания статьи для газет и, наконец, тексты всех речей, которые должны были произноситься в палате депутатов. Местная и личная инициатива душилась...»

Грамши воспитывал коммунистов в ином духе. Он выступал против такого рода «руководства» вообще и против подобного «руководства» литературой и искусством в частности. Он резко осуждал принцип «политического нажима», ставящего «целью заставить искусство своей эпохи выражать определенный нравственный мир». Когда искусство, писал Грамши, становится «преднамеренной» и «предписанной пропагандой», когда энтузиазм писателя «предписан извне», тогда писатель этот уже «является не художником, а слугою, который старается угодить хозяину». И Грамши делает вывод: «художников нельзя создавать искусственно», «угрозой наказания можно подавить волю, но нельзя заставить создать произведение искусства».

В условиях борьбы с левым сектантством Грамши выдвигает и обосновывает положение огромной теоретической важности: «бороться за новое искусство», содействовать его расцвету — это значит в первую очередь бороться за «новую нравственную

жизнь». Создание новой нравственной атмосферы, атмосферы социалистической, пролетарской демократии, атмосферы подлинного равенства и свободы — это и есть важнейшее и решающее условие для расцвета настоящего искусства. «Невозможность искусственно создавать отдельных художников, — пишет Грамши, — означает, следовательно, того, что новый круг культурных интересов (новый уровень общественной нравственности. — Г. В.), за который идет борьба, пробуждая гуманные пристрастия и увлечения, не пробудит неизбежно новых художников».

Эту мысль Грамши поворачивал к читателю и другой, не менее важной гранью: «Если нравственность, за которую идет борьба, является живым и необходимым делом, ее стремление к развитию становится неудержимым, и она породит своих художников. Если же, несмотря на нажим, такой процесс не наблюдается, то это означает, что речь шла о ложной и фальшивой нравственности, о бумажном корпеннии посредственностей, которым обидно, что обладающие большим влиянием, чем они, не согласны с ними. Самый способ постановки вопроса может служить признаком устойчивости культуры и морали». «Наряду с экономической, практической, познавательной деятельностью... наше духовное «я» стремится к развитию эстетической деятельности. Препятствовать свободному развитию этой деятельности равнозначно произвольному ограничению свободы личности...»

Таковы те два главных момента, которые выделяет Грамши в проблеме «искусство и общественная жизнь»: 1) для развития искусства необходима борьба за новую нравственную атмосферу, 2) положение искусства в данном обществе, органичность его развития — показатель устойчивости культуры и морали этого общества.

Итак, новая нравственная атмосфера как начало нового искусства — вот то первое, то главное, что подчеркивает А. Грамши, говоря о задачах марксистов, желающих содействовать развитию культуры и искусства.

Из этого вовсе не следует, что Грамши — в духе либерализма — был вообще против всякого сознательного общественного воздействия на литературный, художественный процесс. Нет, Грамши умел вести борьбу и против догматиков-сектантов, и против либералов — с их пустозвонством о «раско-

ванности», о полной «неприкасаемости» художника.

Да, непосредственное воздействие на процесс художественного развития тоже правомерно и необходимо. Но каким образом?

Главную роль в решении этой проблемы Грамши отводит критике искусства. Причем критика эта должна быть, как он говорит, художественной.

Говоря о «художественной критике», Грамши вовсе не имеет в виду «чисто эстетическую» критику. Для него художественная критика не есть аполитичная критика. Художественная критика — это, по Грамши, одновременно и политическая критика, но от той «политической критики», против которой выступает А. Грамши, ее отличает понимание специфики эстетического, литературно-художественного способа постижения и освоения мира.

Как-то в двадцатых годах один известный тогда политический деятель, выступая перед писателями, говорил: «Я могу увидеть и сказать, что тот черносотенец, а тот либерал с точки зрения общественно-революционной... не будучи совершенно никаким спецом и ни черта не понимая в области художественных форм и вопросов стиля». Это было сказано не без гордости, хотя гордиться тут нечем.

Таких вот критиков, «ни черта не понимающих в области художественных форм», и имеет в виду Грамши, выдвигая свое противопоставление: критика такого рода — «это — не критика и не история искусства и может считаться таковыми только вследствие полного смещения понятий, реакции или застоя, царящих в научной мысли. Такое смещение как раз и сделало бы невозможным достижение тех целей, которые преследуются борьбой за новую культуру».

Художественная критика, стоящая на высоте идеологических принципов марксизма и в то же время профессионально разбирающаяся в искусстве, критика, ставящая перед собой цель непосредственного воздействия на художественный процесс, но основанная при этом исключительно на принципах убеждения, доказательности, демократического обсуждения, — вот, с точки зрения Грамши, единственная форма подлинно партийной критики. И именно она — важнейший метод партийного руководства искусством, не имеющий ничего общего с администрированием.

Говоря о влиянии политики на искусство, Грамши не упускает из виду и другую сторону процесса — воздействие искусства на политику. Он не раз высмеивал самодовольство критиков, полагающих, что только им известна полная и абсолютная истина общественного развития и что поэтому-де они просто обязаны все время правлять искусством — дабы не сбилось оно с пути истинного. Не служанку политики видел Грамши в литературе, а товарища в работе по объяснению и изменению мира. Грамши подчеркивал великую познавательную силу искусства, которое подчас замечает то, что не видно с иной точки обзора, и которое умеет сказать об увиденном с такой глубиной и силой, какая далеко не всегда доступна политику.

И опять-таки советский читатель с особым удовлетворением отметит, что А. Грамши и здесь идет вслед за Лениным, отстаивая и защищая те принципы отношения коммунистической партии к искусству, которые выдвигал Ленин и которые получили такое прекрасное практическое воплощение в деятельности нашего первого наркома просвещения — А. В. Луначарского. Классикам марксизма всегда было свойственно высокое уважение к искусству, глубокое понимание того обстоятельства, что искусство не только надо «учить», но надо и учиться у искусства. Из произведений Бальзака «я даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов-историков, экономистов, статистиков этого периода вместе взятых», — писал Энгельс. «Зеркалом русской революции» назвал Ленин Толстого и призывал революционеров внимательно изучать творчество гениального писателя, чтобы глубже понять ту среду, ту обстановку, в какой им приходится действовать. Вот почему так решительно протестует Грамши против подсказки — что должно, а что не должно изображать искусство, куда может смотреть писатель, а куда — нет. С убийственным сарказмом говорит Грамши о таких «указчиках», обнаруживающих «самодовольное простодушие попугаев, которые, располагая несколькими избитыми шаблонными формулировками, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери». Марксисты-коммунисты заинтересованы в изображении правды действительности, они заинтересованы в том, чтобы писатель смотрел на мир трезво, открытыми, без

шор, глазами. Иначе говоря, марксисты-коммунисты заинтересованы в реалистическом искусстве, задача которого — «выражать все противоборствующие силы, все элементы, находящиеся в состоянии борьбы, противоречия». Ибо только это и есть подлинный реализм.

Мы остановились лишь на нескольких — важнейших, с нашей точки зрения, — мыслях Грамши, в которых выдающийся итальянский коммунист раскрывает основные принципы отношения марксистской партии к искусству. Мы ничего не сказали о многих других аспектах эстетических и литературных взглядов Грамши — богатство его работ поистине неисчерпаемо. Интересующимся мы можем посоветовать обратиться к книге А. Лебедева «Антонио Грамши о культуре и искусстве», в которой разбирается эстетическое наследие итальянского

марксиста, и к материалам состоявшейся недавно в Советском Союзе международной теоретической конференции, посвященной тридцатилетию со дня смерти Грамши.

Выход в свет сборника работ Грамши по вопросам эстетики и критики «вне сомнения», — говорится в предисловии к книге, — явится благотворным фактором в идеологической жизни нашей страны, упрочивая ту традицию в сфере марксистской эстетики и художественной критики, которая на отечественной почве была столь ярко представлена выступлениями по вопросам искусства Ленина, лучшими трудами Плеханова, блистательной деятельностью первого наркома просвещения молодой Республики Советов Луначарского».

Можно только присоединиться к этим словам.

Г. ВОДОЛАЗОВ.

★

## УРОКИ ИСТОРИИ

**Л. И. Гинцберг. Тень фашистской свастики. Как Гитлер пришел к власти. «Наука». М. 1967. 205 стр.**

Линия исторического прогресса знает свои перерывы, остановки и спады. Незначительные для истории в целом (что на масштаб тысячелетий каких-нибудь двадцать—тридцать лет!), они имеют огромное значение для определенного исторического периода и еще большее для современных поколений. Потому люди так настойчиво и стремятся познать свое прошлое, чтобы в большей мере быть хозяевами настоящего и будущего.

Третий век минул со времени воцарения в Германии худшей из худших диктатур XX столетия — нацизма. Свыше двадцати лет прошло после его крушения. Но вновь и вновь ученые, прогрессивные деятели, художники возвращаются к горькому опыту тех лет.

Как могло случиться, что миллионы людей в передовой европейской стране и других странах опутала коричневая паутина? Вопрос этот далеко не праздный для поколения, которое стало свидетелем взрывов ОАС во Франции, истерических речей Рокуэлла и Голдуотера в США, военно-реакционного переворота в Греции и хунвейбиновских бесчинств.

Тревогу за судьбы демократии и социализма разделяет и автор рецензируемой

книги. «...Уроки событий начала 30-х годов (особенно 1932 г.) в Германии чрезвычайно важны, они сохраняют свою актуальность и в наши дни...», — пишет он. Извлечь уроки — значит прежде всего понять существо фашизма, его классовую природу и отличительные социальные признаки. Столь же необходимо выявить силы, которые могли и могут противостоять фашизму.

В противовес некоторым буржуазным историкам, пытающимся обелить меценатов свастики, Л. И. Гинцберг на основании многочисленных фактов, данных печати и архивных документов подтверждает принятую в нашей науке точку зрения: германский фашизм — выкормыш и слуга монополистического капитала, лелеявшего милитаристские планы. Вместе с тем автор раскрывает качественное своеобразие фашизма как особой разновидности буржуазной реакции.

В книге подробно показано, как в обстановке тяжкого экономического кризиса гитлеровская партия стала главной политической силой, сумевшей использовать острое недовольство «простых людей». Именно на миллионы «простых людей» была рассчитана своеобразная логика фашистской демагогии. Нацистская программа была «ясна», в ней все было разложено по полочкам: про-

летариям — справедливая заработная плата, ликвидация безработицы; крестьянам — снижение процентов по ипотечным долгам; мелким торговцам — уничтожение «процентного рабства». Лозунги: «разделение богатства», «общее благо выше частного» и т. д. — сыпались как из рога изобилия.

Если раньше общий тип реакционных режимов был таков: кучка консервативных элементов держится на золоте и штыках, при трудящейся массе, более или менее пассивной и индифферентной, — то теперь далеко идущие цели темных сил требовали еще и «народного энтузиазма». Надо также иметь в виду, что Октябрь семнадцатого года, всколыхнувший трудящихся всего мира, пробудивший в них тягу к активной политической жизни, к социализму, поставил перед международной буржуазией качественно новую задачу: не просто подавлять, а использовать в своих интересах массовое движение. Отсюда берет свои истоки поток омерзительной псевдосоциалистической фразеологии гитлеровцев. «Социализм... — ораторствовал ведущий теоретик нацизма Штрассер, — это дух товарищества плюс принцип производительности». В исследовании показано, что не одними погромами штурмовиков осуществляли национал-социалисты «защиту от большевизма» (как выразилась газета промышленников «Дейче альгемайне цейтунг»), но и пропагандистским насилием над душой и умом рядовых немцев. Они стремились не только поставить народ на колени, но и заставить его при этом благословлять свою судьбу.

Ради осуществления вождельний буржуазии на сей раз появилась невиданная по своему размаху, жестокости и лицемерию политическая организация, жившая своими особыми корпоративными интересами и порой наступавшая на ногу самой буржуазии. Л. И. Гинцберг рассказывает, как в погоне за популярностью будущие диктаторы не стыдились лить крокодиловы слезы по поводу «нарушений конституции» Брюнингом, «разоблачали» правительство Папена. Они грозилась предать суду самого Гинденбурга, участвовали в забастовках, примыкали к демократическим манифестациям. Все это дополнялось массовыми спектаклями шествий и празднеств, ритуальными обрядами восторга, инсценировками искренности, экспериментами над коллективной психологией. Фашизм как форма политической и идеологической реакции наглядно показал

свою готовность ридиться в какие угодно одежды для достижения своих кровавых целей. Гипнотические речи о «всеобщем благе» призваны были затушевать подлинную классовую природу фашизма, его истинное назначение, заключающееся в том, чтобы обслуживать интересы буржуазно-бюрократической верхушки общества.

Можно ли было остановить фашизм?

Автор исследования отвечает на этот вопрос утвердительно. Реакционные силы оказались хозяевами положения лишь потому, что «не был преодолен раскол пролетариата, не были устранены взаимное недоверие и отчуждение в рабочей среде». Кровавая диктатура не восторжествовала бы, если бы ей противостоял объединенный демократический фронт.

Значительной политической силой Веймарской республики была социал-демократическая партия. Она вела за собой большинство рабочего класса. Она контролировала власть в Пруссии, располагала военизированными отрядами «Рейхсбаннер». Но руководство партии, продолжая оппортунистический курс II Интернационала, все больше проникалось духом прислужничества перед буржуазией. Ориентация на сотрудничество с правящими кругами, неуклонно эволюционировавшими вправо, привела к идеологическому разоружению партии в условиях всеобщего кризиса и фашизации страны. Призывы социал-демократических лидеров к «мирной конституционности» выглядели наивным анахронизмом перед демагогическим натиском гитлеровцев. Не случайно на выборах социал-демократия пядь за пядью уступала свои позиции нацистской партии.

Что касается немецкого либерализма (удельный вес которого был невелик), то он под напором реакционных сил совсем стухнул. Л. И. Гинцберг отмечает тот факт, что к концу 1932 года фашистам удалось прибрать к рукам все «срединные» буржуазные партии — Народную, Государственную, Хозяйственную и другие.

Нерешительные и уступчивые по отношению к реакционной буржуазии, руководители социал-демократии были, однако, непримиримыми к левым силам, особенно к коммунистической партии, представлявшей в их глазах чуть ли не большую угрозу демократии, чем нацисты. Антикommунизм владел социал-демократическими лидерами даже тогда, когда к их горлу был уже приставлен

фашистский нож. Автор рассматривает один за другим акты капитулянтской политики вождей СДПГ, отмеченной в то же время печатью междоусобной вражды: отказ выставить социал-демократическую кандидатуру на президентских выборах в марте 1932 года, хотя именно социал-демократ, поддержанный коммунистами, безусловно, вышел бы победителем; запрещение низовым организациям брать на себя всякую инициативу в установлении единства с КППГ; бездействие 20 июля, когда реакция пинком вытолкнула за дверь прусское правительство социал-демократов Брауна — Зеверинга; отказ от единого фронта, от всеобщей забастовки. И потом — после рождества тридцать третьего года, в канун «рождества» фашистской диктатуры, — из уст лидеров социал-демократии льются прежние молитвы вправо, гремят прежние анафемы влево. На другой день после прихода Гитлера к власти социал-демократы заявили, что они «копируются обеими ногами на почву конституции и законности» и «не оставляют эту почву первыми»...

В цитируемом Л. И. Гинцбергом «Очерке истории германского рабочего движения», одобренном ЦК СЕПГ, сказано, что главную ответственность за раскол рабочего класса и народных сил несут правые руководители СДПГ и профсоюзов. Именно при их повторстве стало возможным установление фашистской диктатуры. Но в известной степени объединению рабочего класса препятствовали и сектантские ошибки КППГ, сущность которых автор рецензируемой книги также разъясняет читателю.

Ошибки эти были бедой не только немецких коммунистов, но и всего международного коммунистического движения конца двадцатых — начала тридцатых годов. В условиях послевоенной стабилизации капитализма и нарастания фашистской опасности, когда первоочередной задачей стало сохранение общедемократических свобод, установка на непосредственную подготовку социалистической революции, лозунги «класс против класса», «пора борьбы за бифштекс миновала», «чем хуже, тем лучше» сослужили плохую службу рабочему движению. Особенный урон делу объединения трудящихся нанесли попытки создания самостоятельных «красных» профсоюзов и огульное отнесение всех некоммунистических группировок к «социал-фашистам». «Теперь уже нет сомнений, — говорилось в циркулярном

письме секретариата ЦК КППГ в феврале 1932 года (этот отрывок приводится в рецензируемой книге), — что все буржуазные группировки от Гитлера до социал-демократии включительно едины в основах и классовом характере своей политики против пролетариата». При этом главный удар направляется именно против левых социал-демократов, которые считались труднее различимыми, а потому «опаснейшими представителями социал-фашистской политики». Подобная тактика приводила к изоляции КППГ, помогала оппортунистическим вождям поддерживать в рядовых членах социал-демократической партии антикоммунистические настроения.

А ведь именно в контакте с низами рабочей социал-демократии, с крестьянами и ремесленниками, с такими антифашистскими общественными деятелями, как К. Осецкий и публицист Г. Кесслер, с прогрессивными писателями, учеными и т. д. заключалась реальная возможность разгромить фашизм. Л. И. Гинцберг приводит немало фактов, когда единые действия коммунистов и рабочих социал-демократов (почти во всех случаях организованные коммунистами) давали великолепные результаты. Сектантские ошибки помешали использовать и противоречия — подчас довольно острые — в буржуазных правящих кругах.

И хотя в 1932 году левацкая группа Неймана — Реммеле в КППГ была разбита, «сектантские настроения слишком сильно укоренились и их пагубное влияние продолжало сказываться и в последующие месяцы, мешая партии использовать все возможности для сплочения противников фашизма», — говорится в книге. Забил тревогу VII конгресс Коминтерна, выдвинувший как главную задачу партии программу организации народного фронта. Но было уже поздно.

В анализе деятельности КППГ Л. И. Гинцбергу не изменяет чувство меры. Он указывает, что, несмотря на серьезные ошибки, она была «единственным последовательным, принципиальным и неутомимым борцом против реакции и фашизма...». И автор книги, и мы, читатели ее, преклоняемся перед героизмом таких людей, как Эрнст Тельман, Эрнст Шнеллер, Георг Шуман. Но во имя настоящего и будущего коммунисты сегодня должны извлечь уроки из опыта тридцатых годов — особенно потому, что и по сей день встречаются люди, закрывающие глаза на реальные факты и факторы со-

временной общественной борьбы. Они с ожесточением выступают против «умеренности», «либерализма» — и с удивительной беспечностью отмахиваются от противников справа, которых-де «масса отлично понимает» и потому разоблачением целей и тактики их якобы не стоит заниматься. Они не прощают возможным своим союзникам малейших несогласий с их взглядами. Они готовы день и ночь обличать буржуазную демократию — и оказываются перед фактом ликвидации элементарных свобод. Таким деятелям можно напомнить замечательные слова В. И. Ленина: «Было бы коренной ошибкой думать, что борьба за демократию способна отвлечь пролетариат от социалистической революции, или заслонить, затенить ее и т. п. Напротив, как невозможен победоносный социализм, не осуществляющий полной демократии, так не может подготовиться к победе над буржуазией пролетариат, не ведущий всесторонней, последовательной и революционной борьбы за демократию»<sup>1</sup>. Верность этому завету подтверждают в последние годы совещания братских коммуни-

стических партий, взявших курс на соединение борьбы за социализм с борьбой за демократию.

Книга Л. И. Гинцберга, надо полагать, с интересом будет встречена читателем. К ее несомненным достоинствам относится обилие фактического материала, архивных данных, логичность и четкость изложения. Ценность исследования, как мы говорили, заключается также в его актуальности. Факты, приводимые Л. И. Гинцбергом, учат сторонников подлинного прогресса во всем мире — коммунистов и тех деятелей, которые хотят бороться за демократию не на словах, а на деле, — тактической мудрости, умению уплотиться вокруг общего дела — борьбы с реакцией. Особенно это относится к многочисленной среде демократической интеллигенции, искренне настроенной против реакции и фашизма, но разъединенной, зараженной цеховой ограниченностью, антимарксистскими и антикоммунистическими предубеждениями.

Осторожно: правая опасность! — еще раз напоминает книга Л. И. Гинцберга.

**В. ЕРМАКОВ.**



## АНГЛИЯ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

**Н. А. Ерофеев. Закат Британской империи. «Мысль». М. 1967. 279 стр.**  
**В. О с и п о в. Британия. 60-е годы. Полнтиздат. М. 1967. 303 стр.**

Книги, о которых пойдет речь, посвящены современной Англии. Автор первой из них — историк, автор второй — журналист.

Книга Н. А. Ерофеева — результат многолетних занятий автора историей Британской империи. Несколько лет тому назад была опубликована другая его работа, также научно-популярного жанра: «Империя создавалась так...». Новая книга, полезная и интересная, является как бы ее продолжением.

Свой рассказ Н. А. Ерофеев начинает с 1919 года. В то время казалось, что Британская империя еще полна сил и могущества.

По всему свету разбросаны были английские колонии, военные и военно-морские базы. Британский флот — едва ли не самый могущественный в мире — бороздил просторы морей и океанов, готовый в любую минуту обрушить шквал огня на тех, кто попытался бы оспорить английское колониальное господство. Английские политики и пропа-

гандисты неустанно твердили о цивилизаторской миссии, которую Англия якобы несет отсталым народам, «взвалив на себя тяжкое бремя — «бремя белого человека». Под прикрытием пушек и под журчание лицемерных речей британские империалисты беспощадно грабили колониальные страны. Нефть, золото, драгоценные металлы, сырье для промышленности стекаются на Британские острова. В колониях искусственно задерживалось экономическое развитие, они сознательно были превращены в аграрно-сырьевые придатки метрополии. Нищенская заработная плата местным рабочим позволяла английским капиталистам извлекать баснословные прибыли.

Шаг за шагом автор знакомит нас с тем сложным и огромным (более тридцати семи миллионов квадратных километров территории, почти полмиллиарда населения) экономическим, политическим и социальным организмом, который именовался Британской империей, с ее структурой — доминионами,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 253.



колониями, протекторатами, объясняет своеобразие исторического пути, пройденного ими.

Подробно анализирует затем Н. А. Ерофеев причины упадка Британской империи, и в первую очередь роль национально-освободительного движения. Весьма поучительными представляются те страницы книги, где разбираются маневры британского империализма в Индии, предпринятые для удержания ее в составе империи.

Следует заметить, однако, что, в целом правильно освещая ход событий и внутренние их причины, автор порой впадает в преувеличения. Трудно согласиться с таким его утверждением: «Объективно деятельность Ганди, удерживавшая народ от активной борьбы, служила интересам англичан». Не убеждает в этом и цитата из книги американского историка, на которую ссылается Н. А. Ерофеев. Некоторое упрощение допущено и в объяснении ближневосточного узла противоречий.

Процесс распада империи резко усилился после второй мировой войны. В результате упорной народной борьбы обрели независимость Индия, Бирма, Цейлон. Последним резервом Британской колониальной империи оставалась Африка. В середине пятидесятых годов Англия еще владела 44 процентами всей площади африканского материка, на которой проживало 55 процентов населения Африки. Но и здесь освободительное движение развивается стремительными темпами. Н. А. Ерофеев останавливается на основных его этапах.

Англия пыталась проводить в Африке дифференцированную политику: в ряде колоний составлялись конституции и торжественно объявлялось, что отныне единственной целью англичан будет подготовка населения к предоставлению стране независимости. В Сьерра-Леоне, в колонии Золотой Берег, в Нигерии, а затем и в Уганде, Танганьике, Кении были созданы ответственные национальные правительства. Поделившись частично властью с африканцами, англичане рассчитывали удержать их в составе Британской империи. Но африканцы устремились к достижению полной независимости. И нажим национальных сил то и дело заставлял колонизаторов отступать.

В отличие от азиатских африканские колонии Англии добились политической независимости сравнительно быстро, хотя в ряде случаев и не без кровавых жертв.

Н. А. Ерофеев подчеркивает, что английская буржуазия учла опыт национально-освободительной борьбы Индии, Бирмы и стран Ближнего Востока. Теперь Англия прибегла к тактике превентивных уступок, что позволило ей во многих случаях сохранить свои экономические и политические позиции. Гибкость политики английской буржуазии проявилась в Африке и в том, что здесь она решительно пошла на сближение с национальной буржуазией.

Анализируя английскую политику в Африке в пятидесятые и шестидесятые годы, Н. А. Ерофеев приходит к следующему интересному выводу: «...потеря политического господства над бывшими колониями отнюдь не ослабляла английский империализм. Потеря империи в Африке... означала не крушение колониализма вообще, а крушение старого колониализма».

В наше время Англия все еще является обладательницей двух с лишним десятков колониальных владений — островов или кусков морского побережья с территорией 1,6 миллиона квадратных километров и с населением в одиннадцать миллионов человек. Эти «обломки империи», как называет их автор, имеют для Англии главным образом стратегическое значение. Но самое главное — английской буржуазии удалось сохранить «содружество наций», это «удивительное сооружение», как именует его Н. А. Ерофеев, частями которого являются и бывшая метрополия, и бывшие доминионы, и бывшие колонии. Это организация, где все участники формально независимы и равноправны. Здесь не принимаются решения, обязательные для всех, а происходит лишь согласование политики на регулярно созываемых имперских конференциях. Что же объединяет разнородных участников «содружества»? По мнению Н. А. Ерофеева, дело тут в ряде экономических и политических выгод. Единая таможенная система, единство стандартов и валюты обеспечивает ее участникам существенные преимущества. Определенную роль играет и возможность интенсивного обмена информацией в экономической и политической областях, а также использование английских капиталовложений.

В недрах «содружества» протекают сложные процессы. «Все находится в состоянии непрерывного движения. В результате ментальный снимок невозможен; он тут же оказывается неверным и может лишь ввести в заблуждение. Ясно одно, — заключает

автор,— старая Британская империя, построенная на угнетении и насилии, рухнула безвозвратно под тяжестью своих преступлений».

Как живет нынешняя Британия? На этот вопрос попытался ответить в своей книге Владимир Осипов.

Видно, так много наблюдений накопилось у В. Осипова за пять лет, проведенных в Англии в качестве корреспондента «Известий», что «втиснуть их в одну небольшую книгу оказалось делом чрезвычайно сложным. Автор постарался показать страну и людей, населяющих ее, под разными углами зрения. Он знакомит нас с повседневной жизнью, сопровождает по улицам города, вводит в жилища, заставляет совершить прогулку на «даблдекере» — двухэтажном лондонском автобусе, спуститься в метро или, подняв зонтик, остановить гордого своей профессиональной сноровкой шофера лондонского такси. Делает это В. Осипов легко, непринужденно, рассказывая попутно какую-нибудь занимательную историю.

Ему удалось оживить для читателя такие понятия, как Вестминстер, Сити, Уайтхолл, рассказать об английских «устоях». В. Осипов просто и доходчиво объяснил, на чем основана власть в Англии, и кто олицетворяет ее, и кто реально держит в руках бразды правления, и почему эта власть относительно устойчива. А она действительно устойчива, несмотря на коренное изменение в положении Англии после второй мировой войны и на утрату ее былых возможностей.

Очевидно, немалую роль в этом играет тщательно оберегаемый принцип преемственности, согласно которому при переходе власти от одной политической партии к другой «устои» этой власти остаются неизменными. Этому же принципу пока еще в значительной степени подчинена и система образования. В. Осипов описывает, например, разработанную до мельчайших деталей и проверенную опытом десятилетий систему обучения в привилегированных школах и колледжах — государственных и частных. Здесь не дают поблажек юным отпрыскам даже самых богатых или знатных фамилий. От всех в равной степени (хотя попадают в эти учебные заведения по принципу неравенства) требуют выработки волевых качеств организатора и лидера, прочных знаний, умения практически их применять, логически мыслить и полемизировать. Жест-

кая система физической подготовки должна подкрепить духовную цельность воспитанников. Все это действует в целом безотказно. Это, как правильно подчеркивает автор, система классовая и именно потому, если угодно, бескомпромиссная.

Интересны и другие наблюдения, сделанные В. Осиповым. Он, к примеру, отметил особую роль профессионализма в жизни Англии, хотя сам и не пользуется этим словом и не обобщил свои впечатления. Так, профессионализм рабочих выражается в высоком качестве того, что они производят. Что касается профессионализма политиков, то хотя автор считает обладание им в наше время «достоинством крайне сомнительным», факты, приведенные им самим, отнюдь не подкрепляют его позиции. Вот что он пишет: «Времена, когда сложные проблемы хозяйствования и развития производства и науки находились вне сферы ответственности британского парламента, ушли, видимо, в безвозвратное прошлое, теперь эти проблемы требуют не только внимания, но и соответствующих решений от депутатов Вестминстера». Но ведь усложненность жизни как раз и требует от политиков, в данном случае от членов парламента, профессионализма. Ни один депутат не может обладать необходимыми знаниями для решения всех вопросов — для этого к его услугам эксперты, — но он должен обладать достаточным политическим опытом и здравым смыслом, чтобы понимать место и роль той или иной проблемы в жизни страны. Это и есть главное профессиональное качество депутата, будь он бизнесмен или лендлорд, летчик или служитель церкви. И этот профессионализм политика является отнюдь не сомнительным достоинством. Другое дело, конечно, кого избирают в парламент.

Автор старается объективно оценить роль парламента в Англии. Правящие классы, пишет он, считают парламент наиболее гибкой, надежной и приемлемой формой буржуазной демократии, проверенной временем и отточенной. Парламент — это и предохранительный клапан для отвода опасных идей. В то же время парламент «дает отличную возможность «проветилировать» тот или иной шаг, тот или иной законопроект прежде, чем сделать его законом...»

Поучительна, с точки зрения профессионализма, и деятельность Сити. Автор рассказывает, как сложнейшие финансовые

операции на много миллионов фунтов стерлингов производятся путем телефонных переговоров, без какой-либо бумажной волокиты. Производство и сфера обслуживания также избавлены от потока «входящих» и «исходящих». Для того чтобы отдать необходимое распоряжение, достаточно снять телефонную трубку... Слово ценится и ему верят.

И тем не менее, автор приходит к неутешительному для англичан мнению: «Еще сильная в абсолютных категориях, Британия по сравнению со своими ближайшими соперниками скользит по наклонной плоскости».

Признаки такого «скольжения» автор видит в дефиците платежного баланса, в иностранных займах, в усиленном притоке американских капиталов в английскую промышленность и переходе ряда ведущих предприятий во владение американских бизнесменов. Отстает Англия, по мнению автора, и в области организации производства и степени модернизации старых отраслей промышленности.

Во всем этом сказываются чрезмерные траты на поддержание военной мощи страны (2 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно). Кроме того, по мнению автора, неблагоприятно отражается на состоянии экономики страны усиленный вывоз английских частных капиталов за границу, в то время как в самой Англии ощущается недостаток в национальных инвестициях. В. Осипов указывает и на те сложные проблемы, с которыми Англия столкнулась в отношениях с континентальной Европой. Тем не менее, он не предвещает скорой утраты Англией ее теперешнего положения в мировой экономике, равно как и не предсказывает на ближайшее будущее коренных изменений в ее общественном строе. Потеряв свою колониальную империю, утратив роль всемирного кредитора и сама превратившись в должника, зависящего в значительной степени от Соединенных Штатов, Англия продолжает оставаться одним из ведущих государств капиталистического мира.

События последних месяцев подтвердили вывод В. Осипова о неустойчивости экономического положения Англии. Сложность ситуации, в которой оказалась Англия, показывает, между прочим, что в наше время проведение политики, выходящей далеко за рамки подлинно национальных интересов, не имеет сколько-нибудь длительной пер-

спективы. С большим запозданием, вынужденно, под влиянием серьезных экономических затруднений правящие круги Англии пересматривают свою политику. Решено оставить базы к востоку от Суэца, сократить расходы на вооружение. Будь эти меры приняты своевременно, они, возможно, оказались бы достаточно эффективными. Но решение опоздало. Прибегли и к традиционно-буржуазным методам: сокращению расходов на социальные нужды. Вновь пострадали, как уже пострадали от девальвации фунта, широкие слои народа. Видно, еще немало жертв придется принести англичанам, чтобы более или менее стабилизировать свою экономику.

С симпатией пишет В. Осипов о тех, кто создает национальное богатство Британии своим трудом, опытом и умением. В. Осипову удалось создать полнокровный образ современного англичанина, который трудится, радуется, страдает, развлекается и размышляет.

В англичанах удивительно соседствуют два, на первый взгляд как будто несовместимых, качества: доведенный до превосходной степени индивидуализм в частной жизни и активное участие в делах, представляющих общественный интерес. Организованное рабочее движение охватывает девять миллионов человек. В. Осипов описывает знаменитые олдермастонские марши против ядерного вооружения. «С утра в субботу полил дождь, нудный, холодный. Но общее число участников марша увеличилось до 17 тысяч человек. В воскресенье снова дождь. И снова прирост в колоннах».

Современная Британия полна противоречий. «Это страна в зале ожидания...— пишет В. Осипов,— страна, мучительно расстающаяся с прошлым и еще не уяснившая своего будущего».

История Англии последних лет убедительно подтверждает старую истину: успех любой политики определяется в немалой степени ее соответствием духу времени. Политика же, связанная так или иначе с претензиями на управление миром или хотя бы частью его, которой упорно следовала Англия, стала анахронизмом.

Книги Н. А. Ерофеева и В. Д. Осипова, написанные с большим знанием дела, помогут нашему читателю составить себе правильное представление об Англии наших дней.

**А. НЕКРИЧ.**

## ЗАГАДКИ СФИНКСА БУДУТ РАЗГАДАНЫ

Рэм Петров. Сфинксы XX века. «Молодая гвардия». М. 1967. 208 стр.

В Большой Советской Энциклопедии сказано, что иммунитет — это устойчивость организма к действию болезнетворных микробов и их ядовитых продуктов. Во многих справочниках, словарях можно прочитать, что иммунология является наукой о невосприимчивости людей и животных к инфекционным болезням — именно и только инфекционным. Правда, соответствующие тома БСЭ вышли более десяти лет назад. Однако даже сейчас вы можете услышать от студента-медика те же формулировки.

Да, если оглянуться назад и обратиться к истории иммунологии, этой сравнительно молодой науки о защитных силах организма, то мы увидим, что долгое время усилия исследователей были действительно сосредоточены почти исключительно на изучении и предупреждении заразных болезней, и их с полным правом можно было называть тогда «охотниками за микробами». Но сегодня это не так: инфекционная иммунология стала только частью общей иммунологии, одним из ее разделов. И отряды иммунологов ведут свои изыскательские работы на такой обширной площади, на таких неожиданных и отдаленных участках, о каких они раньше и не помышляли.

Если в восьмидесятых годах прошлого века родилась связанная с именем Пастера инфекционная иммунология, то в 1898 году два ученых одновременно (бельгиец Борде и русский Чистович) доказали, что силы иммунитета могут работать не только против бактерий, но и против любого инородного тела или вещества биологического происхождения. Иммунитет начинает бороться, ковать оружие против всего чуждого, что попадает во внутреннюю среду организма, — такова закономерность. Определенные клетки и ткани, входящие в иммунологическую систему организма, реагируют на чужую кровь, чужую ткань, чужие белковые вещества, стремясь устранить «незваных гостей», защищая целостность организма, его индивидуальность. Некоторые клетки «бойцы» непосредственно участвуют в схватке, пожирая врагов (фагоцитоз, открытый Мечниковым); другие виды клеток в случае нужды превращаются в мощные «оборонные заводы» по производ-

ству «снарядов», специально приспособленных для поражения данного врага. Борьба с инфекцией, как выяснили ученые, всего лишь частный случай: поскольку микроб тоже чужеродный биологический агент, постольку иммунитет карает и его.

Об этом — и о многом другом — рассказывает молодой ученый Рэм Петров в своей научно-популярной книге «Сфинксы XX века», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в серии «Эврика» (серия эта, к слову сказать, уже успела заработать неплохую репутацию у любознательных читателей).

Рэм Петров пишет увлеченно, живо и доступно, не чурается юмора, шутки. Книга радует хорошим полемическим задором, активной любовью ко всему ищущему, от важному в науке.

Великая защитная система, благодаря которой существует человек и все живое, бывает, оказывается, не только полезной. В отдельных случаях иммунитет, наш друг и защитник, мешает, причиняет вред. Когда он, скажем, по какой-то еще не очень ясной для науки причине неожиданно начинает направлять удары против отдельных клеток и тканей своего же организма, безжалостно преследуя и истребляя их как нечто чужеродное (при этом возникают тяжелые и опасные аутоиммунные заболевания). Или когда иммунологический Аргус, следя за постоянством внутренней среды, не позволяет хирургу успешно пересадить больному чужой орган взамен поврежденного, хотя эта операция жизненно необходима, является, возможно, единственным шансом на спасение. Но армию иммунитета не «переубедишь», для нее незыблем принцип: «Индивидуальность превыше всего, все чуждое — чуждо!» Так возникает знаменитая проблема несовместимости, невозможности обмена тканями, органами между двумя, казалось бы, очень схожими людьми. Так сугубо теоретические, интересные, но на первый взгляд довольно отвлеченные исследования неожиданно оказываются самым тесным образом связанными с практикой, выходят на передний край современной медицины.

Кстати, Рэм Петров в одном из своих отступлений-раздумий задорно выступает

против вульгарного практицизма, отвергает примитивное и вредное разделение единого научного потока на «чистую науку», к которой надо относиться вроде бы настороженно, и сугубо конкретные, «заземленные» исследования, которые надо всячески приветствовать. При такой установке иной раз получается, что за «чистую науку», оторванную якобы от жизни, бьют крупного ученого, а под маркой «немедленного внедрения в практику» процветает приспособленец, спекулянт.

Вообще отступления автора, в которых он свободно раздумывает «по поводу», иной раз очень интересны. В одном из них Р. Петров высказывает свою точку зрения на то, каковы должны быть научные дискуссии, споры между учеными; другое посвящено соотношению между теорией и практикой. Запоминается оригинальное рассуждение о роли удачно выбранного научного термина, о его влиянии на судьбу открытия, изобретения и о том, каким требованиям этот термин должен отвечать («емкость, привлекательность для большинства, образность, не искажающая научной сути»). Но, пожалуй, наибольший интерес представляют все же те из авторских отступлений, которые отданы морально-этическим проблемам. Автор размышляет о нормах поведения настоящего ученого, о его нравственной, гражданской позиции, об отношении к работе, к жизни, к союзникам и оппонентам, к неудачам и успехам. Без этого книга была бы неполной, утратила что-то существенное в своем звучании.

Но пора вернуться к основной ее теме. 1953 год стал важной вехой в истории иммунологии: усилиями нескольких ученых было обнаружено принципиально новое явление. Вот его суть. Было известно: проникновение «чужака» в организм взрослого животного ведет к активизации иммунологического войска, к объявлению войны. Стало известно: контакт эмбриона, зародыша животного, с тем же чужеродным агентом (его называют антигеном) не порождает иммунологических битв, зародыш относится к нему нейтрально, терпимо. Но самое главное — иммунитет к этому антигену выключается на всю жизнь! Это явление, аналогичное иммунитету, но с обратным знаком, назвали **толерантностью**, то есть терпимостью.

Но, если вдуматься, толерантность — это же брешь в неприступной твердыне имму-

нитета! Вот почему ее так активно изучают. Сегодня перед иммунологами стоит задача научиться всесторонне управлять иммунитетом, уметь, когда нужно, приглушать его или даже подавлять совсем. Если раньше иммунитет только стимулировали, подстегивали, то теперь человек учится его укрощать. Иначе не перемахнуть через барьер тканевой несовместимости!

Тайны управления иммунологической системой еще по-настоящему не разгаданы. Но понемногу накапливается опыт «борьбы против иммунитета». Наметилось несколько путей, ведущих к одной цели. Можно приучать эмбрион или новорожденное животное к постоянному введению разнообразного чужеродного материала, пробуя создать таким образом поливалентную толерантность, терпимость к тканям многих доноров. А можно одновременно подавлять все защитные реакции организма, используя для этого химиотерапию или ионизирующее облучение, чтобы именно в этот момент произвести пересадку. Наука уже может создавать животных-химер, животных-сфинксов, в которых мирно сосуществуют различные, иммунологически несовместимые клетки, — такие животные относятся толерантно, терпимо к чужеродным подсадкам.

Но вот беда, с которой пока не умеют справиться: или развивается реакция «трансплантат против хозяина» и в дальнейшем животное хиреет, гибнет, или же, наоборот, получает преобладание реакция «хозяин против трансплантата», и тогда в конечном итоге трансплантат все же отторгается, чуждое остается чуждым.

«Признание собственного несовершенства — это не поражение. Наоборот, в таком признании сила», — подводит итог Р. Петров. Поисковые работы продолжаются, найденные методы, еще недостаточно надежные и проверенные, отрабатываются, совершенствуются, снова и снова проверяются в эксперименте. И кто знает, может быть, читатель этой книги, сегодняшний старшеклассник или студент, будет в числе тех, кому выпадет честь участвовать в решающем победоносном штурме, когда на крепостной стене твердыни иммунитета появится наконец белый флаг. Но будет ли этот штурм последним? Встанут новые задачи, возникнут новые трудности, проявятся новые темные пятна неизвестного, неизведанного...

Существует стандартная фраза: «Наряду с достоинствами нельзя не отметить и недостатки». К сожалению, она сохраняет силу и в этом случае. Книга «Сфинксы XX века» написана неровно, есть в ней рядом с удачными страницами, точными образными находками и слабые куски, есть упущения. Не очень четко и слишком бегло рассказано о гуморальных, жидкостных факторах естественного иммунитета; хотелось бы более серьезного, основательного разговора и об основных механизмах клеточной защиты. Похоже, что эти «начальные положения» теории иммунитета, эту «азбуку иммунологии» Р. Петрову просто скучно излагать, и он торопится, отделяется скороговоркой. Но это все ведь крайне важно для восприятия дальнейшего.

Почти ничего не сказано насчет иммунопатологий и борьбы с ними (а это уже не

азы, тут начинается область сложных и спорных вопросов, больших нерешенных проблем).

Есть и другие «небрежения», как говорили в старину. Но когда повествование от «борьбы за иммунитет» переходит к «борьбе против иммунитета», когда речь начинает идти о барьере несовместимости, о создании животных-сфинксов, о том, что уже сделано в этом направлении и что еще предстоит сделать, Р. Петров не прибегает к скороговорке. Материал изложен старательно, любовно, очень обстоятельно — недаром ему отдана чуть ли не половина книги.

Рэм Петров перечитал вместе с нами несколько страниц из обширной и увлекательной книги иммунологии. Будем ему благодарны за это.

**Наталья СОКОЛОВА.**

★

## ГЛАЗАМИ «ФУТУРОЛОГА»

**Н. М. Кейзеров. Власть без будущего. Критика буржуазных теорий о будущем государства и права. «Юридическая литература». М. 1967. 167 стр.**

Работа Н. М. Кейзерова знакомит читателя с современными (главным образом французскими) буржуазными теориями государства и права, концепциями о будущем государства, перспективами развития государственных правовых явлений и институтов, с реформистскими теориями улучшения некоторых элементов буржуазной демократии, а также с новейшими социальными утопиями в традиционном жанре романа. Все эти буржуазные теории и утопии подвергаются в книге Н. М. Кейзерова острой и в ряде случаев серьезно аргументированной критике.

«Современность» рассматриваемых Н. М. Кейзеровым буржуазных теорий, их «новая ориентация» состоит, по утверждению видного французского специалиста по политической науке М. Дюверже, в известном отходе от догматизма и юридической нормативности. Речь идет о расширении традиционного поля исследований, а также о связи изучения политических явлений и институтов с конкретной социальной средой, в которой они существуют. Таким образом, современная политическая наука являет собой своеобразный синтез юриспруденции и социологии.

Автор книги «Власть без будущего» ци-

тирует слова известного французского писателя Жюль Ромэна: «Куда мы идем, пассажиры планеты?» — обратившегося с этим тревожным вопросом к своим читателям. Проблемы будущего ставятся в современной политической науке Запада весьма часто и остро. Особенно подробно рассматривается природа власти в современном государстве и ее перспективы («Именно теперь феномен власти больше всего привлекает внимание теоретиков публичного права и представителей политической науки», — пишет французский социолог М. Альбек). По свидетельству Н. М. Кейзерова, буржуазные социологи особенное внимание уделяют проблеме «конформизма», пытаются понять, почему, скажем, гражданин подчиняется жандарму, сборщику налогов, директору фирмы и т. д.

Автор показывает, что большинство буржуазных теорий власти носит вневременной и внеклассовый характер. М. Марсаль, например, рассматривает политическую власть как «естественный феномен», присутствующий во всех общественных явлениях («в отношениях между учителем и учеником... официантом и клиентом, между лошадью и всадником и т. п.»). Он определяет власть как «возможность заставить повиноваться»,

утверждает, что она коренится в биологической структуре не только людей, но и животных. А французский социолог А. Поз приходит к выводу, что основа власти заключена «во врожденной потребности людей быть руководимыми». Его соотечественник Р. Мензес строит свою концепцию власти на неофрейдистском истолковании психологической природы человека, «находящегося во власти необузданных, хаотических страстей и подсознательных импульсов». По Р. Мензесу, власть призвана предохранить мир «от разгула этих страстей и импульсов», впрочем, «направленная... против хаоса страстей», она лишь порождает, по его мнению, «в свою очередь новый хаос». Только к субъективным моментам сводит суть характера власти и правовед Ж. Бурдо, который утверждает, что каждая форма власти «является одновременно обещанием и залогом определенного будущего, и поэтому люди мирятся с властью, подчиняются ее авторитету и вообще для этого ее создают».

Н. М. Кейзеров приводит длинный перечень разновидностей власти, составленный М. Марселем: коллективная и персональная, личная и анонимная, официальная и неофициальная, охранительная и функциональная, физическая и рациональная, абсолютная и относительная. Но, подробно и порой интересно рассматривая эти разновидности, буржуазная социология чаще всего отрицает связи между социальной и политической сферами жизни, что дает простор всякого рода субъективистским теориям.

В последнее время на Западе возросло также количество исследований, посвященных анализу методов осуществления власти (физического насилия, различных средств идеологического воздействия). А. Мейерхофф в книге «Стратегия убеждения» предлагает возможно шире использовать искусство убеждения: обладание вниманием, разжигание интереса, стимулирование действия и т. д. По мнению А. Мейерхоффа, «убеждение представляет навязчивое повторение изо дня в день определенной идеи до тех пор, пока она не воспринята».

Н. М. Кейзеров останавливается на работе М. Дюверже, подробно анализирующего убеждение. М. Дюверже видит два момента убеждения: рациональный — когда индивиды приходят к пониманию необходимости власти и повиновения, «ибо никакая социальная группа не может жить без поли-

тической власти, которая поддерживает в обществе минимум порядка»; и иррациональный — когда политической власти повинуются потому, что это стало уже естественной привычкой, «ибо индивиды воспринимают принуждение и руководителей как фатально неизбежный феномен». По сути дела, резонно замечает Н. М. Кейзеров, даже то, что буржуазные социологи рассматривают как убеждение, на самом деле является принуждением «в форме духовного гнета и порабощения».

Буржуазные правоведы тратят немало усилий для дискредитации социалистической государственности и правопорядка. Утверждая, что в условиях социализма государство и общественные организации посягают на свободу личности, М. Дюверже, например, рисует такую устрашающую картину: «Человек теряет личную свободу, автономию и становится элементом социальной структуры; он совсем не имеет возможности оппозиции. Прием в эти организации теоретически свободен, но тот, кто не вступил в них, рассматривается как подозрительная личность. С другой стороны, доставление материальных благ, пищи, одежды, билетов, мест в театре и кино может осуществляться только через эти организации, и это вынуждает практически принимать в них участие». Наш читатель имеет возможность судить, насколько все это далеко от действительности.

При анализе современного состояния демократии и самого этого понятия буржуазные ученые не исходят из классового понимания ее сущности. Так, скажем, М. Дюверже полагает, что низкий технический уровень общества непременно ведет к авторитарному, диктаторскому характеру политической власти, это якобы «закон политической жизни». Поэтому, мол, демократии не может быть в странах, только что освободившихся от колониальной зависимости, для них политическая свобода и демократия «пустой звук», так как только изобилие материальных благ, высокий уровень жизни дают возможность прийти к демократии. М. Дюверже утверждает, что для граждан общества с низким уровнем развития техники политическое неравенство кажется «естественным и неотвратимым феноменом, как холод, гроза, чума или холера» («Они не имеют даже мысли, что свобода и равенство могут существовать реально»). С другой стороны, оказывается, что и высокий

уровень технико-экономического развития отнюдь не является гарантией демократизма политической структуры; технократию многие буржуазные ученые склонны считать самым опасным врагом демократических институтов (теории Вебера, Паркинсона и других).

Что касается перспектив развития буржуазной демократии, то в этом смысле работы западных правоведов проникнуты глубоким пессимизмом. Разнообразие точек зрения выражается лишь в ответе на вопрос, «от чего погибнет демократия», сама же неизбежность ее гибели признается фатально бесспорной. Эти теории проникли и в художественную литературу. Известный английский писатель О. Хаксли полагает, что тотальное подчинение власти будет достигнуто выработкой соответствующих условных рефлексов, изощренной техникой внушения и пропаганды, воздействием на сферу подсознания, обучением во сне и т. п. Сам О. Хаксли, замечает Н. М. Кейзеров, относится к такого рода будущему «с ужасом и отвращением». Другой писатель — Д. Оруэлл — считает, что люди и «не заслуживают ничего лучшего»; мрачное впечатление производят на читателя его описания тотального контроля за мыслями в будущем обществе, где любое действие человека находится под контролем наблюдающих систем, а психическое подавление личности обеспечивается разнообразными аппаратами подслушивания и всеобщей слежкой. Подобного рода пессимистические умозаключения, высказываемые на протяжении двух десятков лет, весьма показательны.

Впрочем, наряду с тревогой за судьбу демократических институтов в буржуазном правоведении слышатся и совсем другие голоса. Широкое распространение получила сейчас попытка идеологически оправдать режим личной власти. Теория «персонализации власти» прямо говорит о том, что руководитель должен быть освобожден от контроля со стороны демократических ин-

ститутов. Ж. Бюрдю полагает, что «персонализация власти» является общей социологической закономерностью и вытекает из внутренней природы общественной власти. Значительно более прав здесь французский публицист М. Верре, который обращает внимание на неповоротливость, типичную для антидемократического, самодержавного аппарата, порождающего «беспомощность и безответственность на других ступенях пирамиды» (по мнению Верре, «гарантией оперативности госаппарата является его полная демократизация»).

По утверждению ряда буржуазных правоведов, систематический контроль со стороны демократических институтов может быть вполне заменен сейчас личными контактами с политическими деятелями (телевидение, кинокамера и другое) — «государственный деятель подотчетен непосредственно народу, который его «созерцает». На самом деле, справедливо пишет Н. М. Кейзеров, все эти средства «массовых коммуникаций» лишь создают вокруг государственных руководителей и партийных лидеров «ореол непогрешимых», служат пропагандистской машине империализма. Н. М. Кейзеров останавливает внимание читателя на шаманстве, на таинственности, которая с необходимостью сопутствует каждому авторитарному режиму, ибо престиж, по мнению буржуазных юристов, не существует без тайны, — «человек мало уважает то, что ему хорошо известно». Таким образом, восхищение граждан государственными лидерами чаще всего основывается на впечатлениях иллюзорных, всего лишь на сумме преднамеренно употребляемых приемов.

...Автор завершает свою книжку словами: «Буржуазные теории о будущем государства и права представляют своеобразное кладбище идей, не выдержавших соприкосновения с действительностью, разбитых жизнью, практикой классовой борьбы».

**Ф. СВЕТОВ.**





## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**И. П. ЕЛИЗАРОВ.** Марк Елизаров и семья Ульяновых. Политиздат. М. 1967. 136 стр.

К встрече с Марком Тимофеевичем Елизаровым читатели подготовлены. Его имя встречается во многих письмах В. И. Ленина, немало страниц посвящено ему в воспоминаниях А. И. Елизаровой-Ульяновой и в других материалах и документах.

И вот первая книжка о нем. Ее автор, племянник М. Т. Елизарова, прослеживает путь, пройденный потомком заволжских крепостных крестьян до поста первого наркома путей сообщения первой в мире Советской республики.

Подпольная революционная работа, аресты, ссылки, выполнение поручений В. И. Ленина, беспрестанная работа по углублению своих знаний — из рассказа обо всем этом встает образ стойкого борца за счастье народа, страстного пропагандиста марксистского учения, преданного друга и помощника Ильича.

Было бы, однако, интересно прочесть и такой очерк о жизни Марка Елизарова, по которому можно было бы живо представить себе его в быту, среди друзей: ведь, по отзывам современников, это был на редкость остроумный, общительный человек, умевший привлекать к себе людей, заражать их своими убеждениями. В рецензируемой книге этого нет, но она хороша уже тем, что обобщает и систематизирует представления читателя о жизни и деятельности одного из видных участников нашей революции.

**И. Матвеева.**

★

**ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР. 1917—1967 гг. В 3-х томах. «Международные отношения». М. 1967.**

Вышел из печати трехтомник «Истории международных отношений и внешней политики СССР», коллективный труд под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР В. Г. Трухановского. Как сказано во «Введении», он представляет собой попытку систематического изложения основных событий внешнеполитической истории Советского государства за пятьдесят послеоктябрьских лет (1917—1967 годы). Первый том охватывает период между двумя мировыми войнами (1917—1939 годы), второй

том — период второй мировой войны (1939—1945 годы), третий том — послевоенный период (1945—1967 годы). Авторы указывают, что после выхода первого издания (1961—1964 годы) они «учли критические замечания и пожелания, высказанные в рецензиях и откликах, и внесли необходимые дополнения и уточнения на основе современных научных данных и новейших публикаций документов». Если говорить о «дополнениях», то при ознакомлении с новым изданием как раз бросается в глаза, что, несмотря на расширение хронологических рамок (добавлен материал за последние четыре года), трехтомник заметно «похудел». Произошло это не только за счет стилистической правки: опущенными оказались многие интересные подробности и факты. Например, в главе, где описывается ход переговоров о мире с Германией в 1917—1918 годах, не приводится текст характерной телеграммы Гинденбурга кайзеру от 26 декабря и выдержка из обращения НКВД к народам и правительствам союзных стран от 30 (17) декабря 1917 года, отсутствует описание заседания ЦК партии 23 февраля 1918 года, на котором обсуждались и по решительному настоянию В. И. Ленина были приняты условия германского ультиматума. Опущены сравнительные данные, характеризующие окрепшее экономическое положение нашей страны в 1924/25 хозяйственном году и ухудшение экономического положения Англии, усугубляемое отсутствием торговых и дипломатических отношений с Советской Россией; отсутствует целая глава о позиции Соединенных Штатов, попустительствовавших агрессии итальянского фашизма против Эфиопии в 1935 году. Есть и некоторые другие сокращения, мотивы которых неясны.

В трехтомнике освещаются события, связанные со становлением и борьбой советской дипломатии в период победы Октябрьской революции и окончания первой мировой войны, в годы гражданской войны и иностранной интервенции, в двадцатые годы.

В напряженные тридцатые годы советская дипломатия боролась за предотвращение новой мировой войны, за обеспечение безопасности Советского государства и коллективную безопасность. В трехтомнике изложены важнейшие международные события и внешнеполитические шаги Совет-

ского правительства этого периода: подписание «Пакта о ненападении» между СССР и Францией 29 ноября 1932 года; предложения СССР на международной конференции по разоружению в 1934 году; «Договор о взаимной помощи между СССР и Францией», а также между СССР и Чехословакией (1935 год); мюнхенский договор западных держав; заключение договоров о взаимной помощи между Советским Союзом с одной стороны и Эстонией, Латвией, Литвой — с другой (сентябрь—октябрь 1939 года) и т. д.

С первых месяцев Великой Отечественной войны начинает складываться антигитлеровская коалиция. Советская дипломатия решительно добивается открытия второго фронта. Московская конференция представителей СССР, США и Англии в сентябре—октябре 1941 года; договор между СССР и Великобританией от 26 мая 1942 года и соглашение между СССР и США от 11 июня 1942 года о взаимной помощи и союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе; Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции...

Послевоенный период — период образования мировой социалистической системы. Складывается новый тип международных отношений. Советский Союз последовательно выступает за мир, против угрозы мировой термоядерной войны, в поддержку национально-освободительного движения угнетенных народов. Начало деятельности ООН (январь, 1946 год); Московское совещание европейских стран по обеспечению мира и коллективной безопасности в Европе (ноябрь — декабрь, 1954 год); Бандунгская конференция стран Азии и Африки (апрель, 1955 год); Московский Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой (август, 1963 год) — все эти и многие другие события изложены в трехтомнике.

Понятно, какое значение имеет обобщение пятидесятилетнего опыта советской дипломатии. В этом отношении авторы трехтомника сделали полезное дело, хотя, повторим еще раз, его новое издание вряд ли может удовлетворить тем требованиям, которые привыкли мы предъявлять к изданиям «исправленным и дополненным...».

В. Глаголев.

★

**О. Б. МОКИЕВСКИЙ.** Нусантара. Записки биолога об экспедиции в Индонезию. «Мысль». М. 1967. 228 стр.

Автор этой книги — ученый-биолог, сотрудник Института океанологии Академии наук СССР, страстный исследователь и путешественник. «Мне уже посчастливилось, — пишет он, — работать в Беринговом, Охотском, Японском, Желтом, Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях». В 1962—1963 годах в составе научной экспедиции он посетил индонезийские острова. «Нусантара» — так издавна называют индонезийцы свою страну. Для индонезийца это слово

звучит примерно так же, как для русского человека «Русь».

В книге рассказано о том, что увидел за восемь месяцев пребывания у экватора советский ученый. У автора не только большие специальные познания, но и счастливая способность описывать то, что он видит, ярко, сжато, с уместной дозой юмора.

Мы видим мир тропиков, совершаем путешествие по Яве, любуемся побережьем Индийского океана, знакомимся с вулканическим островком Унауна, окруженным коралловыми рифами, узнаем много нового и любопытного о растениях, акулах, морских ежах, крабах и лангустах, живых кораллах и диквинных рыбах, морских звездах и морских змеях. Обо всем этом повествуется не только научно достоверно, но и красочно. Автор видит перед собой не узкий круг читателей-специалистов, а самую широкую аудиторию, которой он открывает мир тропической природы, щедрой, таинственной, еще далеко не изученной.

О. Б. Мокиевский не ограничивает свой рассказ об увлекательной экспедиции «биологическими» рамками. Наблюдательный рассказчик, он сообщает о быте народа, его обрядах, искусстве, архитектурных шедеврах. Запоминаются живые сцены встреч с местными учеными, студентами, рыбаками, а также со знаменитыми чешскими путешественниками Иржи Ганзелкой и Мирославом Зикмундом.

Книга дает представление и об облике советского ученого, который выступает как пытливый исследователь, неутомимый искатель, поборник идей гуманизма и прогресса.

Мих. Цуци.

★

**Н. ЭЙДЕЛЬМАН.** Ищу предка. «Молодая гвардия». М. 1967. 256 стр.

«Ищу предка» — популярный рассказ о поисках и находках антропологов, о тайнах и парадоксах, встречающихся на пути тех, кто изучает превращение человекообразной обезьяны в «человека разумного». Посвященная в основном нашим далеким предкам, она представляет интерес не только с точки зрения биологии и истории, но и философии, социологии. Обобщая свои раздумья о пути, пройденном человечеством, автор пишет: «Логика и движение истории за миллионы лет в том, чтобы человеческая личность делалась все свободнее, а человеческое общество — все более мощным механизмом еще большего освобождения личности». Такой широкий философский, гуманистический подход к теме позволяет Н. Эйдельману связать написанную им книгу с насущными проблемами сегодняшнего дня.

И. Ярославцев.

★

**РУТ ФЕРСТ.** 117 дней. Рассказ о пережитом в одиночной тюремной камере. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1967. 184 стр.

В 1963 году Рут Фёрст была арестована в ЮАР по закону о девятидестиднях. По это-

му закону «любое полномочное должностное лицо» в республике может арестовать без ордера любого человека и держать его под стражей для допроса, однако не более чем девяносто дней. Согласно заявлению премьера Балтазара Форстера, таким путем можно «сломить человека», а сломить необходимо каждого, кто способен готовить революцию в Южной Африке.

Казалось бы, одиночное заключение сроком на три месяца перетерпеть можно. Но, оказывается, эти «законные» девяносто дней могут всегда превратиться в трижды по девяносто дней, а то и в пожизненное заключение. Как это делается? Вот сцена, относящаяся к тому моменту, когда, отбыв трехмесячный срок и получив от тюремной администрации «свидетельство об освобождении», Рут Фёрст собирается покинуть тюрьму: «Я спросила разрешения воспользоваться служебным телефоном, но сержант не разрешил, сказав, что снаружи на улице есть телефон-автомат...

Я вытасила монетку и направилась прямо к телефонной будке на улице. Но не прошла я и полпути, как ко мне подошли двое мужчин, которых я знала как агентов Службы безопасности.

— Одну минуточку, миссис Слово,— сказал один из них.

— Что вы хотите от меня? — спросила я и в душе приготовилась услышать «обвинение в соответствии с Законом о подавлении коммунизма в хранении противозаконной литературы» или что-нибудь в этом роде, однако он сказал:

— ...Еще один срок в девяносто дней.

Лицо второго полицейского агента расплылось в широкой улыбке».

Читатель получает предметный урок на тему: что такое закон и права личности в условиях антидемократического режима.

Рут Фёрст не пишет ни о том, какая деятельность привела ее в камеру одиночного заключения, ни о том, как она вырвалась из застенка и эмигрировала в Англию. За нее это сделал в книге А. Б. Давидсон, в своем интересном и содержательном предисловии рассказавший о многих этапах жизни и борьбы автора книги в апартеидом, произволом и реакцией в Южно-Африканской Республике. Это помогает читателю получить достаточно ясное представление не только о замечательной женщине, но и обо всем режиме, царящем ныне в ЮАР.

Л. Серебряник.

★

**ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО.** Аннотированный указатель мемуарной литературы. Часть 2. Вып. 2. Журнальные публикации 1928—1957 гг. «Книга». М. 1967. 252 стр.

Вышел в свет аннотированный указатель журнальных публикаций мемуарной литературы по истории советского общества

(1928—1957 годы). Он непосредственно продолжает ранее изданные выпуски: первую часть, где содержался перечень мемуарной литературы, опубликованной в 1917—1957 годах в виде отдельных изданий или неперіодических сборников, и первый выпуск второй части (журнальные публикации мемуаров за 1917—1927 годы).

Первый раздел книги посвящен воспоминаниям о В. И. Ленине и выдающихся деятелях Коммунистической партии и Советского государства — Бубнове, Володарском, Воровском, Дзержинском, Калинин, Кирове, Крупской, Куйбышеве, Луначарском, Орджоникидзе, Свердлове, Фрунзе и других.

Остальные разделы — литература об отдельных, наиболее важных периодах истории советского общества: «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции», «Иностранная интервенция и гражданская война», «СССР в период мирного социалистического строительства», «Великая Отечественная война Советского Союза». Если литература по какому-либо вопросу достаточно обширна, то внутри разделов выделены территориальные комплексы и тематические рубрики.

В коротких аннотациях, сопровождающих каждое указание на публикацию, даются сжатые сведения об авторах мемуаров, о времени, месте и характере событий, отраженных в них. Указания и переиздания — в том числе те, что появились после 1957 года.

Настоящий выпуск указателя, как и предыдущие, безусловно, сослужит добрую службу тем, кто интересуется историей развития советского общества. Вместе с тем он показывает, как неравномерно освещены в мемуарной литературе отдельные периоды и события этой истории; примером может служить раздел литературы, посвященный двадцатилетнему периоду мирного строительства (1921—1941 годы), оказавшийся самым бедным. Достаточно сказать, что под рубрикой «Сельское хозяйство. Колхозное строительство» значатся лишь пять журнальных публикаций. Даже если допустить, что какие-то воспоминания по тем или иным причинам остались за пределами указателя, недостаток непосредственных свидетельств об этом времени очевиден — факт, который полезно учесть работникам журналов и издательств.

Ю. Т.

★

**Н. ЗАДОРНОВ.** Желтое, зеленое, голубое... Роман. «Советский писатель». М. 1967. 216 стр.

Руководящие работники большого города и огромной стройки во главе с секретарем горкома Петровым отправились на прогулку по реке. У борта катера «стоял тонкий, очень молодой человек в белой рубашке, которую заполоскавал легкий ветер. С несколько странным выражением вдохновения

во всей фигуре он смотрел на отплывающий берег».

Этот молодой человек — художник Георгий Раменов, «беспартийный талант», которого пригласили на прогулку, потому что руководство города работало и жило напряженно, но однообразно и, «как это ни странно, что-то появляется у некоторых в быту мешанское». А «у Раменова глаз острый. Пусть-ка и он приглядится. Вдруг да объяснит нам, чего мы про себя не знаем», — думает первый секретарь. И Петров был рад, что не ошибся. На борту катера он сразу понял, что Раменов — прирожденный художник. Для этого стоило лишь взглянуть на него: «когда Георгий отступал на шаг-другой, гибкость и живость движений делали его странно картинную позу живой и естественной. Иногда он выхватывал из кармана рубашки маленький блокнотик и что-то быстро рисовал или записывал».

Так Николай Задорнов знакомит нас с главным героем своего романа — молодым художником-самоучкой Георгием Раменовым, который, говоря словами редакторской аннотации, пребывает «в вечных поисках новых изобразительных средств».

Писатель считает своего героя носителем высокого вдохновения, воплощением всех прекрасных человеческих качеств. «Он как юный спортсмен, полный сил и здоровья, у которого руки и ноги так и ходят сами собой. Он не мог удержаться, чтобы не рисовать, из него так и била, так и брызгала энергия». Восхищенные автором Раменовым безудержно, он преклоняется перед его любовью к жене Нине, и недаром — ведь Георгий «всегда чувствует себя в жизни так, как будто сидит у ее колен, а смотрит вдаль».

Жена художника, конечно, не может оставаться равнодушной к такой любви, она обожает мужа, его «замечательно стройные, чуть-чуть пухловатые ноги в золотистом пушке», его «мягкий взор», его вдохновение, ведь «Георгий и в любви бывает вдохновенным, а это страшней и прекрасней всего». Сама Нина чиста и застенчива, и, когда начальник стройки Сапогов, который плавает «широкими взмахами больших рук, выдаваясь белой чистой грудью из воды», появился перед ней на берегу реки, она, стесняясь «своей босоты», постаралась, чтобы он не увидел «снятых чулок».

Какая милая, гармоничная семья, восхитится читатель. Но автор наделяет Раменова еще одной добродетельной чертой, которая, по его мнению, сделает художника воистину «идеальным» мужчиной, а для секретаря горькома Петрова послужит залогом «большого будущего» художника. «Петров взял бутылку водки и наставил на Георгия, как пистолет». И секретарю горькома не чужды человеческие слабости. И отчего же не пошутить? «Я не пью! — воскликнул Раменов. — Может быть, портвейн? — Я вообще ничего не пью... — Какой же ты мужчина? — спросил Модулин. — Я и так всегда

пьян, разве вы не заметили? — Это верно, между прочим, — подтвердила Нина. Модулин охотно улыбнулся ей в ответ. — Он пьянеет от работы, от воздуха, от купания, — добавила Раменова. — А еще от чего? — подмигнул Модулин» и т. д.

Увы, приведенные здесь цитаты — не исключение из книги, от характерны для всего стиля повествования.

Обидно, что опытный писатель, известный своими историческими романами, здесь допустил такие просчеты художественного вкуса, такую банальность мысли. И это особенно бросается в глаза в романе, где главный герой — художник.

**В. Енишерлов.**

★

**ЛИВИУ ДАМИАН.** Корни. Перевод с молдавского. «Картя молдовеняскэ». Кишинев. 1966. 112 стр.

Молдавский поэт Ливиу Дамиан впервые выступает перед читателями с книгой на русском языке благодаря бережной работе московского поэта Н. Коржавина. И очень жаль, что книга выпущена в Кишиневе небольшим тиражом. Не затеряется ли она в книжном море? Имя Ливиу Дамиана не очень-то мелькало в столичной прессе. А что греха таить — читатель в первую очередь берет с прилавка книгу того поэта, чье имя уже само — обещание...

Между тем книга Ливиу Дамиана достойна того, чтоб привлечь к ней внимание русского читателя.

Быстро устаешь от блестящих стихов, где поэт как бы говорит читателю: вот какой я особенный, как ярко чувствую... Ливиу Дамиан — органичный поэт, он не старается выглядеть факиром, вытаскивающим из себя «длинные ленты бумаги цветной». Ведь

...можно потом,

В лентах запутавшись, рухнуть неловко,  
Больно о землю удариться лбом.

Он не заботится об украшениях («Правда правдой остается, украшенья ей не впрок, ей любое украшенья встанет горла поперек»), не поражает эффектными фейерверками. Тайна его воздействия на сердце читателя — доверительность. Форма стихов складывается непринужденно, будто сама собой, и часто даже «не по правилам» — с неравными периодами, паузами. Простые слова, с виду совсем обычные, исподволь приводят к непростой мысли и свежему емкому образу:

В саду

И на улицах среди сутолоки всей

Глаза детей

Мне напоминают

Лица друзей...

Немало есть у меня и врагов,

Сильных, умелых, злых.

Но у них  
Или совсем не бывает детей,  
Или их дети  
Не похожи на них.

(«Глаза детей»)

Вот как он говорит о родном крае: «Вечерами молдаване, как на подушки, кладут свои головы на холмы Молдавии». О поэтах: «Летите легкою мечтой, неся на крыльях тяжесть всей земли»...

И, наконец, о корнях, давших заглавие книги. Приелись стихи, в которых в последнее время иные поэты почем зря бранят «городскую суету», вздыхая о родной деревне. Откровенней, честней Ливиу Дамиан:

Моей душой теперь владеет  
Село и город — наравне.  
Чуть ветром в городе поезет,  
В нем привкус мяты слышен мне.

Когда ж я средь полей безбрежных  
По росам трав брожу один,  
Я гулким шумом улиц брежу  
И блеском праздничных витрин...

Его словам веришь, и слов этих ждешь. Хорошо сказал о нем Андрей Лупан: «...в наших рядах, среди тех, кто выбирает ношу потяжелее, идет хороший поэт Ливиу Дамиан, идет из новой жизни молдавских крестьян, осмысляя их судьбу и сохраняя в своем творчестве трудовую суровость пахарей».

Молдавская поэзия — неброская, скромная, но тот, кто откроет ее для себя, порадуется ее богатству. Русскому читателю поможет это сделать Ливиу Дамиан.

Кирилл Ковальджи.

★

**ВИКТОР НЕКРАСОВ.** Путешествия в разных измерениях. «Советский писатель». М. 1967. 438 стр.

Читатели журнала знакомы с путевыми очерками Виктора Некрасова — в разное время они появлялись на страницах «Нового мира»: Теперь эти очерки вышли отдельной книжкой. Собранные воедино, они воедино собрали наши впечатления от прочитанного ранее, помогли еще острее почувствовать то, что так характерно для творческой манеры Некрасова-очеркиста. Рассказы его об увиденном — это не холодный отчет перед абстрактным читателем, неведомым и безликим, — это непринужденная, доверительная беседа с читателем-другом, который все понимает, которому можно поверить самое свое сокровенное.

Это сокровенное — и в коротких новеллах о жизни Камчатки, и в рассказе-очерке «Случай на Мамаевом кургане», и в зарубежных путевых очерках, которые составили основное содержание книги.

Где бы Некрасов ни был — в Италии, Америке, Франции, — он не просто турист, не просто путешественник, из любопытства решивший бросить взгляд на незнакомую ему

жизнь. Прежде всего это наш соотечественник, уехавший далеко за рубежи родины, но ни на минуту о ней не забывающий.

Наша жизнь, судьба наша — об этом все заботы Некрасова. Все лучшее, что успел разглядеть он за недолгие путешествия, он «примеряет» к своей земле. В Италии он знакомится с работой крупных издательств, через два-три месяца после опубликования у нас повести или романа уже выпускающих в свет переводную книгу, — и не может не подосадовать на «оперативность» наших издательств. Заходит в трактир, где для хозяина самое большое удовольствие — хорошо угостить, — и мечтает о том, что сядет за столик киевского кафе и не услышит: «Подождите, не умрете, я одна, а вас много». И это не ворчливое брюзжание обывателя, недовольного всем «своим» и преклоняющегося перед всем «заграничным», а живая и страстная заинтересованность человека, любящего свою страну. Заинтересованность в том, чтобы вытравить из нашей жизни равнодушие, нежелание пораскинуть мозгами над тем, как избавиться от иных, порой не столь уж трудно устранимых недостатков.

Вот почему, когда он в Америке смотрит телевизор и подтверждает, что телевидение — действительно настоящий бич Америки, мысли его тут же перебрасываются к нам, к нашему телевидению, где, к счастью, нет драк, мордобоя, непроходящей палубы, зато «есть» другое — телезрителя иной раз загоняют в гроб скукой, бесконечными беседами и похожими как две капли воды смотрами художественной самостоятельности: Вот почему, когда он стоит у памятника морской пехоте в Вашингтоне — «в нем начисто отсутствует образ», — он вспоминает о двух памятниках Гоголю в Москве — Андреева и Томского...

Некрасов много встречается с людьми, особенно с молодыми. Он думает о взглядах молодежи на жизнь, о поисках ею своего места в мире. Он находит много общего между молодежью зарубежной и нашей. Но видит и большие отличия. «Существует еще такое понятие, как долг — перед народом, страной. Мне кажется, это главное, что отличает нашу молодежь от западной, буржуазной».

Читая «Путешествия в разных измерениях», читатель еще раз повстречался с писателем, не на словах, а всем сердцем любящим родину, принимающим ее радости как свои радости, ее боли — как свои боли.

Ю. Томашевский.

★

**В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР.** Избранные произведения. «Библиотека поэта» (Большая серия). «Советский писатель». М.—Л. 1967. Том 1. 666 стр. Том 2. 786 стр.

Настоящий двухтомник произведений Вильгельма Кюхельбекера — не первое издание сочинений поэта, но самое полное и интересное.

В 1939 году в «Библиотеке поэта» вышел двухтомник Кюхельбекера под редакцией Юрия Тынянова. Это было крупным событием в литературной жизни того времени. Но вот прошло без малого тридцать лет — и открылось множество новых материалов, существенно дополняющих наше представление о поэте. Ленинградская поэтесса Н. В. Королева, подготовившая новый двухтомник, проделала огромную работу. Она ввела в состав книги напечатанные раньше неполностью главные сочинения поэта — поэмы «Давид», «Агасвер» и «Зоровавель», впервые опубликовала множество лирических стихотворений Кюхельбекера 1810-х—1820-х гг., комедию «Шекспировы духи», изданную отдельной книжкой в 1825 году. По дневникам, письмам и другим источникам она уточнила датировку некоторых произведений, сверила еще раз все тексты по автографам и устранила отдельные текстологические ошибки. Она же является автором содержательной вступительной статьи и примечаний.

Материалы сборника естественно делятся на три периода: время до 1825 года, десятилетнее пребывание в крепостях, годы ссылки.

До декабрьского восстания Кюхельбекер много писал и много печатал, после писал также много, но все оставалось в столе... С какой казнью можно сравнить пожизненное запрещение печатать свои произведения? Как бы предвидя свою трудную литературную судьбу, замалчивание, лживые обвинения в бездарности, Кюхельбекер еще в крепости, в 1832 году, писал:

Не весь истлею я: с очей потомства  
Спадет покров мгновенной слепоты,  
И стихнет гул вражды и вероломства;  
Умолкнет злоба черной клеветы,  
Забудут заблужденья человека,  
Но воспомянут чистый глас певца,  
И отзовутся на него сердца  
И дев и юношей иного века.

Поэзия Кюхельбекера — это поэзия мысли, предметом которой служат история, философия, искусство. Судьбы человечества заботят автора более всего. Даже собственная жизнь в этом случае — звено в общей цепи общечеловеческого бытия. Еще в лицее Кюхельбекер на выпускном экзамене преподнес Г. Державину стихотворение с названием «Бессмертие есть цель жизни человеческой»...

Стих Кюхельбекера своеобразен и гибок, мощен и часто по-воински грубоват. Богата инструментовка стиха. Вот, например, величественно звучащий (вернее, гремевший) отрывок: «Грома огромные струны задрезжали; перуны весь очертили обзор; вздрогнул от ужаса бор, скалы трепещут от гула... Чу! Чья-то арфа дерзнула с арфой небесною в спор!»

«Святополк», «Кудеяр», «Рогдаевы псы», поэма «Юрий и Ксения», драмы «Иван, купецкий сын», «Ижорский», «Прокофий Ляпунов» — таков неполный перечень произ-

ведений Кюхельбекера, основанных на судьбо русских темах. Русская история и действительность питала все его творчество, в том числе и монументальную поэму «Давид», в которой поэт зашифровал свою собственную жизнь, и мрачную поэму «Агасвер», где нарисована история мира от распятия Христа до Страшного суда. Почти ничего из этого Кюхельбекер так и не увидел в печати. Ему так и не пришлось воспользоваться придуманным им псевдонимом Гарпенко.

Одного за другим оплакал Кюхельбекер ушедших из мира друзей: Грибоедова, Дельвига, Пушкина... «Пророков гонит черная судьба», — восклицал он еще в 1823 году в стихотворении «Участь поэтов». Гнала судьба и его — через Кавказ, Петербург, Париж, Сенатскую площадь, Варшаву, Шлиссельбург, Свеаборг — в ссылку и там оборвала его многострадальную жизнь. Но поэты не умирают. Два тома сочинений Кюхельбекера, изданных в 1967 году, свидетельствуют об этом. Оправдалось, пожалуй, заглавие его лицейского стихотворения: «Бессмертие есть цель жизни человеческой».

Виктор Афанасьев.



**И. РАХТАНОВ.** Пестрая книга. «Детская литература». М. 1967. 224 стр.

Почти все, что вошло в эту книгу для детей, печаталось много лет назад и вновь издается после значительного перерыва. Рахтанова всегда интересовало все необычное и удивительное, а это более всего нравилось детям. В первом же его рассказе («Доктор Руссель»), опубликованном в 1929 году, речь шла о молодом народовольце, который накануне неминуемого ареста бежал за границу и после ошеломительных приключений был избран в сенат США, поставил на Гавайях памятник... Писареву и утвердил народным гимном Гаваев студенческую песню «Gaudeamus». Самое удивительное, что в этой истории не было почти ни слова выдумки.

Рассказ этот не вошел в книгу. Но и без того в ней немало необычного и удивительного.

Повесть «Чин-Чин Чайнамен и Банни Сидней», впервые появившаяся в 1931 году. В американский пансион, открытый в Корее, попадает беджайший из оккупированного японцами Приморья четырнадцатилетний Денис Ощепков, сын большевика. Кумир пансионки Банни Сидней, чистокровный янки, сразу же делается непримиримым врагом новичка. Но тот трижды побеждает его — в боксе, беге и рассказывании интересных историй, — и все отвораживаются от вчерашнего кумира.

Этой интересной повести, даже в языке хранящей обаяние восточного колорита (автор родился в Харбине и сам учился в таком пансионе), помешал укрепиться в детской литературе успех одного критика: почему это сын большевика доказывает свою правоту не силой своих убеждений, а

силой своих кулаков? Повесть не переиздавалась двадцать семь лет, а для детей по-прежнему вновь лишь сегодня. Правда, с некоторыми изменениями, не всегда оправданными. Начало повести, скажем, стало интересней, а конец шаблонней. И зачем было превращать Бориса в Дениса, Бонни в Бани, директора Торпса в Торкса?

Не проста и судьба спортивных рассказов Рахтанова, часть которых печатается в этой книге. Спортивная новелла и очерк — излюбленные Рахтановым жанры, принесшие ему известность еще в тридцатые годы. Их сила в том, что в спорте, по собственному признанию автора, его интересует «не столько рекорд, готовый результат, отвлеченная цифра, но прежде всего трепетное соревнование людей, пытающихся поднять потолок физических возможностей человека». А где соревнование, там отчаянная борьба характеров, борьба стратегий, борьба различных подходов к спорту. Рассказы и очерки Рахтанова динамичны, в биографиях спортсменов писатель всегда находит драматический сюжет, обычно связанный с преодолением какого-то серьезного препятствия, которое поначалу кажется непреодолимым. К сожалению, после несправедливой критики пионер нашего спортивного очерка и рассказа оставил любимый жанр.

Печатью любви к необычному отмечена и повесть «Потомки Маклая», открывающая книгу. Ее герой школьник Борис Кудрявцев в предвоенные годы занимается расшифровкой таинственных текстов на табличках, привезенных Миклухо-Маклаем с острова Пасхи. Он успевает лишь доказать параллельность этих текстов, но и это открытие было достаточно важным, оно проложило путь к прочтению этих табличек.

Приятно, что и обе повести, и спортивные рассказы Рахтанова попадут к сегодняшним детям. Но жаль, что пока не попали к ним другие не менее интересные для них произведения этого писателя, например «Доктор Руссель», о котором мы уже говорили, и сатирическая повесть «Бешеные мужики» (написанная совместно с Н. Абрамовым).

**С. Сивоконь.**



**Л. МАЛЮГИН.** *Насмешливое мое счастье. Сценическая повесть в письмах — в двух частях.* «Искусство». М. 1967. 50 стр.

«Мне кажется, что эпистолярная форма, вообще-то для театра неблагоприятная, для сценического рассказа о Чехове является не только возможной, но и естественной, может быть, даже наиболее выразительной», — писал в послесловии к пьесе автор, талантливый драматург и критик, о смерти которого недавно с большим огорчением узнали читатели и зрители.

Эпистолярный архив Чехова, на основе которого создавалась пьеса Малюгина, составляет около четырнадцати тысяч писем.

В пьесе, кроме Чехова, еще пять действующих лиц: старший брат Александр, сестра Мария Павловна, Лика Мизинова,

Горький, О. Л. Книппер. А корреспондентов у Чехова было несколько сотен...

Из этого практически неисчерпаемого моря материала драматургу предстояло выбрать то, что не только показало бы какие-то основные моменты биографии писателя, но, что самое главное, помогло найти скрытую пружину внутренней жизни Чехова — его характера, писательской и человеческой судьбы.

А судьба Чехова была по-своему трагической. И не потому только, что болезнь, долгие годы подтачивавшая его силы, лишила писателя возможности жить там, где он хотел, и с теми, кто был ему нужен.

Чехов, о котором сегодня говорят, что он предугадал законы искусства XX века, был, как верно сказал Лоуренс Оливье, «предвестником... новой школы мысли». Но эта сторона чеховского творчества стала явной далеко не сразу.

Нельзя сказать, что при жизни Чехов оставался непризнанным. Нет, его читали, любили, переводили на многие языки. Он казался, в общем, простым и достаточно ясным.

И все же Чехов, о котором написано больше, чем о многих других великих писателях, долгое время оставался непонятым. Потому что читали его — и судили — по законам дочеховского искусства.

Вот почему, едва познакомившись с Чеховым, Горький написал в одном из своих писем: «Какой одинокий человек Чехов, и как мало его понимают! Около него огромная толпа, а на печати у него вырезано: «Одинокому везде пустыня!» Он родился немножко рано».

Эта скрытая трагедия Чехова — трагедия мысли, ушедшей «дальше века», — стала главным содержанием пьесы Малюгина.

И форма сценической повести в письмах оказалась действительно счастливой находкой драматурга. Потому что в письма Чехова, человека невероятно сдержанного и самоуглубленного, вошло как раз то, что обычно остается скрытым от посторонних глаз: напряженность внутренней жизни, сам процесс мысли, тревоги и сомнения, которыми жил писатель, самые сложные и едва уловимые оттенки взаимоотношений с людьми...

В пьесе нет обычного сюжета, привычного действия, хотя в ней и происходит все, что составляло жизнь Чехова. Он получает письмо Григоровича, пишет и издает свои книги, ставит пьесы, едет на Сахалин, переживает провал и триумф «Чайки», работает врачом на холерной эпидемии, сажает деревья, любит, ездит за границу, болеет, женится, встречается с людьми, томится от одиночества, уезжает умирать в Баденвейлер...

Что же «держит» эту разговорную пьесу, каждая реплика и каждый факт которой хорошо известны?

Очевидно, живая логика времени, которую увидел в судьбах своих героев драматург. В столкновении с ней так или иначе

складывались их жизни, «насмешливое счастье» каждого из них.

И хотя главное в пьесе — сам Чехов, другие ее герои не носят только «прикладного» к нему характера. Все вместе они в очень емком, психологически и исторически насыщенном контексте выражают дух, мысли, судьбы людей своего времени.

Время открыло в Чехове новое звучание. Жизнь писателя, его обостренное чувство совести, трезвость мысли, безжалостно ломающей догматические представления о жизни и времени, внутренняя независимость и бескомпромиссность, постоянное стремление к истине — все это не может не волновать нас сегодня, не может не будить нашу совесть и наши мысли.

Вот почему пьеса Л. Малюгина, где это новое прочтение Чехова оказалось удачным, не превратилась, подобно многим пьесам такого рода, в мертвое житие классика.

И. Гитович.

★

**АУГУСТО РОА БАСТОС. Сын человеческий. Роман. Перевод с испанского. «Художественная литература». М. 1967. 326 стр.**

Парагвай. Далекая южноамериканская республика, о которой кто-то сказал, что это страна, где земля без людей, а люди без земли. Всего два миллиона жителей в Парагвае, и свыше пятисот тысяч парагвайцев вынуждены были покинуть родину и жить в изгнании из-за голода, нищеты и террора, вот уже многие десятилетия опустошающих страну. Еще в начале прошлого века Парагвай освободился от испанского владычества, стал юридически независимым государством. Но народ Парагвая не обрел свободы: помещики, иностранные монополии, реакционная военщина и по сей день продолжают грабить народ, фактически превратив страну в огромный концентрационный лагерь.

О судьбах многострадальной парагвайской нации, которая «на протяжении многих веков то бунтует, то носит ярмо угнетения, то прозябает под сапогом бесчестных насильников, то идет за своими мучениками-пророками», рассказывает нам роман писателя Роа Бастоса «Сын человеческий». Опубликованный в Буэнос-Айресе в 1959 году, роман был отмечен рядом литературных премий, переведен на иностранные языки. Он сразу же принес Роа Бастосу славу крупнейшего писателя Парагвая, выдвинул его в ряды видных современных писателей Латинской Америки.

«Извечная борьба человека за свою свободу в таком мире, само существование которого — отрицание человека» — так определил Роа Бастос тему своего романа. Композиционно построенный как серия фресок, роман знакомит читателей с различными сторонами парагвайской действительности. Писатель вводит нас в парагвайскую деревню, пребывающую во власти мифов и преданий, знакомит с индейцами из племени гуарани, которые верят в пришествие блед-

нолицего бородача Суме: согласно легенде он вернется и восстановит справедливость на земле.

На страницах романа — мужчина и женщина с новорожденным на руках. Словно затравленные животные, пробираются они сквозь чашу сельвы. Это беглецы с принадлежащих иноземцам плантаций в Такуру-Пуку, где круглый год по шестнадцати часов в сутки поденщики гнут спину под бичом надсмотрщика.

Многие страницы романа повествуют о братоубийственной войне между парагвайцами и боливийцами, на которой наживались монополии США и Англии. «Наше счастье, что кончилась эта проклятая бойня». «Мы защищали земли гринго», — так говорят об этой войне ее ветераны — простые люди Парагвая.

«Я старался проследить траекторию надежды в поведении персонажей моего романа», — писал в свое время Роа Бастос. Читая книгу, мы видим, как постепенно крепнет «извечное упрямое пламя надежды» в сердцах парагвайцев. Эта надежда воплощена в образе рабочего Кристобала Хара — народного вожака, руководителя одного из многих партизанских отрядов в начале тридцатых годов. Он верит уже не в мифы, а в человека: «то, чего не может сделать человек, никто не сделает».

«Сын человеческий» Роа Бастоса — это первый парагвайский роман на русском языке. Книге предпослано обстоятельное предисловие С. Семенова, а переводчикам С. Тартаковской и Г. Шмакову пришлось преодолеть значительные трудности, так как роман Бастоса хотя и написан по-испански, но содержит множество выражений на языке гуарани — языке, на котором говорит большинство населения Парагвая.

Ю. Певцов.

★

**З. ОРДЖОНИКИДЗЕ. Путь большевика. Политиздат. М. 1967. 400 стр.**

Это было в Разливе.

«Владимир Ильич, выслушав меня и задав ряд вопросов, сказал:

— Меньшевистские советы дискредитировали себя; недели две тому назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они — не органы власти. Власть у них отнята. Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит ждать себя долго. Восстание будет не позже сентября — октября.

Все это я слушал с напряженным вниманием, впечатление было ошеломляющее. Нас только что расколотили, а он предсказывает через месяц-два победоносное восстание».

Как и предсказывал Ленин, революция свершилась в октябре. Поразительна сила ленинского предвидения, и это удивление перед гениальной политической прозорливостью отлично передано в только что приведенном отрывке из воспоминаний Серго Орджоникидзе. «Впечатление было ошеломляющее...» Не менее удивительно то, что на-



писал это профессиональный революционер, готовивший революцию, живший ее успехами и тревогами. И он был поражен!

Автор книги — жена и друг Серго, Зинаида Гавриловна Орджоникидзе — акцентирует внимание читателя на этом эпизоде так же, как на каждой из встреч Серго с Лениным, а их было немало. Еще в эмиграции, в Лонжюмо, Орджоникидзе прослушал тридцать лекций Владимира Ильича по политической экономии, десять — по аграрному вопросу, пять — по теории и практике социализма. Это была замечательная школа. Но Серго учили и воспитывали еще и другие товарищи по партии — он учился у рабочего класса Закавказья, у сибирских крестьян, у друзей по тюрьмам и каторге. В великой школе революции возмужало и окрепло его дарование вожака масс, позволившее ему потом стать выдающимся партийным и государственным деятелем, одним из тех, кто положил немало труда на строительство социализма в нашей стране.

Книга об Орджоникидзе, представляющая собой основательную и точно выверенную биографию пламенного большевика, к сожалению, не закончена: она обрывается на середине двадцатых годов. Нам не дано из нее узнать о необычайном размахе хозяйственной деятельности Серго — крупнейшего строителя социалистической индустрии. Но мы узнаем из нее о детстве и юности большевиков, о его кипучей революционной работе до революции и в славные дни ее свершения, перед нами встает яркий образ ученика и соратника Ленина, — и мы уже за это одно благодарны автору.

**В. Страхова.**

**ОЛЕГ ЛАСУНСКИЙ. Книжный знак. Некоторые проблемы изучения и использования. Издательство Воронежского университета. 1967. 168 стр.**

Однажды некий ученый на страницах старинной книги по математике обнаружил множество любопытных карандашных пометок. Но кто их автор? Ученый обратил внимание на пышный гербовый книжный знак на обороте переплета. Как удалось установить, этот экслибрис принадлежал сподвижнику Петра Первого, генерал-фельдмаршалу Якову Брюсу. Автографы Брюса сохранились. Сличив их с карандашными пометками, установили тождественность почерков. Это один из фактов, когда экслибрис сослужил науке службу. А не раз бывало и так, что книжный знак помогал вновь составить воедино разрозненную библиотеку, представляющую особую научную ценность именно в целостном виде. Экслибрис на одном из томов Шекспира поведал, что книга, принадлежавшая жене декабриста — Марии Волконской — и проделавшая с ней долгий путь в сибирскую ссылку, затем попала в семейную библиотеку Волконских в бывшей Тамбовской губернии. Оказалось, что там сохранился в неприкосновенности и интереснейший семейный архив.

Все эти и множество других подобных фактов приведены в книге Олега Ласунского «Книжный знак». Это популярно и увлекательно написанное исследование примыкает к растущему ряду столь любимых библиофилами «книг о книгах».

**Вас. Осокин.**



---

---

## ОТ РЕДАКЦИИ

Редколлегия журнала «Новый мир» обсудила вопрос о выдвижении лучших работ на соискание Государственной премии СССР в области художественной литературы и приняла следующее решение:

**1. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР роман С. Залыгина «Соленая Падь».**

Книги С. Залыгина «Тропы Алтая», «На Иртыше», его рассказы и очерки неизменно вызывают живой интерес у читателей, литературной общественности и критики.

В новом романе С. Залыгина «Соленая Падь» нарисована широкая картина партизанского движения в тылу Колчака, вызванный революцией бурный рост творческой активности и самосознания сибирского крестьянства, с оружием в руках выступившего на защиту советской власти. Эпизоды борьбы за «партизанскую республику» изображены писателем-современником с высоты исторического опыта, пути, пройденного народом и партией за минувшие десятилетия.

В центре романа — образ партизанского главкома Мещерякова, подлинного народного героя, который в трудных условиях ведет партизан к победе. Его главным антагонистом становится самолюбивый Брусенков, склонный к догматическому мышлению и приказным способам руководства. В эпическом по своему размаху произведении немало и других ярких характеров, вожаков и рядовых участников партизанского движения. В этом романе вновь проявилось свойственное автору чувство народного языка, знание народного быта и умение воссоздать минувшие дни во всей их конкретности.

**2. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР повести В. Катаева «Святой колодец» и «Трава забвенья».**

Опубликованные одна за другой повести В. Катаева «Святой колодец» и «Трава забвенья» быстро привлекли внимание широких читательских кругов. Отмеченные поисками новой формы и напряженными лирико-философскими раздумьями о судьбах современников, повести явились значительным этапом в творчестве самого писателя, уже свыше пятидесяти лет талантливо работающего в нашей советской литературе.

Писатель размышляет о прожитых и нынешних днях, и история неразделимо сливается у него с современностью. Так, в повести «Святой колодец» картины современной Америки соседствуют с воспоминаниями о прошлом и описанием поездок писателя по нашей стране. В этой смелой впечатлений и в взволнованных размышлениях постепенно вырисовывается образ «святого источника» — маленького подмосковного родничка, являющегося одновременно и символом жизни, и символом Родины. В «Траве забвенья» писатель сумел показать во всей своей неповтори-

мости не только время «величайшей из революций», но и создать портреты Бунина и Маяковского, которые, без сомнения, являются одними из самых впечатляющих в нашей литературе.

**3. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР поэму Ю. Марцинкявичюса «Стена».**

Новая поэма Ю. Марцинкявичюса «Стена» — одно из наиболее значительных явлений советской поэзии последних лет.

Идея поэмы современна и гуманистична: человек становится Человеком, когда он находит в себе силы переступить через страх — перед войной, перед злом, перед кажущейся неотвратимостью судьбы, если он в состоянии победить собственную слабость и обрести мужество жить, как подобает человеку новой исторической эпохи.

«Стена» Ю. Марцинкявичюса — поэма символов, органически сочетающихся с деталями реальной жизни. Для нее равно характерна афористически выраженная мысль и пластический образ, философское раздумье и тонкий лиризм.

Достоверность жизненных судеб героев, взятых в наиболее драматические моменты их судьбы, — результат большой работы талантливой мастера литовской поэзии.

**4. Ввиду того, что повесть Ф. Искандера «Созвездие Козлотура» не была включена в прошлом году в список кандидатур (она была опубликована после установленного срока приема), редколлегия вновь подтверждает ее выдвижение на соискание Государственной премии СССР.**



---

## ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА

*Когда этот номер журнала был уже сверстан, из Ташкента пришла скорбная весть — скончался Валентин Владимирович Овечкин, талантливый советский писатель, член редколлегии «Нового мира», наш товарищ по работе.*

*Горька, невосполнима эта безвременная утрата.*

*Еще совсем недавно мы получили письмо Валентина Владимировича, в котором он с обычной для него искренностью и основательностью отзывался о присланных ему редакционных материалах...*

*Ушел из жизни писатель большого таланта, страстной убежденности, гражданского мужества.*

*Коллектив «Нового мира» глубоко скорбит, прощаясь с Валентином Владимировичем Овечкиным.*

\* \* \*

Даже если мы волей-неволей уже свыкаемся с мыслью о безнадежном состоянии дорогого нам человека — все равно весть о его смерти наносит нам свой как бы внезапный удар.

Умер замечательный русский писатель Валентин Владимирович Овечкин.

Его очерки и рассказы из жизни колхозной деревни, обратившие на себя внимание еще в довоенные годы, отличались основательным — не из вторых рук — знанием материала и правдивостью изложения, чуждой беллетристическим подобиам действительности.

Но по-настоящему широкую известность и признание принес Овечкину его очерк «Районные будни», опубликованный в «Новом мире» в 1952 году. Сравнительно небольшой по объему очерк этот явился в нашей литературе, обращенной к сельской тематике, фактором поворотного значения. Здесь впервые с такой нежданной смелостью прозвучало встревоженное слово вдумчивого литератора о положении в сельском хозяйстве тех лет, о необходимости решительных перемен в методах руководства колхозами.

Пожалуй, ни одно из произведений «крупных» жанров, по выходе в свет этого очерка, не могло бы сравниться с ним ни читательской почтой, ни количеством отзывов в печати.

«Районные будни» были началом большого цикла очерков В. Овечкина, объединенных этим названием, и послужили благотворным образцом, можно сказать, для целой плеяды талантливых мастеров этого жанра, с тех пор приобретавшего в нашей литературе все большее — и часто предпочтительное — внимание читателей.

Сегодня за чертой, отделившей от нас живого и работающего писателя, мы вправе считать «Районные будни» его «главной книгой», которую, бесспорно, никогда не обойдет стороной история советской литературы.

Валентин Овечкин менее всего был литератором столичного типа, выражаясь так, разумеется, не в упрек его собратьям по перу, проживающим в Москве и других столицах страны. Уже будучи известным писателем, он жил, с подраставшей семьей, как смолоду — пренебрегая сколько-нибудь прочной житейской «оседлостью», в районах и городах главным образом средней полосы и земледельческого юга, переезжая с места на место. Войну провел на войне — политруком, затем армейским журналистом. Там он написал свою книгу «С фронтовым приветом», в которой без особых затей изложения, с публицистической прямоотой высказывал уже тогда свои заветные думы и предположения о путях послевоенной колхозной деревни.

Последние годы, с уже подорванным здоровьем, он жил и работал в Ташкенте. Все это время он, несмотря на болезнь, очень щепетильно относился к обязанностям члена редколлегии «Нового мира», откликаясь на пересылаемые ему материалы своими замечаниями.

Смерть застала его за подготовкой к задуманной им большой работе о знаменитом в Узбекистане совхозе «Политотдел», о котором он с восхищением говорил в своих письмах.

Что можно еще сказать о литераторе и человеке незаурядного дарования и нелегкой судьбы в короткой заметке, написанной в этот печальный час?

Самым достойным доброй памяти Валентина Овечкина будет — озаботиться его литературным наследием, подготовкой к выпуску в свет его избранных сочинений, созданием обстоятельного очерка его жизни и творчества. Это в первую очередь долг его друзей и товарищей по работе.

***А. Твардовский.***

---

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**П. Афанасьев.** Здесь начинается Россия. Записки секретаря обкома. 159 стр. Цена 25 к.

**А. Гончаров, П. Луняков, В. И. Ленин** и крестьянство. 199 стр. Цена 35 к.

**Б. Грушин.** Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения. 400 стр. Цена 77 к.

**О. Дробницкий.** Мир оживших предметов. Проблема ценностей и марксистская философия 351 стр. Цена 35 к.

**И. Кон.** Социология личности. 383 стр. Цена 46 к.

**Международный ежегодник.** Политика и экономика. Выпуск 1967 года. 320 стр. Цена 82 к.

**Мир социализма в цифрах и фактах.** 1966 год. Справочник. 144 стр. Цена 17 к.

**И. Попеску Пуцурь, Г. Стойке, И. Рэдулеску.** Великая Октябрьская социалистическая революция и рабочее движение в Румынии. 126 стр. Цена 17 к.

**Справочник пропагандиста-международника.** 310 стр. Цена 75 к.

**Страны мира.** Краткий политико-экономический справочник. Издание 2-е, переработанное и дополненное. 504 стр. Цена 83 к.

**В. Титов.** Православие. 336 стр. Цена 47 к.

## «МЫСЛЬ»

**В. Капырин.** Процесс общественного развития и «теория стадий» Уолта Ростоу. 143 стр. Цена 47 к.

**Э. Мурзаев.** Путешествие в жаркую зиму. Записки географа. 135 стр. Цена 34 к.

**Политическая экономия.** Капиталистический способ производства. Под редакцией Г. Козлова. 431 стр. Цена 68 к.

**С. Попов.** Критика современной буржуазной социологии. 95 стр. Цена 15 к.

**Современная буржуазная идеология в США** (Некоторые социально-идеологические проблемы). Под редакцией Ю. Замошкина. 342 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Финансы и кредит СССР.** Учебное пособие. 262 стр. Цена 45 к.

**М. Шумилов.** Октябрьская социалистическая революция и исторические судьбы батрачества. 231 стр. Цена 74 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Г. Будовой, Е. Черток и К. Шелютто.** Год работы по-новому (Опыт работы предприятия пищевой промышленности). 79 стр. Цена 20 к.

**С. Зиядуллаев.** Экономика Узбекской ССР. 87 стр. Цена 12 к.

**Ф. Кохонов и В. Медведев.** Экономика Белорусской ССР (Краткий обзор и перспективы развития). 103 стр. Цена 16 к.

**Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платы.** Коллектив авторов. 311 стр. Цена 1 р. 14 к.

**А. Мастер, Н. Подкуйко и А. Михайлов.** Экономика Казахской ССР (Краткий обзор и перспективы развития). 79 стр. Цена 11 к.

**К. Махнамов и И. Клеандров.** Экономика Таджикской ССР (Краткий обзор и перспективы развития). 104 стр. Цена 14 к.

**С. Моисеев и К. Оторбаев.** Экономика Киргизской ССР (Краткий обзор и перспективы развития) 64 стр. Цена 8 к.

**Л. Муксинова.** Режим труда и отдыха. 56 стр. Цена 14 к.

**А. Таранов.** Экономика РСФСР. 128 стр. Цена 17 к.

**Л. Хачатрян.** Экономика Армянской ССР (Краткий обзор и перспективы развития). 104 стр. Цена 14 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**М. Бендрупе.** Пылающие письма. Рассказы. Авторизованный перевод с латышского. 264 стр. Цена 41 к.

**О. Грудцова.** Александр Бек. Критико-биографический очерк. 126 стр. Цена 23 к.

**Е. Гуцало.** Поздний гром. Повесть и рассказы. Авторизованный перевод с украинского. 384 стр. Цена 66 к.

**День поэзии 1967.** Редакторы-составители С. Кунаев и А. Смольников. 255 стр. Цена 2 р. 8 к.

**В. Звягичева.** Исповедь. Стихи. 99 стр. Цена 21 к.

**М. Квливидзе.** Возвращение к себе. Стихи. 123 стр. Цена 44 к.

**М. Рагим.** Надежда. Стихи и поэма. Авторизованный перевод с азербайджанского. 94 стр. Цена 32 к.

**И. Радволина.** Рассказ о Юлиусе Фучике. 311 стр. Цена 51 к.

**М. Соболев.** Песнь о двух трубачах. Книга стихов. 123 стр. Цена 40 к.

**А. Талвир.** Вулкан зажигает огни. Роман. Перевод с чувашского. 364 стр. Цена 64 к.

**Л. Уварова.** Лето в разгаре. Повесть и рассказы. 402 стр. Цена 58 к.

**Х. Уяр.** Три дня, три ночи. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с чувашского. 251 стр. Цена 47 к.

**А. Фадеев.** Письма 1916—1956. Вступительная статья и составление С. Преображенского. 845 стр. Цена 2 р. 23 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Л. Видгоп и Я. Сухотин.** Дружба великая и трогательная. Странички из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 191 стр. Цена 50 к.

**М. Златогоров.** Не бойся жизни. Повесть. 110 стр. Цена 10 к.

**...Любящи тебя В. Ульянов.** Письма В. И. Ленина матери. 143 стр. Цена 37 к.

**Ж. Превр.** Избранная лирика. Составление, перевод с французского М. Кудинова. 47 стр. Цена 14 к.

**Ю. Тувим.** Избранная лирика. Перевод с польского. Составление и предисловие Д. Самойлова. 62 стр. Цена 14 к.

**Н. Хикмет.** Избранная лирика. Перевод с турецкого. Составление и предисловие Б. Сулцского 55 стр. Цена 15 к.

**О. Шмелев и В. Востоков.** Ошибка резидента. 287 стр. Цена 55 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Аврора.** Стихи поэтов Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, СССР, Чехословакии. Вступительная статья А. Суркова. Перевод под редакцией Е. Винокурова. 442 стр. Цена 1 р. 47 к.

**Е. Барбу.** Воскресный обед. Рассказы. Перевод с румынского. 184 стр. Цена 42 к.

**А. Бабороко.** И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). 303 стр. Цена 1 р. 2 к.

**М. Вансмакер.** Французская литература наших дней. Книга очерков. 214 стр. Цена 75 к.

**Из европейских поэтов.** Перевод и предисловие Е. Левина. 295 стр. Цена 47 к.

**А. Лахути.** Ветер утра. Стихи. Перевод с персидского. 191 стр. Цена 51 к.

**Ленин всегда с нами.** Воспоминания советских и зарубежных писателей. Составитель Н. Крутикова. 506 стр. Цена 1 р. 9 к.

**П. Мирный.** Лиходен. Рассказы. Перевод с украинского. 237 стр. Цена 33 к.

**Ф. Светов.** Михаил Светлов. Очерк творчества. 127 стр. Цена 22 к.

**М. Стельмах.** Гуси-лебеди летят... Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 175 стр. Цена 30 к.

**Л. Тудэс.** Горный поток. Роман. Перевод с монгольского. 383 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Шотландские народные сказки и предания.** Перевод с английского. 327 стр. Цена 59 к.

## «ИСКУССТВО»

**З. Владимирова.** Игорь Ильинский. Очерк творчества. 24 стр. Цена 1 р. 22 к.

**О. Живова.** Филипп Андреевич Малявин. Жизнь и творчество. 295 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Н. Новоуспенский.** Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897). 134 стр. Цена 2 р. 22 к.

**В. Полевой.** Искусство стран Латинской Америки. 323 стр. Цена 3 р. 66 к.

**И. Франко.** Из секретов поэтического творчества. Перевод с украинского. 175 стр. Цена 51 к.

## «НАУКА»

**Ближний и Средний Восток.** История. Экономика. Сборник статей. 208 стр. Цена 80 к.

**Я. Драбнин.** Ноябрьская революция в Германии. 433 стр. Цена 2 р. 13 к.

**Идеи гуманизма в литературах Востока.** Сборник статей. 216 стр. Цена 86 к.

**Из африканской лирики.** 160 стр. Цена 62 к.

**История Дагестана.** В 4-х томах. Т. 1, 431 стр. Цена 1 р. 91 к.

**История Москвы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. 1941—1965.** 566 стр. Цена 3 р. 68 к.

**И. Кондратьева, Е. Кондратьев.** Нейрон отвечает на сигнал. 59 стр. Цена 8 к.

**В. Мальков, Д. Наджафов.** Америка на перепутье. 1929—1938 гг. Очерк социально-политической истории «нового курса» в США. 228 стр. Цена 74 к.

**Проблемы инженерной психологии.** Сборник статей. 196 стр. Цена 87 к.

**Тургеневский сборник.** Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. III. 431 стр. Цена 2 р. 18 к.

**Б. Фрейдлин.** Очерки истории рабочего движения в России в 1917 году. 339 стр. Цена 1 р. 56 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Р. Давид.** Осуществимые правовые системы современности (Сравнительное право). Перевод с французского. 496 стр. Цена 1 р. 86 к.

**Д. Д'Агата.** Дети Гипократа. Роман. Перевод с итальянского. 238 стр. Цена 52 к.

**Я. Дарвиш.** Пьяный дождь. Роман. Перевод с венгерского. 349 стр. Цена 1 р. 15 к.

**В. Завада.** Одна жизнь. Стихи и поэмы. Перевод с чешского. 118 стр. Цена 46 к.

**Новое лицо японской промышленности.** Под редакцией К. Нагасу. Перевод с японского. 440 стр. Цена 3 р. 38 к.

**Поэты Судана.** Перевод с арабского. 93 стр. Цена 36 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Волков.** Семь подземных королей. Сказочная повесть. 232 стр. Цена 94 к.

**Н. Еселев.** Георгий Марков (Литературно-критический очерк). 100 стр. Цена 12 к.

**Т. Леонтьева.** Рассказы о коммунистах. 294 стр. Цена 60 к.

**М. Лецинский.** Кто был ничем... 120 стр. Цена 15 к.

**А. Платонов.** Четыре рассказа. 62 стр. Цена 30 к.

**О. Ремез.** Мой друг театр. Повесть. 176 стр. Цена 55 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин**, **И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**  
(ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 3/XII-1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/1 1968 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 27,1 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
А 05211 Зак. 4104. Тираж 139.400 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636